

*Владимир  
Тендряков*

---

**Тугой  
узел  
Кончина**



# ТУГОЙ УЗЕЛ

РОМАН

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Душной июньской ночью Комелев вышел из Сташинского сельсовета, где проводил заседание партактива, сел в машину, уткнул в грудь подбородок и задремал...

На крутом повороте у моста через реку Шору шофер вдруг почувствовал, что Степан Петрович всем телом мягко привалился к его боку. Шофер затормозил на мосту, испуганно тряхнул за плечо, сдавленным голосом окликнул. Комелев не ответил...

Врачи установили — инфаркт.

Секретаря райкома Комелева хоронили через два дня.

Впереमेжку с невысоким соснячком стояли кресты и скромные деревянные обелиски с выцветшими фанерными звездами. Пока не пришел народ, на этом тихом сельском кладбище хозяйничал дятел, выбивал звонкую дробь, дурманяще пахло на гретой на солнцепеке земляникой.

В Коршуновском районе не было оркестра — люди молча обступили могилу, из которой тянуло влажным погребным холодком. Дятел спрятался и притих. Крепкий запах земляники как-то сам собой рассеялся.

Председатель колхоза «Труженик» Игнат Гмызин, вместе с другими несший гроб, осторожно освободил плечо от полотенца, смятой кепкой вытер лоб и бритую голову.

Гроб лег на край могилы. Комелев, тучноватый, важный, с большим желтым, мертвецки матовым лбом, лежал, накрытый по грудь, в своей черной гимнастерке, в которой его привыкли видеть при жизни.

Приминая влажный песок, поднялся на насыпь второй секретарь Баев. Его лицо было усталым, потным от жары, на подбородке заметно выступала щетина.

Игнат Гмызин, отступив в сторону, стал разглядывать собравшихся. И с покойным Комелевым, и с теми, кто его провожал, Игнат проработал много лет.

В изголовье гроба стоит шурин Игната, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома Павел Мансуров, плечистый, подобранный, как всегда щеголеватый — полотняный китель выутюжен, легкие сапоги лишь чуть припудрены пылью. Он уронил курчавую голову, хранит в статной фигуре торжественность.

За его спиной, подставив под солнце крепкий ежик рыжеватых волос, сутулился инструктор райкома Серафим Сурепкин. Сгорбленность, скорбная усталость на лице, даже торчащие просвечивающие уши — все означало, что он убит горем. Но Игнат знал: Серафим Сурепкин готовится выступить и, наверное, настраивает себя. Ни один митинг, ни одно совещание не проходили без выступления этого человека. Покойный Комелев звал его «Серафим Златоуст».

Заслуженный учитель Аркадий Максимович Зеленцов, чопорно аккуратный в своем длинном стариковском пиджаке, с грустным спокойствием глядит прямо перед собой. О чем он думает сейчас? Может быть, о том, что он старик и ему тоже придет черед лежать так, лицом в небо, и бесстрастно слушать печальные речи; может быть, по своей привычке философствовать над всем, высчитывает, как коротка в масштабах вселенной человеческая жизнь.

Тут же, почти на голову выше старика, стоит его внучка, красавица Катя Зеленцова. Маленькая, гладко зачесанная девичья голова вскинута, бровастое лицо сурово, а большие глаза скрытно тревожны — она не привыкла видеть смерть близко, смерть пугает ее.

У ног гроба — семья покойного.

За юбку матери держатся дочери. Младшая, лет шести, не глядит на отца, озирается кругом. На заплаканном грязном личике не видно горя, оно выражает лишь испуг. А старшая, с пионерским галстуком на шее (ее вызвали на похороны из пионерлагеря), ткнулась под руку матери, плачет и плачет безудержно.

Сын Комелева, уже взрослый парень, в этом году кончающий школу, стоит прямо, поддерживает мать и не плачет. Но по его красным глазам можно догадаться, что плакал он дома, а бледное лицо, судорожно сведенные челюсти говорят — все свое горе выплакать не успел, сейчас зажал, спрятал его от посторонних.

Зато мать, повязанная по-деревенски белым платочком, концами вниз, держится на ногах, лишь вцепившись в сына. Лицо ее опухло от слез.

Она вышла за Степана Комелева, когда тот был еще простым крестьянским парнем. Он рос, она оставалась прежней, деревенской, любящей посудачить бабой, больше всего боявшейся, чтоб ее Степа не уехал без овчинной душегрейки в командировку. Она жила не его интересами, но для него — дру-

гой жизни не представляла. Чувствовалось: хочется ей завывать в голос, истощно, по-деревенски, по-бабьи выкричать горе, облегчить сердце, но разве можно — все кругом в чинном молчании стоят и слушают.

Игнат ошибся: после Баева вышел не Серафим Сурепкин, а шагнул к могиле и повернулся лицом к людям Аркадий Максимович.

Глуховатым, негромким и в такой обстановке удивительно спокойным голосом старый учитель заговорил:

— Я знаю о том, как Степан Петрович любил детей. Тот, кто любит детей, любит в людях будущее. Любить будущее людей — это даже больше, чем просто любить. Он любил вас, товарищи...

Слова Аркадия Максимовича словно разбудили Игната.

«Любил?.. А ведь правда!» Ему вспомнился этот неторопливый, несколько вяловатый в движениях человек. Приезжая в колхоз, он оставлял машину у обочины дороги и враскачку, медленным шагом обходил от поля к полю бригады. Никто никогда не слышал от него жалоб ни на больное сердце, ни на больные ноги. Ради людей — да, прав старик, — ради их будущего он не жалел себя.

Он любил!.. Но не только же родные Комелева — жена, сын, дочери — должны переживать смерть как личное горе. Потерянная любовь — несчастье. И самая скромная цена за эту потерю — слезы. А слез нет. У всех печальные лица, все до единого невеселы, но кто может быть веселым на похоронах?

А сам он, Игнат?.. У него тоже нет слез, только теперь, после слов Аркадия Максимовича, он испытывает легкое угрызение совести.

Комелев не берег себя на работе, не следил за своим здоровьем, отмахивался от врачей... Сейчас все слушают Аркадия Максимовича и своим печальным молчанием соглашаются: «Да, он любил нас...» И только жена Комелева, привалившись головой к плечу сына, стала сильнее всхлипывать.

Приготовились опускать гроб.

Сам райвоенком, молодцеватый мужчина, выразив почему-то на своем лице угрозу, поднял руку и, резко опустив ее, выдохнул:

— Пли!

Десять парней из общества ДОСААФ ударили из винтовок в воздух. В глубине кладбища испуганно забились на деревьях вороны.

Жена Комелева бессильно опустила на усеянную сосновыми шишками землю и, не сдерживаясь, в голос запричитала. Не выдержал и сын: он стоял над матерью, глядел в могилу, и слезы текли по его бледному искаженному лицу.

Каждый из присутствовавших подходил, набирал горсть влажного песку и кидал в могилу. Вместе с Игнатом подошел Павел Мансуров. Брошенная ими земля одновременно мягко шлепнулась о крышку гроба. Народ расходился, мужчины надевали фуражки.

Окруженная женщинами, лежала на земле жена Комелева. Голос ее разносился над тихими могилами, заросшими ромашками, подорожником и анютиными глазками:

— Сте-ену-ушка-а! Ро-о-одимый!

Ветхая старушка с посошком, в платке, повязанном низко, по самые брови, из тех, кто живет прошлым, ходит на кладбище и в родительскую неделю, и помимо нее, остановив выцветший взгляд на Игнате, спросила:

— Кого, милый, хоронят?

— Секретаря райкома, бабушка. Комелева, — ответил Игнат.

— Из начальства, видать. С ружей палили. — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась. — Прими, господи, душу раба твоего.

Просьба была произнесена скучным голосом, по старушечьей обязанности.

Об умерших говорят хорошо или молчат, но думают о них по-всякому.

Игнат шел от кладбища вместе с Павлом Мансуровым. Оба молчали.

Комелев любил народ, а в районе не много крепких колхозов. В МТС не могут обучить специалистов. Поломанные тракторы нередко по полгода простаивают около полей...

Просто любить — куда легче, чем доказать любовь.

## 2

Приезжая из своего колхоза в райцентр, Игнат всегда останавливался у Павла Мансурова.

С лоснящейся от пота бритой головой, покачивая полными покатыми плечами, казалось, еще больше раздавшийся в ширину от полуденной жары, Игнат вошел вслед за хозяином и опустился на диван. Старенькие пружины жалобно звякнули и смолкли под его тяжелым телом.

В комнату заглянула Анна, жена Павла, сестра Игната, спросила деловито: «Вернулись? Оба?» — и ушла в кухню, загремела посудой. Скоро оттуда сиплым тенорком запел примус. Живые продолжали жить своим чередом — подходило время обеда.

Павел скинул китель и в одной майке ходил ко комнате; положив руки за спину. Где-то по отцовской линии в нем была примесь татарской крови: широколиц, смугл, скуласт, курчав;

мужественно красив. В эту минуту походка у него была нервная и в то же время мягкая, расчетливая — ни разу не задел ногой расставленных в беспорядке стульев, — сутулился слегка, серые небольшие глаза потемнели, в них пропал блеск.

Игнат, вытирая мягкое распаренное лицо, понимающе смотрел: опять какой-то бес на мужика напал...

— Что мечешься? — наконец спросил он. — Смерть так задела? Комелева жалко...

— Не Комелева — себя жалко. — Павел остановился, пружинисто повернулся и заговорил, приближаясь из угла комнаты шаг за шагом: — Я в судьбе Комелева свою судьбу вижу! Работал человек как вол, не знал покоя. Командировки, ночевки на столах, иссушающие мозг заседания, вечный страх за урожай, за лесозаготовки, за выполнение поставок.

— Эге! Работа тебя пугать стала. Это, брат, стариковская немощ. Рановато в тридцать-то пять лет.

— Пугает не это! Готов на любую работу, пусть впятеро тяжелей комелевской! Но лишь бы толк видеть. Толк, Игнат! А у Комелева во всех его командировках, заседаниях, беспокойствах была какая-то бессмысленность. Ломил, тянул воз через силу, сгорел на работе, а для чего? Чем можно вспомнить его?.. «Любил», «был честным» — дежурные слова во время похорон. Освободи меня бог от таких похвал при жизни и после смерти. Каждый человек должен оставить, кроме детей и кучки земли на кладбище, что-то полезное. Дело, Игнат! Дело какое-то! А что доброго сделал Комелев? Чем его вспомнить? Неужели у меня впереди такая же бессмысленная жизнь? Вот что пугает!

— Ты сам себе хозяин. Делай свою жизнь не бессмысленной.

— Хозяин?.. Эх! Слово — кляп! Чуть что выйдет из нормы, затыкают им, как пробкой пивную бутылку. Сколько раз я пробовал быть себе хозяином, с семнадцати лет пытаю судьбу, ищу чего-то большого, хочу расправить плечи, а кидало все время из стороны в сторону. Ушел из глухой деревни, полтора года раскачивал канцелярские стулья молодым задом, верил, что найду, вырвусь. И вот новый институт. Впереди диплом инженера-геофизика, экспедиции, палатки среди дикой природы, диссертации в кабинетной тишине... Красиво! Учился, вгрызался в науку, часто хлебом да водопроводной водичкой питался. Хлоп — война! С третьего курса маршевой ротой с песней: «Шел, шел герой на разведку, боевой!..» По тылам не околачивался, до майора взлетел за четыре года. По строевой командира полка замещал. Что скрывать, мерещились мне будущие бои за мировую революцию, победы под командованием генерала Мансурова... Война кончилась, спросили: «Не кадровый офицер?» — «Нет». — «Пожалуйте в запас». Доучиваться в институте поздно, да и вкус к наукам пропал. Сел вот в райкоме на заведование пропагандой и

агитацией. В другом месте я бы, может, смог быть хозяином своей жизни. А здесь сыплют инструкции, со всех сторон указывают, со всех сторон подталкивают: делай так-то, делай то-то, не иначе. Кто эти инструкции пишет? Кто указывает? Такие, как Комелев. Попробуй докажи им свою самостоятельность.

На смуглых скулах Павла проступил сухой кирпичный румянец, из-под приспущенных век диковато блуждали до густой синевы потемневшие глаза. Игнат сидел развалиясь, сложив на заметно выступавшем животе свои громоздкие сильные руки, и следил за каждым движением Павла.

— Комелев был доволен своей судьбой, — продолжал с той же горячностью Павел. — Для него место районного секретаря — потолок. Я силы чувствую, расти хочется, а вот застыл, как гриб, прихваченный заморозками. Мой рост, мое движение не зависят от меня. Захотят — продвинут, не захотят — оставят кинуть на той же должности.

Игнат с недоверчивой улыбкой покачал головой.

— А ты, брат, ой честолюбив. Сидит где-то в тебе чертик, не дает покоя. Ты плюнь на него — просто живи, работай, чтоб польза была.

— Живи, работай, чтоб польза была?.. Где?.. На заведовании агитацией и пропагандой? Ты, Игнат, не младенец, знаешь — ой как хорошо знаешь! — велика ли польза от моей работы... Делай доклады колхозникам о построении социализма, о коммунистическом обществе, а колхозников больше беспокоит хлеб. Они получают на трудовень столько, что за год работы штаны к празднику не огорюешь... Хочу, чтоб польза была! Хочу! Да как это делать? Силы есть, и голова на плечах, а беспомощен...

Мансуров опустился на стул, уперся локтями в колени, сгорбил спину, коричневые, потные веки закрыли глаза. С минуту он, казалось отрешившись от всего, просто слушает ровное шипение примуса в кухне.

Игнат, продолжавший смотреть со стороны, сказал с легкой досадой:

— Что ты бесишься? Не любо — перейди на другое место.

Шипение примуса оборвалось, загремели в тишине тарелки. Мансуров поднял на Игната затуманенный взгляд.

— Перейди... Ведь я не юноша, пора уж кончить метания из стороны в сторону. Куда мне идти? Профессии нет, новую приобретать — поздно... Привязан к своему заводдельскому стулу.

Вошла Анна, деловито сообщила:

— На стол собираю.

Была она прямая, тонкая и угловатая, не в пример широкому, раздобрённому брату. Блекло-миловидное лицо, окруженное

пышно взбитыми сухими волосами. Сейчас, перехваченная по талии чистеньким фартучком, Анна двигалась по комнате плавно, острые локти прижаты к бокам, кисти рук выставлены вперед, точно она их только что вымыла, держит на весу, чтоб вытереть.

— Павел заведется — до поздней ночи его не остановишь. Что хочет — не поймешь. Тебе, Игнат, с ним спорить — время терять. Завтра у тебя экзамен. Тебя это не пугает, обо мне подумай — мне же краснеть придется.

Игнат поднялся:

— Верно, Аннушка! — Он повернулся к Павлу: — Я на свою судьбу смотрю просто: не попаду вот в институт, придется мне в деда записаться, на завалинке с ребяташками свистульки лепить. Сдам завтра с сынишкой Комелева экзамен — буду счастливым.

Павел сердито хмыкнул в сторону.

### 3

Еще в годы молодости, в школе крестьянской молодежи, Игнат кончил восемь классов. Как-никак образование — знал не только дроби, но имел понятие об алгебре и геометрии. И, как многие деревенские парни, решил: не след торчать в деревне, пахать землю и «прятать» навоз. Сначала поступил продавцом в лавку Остановского сельпо — отвешивал соль и леденцы, разливал по бутылкам керосин. В том же селе Останове поставили большую мельницу-вальцовку, Игната назначили заведующим. С мельницы перевели заведующим райпищепромом, оттуда — на сыпной пункт, тоже заведующим, потом — заведующим в райзаготзерно... Он стал руководящим работником, мелким заводом и человеком без профессии. В каждом райцентре встречаются такие люди, которые почему-то, всем кажется, имеют особые способности к заведованию.

И Гмызин заведовал. На окраине районного села Коршунова он поставил дом — перевез сруб из деревни, — завел огород, корову, пяток ульев. По утрам выходил в контору, ездил время от времени в командировки, в свободное время копался на огороде. Свой дом, своя корова, своя картошка с огорода, свой мед с пасеки.

Война встряхнула, но не изменила этой жизни.

Игнат был на фронте, вернулся с погонями старшины, с двумя медалями «За отвагу», с нашивками за легкие ранения. Но едва только он появился, как в райисполкоме вспомнили: ведь это Игнат Гмызин, надо его снова поставить заведующим в «Заготзерно».

Началось укрупнение. Вместо мелких, в одну-две деревеньки, колхозов в районе стали создаваться колхозы по семи, по деся-

ти деревень. Райком партии направил в колхозы районных работников. Среди них оказался и Игнат Гмызин.

Мирона Сухотина, такого же, как и Игнат, районного работника, через полгода сами колхозники попросили убираться по-добру. Бригадиры у него пьянствовали, у свинарок дошли поросята, весенний сев закончили в июне. Пришлось поставить Сухотина обратно в контору «Заготскот».

Работая продавцом сельповской лавки или заведующим «Заготзерном», Игнат болел душой, если в покосы день за днем начинал сыпать дождь, радовался, если выдавалось ведро; когда в МТС прибывали новые тракторы, бежал смотреть на них. Отец, дед, прадед — все у него были крестьянами, и Игнат в душе оставался им, хотя в анкете против графы «Соцположение» писал: «Служащий».

Первые дни, когда в колхозе его выбрали председателем, он действовал так, как в любом новом месте заведующим. Антип Кошкарёв, его заместитель, пил — сиял его. Степан Ложкин три раза ездил в город за движком к силосорезке, тратил на командировки по две тысячи, жаловался и божился, что нигде нет таких движков. Игнат сам поехал, купил, потратил на все только полторы тысячи с копейками, а Степана Ложкина отдал под суд за воровство.

Честность, которой Игнат отличался в молодости, развешивая леденцы и разливая керосин в сельповской лавке, да здравый ум — вот и все, что имел он, став председателем самого большого по району колхоза «Труженик». И этого было мало...

В колхозе — более четырех тысяч гектаров пахотной земли, урожай на них низкий. Почему? Надо знать.

В колхозе — девятьсот гектаров заливных лугов, а трава год от году на них хуже. Почему? Надо знать.

В колхозе — сто коров, это мало, плохой прирост. Почему? Надо знать. Всюду — надо знать!

В соседний колхоз, где чуть ли не с начала коллективизации председателем был старик Федосий Мургин, прислали молодого агронома Алешина. Он стал заместителем Федосия. Мургин, как и прежде, невозмутимо важный, с сознанием своего десятилетиями завоеванного авторитета, ездил по полям на пролетке, указывал, распоряжался. Алешин бегал пешочком по горячему следу председательской пролетки и поправлял: «Верно сказал Федосий Савельич, только сделать лучше так-то». Сначала колхозники удивленно качали головами: «Гляди-тко, Савельича поправляет, бедовая головушка...» Но так как старый председатель был покладист, не возражал молодому агроному, то все стали принимать это как должное.

Игнат, наблюдая со стороны, понял, что год-другой, ну пять лет от силы, он еще будет нужен колхозу, но придет время, и

все почувствуют — у него за душой только честность, здравый ум да обрывочные, схваченные походя, знания. Пробьет час — и волей-неволей придется уступить место такой вот «бедовой головушке». Надо учиться.

Можно настоять, чтоб послали в областную школу колхозных кадров; можно поступить заочно в сельхозтехникум. Но в областной школе и в техникуме надо учиться четыре года. Четыре года тут да пять лет в институте, а Игнату за сорок и семья на шее.

В вечерней школе для взрослых в селе Коршунове было всего восемь классов. Игнат решил подготовиться и сдать экстерном за десятилетку.

4

Огромный букет полевых цветов, поставленный на красный стол еще в первый день экзаменов, давно завял и осыпался. Билеты, веером разложенные на кумачовой скатерти, подчеркнуто серьезные лица членов комиссии, стук мела по доске среди напряженной тишины — все это уже повторялось много раз. Даже волнение стало привычкой.

Десятиклассники сдавали последний экзамен на аттестат зрелости.

Сегодня сдавал Саша Комелев. Смерть отца, похороны — более уважительных причин не существует, но от экзаменов они не освобождают. Директор предложил перенести экзамены на будущий год — Саша отказался.

Все, притаившись, следили, как Саша выводит формулы. Никто из учеников в эти минуты не гадал про себя: какой из билетов уже взят и отложен в сторону, какой из лежащих на столе может выпасть на его долю. На время каждый забыл о своей судьбе. В глазах, следивших за Сашей, вместе с участливым страхом — а вдруг да срежется? — светилось чисто ребячье любопытство: как будет он вести себя?

Но это любопытство мало-помалу исчезло. Саша вел себя как всегда, только голос его был немного тише обычного. Он споткнулся два или три раза — ничего удивительного, по геометрии никогда не был отличником.

Анна Егоровна, сестра Игната Гмызина, принимавшая экзамен, слушая Сашу, все время без причины поправляла свои сухие волосы, заполненные падавшим из окна солнцем.

— Не торопись, Саша.. Не спеши, подумай. — В ее голосе слышалась просьба.

Игнат сидел в классе и, как все, с напряжением и сочувствием следил за ответом паренька. Странно было видеть Игната среди учеников: белый бритый череп, грубоватое мясистое лицо, кисти рук тяжело лежат на крышке школьной парты.

— Будут дополнительные вопросы? — обратилась Анна к членам комиссии.

Те закачали головами: нет-нет...

По классу разнесся облегченный шумок — Саша сдал. Поскрипывая новыми — недавно с колодки — сапогами, пряча на лице неожиданно вспыхнувший румянец, он вышел из класса.

— Гмызин.

Неуклюже выпростав ноги из-под тесной парты, Игнат поднялся над девичьими расчесанными проборами, над спутанными шевелюрами ребят, большой, грузный, чуточку сутуловатый, сам подавленный своим несоответствием со всем окружающим. Но когда он остановился у стола, протянул руку к билетам, затаенное ученическое волнение застыло в его крупных морщинах. На лбу и на широком носу выступила испарина. Но только на секунду — билет был взят, морщины разгладились.

Он подошел к доске и, кроша мел, принялся неумело и старательно рисовать нечто похожее на большой гладкий, с ровными срезами пень. Анна, слушая ответ очередного ученика, время от времени косилась на рисунок, который мало-помалу покрывался линиями, кругами, латинскими буквами и, теряя схожесть с пнем, приобретал достойный для геометрической фигуры замысловатый вид.

— Слушаем. — Она наконец всем телом повернулась к рисунку.

Как не особенно искушенные ораторы на собрании, Игнат глуховато кашлянул в кулак — вот-вот обронит привычное: «Товарищи!» — и заговорил неожиданно виноватой скороговоркой:

— Боковая поверхность усеченного конуса равна произведению полусуммы длин окружностей...

У дверей класса Игната Гмызина встретил директор школы и долго тряс руку.

— Поздравляю вас с аттестатом зрелости. От всего сердца...

— Спасибо, спасибо, — добродушно улыбался Игнат. — Вроде позднечко я созрел, да, видать, каждому овощу — свое время.

Здесь в коридоре он перестал быть учеником и держал себя с директором привычно, как равный с равным.

Говорить им было не о чем, но директору не хотелось так быстро расставаться с этим большим, сильным бритоголовым человеком в вылинявшей гимнастерке. От осанистой фигуры, казалось, как от нагретого солнцем камня, несло теплом и тянуло запахом вянущей травы — луга.

— Может, вы будете до конца последовательны — останетесь на выпускной вечер? Вместе с молодежью отпразднуете?

— Не с руки... Я уж по-своему... — Игнат весело подмигнул, шелкнул по горлу.

Директор рассмеялся, но в то же время не забыл и оглянуться по сторонам — не заметил ли кто из учеников этот слишком вольный для стен школы жест.

Наконец они расстались, и под тяжелыми шагами Игната закрипела лестница.

Внизу, привалившись к перилам, стоял Саша Комелев. Он повернул навстречу Игнату лицо.

— Игнат Егорович, на минутку... Поговорить надо.

— Поговорить?.. — удивился Игнат. — Слушаю, брат.

С бледного заострившегося лица серьезно и требовательно смотрели на Игната зеленоватые прозрачные глаза, над выпуклым, чистым мальчишеским лбом коротко подстриженные волосы торчали упрямым «коровьим зализом».

«Эк тебя за эти дни перевернуло», — отметил про себя Игнат.

— Игнат Егорович, — отводя взгляд, произнес Саша напряженным баском, — примите меня к себе в колхоз.

— В колхоз?..

— Да, работать.

— Ты ж, слышал я, в институт собирался.

Растерянно, на этот раз влажно заблестели глаза Саши.

— Потом, может, и в институт... Мать теперь одна, сестренки.

Игнат поспешил перебить его:

— Добро. Об этом еще потолкуем. Ты свободен?.. Хочешь — едем сейчас. Меня лошадь ждет.

## 5

Выехали из села.

Игнат неподвижно возвышался в пролетке. Саша, притиснутый им, косился, тайком разглядывал председателя: мягкую кепку, натянутую на объемистый череп, багровую складку шеи, налегающую на воротник гимнастерки.

Несколько раз Игнат оглянулся по сторонам, озабоченно качнул головой, вздохнул:

— Ну и ну, не ко времени...

Без того низко опущенные ветки придорожных ив теперь вовсе сникли — каждый листочек устало глядит вниз. Над белой кашкой, что растет у самой обочины, не трудятся пчелы. Не слышно птичьих голосов. Ничего живого кругом. Над землей, обремененной зеленью, настороженная тишина и запустение. Сам воздух чист и неподвижен. На небе вянет несколько безобидных облачков, но будет дождь, непременно.

— Так говоришь — матери помочь надо? — оборвал молчание Игнат.

— Кто ж ей теперь поможет, кроме меня?

— А почему в колхоз решился? Почему не в учреждение? В культпросвете работника ищут...

— В колхоз хочу. — В голосе Саши послышалось сердитое упрямство.

Игнат с пристальным любопытством взглянул через плечо, отвернулся и вдруг забасил над притихшей дорогой:

— Эй, ты! Счастье ленивое! Идет — копытом о копыто задевает!.. Я вот тебя!..

Конь бодро заиграл по булыжнику подковами, пролетку залихорадило...

Давным-давно в одной книжке Саша прочитал такие слова: «Когда горит дом, часы в нем все равно продолжают идти». Прочитал и забыл. Затерялись они в памяти, как сорвавшаяся блесна в пенистом омуте.

В день похорон отца Саша неожиданно вспомнил их.

В тот день он понял, что не было никого для него ближе и дороже на свете, чем отец. Ближе матери... Раньше не замечал этого, не ценил нечастых откровенных разговоров с отцом.

Издавек, из раннего детства, стали всплывать полузабытые воспоминания.

Саше шесть лет. Отец ведет его за руку через распаханное поле. Саша часто спотыкается, ему тяжело идти по отвалам. Последние разгулявшиеся ласточки бесшумно вверх-вниз перечеркивают красный закат, тонущий за лесами. По полю ползает трактор, ровно стучит мотором, покашливая, выбрасывает из трубы мутновато-лиловый дымок. Время от времени слышен скрежет подвернувшегося под лемех булыжника. Из-под растопыренной железной пятерни плуга тяжелыми, густыми ручьями течет земля. Отвалы ее тускло лоснятся на закате.

Отец остановился, нагнулся и полной пригоршней забрал землю, поднес к лицу. Трактор, с деловитостью втянувшегося в работу труженика, попыхивая, удалялся.

— Чуешь, пахнет?.. — произнес отец.

Саша тоже схватил горсть, поднес к носу. Но земля пахла землей.

— Не поймешь ты — мал. Я в твои годы мог понять. Чистый хлебушко только в праздники ел, в будни-то на мякишке... Нужно бы так, чтоб хлеб как воздух был, чтоб о нем люди не думали.

Не через слова — они и на самом деле были не совсем понятны, — через подобревший голос, через непривычно мягкое

лицо отца шестилетний Саша почувствовал тогда смутную благодарность к земле. Как драгоценность, держал ее, горсть влажных крошек, по-отцовски бережливо мял, нюхал. Земля пахла землей.

И еще воспоминание... Саша в тесноватом пиджаке, в чистой рубашке, отглаженном пионерском галстуке сидит в пролетке на сене, прислонившись к теплому боку отца. Отец едет в командировку, по пути везет Сашу в пионерлагерь, в село Каемково, захлестнутое петлей реки Шоры.

От реки через кусты на мокрую косовицу, как перебродившее тесто через край пашни, набухая, сочился туман. Под косыми лучами только что поднявшегося солнца, в молочной глубине тумана стояла размытая радуга. Чайка вырвалась из тумана, пошла свечой вверх, прежде чем скрыться из глаз, долго мерцала белой точкой на небе.

Даже отец, в последнее время приходивший домой всегда за полночь, хмурый, с ввалившимися глазами, повеселел, оглянувшись, выдохнул одно слово:

— Красота.

Въехали в деревню. Голосили петухи, по-коростельи скрипел несмазанный ворот колодца. Под окнами одной избы на усадьбе стояли суслоны совсем зеленого ячменя. Саша показал на них отцу:

— Гляди! Вот чудаки — зеленым жнут.

Отец оборвал его сердитым взглядом и негромко произнес:

— Над бедой не смеются, Сашка.

Под смачное пришлепывание лошадиных копыт о жирную утреннюю пыль отец суровым голосом сообщил, что зеленым жнут потому, что в этих домах давно уже не ели хлеба.

Хорошее долго живет, плохое быстро забывается. В Коршуновском районе с неохотой вспоминают о тяжелом сорок шестом годе, свалившемся сразу после войны.

Отец рассказывал, а вокруг миновавшей деревню пролетки набирало силу радостное утро. Упрямый ветерок бережно очищал берег реки от тумана, загоняя его в сумрачную чащу елей. Луг, расписанный извилистыми тропинками, местами был морозно-матовый от росы, местами сияюще-зеленый. В этот раз отец впервые сказал Саше слова:

— Красива наша земля. А на такой вот красивой земле надо сделать красивую жизнь. Споткнусь, не удастся мне — ты ее сделаешь. Вырастешь, смотри, Сашка, не гонись за длинным рублем.

Жил рядом близкий человек, глядел на мир озабоченными глазами, в минуты откровенности говорил о самом большом своем желании — о красивой жизни на красивой земле, вечерами устало и неохотно ужинал, любил качать на колене самую

младшую, Ленку, напевая чуточку сипловатым баском одну и ту же песенку:

Среди леса, среди гор  
Едет дядюшка Егор —  
Лапотки кленовые,  
Онучки новые...

И заботы его близки.

И привычки его знакомы.

И мечты его стали уже Сашиними мечтами.

Близкий, самый близкий из всех на свете.

И вот прохладный запах влажного песка, свежая, не затянутая дерновиной могила...

По накаленному солнцем булыжнику Саша вел домой мать. Она, выкричавшая еще на кладбище свое горе, не плакала, время от времени болезненно вздрагивала на его плече. Саша, поддерживая мать, шагал непослушными ногами и озираясь. Исчезла боль, исчезло и горе, осталось недоумение, тяжелое и тупое. Нет его! Ни в командировке, ни в отъезде — совсем нет. Не придет, не вернется, ждать некого... Непонятно, нелепо!

Озираясь, в эту минуту он с какой-то особенной, резкой отчетливостью замечал все, что творилось кругом. Каждая мелочь вызывала болезненное удивление.

С визгом, захлебываясь от восторга, выскочил из подворотни щенок-коротышка с победоносно закрученным хвостом и накинулся на поросенка. Тот с досадливым равнодушием повернулся к щенку задом.

Знакомый Саше киномеханик Славка Калачев ремонтировал плетень у своего дома, насвистывая тихонько и беспечно «Любушку».

За спиной каким-то свежим, беспечным смехом засмеялась Катя Зеленцова. С похорон идет...

Щенок радуется, визжит. Славка высвистывает: «Люба, Любушка...» Катя смеется... Все как было, все по-старому. А отца нет. Да как же это? Неужели надо смириться? Неужели надо забыть? Нет! Невозможно! Как жить дальше?

А дома Сашу удивила мать.

Он бережно усадил ее на кровать. С опухшим лицом, бессильная, размякшая, она с минуту смотрела бессмысленными глазами в грудь сыну, потом подняла их, взглянула просяще и слабым голосом произнесла тот же вопрос, который мучил и Сашу:

— Сашенька, как нам жить дальше? — Помолчала, всхлинула и закончила: — Велика ли пенсия. Машеньке вот пальто купить надо.

Как «Любушка» Славки, как счастливый смех Кати, слова

матери резанули по сердцу: «Пенсия, пальто... Отца же нет! До пальто ли теперь?» Материно «как жить дальше» не походило на Сашино.

Целый день удивляла и угнетала окружавшая его жизнь, будничные разговоры: «Хлеб не куплен... Обед не сварен...» В это время ему и вспомнились слова: «Когда горит дом, часы в нем все равно продолжают идти...» Страшны и значительны они показались. В душе у него пожар, уничтожение, мир перевернулся, — казалось, живое не имеет права жить. А живое жило, жизнь шла своим порядком, обычная жизнь, ни чуточки не изменившаяся. Дом горел — часы шли.

Но так было всего один день.

Утром он встал рано. Вышел на крыльцо. Мокрые доски холодили босые ноги. Двор, знакомый до каждой щепки, до последнего сучка в темной щербатой ограде, в это тихое утро неожиданно показался обновленным. Половина его была покрыта тенью соседнего дома. Молодое солнышко ласково умыло своими нежаркими лучами вторую половину двора. И эти лучи, бившие в лицо, были приятны. Приятно было слышать и неистовую суетню воробьев в мокрой листве лип. Саша стоял, жмурился, думал об отце...

Перед завтраком он деловито обсуждал с матерью, как жить дальше. Он пока не станет поступать в институт, пойдет работать, но не в контору, не в учреждение — в колхоз... Только в колхоз. Незачем и считать, какой оклад у помощника бухгалтера в маслопроме. Отец ведь говорил: «Не гонись за длинным рублем».

Мать во время обеда еще нет-нет да и заливалась слезами — не могла привыкнуть к пустовавшему стулу отца. Саша привык быстрее ее.

Но каждое слово, когда-то сказанное отцом, стало для него святым законом.

Сейчас вот Игнат Егорович расспрашивал: зачем в колхоз, почему не в институт? А как ему объяснишь? Разве поймет?

Свернули с шоссе. Задев свесившейся из пролетки ногой за придорожные кусты, Саша сидел притихший около Игната, боялся, что тот снова начнет разговор. Но председатель молчал, погонял лошадь и с опаской поглядывал на небо.

А на небо из-за леса выползала, лениво разворачивалась туча. Вечернее солнце освещало ее снизу, туча местами казалась медно-красной, от этого еще более грозной. Далекий черный лес с одного конца начал исчезать, словно таял, растворялся в мутно-белесом воздухе.

— Эх! Не успели до дождя, — досадливо крикнул Игнат.

— Может, успеем...

— Нет уж... — Игнат опустил вожжи.

Откуда-то из-за полуприкрытого дождем леса выкатился глухой гром. Лошадь, сторожко поводя ушами, пошла шагом. Беспокойно и весело заговорила трава. Листья на кустах сначала лишь встряхивались поодиночке, но вот ветер налетел на кусты, обнял их, рванул, перемешал.

Спина лошади потемнела. Минута-две — и уж не веселый ропот, а сплошной, ровный, деловито сосредоточенный шум, все разрастаясь и разрастаясь, стоял над лугом. Дождь переходил в ливень.

Игнат с озабоченным видом стал ощупывать на груди свою гимнастерку. Вдруг он стащил с головы кепку, прижал к сердцу и так и остался сидеть, придерживая одной рукой вожжи, другой — кепку на груди, досадливо поглядывая на темное низкое небо. Ливень хлестал по его блестящему черепу.

— Что с вами? — беспокойно спросил Саша. — Сердцу плохо?

— Нет, сердце у меня бычьё... В гимнастерке выехал, а в кармане — партбилет. Боюсь, размокнет. Уж пусть лучше макушку прополощет.

Рука Саши невольно потянулась к карману пиджака — там тоже лежал комсомольский билет. И почему-то в эту минуту он почувствовал к этому человеку близость и теплую благодарность: чем-то Игнат напомнил отца.

Дождь лил. Лошадь, пошевеливая глянцево-крупом, бодро шла. Игнат и Саша сидели в мокрой, прилипшей к телу одежде, прижимая к груди один измятую кепку, другой — ладонь.

## 6

Жена Игната, под стать мужу, полная, высокая, с широким румяным лицом, смутила Сашу.

— Какой гостюшко у нас молодой! — весело всплеснула она руками. — Игнат-то все приводил себе в ровню — и лысых и усатых, как есть подержанных. Да ты женихом, гляди, будешь. Вон сколько у нас невест. Выбирай любую, пока не поздно.

Саша, краснея, неловко усаживался за стол, косился на дочерей Игната. До невест им далеко — старшей лет тринадцать, помогает матери, мелькая длинными загорелыми ногами, бегают, стрельнула глазами, скрылась в погребе; средняя, верно, первый год ходила в школу, стесняется, прячется в углу, а за спиной, должно быть, кукла; младшей и вовсе года четыре, исподлобья, серьезно изучает «жениха». За столом раньше гостя уселся — подбородок на столешнице — сын, толстый, румяный, лобастый, ни дать ни взять — второй Игнат Егорович, только раз в шесть помельче.

— Угощайся,— пригласил Игнат, шумно влезая за стол,— и прислушивайся. О деле поговорим.

Придвинув Саше миску с картошкой, соленые огурцы, он начал внушительно:

— Ты для меня такой, какой есть сейчас — невелика находка. Пара рук, да и руки у тебя еще жиденькие, неумелые. Не так руки мне твои нужны, как голова. Зря, что ли, тебя десять лет в школе учили? Ешь... Есть да слушать — и в одно время можно... В колхоз я тебя возьму с радостью, но поставлю условие. В этом году ты должен поступить в институт. Мы теперь с тобой одного поля ягоды. Ты кончил десятилетку, и я тоже. Вот давай вместе подавать на заочное, будем сообща к науке пробиваться. Идет?..

Саша, распрямившись над тарелкой, смотрел на Игната остановившимися глазами. Ну конечно! Он этого и хотел, только думал иначе — институт не сразу, поработает с годик, освоится, а уж потом и на заочное... Тут вот как! Плохо ли — с ходу, не задерживаясь... В ответ он лишь молча кивнул головой.

Но Игнат Егорович, видимо, понял все, мягко усмехнулся.

— Ешь, картошка остынет... Завтра поговорю с членами правления, определим тебя на место. Нам надо толкового агронома-луговода. Привыкли про траву думать, что это добро даровое, господь сам ее растит. Без труда да рыбку из пруда...

— Сразу и на такое место?

— Не сразу. Оплачивать пока будем не как специалисту — поменьше. Много требовать не станем. Первое время приглядывайся, книжки по этой науке почитывай, в институт готовься. А бригадир пошлет — сходишь, поработаешь... Да не смущайся, не из милости тебя устраиваю, свою выгоду провожу. Будешь работать, будешь учиться — через четыре года или там через пять полный специалист, и книжник, и практик — то, что нужно, — под нашим доглядом вырастет. Может, в чем и прогадаем на первых порах, зато в будущем наверстается. Согласен?

— Да.

— А теперь ешь... Как там, мать, самовар не готов?

Спать Сашу устроили за занавеской, на маленькой, не по росту, тесной кровати. Саша не мог заснуть. Лежал, закинув руки за голову, прислушивался к тому, как затихала жизнь в новом, незнакомом для него доме.

Где-то в маленьком углу старшая дочь Игната Егоровича пела тоненьким голосом, укачивая братишку:

...Прилетели гулюшки,  
Стали гули ворковать...

Попела и затихла.

Скрипя половицами, ходила по комнате мать, осторожно гремела мисками и ложками. Спросила вполголоса мужа:

— Прихватило дождем сено-то?

— Немного.

— Долго-то не засиживайся. И так каждую ночь не высыпаясь.

Зевнула, ушла, и где-то в той стороне, откуда четверть часа назад доносилась песня дочери, застонала кровать.

Наступила тишина, только через одинаковые промежутки времени слышался шелест переворачиваемых страниц — Игнат Егорович читал.

Когда-то в детстве Саша мечтал стать военным, носить ремень через плечо, пистолет на боку, ордена на груди. Чуть позднее, когда начитался книг о приключениях, решил стать капитаном дальнего плавания: стоять по утрам на мостике, глядеть на пустынное море, ждать незнакомого берега — удивительные города, чужой народ, незнакомая речь...

Решал дома задачки по математике, сидел на уроках, бегал сломя голову по школьным коридорам, играл в лапту — жил, как и все ребята, как и все, от жизни ждал решения только одного вопроса: «Кем буду?»

Эти два коротеньких слова имели волшебную силу. Ведь все его восемнадцать лет прошли только ради них.

Кем буду?.. Неужели сегодня, сейчас, тут вот вечером, так просто решился этот вопрос? Не военный, увешанный орденами, не капитан, обожженный тропическим солнцем, а простой агроном.

«Пусть... Отец был бы доволен».

Саша не успел заснуть — в окно раздался негромкий стук. Заскрипели половицы под тяжелыми шагами, Игнат Егорович вышел за дверь. В сенях слышались приглушенные голоса.

— Тихо, тихо, не буди... Что-нибудь подкинь на лавку. Переночую — утром в село...

Голос позднего гостя, вошедшего в избу, был знаком Саше.

— Ты откуда, Павел? — спросил Игнат.

Саша догадался, что это Мансуров, из райкома, он иногда заходил к ним при отце.

— Откуда?.. Да все оттуда же. По поручению бюро пришлось прокатиться в Сташинский сельсовет. Проверять готовность к сеноуборке. Под дождь попал, промок до нитки и высохнуть уже успел... — Гость стукнул снятыми сапогами, не переставая недовольно ворчать: — Старика бухгалтера Фомичева из госбанка в толкачи записали. Комелевские порядочки никак не выдохнутся...

Саша насторожился. Тон, которым были произнесены последние слова, не обещал ничего хорошего. Саша ждал, что Игнат

Егорович возразит, обидится за отца — он честный человек, должен возразить, — но он не возразил.

— А что ж ты хотел от Баева? — произнес Игнат Егорович тихо. — Одна выучка. Комелев-то хоть с крепким характером был мужик. Сравнить с ним — такие Баевы жидко замешаны.

— По-старому рассылаем толкачей. Только для стеснительности вывески меняем. До Комелева звали — уполномоченные, при Комелеве скромненько — представители, нынче еще красивее — политинформаторы. Худые штаны как ни выворачивай — дыры останутся. Над каждым председателем, почитай, по толкачу сидит. Погоняют... Ты куда думаешь меня положить?

— Возьми лампу, посвети мне. В сенях постель достану.

Свет за занавеской исчез. Саша лежал, боясь пошевелиться. Где-то под печкой боязливо заскреблась мышь. У порога в бадью из рукомойника капала вода, каждая капля — легкое всхлипывание.

И раньше от отца приходилось слышать, что в районе трудная жизнь, полно непорядков, но Саша и подумать не мог, что в этих непорядках повинен он, отец!

Пригоршня земли, взятая из-под плуга; непривычно мягкое, чутьчку торжественное лицо. Разве это можно забыть?

Суровый взгляд, дрогнувший голос: «Над бедой не смеются...»

А его «на красивой земле красивая жизнь»!

Вот он каков, отец! Как они смеют? Разве они лучше знают его? Со стороны глядели. Раз-два рассудили, просто и быстро.

Саша сжимал кулаки и всем телом каменел от ненависти.

Робко скреблась мышь, размеренно всхлипывали падающие капли. Спал дом, кругом — полный покой... Да не приснилось ли все это? Один голос слегка раздраженный, голос уставшего человека, другой — спокойный, деловитый. Не могло этого быть, не могли так говорить!

Толчок в дверь снаружи показался оглушительным. Разом смолкла мышь, в шуме входивших людей затерялся звук падающих капель.

По занавеске проползли тени. Зашуршала раскинутая на лавке постель.

Саша, задохнувшись от волнения, приготовился слушать.

На этот раз, продолжая разговор, проходивший в сенях, заговорил вполголоса Игнат Егорович, и, кажется, он защищал отца.

— Человеческие качества?.. Да в них ли дело? Комелев, слава тебе господи, имел эти качества, не пожалуешься. Честный, прямой... За то, чтоб хорошее людям сделать, на все готов, хоть с любого обрыва в воду... Плохо, если руководитель не имеет этих человеческих качеств, но этого, брат, мало.

— Общие слова.

— Вот послушай... Спускают из министерства, из самой Москвы, план. Ну, скажем, посеять столько-то озимой пшеницы. В области прикидывают по районам. В районе — по колхозам. Попадет этот план наконец к нам, то есть к тем людям, которые эту пшеницу сеять должны. А мы видим — климат не тот, земля неподходящая, такая пшеница у нас никак не может расти. Что я должен сделать? Быстро сообщить: так и так, разрешите поправку в план. Хороший руководитель эту поправку быстро поймет, подхватит, дальше передаст, чтоб путаницы не было. Плохой — упрется, начальству-де не возражают. Хороший руководитель на две стороны слышит. Плохой туг на одно ухо: что сверху прикажут — на лету схватит, что снизу посоветуют — не доходит. Вот оно, качество-то... Тем и плох Комелев, что, как ручей по весне, все в одну сторону нес — сверху вниз. Людей любил, добра им желал, а не доверял. Часто случается — кого любят, тому не доверяют.

Зашуршала постель — должно быть, гость укладывался спать.

— А скажи, — подал голос Мансуров. — Вот если бы тебя спросили, что мешает подняться району? Вопрос огромный, даже слишком общий... Ты бы сумел хоть что-нибудь посоветовать? А?..

С минуту молчали. На другой половине избы заворочался, всплакнул во сне ребенок.

— Да, — произнес Игнат Егорович, — что-нибудь сказать смог бы. И это что-нибудь, как умею, пробую делать у себя в колхозе.

— Интересно. — Шуршание постели затихло, гость прислушался.

— Я бы перетряс планы, которые к нам приходят из области.

— А точнее?..

— Наши места созданы для того, чтоб молоко рекой от нас текло. Заливные луга какие! А суходолы!.. Да наши суходолы стоят южных заливных лугов. На траве — молочный скот, на картошке свиноводство да еще лен. Вот наш талант. А район наш считают зерновым, долбят планами: сейте хлеб, сейте хлеб! Он не растет, гибнет осенью от дождей... Уж и так скота-то держим — надо бы меньше, да некуда, но и его прокормить не в силах. А отава — какое богатство! — гниет, попадает под снег. Да при желании мы бы вдвое, втрое скота кормить могли! Талантами земли не пользуемся: Верим не своему глазу, не совету колхозника, а бумажке, пришедшей сверху. Планы перетряхнуть — вот бы что я подсказал нашим руководителям. Да и подсказывал Комелеву. Он слушал, иногда молчал, иногда возражал: «Так-то, мол, так, да план корежить нельзя».

— Драться за это надо, — задумчиво проговорил Павел Мансуров.

— Да, надо... Только вот бить не знаешь кого. Иногда на собраниях размахнешься — хлоп! Глянь — в воздух попал. Нет противника. Никто не виноват.

— Надо драться...

На этом разговор кончился.

Поскрипывая половицами, Игнат ушел на свою половину. Второй раз застонала кровать — лег к жене.

Саша, расслабленный, разбитый, глядел в темный потолок.

«Как ручей по весне, все в одну сторону нес... Людям не доверял... Подсказывали ему... Неужели все это правда?.. Ложь! Не может быть!.. А какой смысл им лгать? А вдруг обидел их чем отец? Обиды-то не слышалось в их голосе... Драться надо... С кем? Если б жил отец, то с отцом! Да что же это такое?!»

Боясь пошевелиться, холодея от одной мысли, что его могут услышать и догадаться, что он не спал, Саша заплакал. К ушам, щекоча их, потекли слезы. Чтоб не всхлипнуть, не застонать, он до хруста сжимал зубы. Кровь размеренно била в виски: «Отец! Отец! Отец!..»

Даже когда хоронили отца, не было так тяжело Саше. Отец умер, исчез, но осталось после него самое хорошее — память о нем. Теперь нужно хоронить последнее — эту хорошую память. Ничего не осталось! Жил — и нету, нечем вспомнить. Невозможно это! Нельзя согласиться! Страшно! Быть ничего не может страшнее!

Тупо стучала кровь. Саша глотал слезы.

А за занавеской шуршал на тюфяке, набитом сеном, Павел Мансуров. Несколько раз чиркал спичкой, закуривал, освещал занавеску. Ему тоже не спалось, он тоже был чем-то обеспокоен.

Только из другой половины доносилось негромкое размеренное похрапывание хозяина. Он сразу уснул, он спокоен.

Это похрапывание вызывало у Саши неприязнь, почти ненависть. «Спит... Что ему... Не буду у него работать... Уйду...»

## 7

Первый намек старости не в седых волосах, не в лишней морщине на лбу, не в одышке после крутой лестницы, а в том, что человек начинает оглядываться на свое прошлое, иной с огорчением и тоской — потеряно время, другой с равнодушием — жил, как все, ни за что не стыдно, третий с удовлетворением — не попусту топтал землю, оставил след.

Павлу Мансурову тридцать пять лет, в черных кудрях еще не пробился первый серебряный волос, и неизвестно, скоро ли

пробьется; правда, смуглый лоб тронули морщины; но легко, да и что за беда — лишняя морщина на мужском лице. Мансуров выпослив, крепок, его сильное тело порой начинает тосковать за канцелярским столом... Далеко до старости!

Но последнее время Павел все чаще, все тревожнее оглядывался на свое прошлое. Тридцать пять! Половина жизни, если не больше. А что он сделал, что оставил людям?..

Случайный ночной разговор с Игнатом растревожил Павла. Этот разговор напомнил ему другой.

Как-то недавно он с главным агрономом МТС Трофимом Чистотеловым ходил по бригадам одного колхоза, разбросанным по лесам и перелесочкам.

День был серый — низкое небо, влажный воздух. Но по кустам и деревьям суетливо прыгали птицы. Птицы не затанцовали — значит, дождя не будет.

Чистотелов, могучий старик с дубленным морщинистым лицом, коротко остриженной седой головой, был довольно тяжелым спутником. Высокий, прямой, шагает, как машина. Павел не из слабеньких, в армии привык к переходам, а приходилось поспевать по-мальчишески, вприпрыжку. Старик отмеривает шажище за шажищем, сурово посапывает и молчит, только изредка оглянется, двинет сверху вниз жесткими бровями (считай — улыбнулся) и спросит, нажимая на «о»:

— Уморился, милушко?.. То-то, с непривычки. Что для агронома самое важное? Голова, думаешь?.. Нет, но-оги.

И снова надолго замолчит, снова поспевай за ним.

Пробежали километров пятнадцать, исколесили поля, обделали все дела, до вечера еще далеко, а уж возвращались обратно.

Лесная дорожка с чуть приметным колесным следом вынырнула из сосняка, закружилась среди кустов дикой малины. Вот упавшая ель — ржавые высохшие ветви опутала трава, вот широкий пенек — в выгнувшей сердцевине, как в чашке, темная вода, не высохшая после вчерашнего дождя. А там будет спуск, поле, от него километров пять и деревня — можно отдохнуть.

Они вышли к спуску и остановились... Павел удивленно оглянулся на агронома:

— Та ли дорога? Не заблудились ли, Трофим Саввич?

Остановился и Чистотелов, гмыкнул неопределенно, уставился вперед: озеро!

Они утром проходили здесь — никакого озера не было, и даже ни речки, ни лужицы. Теперь же впереди тускло-голубоватая вода покойно лежала под облачным небом.

— Отмахали!.. Где же мы? — Павел с усталости почувствовал раздражение.

Но Чистотелов дернул бровями и уверенно зашагал к озеру.

Странное озеро... Павел шел и пристально вглядывался. Берега у него плоские, ровные и прямые, невысокий кустик, торчащий в дальнем углу, не отражается в воде...

И, только подойдя ближе, Павел не удержался и негромко ахнул. Какое там озеро! Нет его! Нет воды. Это лен... Обычное поле льна, они и утром проходили мимо него.

Лен уже начинал отцветать. Его цветочки потеряли свою голубизну, были слегка блеклыми. Потому-то издали они и походили на воду, разлившуюся под низким облачным небом.

— Черт возьми! — удивился Павел. — Один я, пожалуй бы, оглобли назад повернул. Озеро и озеро — полное впечатление.

— Ленок! — Чистотелов ласково вырвал несколько мягких стебельков. — Густо он у них здесь поднялся, да низковат...

И молчаливый старик вдруг разговорился.

— Откуда у нас хорошему льну быть? — забубнил он. — Удивляться приходится, как он еще до сих пор не выродился. Вот пшеница, на что она у нас плохо приживается, а сеем и знаем, что за сорт, какие качества. Таблички даже по полям расставляем — тут, мол, такая-то и такая-то. А лен у нас без имени, без отчества. Одно знаем — долгунец. А долгунца-то около десяти сортов насчитывается. Спроси меня, что это за сорт. Не скажу. Так какой-то, безродный. И не долгунец... Прежде начнешь вешать лен на изгородь, до земли головками достает. Коршуновские холсты славились, из Москвы к нам купцы наезжали. Нас за лен государство озолотить может. За лен нам и пшеницу дадут, и деньги. А мы ко льну задом. От счастья своего отворачиваемся...

Павел, поспевая за стариком, удивлялся горечи и обиде, которые слышались в словах агронома.

— Что ж молчишь? Ставь вопрос.

— Молчу?.. Да я кричал, кричал, охрип от крика. Видать, стенку горохом не прошибешь. Вот у меня в столе лежат рядышком два документа: один — благодарность райисполкома колхозу имени Первого мая за перевыполнение плана по сдаче льнотресты, другой — решение того же райисполкома, где этот колхоз вместе с председателем Костей Зайцевым разносится в пух и прах за нарушение плана сева — недосеял ячменя и пшеницы, пересеял лишка льна. Одной рукой тянут ко льну, другой — отталкивают. Вот как у нас, а ты говоришь — не кричал.

Вспомнивая этот разговор, Павел долго ворочался на жестком матраце в доме Игната.

Дело не во льне — в большем.

В моторе машины можно иногда услышать глуховатый стук. Неопытному человеку этот стук ничего не говорит. У механика он вызовет тревогу: стучат подшипники коленчатого вала! Если вовремя не остановить мотор, не подтянуть подшипники, мотор

выйдет из строя, ставь тогда машину на капитальный ремонт. Глуховатый стук — сигнал надвигающейся беды.

Хиреющий лен в исконно льноводческих местах — такой же сигнал беды: жизнь Коршуновского района идет неправильно.

К этому сигналу не прислушиваются, его не замечают, молчат. Почему?

Министерство спускает планы области, область — районам, район — колхозам, крутится колесо, работает налаженная машина, попробуй поправить ее движение — опасно, вдруг да обломает руки!..

Встал Павел вместе с Игнатом. Ушел, отказавшись от завтрака. На пути к дому сделал крюк, заглянул в МТС, встретился с Чистотеловым, попросил у него те два документа, о которых рассказывал ему агроном. Документы, оба подписанные одним лицом — председателем райисполкома Сутолоковым, действительно противоречили, били один другой.

Щекастый парень Петя Силин, секретарь-машинистка МТС, снял для Павла копии.

Дома Павел взял первую подвернувшуюся под руку пустую папку. Это была обычная папка — такие сотнями выпускала местная артель инвалидов, — на лицевой корке казенная надпись: «Дело №...», уже старая, потертая, завязки чернильного цвета вылиняли и почти не пачкали рук. В эту-то папку и положил Павел копии.

## 8

Саша забылся утром, спал всего несколько часов, и они унесли его домой. Снился живой и здоровый отец, качающий на коленке Лену, но распевающий почему-то не о привычном дядюшке Егоре, в онучках новых, лапотках кленовых, а громко, как репродуктор, что висит в углу комнаты: «Теперь я турок, не казак...»

Проснулся — действительно поет радио. С удивлением огляделся: куда попал? Желтый дощатый потолок, ситцевая, прозрачная от старости занавесочка, тесная, не по росту, кровать — не дома! И в ту же секунду вспомнил: ночь, два голоса, негромкие, спокойные... Саша вскочил, затравленно озираясь, стал одеваться: «Уйду! Уйду! Сейчас же! Ни минуты лишней...»

Изба пуста — ни гостя, ни хозяина, только за перегородкой одна из дочерей Игната Егоровича выговаривает братишке:

— Ну, чего кошку слюнями мажешь? Она сама умоется.

У окна, на маленьком столике, — дешевый приемник. Он и поет... Хозяева вышли на минутку, — должно быть, скоро вернутся.

Боясь с кем-либо встретиться, Саша выскочил на крыльцо.

Солнце стояло уже высоко, припекало не по-утреннему, разморенные куры лежали в пыли на дороге. У соседей в хлеву жалобно мычала корова.

А в деревне — ни человека. Дорога, уходящая в поле, пуста. Сейчас по этой дороге до шоссе — пешком, там он остановит машину, попросит шофера довезти и... не вернется. Все! Кончено!

Но одна мысль заставила Сашу остановиться: «Так и уйти, не сказаться?.. Сбежать?.. Нет, надо поговорить с Игнатом Егоровичем. Скажу открыто: слышал, знаю, работать с вами не могу, помощи вашей не надо... Честно и прямо. Пусть тогда упрекнет, что сбежал, как трус».

Саша уселся на ступеньки крыльца — Игнат Егорович мимо своего дома не пройдет, рано или поздно появится.

Из соседнего двора вышла рыжая корова, медлительная, важная, — не поверишь, что минуту назад она мычала жалобно и просяще. За ней, держа на весу хвостину, появилась старуха. Она недовольно ворчала:

— Самим небось заботушки нету... Назаводили животных... Куды, клешнятая! Вот уж-тко опояшу!

Заметив сидящего на крыльце Сашу, подставила козырьком ладонь к глазам, бесцеремонно оглядела, равнодушно отвернулась и забубнила свое:

— Себе-то мясы нарбстила, а чуть что: свекровушка, свекровушка... А свекровушка ворочай. Нет чтоб самой раненько подняться да позаботиться, кобыла необъезженная...

Загребая пыль жилистыми, черными от застаревшего загара ногами, старуха медленно удалялась.

Казалось бы, ничего не случилось: прошла мимо, погоняя корову, незнакомая старуха, взглянула, отвернулась, пробрюзжала свою старушечью беду, а Саше от всего этого вдруг сделалось тяжело до удушья.

Вот он сидит на чужом крыльце, у чужого дома, мимо проходят чужие люди, жалуются на что-то свое... Какое дело этой старухе до того, живет на свете он, Саша Комелев, или не живет, случилось у него горе или нет... Вот крыши деревни с мшистой прозеленью по темному тесу, под каждой — люди, у всех свои радости, свои обиды... За этой деревней — другие деревни, села, где-то далеко стоят города. Велик свет, всюду живут люди, и на всем свете нет никого, кто бы мог помочь Саше. Мать? Сестры? Да они сами ждут от него помощи. Велик свет, а ты один! Как хочешь, сам устраивайся.

— Долго спишь. Не по-нашему!

Саша вздрогнул.

Откинув калитку ногой, шагнул во двор Игнат в белой, просторной, еще не обмятой после глаженья рубашке, широкий, крас-

нолицый, радостный. С жестким хрустом вдавливая сапогами песок дорожки, подошел, протянул руку:

— Пойдем чай пить да на луга... Все углы мы с тобой сегодня облазаем.

И Саша, отвернувшись, против желания пожал твердую ладонь.

— Хочу поговорить я...

— За чаем все обсудим.

— Нет, здесь... Не буду я у вас работать. Уйду.

Игнат уставился с добродушным интересом.

— Откуда такая резвость — вчера напросился, а сегодня — уйду? Круто прыгаешь, парень.

— Я все слышал... ночью... как вы говорили... про отца...

Веки Игната с короткими, редкими остянками ресниц разом смахнули добродушие; без того крошечные зрачки сузились еще сильнее — острые, твердые, серьезные, с иголочный прокол. У Саши навернулись на глаза слезы — так не хотелось отводить взгляд и так трудно выстоять против этих зрачков.

— Значит, не спал... — произнес задумчиво Игнат. — Что ж, знал бы, пригласил бы и тебя. Разговор-то мужской был. — Он положил широкую теплую ладонь на узкое плечо Саши. — Обижаться тут нечего...

Но Саша сердито отвел плечо.

— Уйдешь — силой не держу. Иди! Только запомни: первый шаг в жизни делаешь, самый первый — и уж от правды бегаешь. Поостерегись! Не получится настоящего человека. Иди, коли так. Пожалее да руками разведу, что мне остается делать?

Его не держали, ему сказали — иди. И надо бы повернуться, кинуть через плечо: «Прощайте...» Но Саша не двигался, склонив голову, уставившись в сапоги Игната.

«Ог правды бегаешь...» Невозможно молча уйти от таких слов. Надо возразить! А как?..

Остаться надо. Не навсегда — на время. Приглядеться, доказать, тогда уйти...

Высокий, грузный Игнат шагал размашисто, легко, вольно. День председателя колхоза большей частью проходит на ногах. Сейчас день только начинался, вся усталость еще впереди, идти пока что наслаждение. Саша «попал в ногу», и ему невольно передалась упругость председательского шага.

Перед полуднем хотя и не на шутку припекает солнце, но воздух хранит остатки утренней свежести — жара не утомительна. Ветерок слаб, но чувствуется. В тихое, как глубокие вздохи спящего, шелестящее качание еще не налившихся колосьев впе-

тается суетливое, вороватое шуршание — то в гуще хлебов снуют перепела. Низко над придорожной примятой травкой летают тяжелые шмели. Гудят недовольно, натужно, обрывают полет на самой сердитой ноте, впиваются в цветок по-хозяйски грубо, свирепо. Похоже — добывать себе пропитание они считают проклятием и за это вымещают свою злобу на цветах.

И гудение шмелей, и шелест задевающих друг друга колосьев, и вороватая жизнь невидимок-перепелов при быстрой ходьбе не замечаются по отдельности. Но все вместе создает ощущение налаженности жизни, какой-то добротности окружающего мира.

Если ты просто спокоен, у тебя в такие минуты рождается неясная, тихая радость. Ей нет другого объяснения, как: «Хорошо жить на свете!» — и только.

Если же душу разъедает беспокойство, то безотчетное любопытство к окружающему затушит его, вызовет покой.

Саша шагал, и с каждым шагом все легче становилось на душе, все меньше мучила обида за отца. С каждым шагом, казалось, он уходил дальше и дальше от страшного ночного разговора.

Игнат обернулся, распаренный, радостный, оживленно кивнул на высокую гору, снизу обросшую темными елями, выше — осинником, задичавшей черемухой, еще выше — курчавым кустарником. А над всем этим — плоское, лысое темя.

— Хочешь — взберемся? Оглядишь для начала колхоз сверху. Поймешь, что к чему. А там спустимся прямо на Ржавинские луга.

Гора называлась Городище. О ней ходят по деревням поверья. Когда-то (точно никто не знает — когда, все уверяют лишь — очень давно) на лесные земли села Коршунова налетели враги. Были ли то татары или разгулялась воинственная чужь — опять никому не известно. Мужики из окрестных деревень выбрали самое высокое место, обнесли его бревенчатым частоколом и встретили пришельцев камнями, смолой, горящими бревнами. Рассказывают: доходило дело и до рогатин. Враги ушли, а на том месте, где они были отбиты, построили сторожевой городок.

Теперь здесь пни, кустарник да рыжая, выгоревшая на солнце трава. От самого городка не осталось никаких следов. Гора приняла его название и его славу.

Направо с нее видно ныряющее в зелень перелесков шоссе — самая бойкая дорога в районе. Она соединяет Коршуново со станцией, она ведет к лесокомбинату, она уходит в глубь соседнего Шумаковского района. И пыльные наезженные проселки, и луговые, поросшие одуванчиками и желтыми ноготками тропинки — все они, как речки и ручейки к большой реке, изгибаясь и вилия, тянутся к ней, к дороге, уставленной столбами

электроллий. Там ночью и днем не затихает грохот моторов. Идут трехтонные «ЗИСы», тащат на себе бревна лесовозы, сверкая стеклом и лаком, визгливо покрикивая на нерасторопные грузовики, мчатся «победы».

Шоссе — одна из границ колхоза «Труженик».

Налево, за начинающими белеть полями ржи, за сермяжно-коричневыми парами, за крышами деревень Старое и Новое Раменье, виден лес. Среди него в темной хвое с трудом можно различить плешинку. Там тоже поля и тоже стоит деревня. Она так и называется — Большой Лес. А еще дальше за этой деревней — лесные покосы. «Сахалин» — прозваны они за свою удаленность. Среди моховых кочек, близ мочажин, поросших осой, стоят там окопанные столбики...

И это граница колхоза...

Велики земли «Труженика». С одной стороны столбы электроллий, круглые сутки грохот машин, с другой... Были случаи, когда выпущенную на отаву корову находили в чаще, забросанную дерновиной и мхом. Ее задирали медведь и оставлял, чтоб наведаться на недельке, когда мясо будет уже «с душком».

Игнат в своей белой, трепещущей на ветру рубашке стоял, прочно вдавив в сухую траву широко расставленные толстые ноги, выставив грудь и живот, курил, а ветер срывал с его губ слова и затяжки дыма. Он не спеша объяснял Саше свое раскинувшееся хозяйство.

Выщипанные перелесочки, по полям песенные березки-одиночки, сбившиеся в тесные кучи черные ели и просторы, просторы — синие, туманные, неясные... Для них даже этот прозрачный воздух слишком густ, глаз с трудом пробивает его необъятную толщу.

Высота всегда опьяняет, бесконечность всегда тревожит, и не понять себя — хочется или покорно, тихо заплакать, или взбунтоваться, прокричать так, чтоб встряхнуть дремотный покой...

Игнат Егорович, должно быть, привык к этому. Он вдавил каблучком в землю окурочек и закончил буднично:

— Вот хозяйство. Здесь и будешь работать.

Когда-то село Коршуново славилось как «купеческая крепость». Нынче только старики помнят пять всегильдейших фамилий — Шубиных, Ряповых, Бахваловых, Безносовых и Костюковых. Эти пять семей торговали лесом, холстами, кожей, дегтем, и каждый хозяин, разбухая мошной, следовал раз навсегда установленному порядку. Сперва выстраивал тяжелые, как одноэтажные остроги, лабазы, потом — двухэтажный кирпичный особ-

няк, украшенный по фасаду подслеповатыми оконцами, каменными кренделями и завитушками во вкусе хозяина, и, наконец, приносил благодарность богу. Но и тут хозяин оставался самим собой. «Молиться? Где? В церкви, что Митька Ряпов построил? Аль мы, Бахваловы, рылом не вышли? Аль мы богом обижены? Свою заворотим почище Митькиной!» Вот потому-то в небольшом селе Коршуново имелись одна приходская школа и пять церквей.

Давным-давно Коршуново потеряло свою прежнюю славу и как-то не приобрело новой. Такое же волостное село Шумаково за это время выросло, стало хоть и маленьким, но городом. Около него выстроен лесокombинат. А вовсе неприметная прежде деревня Пташинки (в сторону от Шумакова) стала узловой железнодорожной станцией. Коршуново же осталось всегo-навсего центром сельскохозяйственного района, самого неприметного среди всех районов области.

По утрам в Коршунове с первым грузовиком, поднимающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покрикивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днем около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роще играл доброволец баянист, молодежь танцевала или же парочками искала темные закоулки. Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие, — засучив рукава нательных рубах, трудились в поте лица — окучивали картошку.

Незнакомых в селе не было. Каждый из жителей знал всех, все знали его. Если у Марьи Филипповны, что живет на южном конце села, коза «от неумного характера» ломала себе ногу или же поросенок разрывал грядки с морковью, то эти события сразу становились известными на северном конце Авдотье Поликарповне.

Вообще жили тихо, мирно, по-соседски, слушали последние известия, любили поговорить друг с другом о чем-нибудь далеком, например о водородной бомбе или же об отставке Мосаддыка.

Павел Мансуров жизнь свою прожил беспокойно. Офицером поколесил по Европе — был в Будапеште, Праге, Вене. Случалось, как говорится, смотреть и смерти в глаза. Впрочем, этим в наше время никого не удивишь.

Коршуновский район был родиной его жены. Он приехал с ней сюда после демобилизации.

В райкоме никто лучше его не мог провести семинар о прибавочной стоимости. Даже покойный Комелев немного любавался начитанного заведомом пропаганды,

Коршуновская жизнь была для Мансурова тяжела: тихо, сонно, даже чрезвычайные происшествия, вызывающие бесконечные разговоры и пересуды, как-то очень обыденны — в райпотребсоюзе раскрыли растрату, пять человек попало под суд; на перестройку Дома культуры отпущено около ста тысяч, будет пристроено крыло — новый кинозал с буфетом.

И работа Павла не радовала. Кажется, агитация и пропаганда — лекции, политическая учеба, выступление самодеятельности — дело живое, но вокруг этого был какой-то бумажный круговорот: тематические планы, инструкции по культурно-массовым мероприятиям, инструкции по семинарам — от одних названий мозг сохнет. А пособия? Что может быть скучнее «Блокнота агитатора», этой универсальной шпаргалки всех районных пропагандистов.

Сидя в своем кабинете перед дешевым плеоигласовым чернильным прибором, Павел часто думал: «Где-то люди строят каналы, электростанции на миллионы киловатт... Живут! А тут в прошлом месяце — отчет о работе семинаров, в этом — отчет о работе лекторской группы. Никуда не уйдешь».

Павел был твердо убежден, что только одно может изменить его жизнь: оставить Коршуново, уехать — в Заполярье, на целинные земли, куда-нибудь подальше.

И вот случилось неожиданное. Павел Мансуров продолжал жить в селе, работал на прежнем месте, но уже не испытывал тягостной скуки. Тишина и безмятежный покой села перестали его удручать.

За три года работы в Коршуновском районе он много видел разных оплошностей, подчас грубых ошибок. Почему-то казалось, что не он, а кто-то другой, всесильный, должен заметить эти беспорядки, исправить, наладить, перетряхнуть жизнь коршуновцев. Он ждал этого, иногда ворчал: «И чего только смотрят там?..» Словно там сидели не обычные люди, а прозорливцы, наделенные могущественными способностями видеть через сотни километров недостатки и росчерком пера исправлять их.

И вот в ту ночь Игнат сказал ему: я вижу больше, что делается вокруг меня, чем те, кто наверху, я хочу подсказать им, помочь, научить, хочу сам исправить и пробую это делать, только силы маловато, только голос слаб, не могу крикнуть так, чтобы услышали.

И Павел Мансуров решился: «Я крикну, чтоб услышали! Смогу! Хватит сил!»

Игнат Гмызин признался: бить — не знаю кого, размахнешься — хлоп! — глядь, в воздух попал.

Павел найдет виновных.

Он будет бросать правду в глаза! Бороться за правду — зна-

чит бороться за счастье! Тут не может быть ошибки. Правды, приносящей людям несчастье, не существует.

Он, как и прежде, ездил по колхозам, заглядывал в МТС, разговаривал, но теперь в каждом разговоре ловил все, что казалось ему нужным. А потом рылся в отчетах, наводил справки, записывал...

Иногда он сам поражался своим открытиям.

Однажды он увидел обычную на коршуновских дорогах картину. В овражке, вдавив в болотистое дно жидкий настил мостика, печально мок под дождем комбайн. Земля вокруг него была взрыта, из-под колес торчали невынутые следи: видно, долго возились комбайнеры, но крепко села тяжелая машина. И комбайнеры разошлись — пришлют тягач, вытянет.

После этого случая Павел стал узнавать в МТС, во что обходятся простои по вине дорог, текущий и капитальный ремонт машин, такие мелочи, как подброска тягачей, перерасход горючего... По самому грубому подсчету, во всех трех МТС только за три последних года убытки из-за бездорожья составили миллионы рублей. Не сотни тысяч — миллионы! А один километр жердевки, считай только работу (материал бесплатный, растет всюду), обходится около двух тысяч. На эти миллионы можно отремонтировать все дороги района, расширить поля, дать простор комбайнам. Не только три года мучатся МТС от бездорожья и, если не взяться за ум, будут мучиться еще бог знает сколько. Тут уже сотни миллионов государственных рублей могут вылететь на ветер. Неувязка в планировании. Молчать о ней — вредительство!

Но Павел Мансуров не спешил кричать. В свое время он выложит на стол перед секретарем райкома все цифры, все факты, все документы. Пусть попробуют не ответить на них, пусть попробуют отмолчаться, спрятать под сукно. Он, Павел Мансуров, — член партии и будет иметь дело с такими же партийцами. В случае нужды он напомним им партийный устав: «Зажим критики является тяжким злом». На его стороне — закон, на его стороне — сила! Он не Игнат Гмызин, он станет бить не в воздух, а наверняка.

Потертая папка с вылинявшими лиловыми завязками, лежавшая в столе Павла Мансурова, постепенно заполнялась. Впереди борьба! Там, где есть борьба, жизнь становится интересной.

Саша целую неделю не показывался дома. За два дня он научился управлять пароконной косилкой; голый по пояс, в кепке, натянутой на самый нос, разъезжал по лугам. Обгорел на солнце, руки покрылись черными ссадинами (косилка была

старенькая, частенько приходилось возиться с ней), перестал краснеть, когда раменские девчата, устраниваясь обедать, кричали ему:

— Сашенька! Солнышко! Иди к нам в колешки. Охотка поиграть со свеженьким!

Саша жил и столовался у Игната Егоровича. Галина Анисимовна, жена председателя, поила Сашу парным молоком, кормила запеченными в пироги лещами. Спал он в сарае, рядом с копной свежего сена, прямо на полу раскинув твердый тюфячок. По утрам его будили куры. Всегда казалось, что лег минутою назад, не выспался. Всклакивал, накидывал на голые плечи пиджак, бежал по обжигающей босые ноги росяной траве за деревню, к речке.

Желтый обрыв берега весь источен ласточкиными гнездами. Под ним узкая речонка вливается в широкий бочаг. Быстрая, суетливая, шевелящая беспокойно хвостец и осоку, сдвигающая с места на место песчаные наносы, вода здесь, в бочаге, отдыхает, отсыпается, чтобы снова неутомимо бежать дальше. Это Лешачий омут. Днем, даже под быющим в упор солнцем, вода тут черная, без просвета. Под самым берегом двухсаженные шесты не достают дна.

По утрам весь омут покрыт туманом. Туман настолько плотен, что сверху кажется — в широкую чашу Лешачьего омута до половины налито снятое синее молоко. С разбегу бросаешься вниз. Сначала головой пробиваешь туман и только потом попадаешь в воду. Вынырнешь — и, словно в сказке, другой мир: не видно берегов, не видно неба, только льются сверху рассеянные солнечные лучи, таинственные, нездешние. А вода теплая, за ночь не успевает остынуть. Зато когда вылезает, пачкая коленки о глинистый берег, грудь сдавливает от холода, мокрое тело дымит.

За столом, у самовара, Сашу ждет Игнат Егорович. Чай обжигает горло, а Игнат Егорович не торопясь рассуждает с Сашей, почему на заливнои клине Овчинниковского луга в этом году из рук вон плохая трава.

— Я так думаю: водичка вымывает питательные вещества. Навозом бы надо подкармливать.

После чая Саша бежит через деревню к конюшине. Там его вместе с конюхом Лукой, стариком с темной и тусклой, как прокаленный бок печного горшка, лысиной, ждут две лошади — ен-слогубая, только в упряжке сбрасывающая сонливую Люську и большой сластена, ласковый за сахар, гнедой низкорослый меринчик со странной кличкой Пятак.

Хорошо так жить. Работай, уставай, высыпайся, знай — будет выдача на трудодни и тебя не обделят, отвезешь кое-что матери.

Но эту жизнь оборвал Игнат Егорович.

— Пора, нарень, в институт готовиться. Съезди домой, побудь там денек-другой, захвати учебники — да обратно. Днем работать, вечерами вместе сидеть будем. С непривычки, знаю, трудненько, да что ж поделаешь. Ребячье житье кончилось, взрослая пора начинается.

И Саша поехал домой...

Ленка бросилась с порога на шею: «Саша приехал!» Мать, прикрикнув: «Не висни! Не дадут человеку опомниться...» — сморкаясь в платок, сдерживая вздохи, сразу же загремела посудой. Старшая сестренка, Верка, побежала к соседям занимать дрожжи. Даже отца так не встречали из командировок: его приезды и отъезды были привычны. А тут новый хозяин, глава семьи, приезжает первый раз.

И Саша вел себя достойно — потрепал Ленку по волосам, умываясь, с суровой лаской бросил матери: «Особо-то не хлопочи», спокойно выслушал от нее жалобы — подсвинок переборку раскачал, соседи сложили поленницу, она развалилась, сломала изгородь, а исправить не думают... «Нет отца-то, обижай всяк, кому не лень...»

Саша достал топор, пилу, молоток и вышел во двор. Укрепил переборку в хлевушке, поправил изгородь, перекладывал наново соседскую поленницу, начал перекладывать свою... При этом сурово хмурился, делал вид, что не замечает, как на крыльцо их дома заворачивают знакомые женщины. Мать выходит к ним, слушает с размякшим лицом, кивает радостно. Уж известно, что нашептывают: «Удачливая... Не обижена сыном... Хозяйственный...» Стоит ли обращать на них внимание?

Вечером к Саше пришла гостья.

— Здравствуй, Саша! Давно тебя я не видела.

Прямо через низенький заборчик, едва коснувшись его руками, перемахнула Катя Зеленцова и, упруго ступая высокими каблуками туфель по замусоренному щепками двору, приблизилась, протянула руку.

— Поговорить нам нужно.

Саша не торопясь вытер о штаны свои испачканные смолой руки, поздоровался.

Они присели на скамеечку у крыльца.

За много лет до революции в село Коршуново был сослан на поселение один человек — то ли грек, то ли армянин. Одни говорили: возил сукно из Турции, на том и попался, другие уверяли — не сукно, а запретные книжки... Но так или иначе, новый коршуновский житель ни политикой, ни чем-либо другим запретным больше не занимался. Он поставил бревенчатую

избу, где в мороз углы обрастали инеем, взял себе в жены девку из ближайшей деревни, работающую и бедную (кто ж из дома с достатком пойдет за нищего поселенца), пахал землю, наловчился под конец жизни катать валенки, любые, на заказ, — хоть чесанки по ноге чулочком, хоть грубые, на три года без подшива, — наплодил детей и был мирно похоронен на старом коршуновском погосте. Катя по матери шла от этого поселенца. Еще в школе среди шевелюр цвета ржаной соломы, серых глаз, курносых лиц, всего обычного, что вырастает под скупым северным солнышком, она выделялась нездешней броской красотой — эллинка среди коршуновцев.

Густые черные волосы зачесаны назад, открывают небольшой чистый лоб, брови ровные, жесткие, иссиня лоснятся, темный пушок пробегает над переносицей, соединяет их, глаза из-под ресниц влажно блестят, нос с горбинкой, с резко вырезанными ноздрями. Она последнее время немного пугала Сашу.

— Мы в райкоме комсомола посоветовались и решили предложить тебе — работай у нас. Пока будешь заведовать учетом, потом на пионерские дела перебросим...

Катя покровительственно взглянула на Сашу, но тот был равнодушен, даже чуть-чуть нахмурился.

В эту минуту Саша представил себе: что, если бы Игнат Егорович слышал их разговор? Уж сказал бы непременно: «Вылупиться не успел, а уж бросился на заведование».

— Подумай, какие у тебя впереди перспективы, — продолжала не тороясь Катя. — От комсомольской работы прямой путь на партийную. Помнишь Женю Волошину? Она мне комсомольский билет вручала, а теперь в обкоме партии ведущим отделом заведует... Не понимаю, чего ты молчишь. Ведь нет же более благородного, более высокого дела, как служить партии.

— Высокое дело? Это верно... — неохотно заговорил Саша. — Только ты сама портишь его.

— Я тебя не понимаю.

Катя была старше Саши только на год, но считала себя намного взрослее всех своих сверстников. В школе — бессменный секретарь комсомольской организации. Если нужно было от молодежи выступить на торжественном заседании, назначали всегда ее. Сразу же после школы пригласили работать в райкоме комсомола, и не каким-нибудь заведующим учетом, а инструктором. Наверняка ей быть одним из комсомольских секретарей. Не каждому-то так доверяют... А Саша — вчерашний школьник. Вот он сидит, упрямо опустив голову, видна ложбинка на шее, в ней светлая косица волос.

— Не понимаю тебя... — В голосе Кати слышался добрый, снисходительный упрек, словно хочет сказать: «А ну, ну, скажи — почему упрямисься?»

— Что тут не понимать? Говоришь — высокое дело, а предлагаешь его мне, непроверенному человеку.

Катя рассыпалась веселым мелким смехом.

— Милый ты мой Сашенька! Да какой же ты непроверенный! У тебя и проверять нечего. Вот ты весь как на ладони: за границей не бывал, связей — даже с девочками — не имел. Непроверенный!

Саша фыркнул осуждающе:

— Ответила!.. Привыкла мерять анкетой: был ли за границей, имел ли связи?.. Я пять дней назад узнал только, как в косилку лошадей запрягают. Где уж там проверенный! И такого сразу заведовать чем-то.

— Да ты с занозой. Вот не ожидала, — с прежней снисходительностью протянула Катя, но блестящие глаза с любопытством, скрытым интересом разглядывали Сашу. У него из распахнутого ворота мятой рубашки виднелась ключица, мальчишечья, трогательная, но тонкие губы твердо сжаты, взгляд больших светлых глаз открыто прям, смущает... Вот и не заметила, как изменился, — серьезный растет мужчина.

Снисходительный тон и пристальное разглядывание задела Сашу. Он заговорил резко:

— Ты вот станешь секретарем райкома комсомола, пойдешь на курсы — поставят заведующим отделом в райкоме партии, может, до партийного секретаря дорастешь... А такой, как Игнат Егорович Гмызин, есть председатель и останется им. Он-то свой колхоз уж будет знать. Тебе придется ему советы разные давать, учить его, а что ты ему посоветуешь, если даже лошадь толком запрячь не умеешь?..

— Не хочешь — так не хочешь, — решительно произнесла она. — Твоя добрая воля. Давай об этом говорить не будем.

— Верно, не будем, — согласился Саша.

Но говорить им было больше не о чем.

Чистый, как мед, закат потускнел. Куча тесу днем среди поленниц, бочек для поливки огорода, половиков, развешанных на изгороди, была незаметна. Сейчас, в вечернем прохладном воздухе, она объявила о себе всему двору — смолисто запахла.

Исподтишка разглядывая Катю, Саша вспомнил один случай.

Как-то возле школы играли в лапту. Звонок на урок обрывал игру. Все бросились к школьному крыльцу самым близким путем — через выбитую дыру в ограде, ребята впереди, девчата, смеясь и тараторя, сзади. Саша, последний из ребят, уселся в лазе, закрыл собой проход.

«Не пушу! Кругом обежите».

Девчата толкнули его раз-другой в спину, потоптались, кинули без обиды: «Дурак!» — и побежали в обход. Вдруг затыл-

ком, всей спиной Саша почувствовал — к нему подходит Катя. Остановилась, помолчала, приказала:

«Пропусти!»

Саша через плечо взглянул: острый подбородок вскинут, ресницы надменно опущены, в тени под ними, тронутые таинственной влагой, глаза. Уступить — позорно, и сидеть не двигаясь — трудно!

«Пропусти!»

«Не пущу».

«Пропусти!»

И Саша не выдержал... Она прошла, а он покорно, в отдалении, поплелся за ней. Плечи приподняты, походка небрежная, чувствует, конечно, что он глядит ей в спину.

Катя пошевелила плечами:

— Холодно. Я пойду.

Саша распрямылся, приготовился прощаться. Но Катя не двинулась с места.

Еще с минуту сидели молча, вдыхая свежий запах досок.

— Мне пора...

И опять не двинулась.

— Если можно, я провожу...

В сумерках лукаво, таинственно блеснули глаза Кати.

— Наконец-то! Тяжел на догадку.

— Обожди минутку — переоденусь, руки вымою.

Он бросился в дом... Переодеваясь, прятал смущенное лицо от матери.

Луна уперлась подбородком в верхушку старой ливы. В тени по земле были разбросаны лунные зайчики. С лугов время от времени тянул сырой ветерок, и тогда лунная россыпь начинала ленивый хоровод. Один из крупных зайчиков лежал на белой кофточке Кати, как голубая ладошка.

Катя притихла, задумалась.

— Скажи, — она подняла голову, — тебе не кажется иногда, что эта жизнь пока не настоящая?

— В детстве казалось одно время, — ответил Саша не сразу. — Бегал с ребятами, купался, за налимами под коряги лазал, а ночью оставался один и думал: а что, если есть еще какая-то жизнь, непохожая, спрятана в этой? Знаешь, игрушечные матрешки: одну откроешь — в ней другая сидит... Я все ждал: проснусь, а кругом иначе. Река Шора, налимы, грибы в Прислоновском лесу — все было ненастоящее, просто снилось мне. Даже страшно иногда делалось. Говорят, учение такое было, идеалистическое, — ты живешь, а все кругом как сон или что-то в этом роде.

Но Катя покачала головой:

— Я не о том...

— О чем же?

— Вот ты ушел в колхоз, работаешь... Ты думаешь, это и есть начало настоящей жизни?

— А как же? Теперь я в матрешек не верю. Раз кончил школу — значит, жить начал.

— А я вот все жду чего-то большого, задания какого-то особенного или выдумываю — пошлют куда-нибудь. И знаю — обманываю себя, а жду...

— Какое задание?

Катя приблизила к Саше лицо: строгие, в одну линию брови, глаз в темноте не видно, но чувствуется — они блестят под ресницами, блестят решительно, с вызовом.

— Ты не смейся, но мне хочется чего-то головокружительного. Приказала бы партия — умри! Умерла бы!.. Тебе смешно? Наивная девчонка мечтает о подвиге, детство не выдохлось.

— Не смешно, только...

— ...только — пустое все, фантазия. Надо жить, а не мечтать попусту. Верно, Саша, тысячу раз верно! Но это я уже слышала... — Катя неожиданно остыла, вздохнула. — Как мне на целину хотелось уехать...

— Почему же не уехала?

— Думала, думала, и руки опустились. Ну что я умею делать? Я не тракторист, не механик, не комбайнер, даже не прицепщик...

— А комсомольский работник. Там, наверно, они тоже нужны.

— Таких ли комсorghов туда посылают — со стажем, из городов, а я и года еще не работала. Да и ехать за тысячу километров, чтоб опять стать тем же, — какой смысл?

— Тогда надо было выучиться на трактористку.

Домá, уткнувшись окнами в растрепанные палисаднички, дремали вокруг. Их крыши щедро поливала своим светом луна. Телеграфный столб от безделья и одиночества унылым баском пел про себя тягучую песню.

— Я вот тебе позавидовала, — начала Катя после молчания. — Решил уйти в колхоз и пошел, стал учиться запрягать лошадей в косилку. Как подумаю — трактор, выхлопы разные, грязный мазут... Обычное, небольшое... Наверно, нет характера. Честное слово, завидую тебе... Я даже удивилась сегодня про себя: гляди ты какой! — Вдруг, оборвав себя, Катя поспешно сунула руку: — До свидания. Поздно.

Лунный зайчик сорвался с ее груди и затерялся в выводке таких же, как он, разбросанных по траве...

Проскрипела калитка, простучали по сухой тропинке каблучки. Уже из темноты, от дома, она насмешливо крикнула:

— Не загордись смотри! Я, может, все наврала.

Звякнула щеколда, хлопнула дверь.

Саша стоял, окруженный щедро разбросанными лунными пятнами, смотрел в темноту... Он протянул руку вперед, ловил его в темноте, пока лунный зайчик не упал на ладонь.

«Наврала?.. Ой, нет. Слово не воробей...» Шевельнулись ветви дерева, по влажным уже от выступившей росы листьям пробежал тихий шорох, словно очнулось от сна дерево и опять задремало. Зайчик соскользнул с ладони. Саша сконфуженно спрятал руку в карман.

На пустынном шоссе поблескивали отшлифованные автомобильными шинами затылки булыжника. Посреди дороги валялся ржавый железный обод от бочки.

Не с ним ли возился днем напротив их двора Вовка, сынишка райисполкомовской уборщицы Клавдии? Он упрямо сопел, прилаживался, наконец наловчился — обод со звоном и грохотом покатился по булыжнику. Замелькали черные пятки, раздался победный, полный восторга клич.

Саша вспомнил этот клич, взлетающие пятки, черные, как обугленные в костре картошины, и тихо засмеялся.

## 11

В промкомбинате, вспугнув галок, простуженно прокричал гудок.

На усадьбе МТС девять раз ударили в подвешенный к столбу лемех плуга.

С крыльца почты сошел, привычно сутулясь под набитой газетами сумкой, почтальон Кузьмич.

В магазине райпотребсоюза раскрылись двери, и степенная чета: дед, бородка клинышком лисьего цвета, старуха с везделивым взглядом, прибывшие спозаранок из деревни Прислон или Сухаревка, с пристрастием стали ощупывать выброшенную на прилавок штуку грубого драпа.

В парикмахерской артели «Красный быт» парикмахер Сударцев, прозванный злыми языками «Тупая Бритва», принимаясь за подбородок заезжего председателя колхоза, начал решать с ним вопрос: какое еще коленце выкинет в Вашингтоне сенатор Маккарти.

Как всегда, в девять утра в селе Коршунове начинался обычный трудовой день.

Павел Мансуров, в свежей сорочке, в отутюженных брюках, заметно праздничный, шагал к райкому, придерживая локтем папку с документами. Почтальон Кузьмич встретил его обыч-

ным: «Газетку прихватите». Учитель Аркадий Максимович Зеленцов, мерявший дощатый тротуар лоснящейся от старости палкой, приподнял над головой соломенную шляпу: «Доброе утро». Вышедший из парикмахерской с отливающим синевой подбородком знакомый председатель из глубинного колхоза остановил его, поговорили о погоде, о пальцевой шестерне, которую никак не выпросишь у МТС.

Привычное до мелочей утро! Люди здороваются с ним, разговаривают о каких-то пальцевых шестернях и не догадываются, что через десять минут он, Павел Мансуров, положит на стол секретаря райкома свою папку. А это ж событие и в их жизни! Здесь, в папке, лежат документы. Они указывают на причины многих недостатков. Раз причины известны, ошибки вскрыты, ничего другого не останется, как исправлять их.

Грохочут расхлябанными бортами грузовики по шоссе. Из открытых окон учреждений слышатся уже стук машинок и громкие голоса, вызывающие по телефону отдаленные сельсоветы:

— Верхнешорье! Верхнешорье!.. Какого рожна Сташино суется? Девушка, скажите, чтоб не мешали!

С недавних пор Павлу Мансурову стал нравиться этот деловитый шум начинающегося дня в Коршунове. Он вдруг почувствовал себя опекуном коршуновцев, и от рожденного скукой недоброжелательства не осталось и следа.

С неделю назад Павел принес свою папку Игнату Гмызину. Тот, уединившись в углу комнаты, принялся читать, время от времени качая головой.

Павел ушел бродить по колхозу. Вернулся через час.

Игнат сидел на прежнем месте, курил, озабоченными глазами встретил Павла. Папка была закрыта.

Павел сел, с тревожным вниманием поглядывая на лицо Игната. А тот, словно нарочно, долго молчал. Открыв снова папку, навесив над ней свою крупную, блестящую голову, листал задумчиво.

Вот Игнат перевернул один за другим три желтых шершавых листка, скрепленных канцелярской скрепкой. Внимательно в них вглядывался. Павел знает — это списки заросших покосов. Внизу третьего листка его, Павла, рукой приписано: «Из этих данных видно, что, если в ближайшие пять лет не будет начата борьба с кустарником, животноводство района окажется в катастрофическом положении».

Из-под руки Игната выскользнула, упала на пол голубая — кусок обложки от ученической тетради — бумажка. Это справка о скоте, который из-за бескормицы нынешней зимой вынуждены были прирезать в некоторых колхозах. Игнат нагнулся, с налившимся кровью лицом поднял справку, бережно положил на прежнее место.

Дальше идут материалы о сокращении удойности за последние десять лет...

Листок за листком — большая, невеселая повесть связанных друг с другом неудач, обидных фактов. Исправь одно, начнет подниматься другое... Ни жена, ни работа, ни собственное благополучие — ничто не интересовало последнее время Павла. Он жил в эти дни только для того, чтоб по строчке, по цифре, по факту собирать повесть, которая бы смогла растревожить равнодушные руководителей... И вот работа кончена, материала достаточно. Что-то скажет сейчас Игнат? Нужно рядом чье-то плечо, а у Игната оно не слабенькое. Что-то скажет?..

— Да-а, — протянул Игнат. — Просто, никакой хитрости. Собрал, что известно, в одно место, и — на тебе! — получилась бомба.

— Ты — за?

— А то нет... Только что ж ты, брат, в одиночку копаешься?

— Как так «в одиночку»? Тут и Чистотелов положил мзду, и покойный Комелев, и Сутолоков, и директор МТС, а твоего разве мало? Я всего-навсего кладовщик — принимал да сортировал.

— Скорей старьевщик. Что сам увидел, то поднял. Знали бы — понесли бы тебе.

— Кто-то понес бы, а кто-то, верно, попробовал бы за руку схватить.

— Заступились бы...

— Не поздно. Пусть теперь заступятся.

— А как?

— Начнем обсуждать, встанут на мою сторону. Дело простое.

— А Баев у Комелева второй рукой был. Он, возможно, не захочет обсуждать.

— Можно заставить.

— Кто заставит, спроси? Ты? Он скажет тебе, что все это ерунда, не твоего ума дело, положит под сукно твою папку, и что ты тогда сделаешь? Кулаками над его головой трясти будешь? Не запугаешь. На собраниях начнешь теревить, бросишь обвинение, что замазывает ошибки? А кого твой крик тронет? Максима Пятерского? Федосия Мургина? Костю Зайцева? Так ведь они и слыхом не слыхали об этих документах. Как же они будут поддерживать то, чего не знают? Раз взялся, надо быть уверенным, что все не останется под канцелярским замком!..

Глядя на Игната, навалившегося пухлой грудью на стол, Павел невольно подумал: «А ты, брат, не так прост. Не выровняв горку, воз не спустишь...»

Всех колхозных председателей папка обойти не могла, да и

не было в том нужды. Кроме Игната она побывала у троих: у Максима Пятерского из колхоза имени Калинина, человека молчаливого, осторожного, у Кости Зайцева, молодого председателя из «Первого мая», и у самого старого председателя в районе, Федосия Мургина.

За два дня до того, как Павел взял к себе обратно папку, к Игнату Гмызину заскочил Никита Прохоров, председатель «Первой пятилетки». Он уже где-то успел услышать о ходивших по рукам документах и специально завернул полюбопытствовать. С полчаса, не больше, сидел, мусолил бумаги, наконец встал из-за стола и, сказав: «Одначё...» — уехал. А на следующий день встретивший Павла Баев спросил:

— Рассказывают кругом о какой-то папке. Что там выкопал? Почему это делается за спиной райкома?

Павел объяснил, что за спиной райкома он ничего не собирается делать, не сегодня завтра все выложит ему, Баеву, на стол.

Пора действовать!

...И вот принаряженный, чуточку торжественный Павел Мансуров шагал к райкому, нес папку.

12

В кабинете Баева, на столе под стеклом, лежал отпечатанный на машинке список членов бюро Коршуновского райкома партии.

Верхняя фамилия — Комелев Степан Петрович — была зачеркнута.

Вторым в списке стоял он, Баев.

Дальше — Зыбина Агния Павловна, секретарь райкома по зоне Коршуновской МТС, она же теперь второй секретарь. Это каждое выступление на собраниях начинает с того, что нещадно бичует себя: «Я принимаю львиную долю вины на свой счет. Я не намерена прикрывать недостатки своей работы... Я смотрю объективно и вижу позорно слабое вмешательство со своей стороны...» В таких случаях даже у Баева, старшего по работе, почему-то появлялось зудящее ощущение своей вины, невольно хотелось выступить, покаяться в каких-то неизвестных себе ошибках, взять какое-нибудь обязательство. Зыбина, понятно, покайсявшись, еполчится на Мансурова.

Следом за ней — фамилия Сутолокова, председателя райисполкома. В работе между секретарем райкома и председателем райисполкома нет резкой границы. По крайней мере, ее не видел Комелев. Он выполнял и свои обязанности, и обязанности Сутолокова. Только на мелочи — настоять, чтоб доставили школе дрова, дать указание, чтоб отремонтировали крышу Дома

культуры, замостили новым тесом тротуар, — решался Сутолоков без согласия секретаря райкома. Что Баев ни скажет — Сутолоков поддержит.

Пятым в списке — Павел Мансуров. Его мнение в этом деле известно.

Редактор районной газеты — Первачев. Парень молодой, никогда особой решительности на заседаниях бюро не проявлял, ссориться с райкомовским начальством не любит.

Чистотелов — старый член партии, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени за выслугу лет, человек авторитетный. Он, пожалуй, встанет на сторону Павла Мансурова. Мансуров отстаивает лен, а одного этого достаточно, чтоб Чистотелов поднялся в защиту.

Последним в список был вписан от руки Пугачев Осип Осипович — райвоенком, дежурная личность, вечный кандидат в бюро. Год назад вывели из состава бюро директора МТС Семякина — временно стал членом бюро Пугачев. Умер Комелез. Кого ввести вместо него? Опять кандидата Пугачева. Баев сам переставил его фамилию из кандидатов в члены, разумеется на время, до первой конференции. Этот — «как большинство».

Семь действующих членов бюро. Только двое будут за то, чтоб обнародовать материалы, собранные Мансуровым. Двое против пятерых. Баев считал вопрос уже решенным.

Как всегда, перед заседанием разговаривали, и под внешней непринужденностью ощущалось старательное желание не коснуться ненароком вопросов, которые через несколько минут придется обсуждать. Председатель райисполкома Сутолоков, седоголовый, с обветренным, добрым, широким лицом, страстный лошадиник, говорил о том, каких коней он видел в прошлом году в известном по области совхозе «Шамаринский коммунар».

— Распахнули ворота, и вылетает этакое языческое божество — глаза горят, грива растрепана, двоих здоровенных парней несет на поводьях...

Даже Баев слушал с интересом.

Этот человек до того, как стал работником райкома, имел в жизни две далекие друг от друга специальности: до войны преподавал ботанику, в войну командовал взводом пешей разведки. И казалось, в наружности его эти занятия отпечатались каждое по-своему. Лицо рыхловатое, с покатым подбородком и вдумчивым складом рта — верхняя губа нависает над нижней. С таким лицом только и рассказывать проникновенно о тычинках и пестиках. Но короткая, прокаленная солнцем шея мужественна, руки длинные, подернутые темным волосом, кисти лопатами, пальцы полусогнуты — можно верить, что с железной хваткой они ломали зазевавшихся часовых где-нибудь ночью на берегу Днестра или Прута.

Перед ним на столе лежала папка Мансурова, ее картонный верх был еще более потерт и захватан — она походила по рукам членов бюро.

Павел сидел с подчеркнутым безразличием — излишне прям, нога закинута за ногу, над белым, только что из-под утюга воротом рубашки бронзовая, красивая голова вскинута чуточку выше обычного. И только когда Сутолоков пускался в особенно выразительные описания, Павел досадливо опускал веки, — пора уже кончить лясы точить...

Появился майор Пугачев, чья фамилия стояла в описке членов бюро последней.

— Прошу прощения, товарищи, за задержку, — с достоинством произнес он, молодежато поскрипывая начищенными сапогами, прошел к дивану, уселся, выставив грудь, откинув голову, невозмутимый, снисходительно добродушный, с красным от завидного здоровья и тесного воротника лицом.

Баев решительно передвинул папку на столе.

— Начнем, товарищи. Вопрос, собственно, всем известен. Вот... — Баев так же решительно сдвинул папку на прежнее место. — Вот материалы о недостатках нашего района, выражающиеся главным образом... э-э... в планировании, кстати сказать, от нас не зависящем. Мансуров требует широкого обсуждения их.

Второй секретарь Зыбина — в глубоком кресле, как птица в гнездышке, плечи подняты, руки уютно лежат на животе — произнесла вкрадчиво:

— Я думаю, первое слово дадим Мансурову, так сказать, виновнику сегодняшнего события.

Баев наклонил голову: «Не возражаю».

Павел ждал этого, поднялся, стройный, напряженный, молча переводил с лица на лицо потемневшие глаза.

— Я свое слово сказал. Вот оно! — Голос его, сочный и сильный, заполнил кабинет. — Остается добавить очень немного. Если критика и самокритика не будут действовать, если снизу народ не станет замечать ошибок, то обязательно наше планирование пойдет вслепую, обязательно оно станет ошибаться. Я, как коммунист, требую обсудить это, — Павел выбросил руку в сторону папки, — не только на бюро, в тесном кругу, а среди рядовых коммунистов!

Павел сел, по-прежнему напряженный, вытянувшийся.

Попросил слова агроном Чистотелов. Костистый, громоздкий, он неловко чувствовал себя за столом на скрипящем легком стуле — ненадежной продукции местного промкомбината.

— Говорить тут много нечего, дорогие товарищи, — выдавил он своим густым басом. — Мансуров вывернул все наши грехи. Прятать их от людей нельзя. Кто, как не люди, будет их ис-

правлять?.. — И, видя, что все ждут от него еще чего-то, обрезал: — Все!

С места вскочил редактор районной газеты «Колхозная трибуна» Первачев. Коренастый, большоголовый, как молодой бычок, налитый здоровьем, он резко, оборачиваясь направо-налево своей лобастой головой, заговорил:

— Я тоже целиком согласен с Мансуровым!..

Баев внимательным и долгим взглядом посмотрел на Первачева.

— Взять нашу газету. С чем она борется? Доярку Петухову за неряшливость продернули, бригадира Ловчукова за пьянство раскатали, ну, там навоз не вывезен, горючее вовремя не подброшено. По-цыплячьи клюем жизнь, а крупное взять за загривок не решаемся. Можем ли мы так исправить наши недостатки? Нет, не можем! Пора пользоваться критикой и самокритикой не в шутку, всерьез, решительно!

— Мне нравится такой запал... Простите, вы уже, кажется, кончили? — Зыбина не поднялась, а еще уютнее устроилась в кресле; склонив набок голову, с мягкой улыбкой она обвела всех открытым, чистосердечным взглядом своих ясных глаз. — Вы меня знаете. Я всегда говорю прямо. В тех недостатках, что занес в эту папку Павел Сергеевич, есть и моя вина. И великая! Но мне непонятно, товарищи, кого хотят Первачев с Мансуровым взять за загривок? — Снова светлые, чистосердечные глаза обскали лица присутствующих. — Обком партии? Облсполком? Может, Министерство сельского хозяйства? Ведь планы-то идут к нам в район от них. Дорогие товарищи, прежде чем искать чей-то высокий (простите, с ваших слов говорю) загривок, надо прощупать себя со всем пристрастием. Я, например, не скрываю, что наш райком и я лично... Да, я!.. (Не собираюсь прятаться за чужую спину.) Я лично повинна и в том, что на корма для скота, на силос в частности, как и многие районные руководители, обращала чрез-вы-чайно мало внимания. Я решительно беру вину на себя и в том...

Зыбина это говорила с такой мягкой улыбкой, глядела такими невинными глазами, с такой простотой принимала на себя вину за все тяжкие грехи района, что Баеву, да и всем остальным, стало легче на душе — ей-богу, не так страшен черт, как его размалявал Павел Мансуров. Ну, виноват райком, виноваты товарищи из области, даже из министерства, но ведь кто без греха, стоит ли так горячо принимать к сердцу?..

— К тому же надо помнить, — веско произнес Баев, — тебе в особенности, товарищ Мансуров, о партийной и государственной дисциплине. Твои замечания интересны и смелы, но они могут расшатать налаженный порядок, внести дезорганизацию в работу партийных и советских органов, нарушить дисциплину.

— Верно, совершенно верно! — поспешно согласился Сутолков.

Павел снова вскочил на ноги.

— Нет, не верно!

Разгорелся спор. Забасил Чистотелов. Первачев шумно заговорил с соседом, разъясняя разницу между армейской и государственной дисциплиной. Павел Мансуров бросил упрек Зыбиной:

— Твоя критика — не критика, а своеобразный зажим. Масло елейное на болячку!

Покойное доброжелательство как-то сразу свернулось на лице Зыбиной, ушло вглубь: ясные глаза, глядевшие с таким чистосердечием, обижено прикрылись веками.

Баев опустил на стол тяжелую руку:

— Хватит, товарищи. Такие высокотеоретические дебаты можно продолжать до бесконечности.

Из семи членов бюро, чьи фамилии лежали перед ним под стеклом, высказались шесть. Голоса разделились: три — за Мансурова, три — против. Один райвоенком Пугачев, возвышаясь на диване в своем наглухо застегнутом кителе, хранил глубокомысленное молчание.

— Как твое мнение, Осип Осипович? — спросил его Баев.

Осип Осипович двинул вставленной в тугой воротник головой и не спеша, с достоинством ответил:

— Дисциплина есть дисциплина... Я присоединяюсь к вашему мнению, товарищ Баев.

Бюро кончилось. Молодцевато поскрипывая начищенными сапогами, райвоенком Пугачев первым покинул кабинет секретаря райкома.

### 13

На самой окраине Коршунова, неподалеку от шоссе, на песчаном взлобке стоит сосна. Выросшая на приволье, она когда-то поражала своей мощью. И теперь еще нельзя не заметить остатков ее былой силы. Толстенный — вдвоем только охватить — ствол весь в чудовищных узлах и сплетениях: ни дать ни взять окаменевшие в сверхъестественном напряжении мускулы гиганта. Нижние ветки, сами толщиной в ствол молодой сосенки, раскинулись с удалой свободой, висят над всем взлобком. Но это остатки... Толстая, бугристая кора, напоминающая шероховатый бок выветренной скалы, трухлява, местами обвалилась, обнажив темное, изъеденное короедами тело сосны. Ветви высохли, торчат в стороны, как гигантские костлявые руки, сведенные намертво в какой-то загадочной страстной мольбе. Дереву уже не в радость приволье, солнце, дожди. Только на самой вер-

хушке клочок жесткой старческой хвои — единственный признак тлеющей жизни. Костистые мертвые сучья охраняют это жалкое счастье, последнюю надежду. Но и с этого клочка еще сыплются крошечными пергаментными мотыльками семечки, падают шишки; почти мертвое дерево — по привычке ли, по упрямству ли — цветет, плодоносит, настойчиво выполняет обязанность, возложенную на него природой, — продолжать свой род.

Говорят, у каких-то народов были свои священные деревья, к их подножию приносились дары. Для Саши таким деревом стала эта древняя сосна, стоящая на окраине села Коршунова.

Жизнь Саши, казалось, внешне шла однообразно: утром — дымящийся туманом Лешачий омут, днем — работа на лугах, вечером вместе с Игнатом сидел за учебниками: время уже ехать в институт сдавать экзамены. Проходил день за днем — и у всех одинаковый порядок.

Но внутри каждого дня были свои едва уловимые, никому со стороны не заметные радости и неожиданности.

Шел Саша по полю ржи, сорвал колосок, стал его разглядывать — почти налившийся, зеленый, жестко щекочущий ладонь. Тысячу раз он видел такой колосок, тысячу раз держал в руке, а сегодня вдруг удивился ему. Вот он — простое создание природы, хлеб! От него шли по свету бок о бок человеческая беда и человеческое счастье. Не ради ль такого колоска кострами вспыхивали барские гнезда? Не ради ль такого колоска умирали под плетями бунтующие мужики, звенели кандалами по Владимирке, целые деревни снимались с родных мест, скрипя немазаными телегами, оставляя у дорог могилы, тащились на чужбину. Не ради ль такого колоска надорвал свое здоровье его, Саши Комелева, отец? Вот он, неласково жесткий ржаной колос, испокон веков политый потом, слезами, кровью. Он и милость, он и горе, он и кормилец, он и убивец — ржаной жесткий колосок! Пронесся ветер, ровно и грозно зашумело поле... Шуми, шуми, рожь! Привычен и дорог твой шум, кормилица! Что бы ни напомнил твой колос, но шум его под ветром все равно успокаивает и радует...

В другое время такое удивление перед простым колоском быстро забылось бы, — мало ли чего ни придет в голову... Но теперь Саша запоминал его, бережно прятал где-то в глубине души: «Ужо расскажу потом...»

Прошел ли он с косой-литовкой свой первый в жизни загон, устал, облился потом; ночевал ли он на «Сахалине» за деревней Большой Лес среди комаров, приткнувшись у костра; наловчился ли под доглядом плотника Фунтикова «вынимать череп» вдоль по бревну — все эти маленькие радости и маленькие победы он заботливо хранил про себя, давал себе обещание: «Ужо расскажу потом...»

Каждый вечер, около одиннадцати часов, Игнат Егорович вытягивал за цепочку тяжелые, тусклого серебра часы и, прощелкнув крышкой, объявлял:

— На сегодня — шабаш.

Поскрипывая половицами, шел за перегородку к жене, кряхтя стаскивал сапоги.

Он был уверен, что Саша после команды «шабаш» задвинет, как наказано, в сених засов, поднимется на поветь, нырнет до утра под одеяло.

Но часто случалось иначе... Саша задвигал засов, поднимался на поветь, хватал пиджак и... стараясь не скрипнуть воротами, ведущими на съезд, выскакивал во двор. Пиджак, пугаясь в рукавах, он надевал уже на улице.

На шоссе, у поворота, он, запыхавшись, останавливался, ждал попутную машину. Иногда Саша поднимал руку и садился в кузов на добрых началах с шофером, иногда — зачем по пустякам тревожить рабочего человека — без особых приглашений на ходу перекидывал тело за борт. На крутом подъеме перед селом Коршуновом прыгивал, не желая ни прощаться с шофером, ни благодарить его: шоферы — народ не слишком воспитанный, как правило, к словам благодарности требуют добавить пятерку за проезд.

Ночью при луне старческое безобразие сосны почти незаметно. Голые, перепутанные ветви кажутся живыми. Их неистовая страсть, застывшая в темном небе, невольно вызывает благоговейный ужас. Подчеркнутые резкими тенями складки, морщины, неровности на широком стволе поражают какой-то вековой мудростью. Ночью при луне старое дерево красиво...

К подножию сосны в ночной час Саша и приносил свое единственное богатство — светлые события прошедших дней, все то, что составляло его негромкое счастье.

Катя сидела на земле, опутанной бугристыми корневищами, раскинув по ним легкий подол платья, и слушала...

Кричал дергач на соседнем болотце, на небе, закрывая луну и звезды, владычествовала сосна. Одни на всем свете. Одни! В этом и счастье.

Саша заново переживал с Катей и удивление перед простым колоском, и усталость после косьбы, и гордость собой, что постиг мудреное плотническое искусство — «вынуть череп»...

Даже Лешачий омут, даже солнце, что грело его, даже ветер, что охлаждал его мокрую спину, — все обычные радости хотелось передать ей, вызвать этим и у нее радость. Но слаб язык, мало нужных слов — сотой доли не в силах рассказать!..

И хоть все рассказать не под силу, а ночи всегда не хватает...

Между ветвей старой сены небо начинает бледнеть, слабый свет открывает для глаз старческую немощь древнего дерева. С шоссе слышится шум первой машины. В неясном пепельном свете Катино лицо кажется усталым и от этого каким-то домашним, привычным, но странно — на усталом лице возбужденно, горячо блестят черные глаза.

Она поднимается, тонкими пальцами заправляет за уши выбившиеся волосы, чуть приметным движением ресниц сообщает: «Пора...»

Даже не приласкает, не скажет ничего особенного, а только двинет ресницами, и за это движение, если б было можно, Саша готов упасть ей под ноги — пусть светает, пусть наступает день, пусть идет время! Все забыть, лечь бы так у ее ног, не уходить. Сил нет расстаться!

...А часа через три Игнат Егорович уже тряс Сашу за плечо, всякий раз удивляясь:

— Ну и спишь, хоть трактором тащи... Раскачивайся, братец, раскачивайся — самовар на столе. Не пристало нам с тобою выходить на работу позже колхозников.

Убедившись, что Саша раскачался и больше не спрячет голову под одеяло, Игнат Егорович поворачивался и, уходя, сообщал:

— Свежий воздух, оттого и сон крепок. — Спускайся по шатким приступкам, углубляя свою догадку: — Свежий воздух и молодость...

14

Они не виделись три дня.

Саша сидел в правлении вместе с бригадирами, принимал, стоя на зароде, с деревянных вил Лешки Ляпунова охапки сена, обсуждал вечерами с Игнатом Егоровичем особенности щелочных соединений — и все время он чувствовал, что впереди его ждет счастливая минута. С ним разговаривали; если заезжается, сердито кричали на него, советовались, просто сидели рядом — и никто не догадывался, что он не такой, как все, особенный, счастливый. У него впереди радость, у него впереди подарок! От этого Саша и с людьми был добрее. Лешке-крикуну подарил выкованный в кузнице наконечник остроги в пять зубьев, к Игнату Егоровичу, упрямо заставлявшему торчать над учебниками, минутами испытывал нежность. Все Саше казались по сравнению с ним обиженными — нельзя не быть добрым...

Он считал: осталось два дня — вечность, остался один — значит, завтра. И вот — утро! Пережить, перетерпеть каких-нибудь двенадцать часов. Сегодня уже не придется, как вчера, укладываться спать с безнадежностью — чуда ждать нечего, впереди ночь, глухое время!

Утро!.. За окном на солнце горит ствол березки, она, молодая, легкая, выкинула к неназревшему, блеклому небу макушку, перебирает на ветерке листья, сушит их от ночной росы, прихорашивается.

Игнат Егорович отодвинул от себя порожнюю чашку с блюдечком, певидящими, бессмысленными глазами уставился через окно на березку, озабоченно потер ладонью бритое темя и, вздохнув, сообщил:

— На складе в райпотребсоюзе гвозди драночные обещали. Придется тебе, братец, съездить в Коршуново... Ну, что ты глаза тарачишь, словно у меня на лбу рубль серебром припечатан?.. Кого, кроме тебя, пошлю? Мать навестишь и дело сделаешь.

И Саша опустил глаза в стакан с недопитым чаем, чтоб Игнат Егорович не разглядел удивления, растерянности и радости. Он едет в Коршуново, а там — Катя. Не надо ждать, не надо считать, поедет, получит эти гвозди, встретит... А уж вечером встретятся своим чередом. Эх, знал бы Игнат Егорович, какой подарок поднес...

А Игнат Егорович достал из кармана большой рыжий, потертый бумажник, обстоятельно, одну за другой выложил на столешницу шесть мятых десятков:

— Вот. Заплатишь и счет не забудь захватить. Завскладом там Егорка Ключев, любит, паршивец, чтоб за дефицитные товары нагретый кусочек в ладошку положили. Будет намекать — обложи покрепче. Законное берем, не по блату...

До обеда Саша успел получить гвозди, погрузить их и с Егоркой Ключевым, парнем с бесхитростной круглой рожей и продувными глазками, наскоро выпить по кружке пива. Лошадь завел во двор к матери, распряг, подкинул сена, обедать наотрез отказался, надел свежую рубашку, вышел на улицу...

День был знойным. От пыльного раскаленного булыжника на дороге тянуло запахом бензина, машинного масла. В узкой тени под заборами валялись разомлевшие собаки. Одни козы в своих украшенных репьями шубах с неутомимым упрямством слонялись вдоль изгородей в надежде ущипнуть что-нибудь съедобное.

Старуха с темным от утомления лицом, с корзиной, прикрытой вылинявшим платком, остановилась под открытым окном, певуче спросила:

— Хозяева-а! Ай, хозяева-а! Величать-то не знаю как... Земляники свеженькой не купите?

Из открытого окна никто не подал голоса. Старуха пождала, пождала ответа, пошла дальше,\*поглядывая на окна.

Саша, засунув руки в карманы, не спеша шел, встревоженно уставившись вперед. Не может же случиться такая несправедливость — приехать в Коршуново и не встретить ее. Должен встретить!

Должен, а не верилось... Козы, собаки, страдающие от жары под заборами, пыль, скука... Вон на общипанной, вытопанной травке напротив райкома расселись трое колхозников. Они разложили на газете хлеб, яйца, соленые сморщенные огурцы, равнодушно, без аппетита жуют; как по команде, скучно скосили в сторону Саши глаза. У райкомовского крыльца — на самом солнцепеке — две женщины о чем-то болтают, помахивают сумочками. Одна в цветном сарафане, на загорелых ногах стоптанные белые босоножки, другая, круглая, приземистая, упрятала себя в шерстяной костюм — то-то прееет, мученица.

Последнее время Саша видел Катю только ночью, под сосной, при луне: лицо бледное, строгое, на нем тревожно и смутно блещат глаза, на воздушный подол платья брошена тонкая, обнаженная по локоть рука... Ну, как можно представить сейчас среди всей этой жаркой скукоты ее, не похожую на обычных людей. Казалось, если появится, то на жующих колхозников непременно должен найти столбняк...

Но ведь не где-нибудь, здесь живет, ходит по улицам, никого не удивляет... Где же она, как встретить?..

Один из колхозников поднялся, продолжая жевать, подошел к Саше:

— Ты, парень, здешний?

— А что?

— Может, мясо кому тут нужно?.. Корова ногу сломала, прирезать пришлось. До базарного дня тянуть — при такой жарыни мясо протухнет.

— Мне не надо.

Колхозник потер потную щетину на щеке, без особой охоты подумал вслух:

— Дамочкам, что ли, предложить? — лениво направился в сторону женщин.

Саша проследил за ним взглядом и... вздрогнул, — на голос колхозника обернулась Катя! Она тоже заметила Сашу, шагнула навстречу.

Давно он не видел ее при дневном свете. По этой ли причине, а может, потому, что слишком туго зачесаны волосы, лицо Кати выглядело простовато круглым, грубовато загорелым. На крыльях носа, под глазами кожа лоснилась от пота, выгоревший ситцевый сарафанчик, на босу ногу старенькие босоножки, и в глазах нет прежней глубины и таинственности. Не такая, какую ждал, а все-таки Катя.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Оба помолчали; неуверенно улыбаясь, разглядывая друг друга, словно расстались не три дня назад, а давным-давно.

— У тебя нос облупился, я и не замечала,— сообщила она весело.

И эти простые слова заставили прийти в себя Сашу. Он-то ждал встречи, какие случались под сосной, где каждое слово звучит по-особому, с какой-то недосказанной, значительной тайной. А сейчас и Катя другая, да и вместо сосны, поднявшей к луне могучие высохшие ветви,—пыльная улица, булыжник, пахнувший бензином перегаром, слоняющиеся козы. Где уж тут недосказанная тайна...

— Ты по делам сюда? — спросила Катя.

— По делам. Сейчас же обратно...

— Что нового?

Новое, как всегда, было, но не здесь, посреди улицы, вторых выкладывая его. И Саша ответил:

— Ничего особого. А здесь у вас как?..

— Помнишь, ты рассказывал о папке Мансурова?..

Как же не помнить. Пока эта папка лежала у Игната, Саша успел заглянуть в нее и среди других новостей, как о великом таинстве, поведал Кате. Сейчас же эта папка звучала нисколько не значительней, чем слова колхозника о продаже мяса.

— Не помню...

— Мы вот только что сейчас говорили о ней с Зыбиной. Ты, верно, не знаешь, что вчера было бюро райкома, ту папку обсуждали.

— Слышал. Игнат Егорович сказал мне. По-казенному обсудили.

— По-казенному?.. Твой Игнат Егорович, Сашенька, узко смотрит. Ему хочется, чтоб только у него под боком тепло было.

— Катя, ты не знаешь его.

— Знаю, что обсуждение папки ему для чего-то своего выгодно.

— Не ему выгодно — всем. И Федосию Мургину, и Максиму Пятерскому... Всем председателям, всем колхозникам, всему району.

— Значит, райком партии против выгоды района? Смешно. Кто поверит этому?

— Так получается...

— Са-ша! — Лицо Кати, чуточку утомленное жарой, сделалось вдруг замкнутым, глаза недоверчиво округлились, голос упал до настороженного шепота. — Ты не веришь райкому? Как ты смеешь? Да ты дай себе отчет, что сказал!

— Ведь факт — ошибся.

— Райком?!

— Разве этого быть не может?

Катя, распрямившись, стояла перед Сашей, губы ее, плотно собранные в оборочку, болезненно вздрагивали.

— Ты знаешь, что для меня самое святое? — спросила она тихо. — Вера в партию! Для меня счастье, если б я сумела доказать эту веру. Хотя ценой жизни!.. Тот, кто не верит, — мне враг! Личный враг! Смертельный!

— Я не меньше тебя верю в партию.

— Бюро райкома — партийное руководство района — решило так, ты не согласен. «Ошиблись, по-казенному подошли...» Да где твоя вера? Нет ее! Своему Игнату Егоровичу веришь только!

— Бюро райкома еще не вся партия. Партия, сама знаешь, миллионы, а в ней и Игнат Гмызин...

— А что будет, если они перестанут верить бюро?.. Руки должны слушать голову. Что получится, если каждый Игнат Гмызин станет возражать? Дисциплина развалится, ослабеет партия.

— Если прислушаются к Игнату Гмызину, только умнее станут. От лишнего ума слабее не делаются.

— Ну как мне с тобой быть?! — с отчаянием и досадой топнула Катя, отвернувшись с расстроенным лицом, долго смотрела на колхозников, укладывавших в старую кожаную сумку остатки еды.

Катю уже в третьем классе выбрали старостой, она была пионервожатой, была секретарем комитета комсомола. От нее требовали: следи за дисциплиной, поднимай авторитет учителя. И Катя следила... Авторитет, дисциплина с детского возраста для нее — столбы, на которых держится жизнь. И кто?.. Саша подкапывает их!

— Саша, — произнесла она холодно, — ты не обижайся, но я тебе скажу... Если бы слышал тебя твой отец, разве бы его не обидело — его сын против райкома.

— Я не против райкома! — вспыхнул Саша.

— Как же не против? Игнат Егорович — взрослый и опытный человек, ему нетрудно подмять под себя такого, как ты... Поддался. Стыдно! Память отца, выходит, предал.

Саша ответил не сразу; красный, растерянный, стоял некоторое время молча, глядел на Катю, наконец выдавил с хрипотцой:

— Как ты смеешь?

— Не хочу тебя обидеть, но так получается...

— Уже обидела! Нечестно это... Я, может...

— Пойми...

Но Саша резко повернулся — длинная спина как-то болезненно вытянута, кепка на затылке торчит с жалобным недоуме-

нием... Он неровными шагами, словно кто-то легонько подталкивал в спину, двинулся прочь.

— Саша-а! — окликнула слабо Катя.

Саша не оглянулся.

Весь остаток дня Саша чувствовал себя несчастным. Было у него свое солнышко, грело его, манило — живи, жди, радуйся, впереди счастье. Чего теперь ждать, куда идти? А люди работают, разговаривают, спорят, живут, как жили. Какое им дело, что пусто стало кругом для Саши?..

И все-таки вечером он не выдержал.

...Вот и сосна, в путанице сухих ветвей застрял узкий серп месяца. Задыхаясь от волнения, но сохраняя на лице суровую замкнутость — пусть не подумает, что забыл обиду, — Саша стал подниматься. Здесь ли? Пришла ли?.. Как-то встретит?.. Должно быть, закуталась в платок, притаилась под деревом. Тогда он подойдет и скажет: «Давай отбросим обиды, поговорим, как взрослые люди...»

Но под сосной было пусто, толстые, напружиненные, как окаменевшие змеи, стелились на темной земле корневища. Саша опустился на них, прислонился спиной к бугристому стволу.

А вдруг да просто опоздала?.. Спешит, наверное, сейчас по ночному селу, стучат по сухой земле каблучки туфель...

Как и в прошлые встречи, из болотца доносился скрип коростеля, так же над головой величественно раскидала свои костлявые ветви сосна, более крупные звезды прокалывали насквозь толщу ветвей. Все кругом по-старому, ничего не изменилось. А Кати нет.

В прошлый раз она, подтянув к подбородку колени, вся сжавшаяся от ночной сырости, сидела перед ним тихая, покойная, ни выражения лица, ни даже глаз и бровей не различить, но так и тянет от нее вниманием.

Сказала: предал отца, его память!.. Предал?.. Жизнь сложна, один о ней думает так, другой иначе, а правда всякий раз — одна. Ее надо искать и найти одну правду, одну истину, один путь, как сделать жизнь красивей. Отец и Игнат Егорович не из разных лагерей — свои! Она не понимает... Объяснить ей надо, без горячки.

Саша сидел, вслушивался. Рядом с ним растопорщенные, широкие, как слоновьи уши, лопухи так же напряженно вслушивались в почную тишину. Но лишь уныло скрипел коростель на болотце.

Время шло, и Саше мало-помалу становилось ясно: Катя не придет. И все-таки он продолжал сидеть, продолжал надеяться на что-то...

И в эти часы ожидания Саша понял одну простую истину, которая до сих пор ни разу не приходила в голову. Он понял, что у него с Катей будут впереди не только вечера под сосной, разговоры взглядами под крики коростеля, а будут и споры, и непонимание, возможно, обиды и даже оскорбления. Он понял тоже, что следующие их встречи будут уже иные. Какими бы они ни были, но Катя есть Катя, просто так от нее не отвернешься.

А сосна висела над Сашей, молчаливая, бесстрастная, много пережившая на своем веку. Ее не удивишь маленьким горем.

Утром следующего дня Игнат Егорович сообщил, что заочное отделение института объявило о приеме, пора собираться в дорогу.

## 15

Баев считал, что о папке Мансурова, как и о всяком событии, он обязан сообщить в обком партии. Кроме того, об этой папке уже ходят из колхоза в колхоз слухи. Не без того, в них что-то и преувеличивается, раздувается, искажается. На собраниях, возможно, станут требовать ответа от Баева: почему да как? В таких случаях ответ должен быть один — папка отправлена в обком.

Баев вызвал к себе инструктора Сурепкина.

Если в весеннюю распутицу в самом удаленном от села Коршунова Верхне-Шорском сельсовете надо было проверить готовность колхозов к севу или выступить там на партсобрании, посылали самого безответного — Серафима Мироновича Сурепкина. Этот не станет отговариваться болезнями или семейными причинами, не остановят его ни непролазная грязь, ни большие расстояния. Облазает колхозные конюшни, ощупает семенной материал, оглядит инвентарь, пожурит председателей, пристращает: доложу! И, возвратившись (опять же с оказией, где на случайных машинах, где на подводе, а где и пешком), обязательно все в точности сообщит: то-то подготовлено, того-то не хватает, распоряжения переданы.

Если его спросят: «Вот в областной газете писалось об инициативе колхозников Пальчихинского района... Вы это разъяснили колхозникам?» — он ответит: «Не было наказано. А то долго ли...»

Серафим Миронович делает только то, что ему наказано, но не больше. Однако, если рассерженному начальству вздумается тут же, с ходу, повернуть его: «Идите, сделайте! Наперед будете догадливей», Серафим Миронович, не обронив ни слова, сразу же направится обратно пешком, на оказиях, в грязь и обязательно исправит оплошность.

Бывший батрак, в партию он вступил, когда Баев, ныне сек-

ретарь райкома, был мальчишкой. За все эти годы Сурепкин не получил ни одного партийного взыскания, но и особых заслуг за ним не числилось. Так как ничего другого не имел, Серафим Миронович находил должным гордиться и этим. «Я перед партией чист как стеклышко», — частенько говаривал он со скромным достоинством.

С годами у Сурепкина появилась лишь одна слабость, да и та безобидная, — очень любил выступать на собраниях.

В привычном для всех порыжевшем пиджачке, надетом поверх армейской гимнастерки, длинные, по-крестьянски широкие руки вылезают из рукавов, лицо, как и пиджак, тоже порыжевшее, вылинявшее на солнце — под кустиками бровей какого-то мыльного цвета покойные глазки, крепкий, как проволока, ежик волос над морщинистым лбом... В редкие минуты, когда Серафиму Мироновичу приходилось задумываться, ежик начинал «гулять» взад-вперед.

Сурепкин предстал перед Баевым:

— Вы звали меня, Николай Георгиевич?

— Поедешь в обком, отвезешь это дело, — Баев вынул из стола папку, — дождешься ответа, узнаешь мнение областного комитета. Поручение важное, поэтому и посылаем, иначе просто переслали бы по почте.

— Когда ехать?

— Собирайся сейчас.

— Поезд завтра в шесть утра отходит.

— Вот с этим поездом.

— Хорошо.

— Ты знаешь, что в этой папке?

— А как же, слышал.

— Будут беседовать с тобой — можешь передать мнение членов бюро. Впрочем, решение бюро здесь прилагается. Я лично считаю, что такие нападки переходят грань необходимой критики, вносят дезорганизацию в работу. Словом, вот!..

Сурепкин бережно принял папку.

Общежитие института было переполнено заочниками. Игнат сумел отвоевать только одну койку для Саши, самому пришлось устроиться в гостинице.

Проснувшись утром, натягивая сапоги, Игнат вдруг заметил через койку рыжеватый жесткий ежик волос, оторвавшийся от подушки.

— Эге! Серафим Мироныч! Какими путями?

— Здравствуй, Игнат Егорович, — обрадованно отозвался Сурепкин. — От райкома командирован.

Через полчаса они вместе вышли из гостиницы. Игнат — в

просторном пиджаке, в галифе, мягких хромовых сапогах, все выглаженное, свежее, начищенное до блеска, как и подобает у колхозного председателя, не часто попадающего в областной город. Серафим Миронович — в черном праздничном костюме, режущем под мышками, с узенькими короткими брючками, под локтем — затертый, разбухший портфель.

— Так, значит, ты идешь передавать нашумевшие бумаги в обком? — спросил Игнат, косясь на портфель.

— Самому первому в руки.

— Баев надеется, что за него похоронит собранные Мансуровым материалы обком?

— Ничего не знаю. Мое дело передать, выслушать замечания.

— А ежели спросят и твое мнение?..

Вышагивая по нагретому асфальтовому тротуару медлительной, журавлиной походочкой, Серафим Миронович помолчал с минутку, затем ответил с достоинством:

— Мое личное мнение такое: нападки на планы, какие делает Павел Сергеевич, переходят грань критики, вносят дезорганизацию... — Замолчав, он скромно вздохнул.

— Оно верно, мнение свежее. По пословице: «Чье кушаю, того и слушаю».

Но природное добродушие Сурепкина трудно было прошибить чем-либо — он не заметил ухмылки Игната.

Недалеко от здания обкома Игнат остановился у парикмахерской, попросил Сурепкина подождать и вышел с гладкой, отливающей синевой головой, посуровевший, подобранный, словно оставил за стеклянными дверями парикмахерской прежнее добродушие.

Таким он и вошел в обком. Нагнув лоснящийся крупный череп, распространяя вокруг себя запах дешевого одеколona, тяжелый, громоздкий, — казалось, случись нужда, прошибет любую дверь, — решительным шагом поднялся по широкой лестнице прохладного вестибюля. Сурепкин отмеризал за ним ступеньки журавлиной поступью...

Есть гордые слова, — мужественные и сильные сами по себе, они, брошенные вовремя, вызывают отвагу и дерзость. Эти слова — семена, из них вырастают человеческие подвиги.

Но есть и другие слова. В них не чувствуется ни красоты, ни гордости, ни силы. Они незаметны, серы, будничны. Их не бросают с трибун, они произносятся без пафоса. Тот, кто употребляет их, обращается с этими словами без особого почтения, бросает их на ходу виноватым ли, сухим ли, брюзжащим, вежливым или же вовсе бесцветным голосом. И тем не менее такие слова по-своему могущественны. Страстные желания, кипучую

напористость, волевое упрямство, молодой азарт — все способно потушить подобное слово.

Не последнее из числа этих слов — безобидный на первый взгляд глагол «ждать», он действует сам, к тому же наплодил себе подобных.

В обкоме партии как Игнату Гмызину, так и Сурепкину ответили просто:

— Подождите, разберемся.

И они стали ждать.

Игнат сдавал экзамены, умудрялся выкраивать время на улаживание колхозных дел в торговых и строительных организациях, часто наведывался в обком, но там наткнулся на одно:

— Подождите.

Серафим Сурепкин под действием этого слова день ото дня тускнел, у него кончились командировочные деньги, и Игнат Гмызин водил его обедать в студенческую столовую, даже для поддержания духа поил пивом.

А в Коршунове с нетерпением ждал решения Павел Мансуров...

16

Областной город К\*\*\* ничем не знаменит — асфальтовые улицы и булыжные мостовые в переулках, многоэтажные дома и потасканные домишки в четыре оконца, оперный театр, три института, музеи, кинотеатры, стадион, водная станция, троллейбусы, автобусы и солидная история — в старое время сюда ехали видные писатели и общественные деятели...

Для самого города и для его жителей вовсе не событие, что на улицах появился долговязый паренек с густым деревенским загаром на лице, в кепке, надвинутой на возбужденные светлые глаза, в шевитовом, с короткими рукавами пиджаке и добротных, старательно начищенных яловых сапогах. Он один из тысяч прохожих, он крохотная песчинка, принесенная со стороны.

Но город для этого паренька — величайшее событие в его короткой еще жизни.

Саша до сих пор один-единственный раз выезжал из села Коршунова. То было давно, еще до войны, когда ездили в гости к тетке, живущей под Ленинградом. Из этой поездки запомнились только мозаичный пол в одном из вокзалов да строгий швейцар с седыми усами и баками.

Только по книгам и кинокартинам знал Саша лежащий за лесами «сахалинской» поскотины великий и шумный мир. Только из книг он знал, что существуют реки больше, чем их Шора, что в городах среди домов можно заблудиться, как в лесу, что и самые дома там необычные — в каждый из них войдет все население такого села, как Коршуново, да еще пришлось бы подза-

нимать людей из соседних деревень. Есть на свете пустыни, есть моря, есть высокие (что там Городище!) горы. Когда узнаешь обо всем этом в тихом селе Коршунове, где знаком каждый камень на дороге, каждый куст на берегу, то мир кажется таким же невероятным, как и сказки из детских книжек. Подвиг Иванушки, пролезшего в ухо Сивки-Бурки, и море, вода без конца и краю, причем не обычная, а соленая, которую нельзя пить, разве не одинаковое по невероятности чудо?..

И вот Саша перешагнул через порог в большой мир. Пусть этот город один из самых заурядных в стране, местами пыльный, местами грязный, местами в глухих переулочках просто похож на село Коршуново, но это город! И Саша не замечал в нем недостатков, всему удивлялся — высоким этажам, витринам магазинов, асфальту, обилию машин, даже воздуху, пахнущему перегаром бензина.

Этот город не только ворота в широкий мир, он еще и дверь в его, Сашину, новую жизнь. Недалеко от центра напирает на улицу бесчисленными окнами громадный серый дом с черной вывеской у высоких дверей: «Областной сельскохозяйственный институт». Этот дом — его судьба, его надежды, его будущее счастье. Пять лет из этого дома будут следить за ним, Сашей Комелевым, колхозником колхоза «Труженик», следить за тем, как он набирает ума и опыта. Этот дом — новый опекун, непонятный и пока еще немного пугающий учитель. И когда этот дом отпустит от себя Сашу, тогда только и начнется по-настоящему взрослая жизнь.

Первые экзамены Саша сдал лучше Игната Егоровича. Тот позавидовал:

— Что значит мозги свежие. Моя вот коробка лишним набита, не сразу нужное вытащишь.

Здесь, в городе, Саша почувствовал новые силы и какое-то новое, неизвестное прежде, уважение к себе. У него серьезное дело, он здесь завоеватель. Не тот завоеватель, о которых приходилось читать в книгах, не мир, не славу приехал он завоевывать, а свое будущее.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Молодое весеннее солнце, пробив туманные стекла двойных рам, перегородив кабинет золотистыми полотнищами пыли, спокойно лежало на плане района, прибитом к стене. На широком листе желтой кальки красной тушью обведены границы. Если взглянуть, контур Коршуновского района напоминает разлапистый след сказочного медведя. В восточной части, где граница

идет по извилистой речонке Парасковьюшке, выдающийся мысск смахивает на коготь...

Синие прожилки рек, речек, речушек, рябинки озер, косая штриховка пахотных полей, кружочки с надписями — села и деревни, и просто не тронутая тушью бумага — леса, «белые пятна» на плане. Они теснят со всех сторон, напирают на поля, сгоняют деревни и села к берегам рек...

Солнце освещает план.

«Вот и перезимовали...» Павел Мансуров курил, и дым от папиросы растворялся в солнечной пыли. Он нетерпеливо поглядывал в окно на унавоженный, мокро-глянцевитый булыжник шоссе, ждал машину.

В эту зиму случилось неожиданное...

Кончили сеять озимые, поспели хлеба, началась уборка — все шло по-старому. Павел Мансуров по-прежнему работал в отделе пропаганды, созывал семинары, отсылал отчеты о проведенных докладах и лекциях, ездил в командировки, подгонял председателей. Время от времени заглядывал к Игнату Гмызину. Тот хлопотливо, как муравей, налаживал хозяйство своего колхоза: рыл силосные ямы, цементировал их, умудрялся отрывать во время уборки людей на косьбу отавы... В разговорах он сердито качал своей бригай головой: «Опять, брат, похоже, мы по воздуху с тобой ударили, некого бить!»

Из обкома на все запросы о папке приходил один ответ: «Ждите».

В конце концов не только Баяв и занятый по горло Игнат, но и сам Павел перестал вспоминать свою папку. Он, насколько мог, добросовестно делал, что от него требовали, и, тоскуя, мечтал, как бы вырваться из Коршунова.

А в Коршунове по утрам дед Емельян встречал выходивших из ворот коров. На огородах копали картошку. По воскресеньям делопроизводители, бухгалтеры, заведующие конторами, вооружив всех членов своих семейств корзинами и кухонными ножами, отправлялись в лес по грибы, чтобы поразмяться после недельного сидения на канцелярских стульях. Все знакомо. Все надоело. Павел Мансуров чувствовал себя одиноким, заброшенным, несчастным. Как бы вырваться из Коршунова?

Прошло затяжное бабье лето с седой паутиной на сухой стерне, с прозрачным застойным воздухом, с шепотом опадавших листьев, с инеем на тесовых крышах по утрам. Ударили первые заморозки...

И только тут из обкома пришел официальный коротенький ответ: документы, собранные товарищем Мансуровым, пересланы в ЦК партии.

Павел Мансуров, узнав об этом, промолчал. Игнат насмешливо бросил:

— Долго же они решались на такой подвиг!

А Баев неожиданно стал с большим уважением относиться к Павлу — не отмахнулись, в ЦК переслали. Дело, выходит, не шуточное.

Еще до того, как в газетах появилось новое постановление ЦК о планировании в сельском хозяйстве, Павла срочно вызвали в обком; к его удивлению, вспомнили папку, попросили выступить со статьей в областной газете...

И с этого момента все перевернулось в жизни Мансурова. Незаметный районный работник, фамилия которого мельком упоминалась в отчетах, неожиданно стал знаменит в партийных кругах.

Областная газета печатала его статьи о недостатках планирования.

Первый секретарь обкома Курганов в своих докладах брал примеры из его папки.

Обком партии предложил Коршуновскому району пересмотреть состав бюро.

На внеочередном пленуме в бюро был введен Игнат Гмызин. Баев, ошеломленный и подавленный, выступил с просьбой освободить его от партийной работы, выразил желание уйти снова в школу педагогом-биологом.

Павла Мансурова избрали первым секретарем.

Помнится первое утро его новой работы. За окнами мелкий сухой снежок нехотя падал на крыши коршуновских домов, на шоссе, на прохожих, в кузова проезжающих грузовиков. Покойным рассеянным светом, отраженным от снега, был залит кабинет: стол под зеленым сукном, громоздкий мраморный прибор на нем, стул, на котором четыре с лишним года сидел Комелев и несколько месяцев — Баев.

Павел опустился на этот стул. Его охватило радостное предчувствие больших дел, которые предстоит начать ему с этого места. Пусть пока еще не совсем ясно, что надо ломать и как действовать. Главное — он теперь первый человек в районе: ни Комелевы, ни Баевы не висят над головой. До сих пор он лишь трезво подмечал — там плохо, это, нехорошо, подмечал и не отворачивался с равнодушием...

Равнодушие — самый страшный из человеческих пороков.

Равнодушие — не зло, как принято считать. Сырость сама по себе еще не есть гниение, она лишь способствует размножению гнилостных бактерий. Потому-то, где сыро, там и гниет.

Равнодушие размножает зло, оно его почва, его питательная среда. При равнодушии неизбежно растут бедствия, при равнодушии загнивает жизнь!

Он, Павел Мансуров, не станет терпеть около себя равнодушных, он начнет с ними войну. Безжалостность к себе во имя

счастья тех, кто сейчас ходит за окнами райкома под падающим сухим снежком,— это должно стать его лозунгом!

В то утро Павел надеялся, что так же, как прежде он по цифре, по факту собирал папку, он будет стежок за стежком, кусочек за кусочком обновлять жизнь коршуновцев.

Но с первых же дней своей новой работы почувствовал — прямым путем идти трудно.

В том месте, где граница Коршуновского района идет по реке Парасковьюшке, там, где выдающийся мысок смахивает на коготь в разлапистом следе медведя, расположился дальний колхоз «Сознание». По соседству с этим колхозом, рукой подать, стоят лесоучастки. Но они в чужой области (Парасковьюшка — не только граница районов, но и граница областей), и поэтому колхоз «Сознание» должен направлять людей и лошадей на лесозаготовки за сто с лишним километров через весь Коршуновский район в леспромхоз, расположенный у станции Великой. А это ложилось на колхоз тяжелой обузой. Простая арифметика... Колхоз «Сознание» каждому, кто ехал на лесозаготовки, давал на дорогу: день пути — один рубль, чтоб в придорожной деревне можно было пристроить лошадей во двор, попросить у хозяев кипяточку, переспать ночь в тепле. Рубль в сутки за все эти милости — деньги невеликие, ни одна организация так не оплачивает командировки. Но за зиму колхоз в разное время снаряжает шесть-семь обозов в лес, подвод по двадцать в каждом. Эти обозы от «Сознания» до станции Великой тащатся по заметенным дорогам, в морозы, по неделе, порой дней по девять. Подсчитать эти рубли, и то выходит кругленькая сумма — тысяча. А что говорить уже о том, сколько средств уходит на прокорм лошадей, на пропитание людей в пути... А прикинуть, как выматываются лошади на таких перегонах, после плохо работают в лесу, весной еле таскают борону... Огромные неудобства терпит колхоз «Сознание». И все это легко избежать. За рекой Парасковьюшкой стоят лесоучастки, и что за беда, если они принадлежат другой области. В них идет заготовка леса не для чужого государства, для своей страны...

Узнав об этом, Павел Мансуров загорелся: неразумная трата сил и средств, бессмысленное бремя на колхоз, уродливый формализм!.. Он написал в область, пришел официальный отказ: «Не можем отдать свою рабочую силу в распоряжение другой области». Мансуров позвонил первому секретарю обкома Курганову. Тот ответил примерно так же: «Мы сами планы не выполняем, а чужого дядю рвемся рабочими облагораживать». Но и на этом Павел не успокоился, сам поехал в обком, встретился лично с Кургановым, продолжал доказывать: люди сколо дома лучше будут работать, больше дадут стране леса, с государственной точки зрения. — прямая польза.

И Курганов неожиданно для Павла согласился:

— Хорошо. Раз считаешь, что для государства выгодней, — отдавай народ на сторону. План же лесозаготовок мы тебе ни на один кубометр не скинем. Отдавай рабочую силу, если справишься. А не справишься — полетишь сам с работы. За срыв лесозаготовок миловать не будем.

И Павел осекся, — с лесозаготовками в районе дела шли неважно, зачем навязывать на себя лишние заботы, что за радость облегчить работу какого-то, совсем незнакомого секретаря райкома из соседней области, а самому терпеть неприятности, кто знает, оставить работу, быть может, отказаться от планов, которые вымечтал, по которым чешутся руки. Даже колхозу «Сознание» будет невыгодно, если вместо него, Павла Мансурова, снова посадят на руководство нового Басва или нового Комелева. Лучше не рисковать по мелочам.

С берегов Парасковьюшки по-прежнему через весь район по заметным дорогам тянулись обозы...

Перед самой же весной Павел вместе с Чистотеловым, с Игнатом Гмызиным, с другими председателями разработал план сева, где видное место отвели льну. Рассчитывали — сразу поднимется трудовень, загремят в карманах у колхозников денежки. Но опять же в области ответили просто:

— Приветствуем ваше желание увеличивать посевы льна, но только снижать посевные площади зерновых категорически запрещаем.

— Как же быть? Не облака же льном засевать?..

— Сами смотрите, но зерновых не троньте.

Снова скрепя сердце пришлось уступить.

Хотя Павел Мансуров ничего особенного еще не добился в районе, но в области о нем продолжала держаться добрая слава: напорист, самостоятелен, есть все задатки — поднимет район из отстающих.

Но Павел Мансуров знает цену этим похвалам, он не возгордится, не надуется спесью. Пусть хвалят: вырастет авторитет среди людей, да и, чувствуя доброжелательное отношение, как-то крепче сядишь на новом месте.

Все эти неудачи — временные. Сразу, не оглядевшись, в яблочко попасть трудно. Есть порох в пороховнице, хватит сил. Только бы по мелочам их не растратить, сберечь на большие дела...

За окном весна. Не столько радостно от этого кусочка синего неба в форточке, от солнца, от искрящейся капли, сколько от ожидания новых побед. А они будут! Павел в это свято верит.

Вот и перезимовали... Хорошо!

С крыши с шумом сорвалась подтаявшая туша снега, на миг закрыла солнечный свет в окне, где-то внизу тяжело упала, и

звук такой, словно облегченно вздохнула при этом. Черт возьми! Даже это радует!

В дверь просунулась голова Ивана Самсоновича, помощника Павла, над морщинистым клинышком лба юношески игриво висит жиденькая челка седых волос.

— Павел Сергеевич, машина у крыльца.

— Хорошо, — ответил Павел и упруго вскочил на ноги, готовый ездить, ходить, не спать ночей, работать и работать, жить и жить без усталости.

## 2

Двери скотного распахнуты на обе створки. Яркий солнечный день. Сияют подсохшие бревна стен, а провал дверей настолько черен, что кажется: сама ночь, съезжившись, уплотнившись, спряталась от света под крышу коровника, и воздух там, не в пример наружному, легкому, сдобренному свежей сыростью, должно быть, тяжел, густ и вязок, как смола.

Из черной глубины на солнце одна за другой выходили коровы. Вместе с отощавшими, покрытыми клочковатой бурой шерстью (самая пора линьки) телами они выносили застойный запах навоза и парного молока.

Кончилось многодневное заточение. Тесные стойла, мятая солома под ногами, низкий, серой побелки потолок вверху, днем сумеречный свет через мутные оконца, ночью лампочки тусклого накала, слежавшееся, дурно пахнущее пылью сено — все это позади. Впереди — сочная, смоченная росой трава, тень в густом ельнике, речки с теплой водой, где можно стоять по брюхо и лениво отмахиваться от слепней...

Только самые первые шаги выходивших коров были одинаковы. Шлепая клешнятыми ногами по талой земле, они делали шаг, другой и останавливались, ослепленные сверканьем луж, ярким небом, оглушенные запахами, склонив головы, тупо глядели перед собой. Но через секунду каждая из коров по-своему выказывала свой характер. Одна так и стояла до тех пор, пока следующая корова не наталкивалась на нее, после чего делала два-три неуверенно пьяных шага и снова застыла в недоумении. Другая, подняв голову, раздражалась прерывистым, рыдающим мычанием — и не понять, радуется она горячему солнцу, весеннему дню, свободе или это ее тревожит. В третьей вдруг сказывалась непокорная кровь диких предков — хвост на спину и неуклюжим, взлягивающим галопом вперед, подальше от темных дверей скотного. Вслед ей слышались крики скотниц:

— У-у, очумелая! Сдурела!

Только старая корова Барыня с загнутым на лоб рогом, виляя тощим выменем, прошла без задержки, остановилась у кучи

снега и сразу же дремотно смежила седые жесткие веки. Ее не тронул ни пьянящий запах талого снега, ни обмытый льющимся с неба лучами сверкающий мир — тепло, и ладно... К ней на спину сразу же спустилась галка, повертела хвастливо головой, прыгнула раз, другой, принялась выклевывать линялую шерсть. Барыня не повела калеченым рогом.

Игнат Гмызин лишь молча протянул подошедшему Павлу руку и отвернулся, продолжая наблюдать. Ярмарочно-праздничный шум у скотного и славный день не трогали его, жиденские — золотистый цыплячий пушок — брови насуплены, нижняя толстая губа презрительно выпячена, подбородок спрятан в растегнутый ворот ватника.

Павел спросил:

— Что сердит? Этаким пугалом стоишь.

— Веселиться нечего. Иль тебе картина эта нравится? — Игнат указал глазами на толкущееся стадо.

— Ну и что? Коровы коровами, как и всегда после зимы, шелудивые немного.

— Что шелудивые — не беда. Мне на них не парадные выезды делать. А ты укажи хоть одно хорошее вымя.

Павел окинул взглядом коров — мелковаты, брюхасты, узкокопты в крестцах. У ближайшей вымя сжато в кулачок.

— Не породистый у нас скот. Верно.

— Я людей измучил на силосе. Не хвалясь скажу — сокровища накопил. А для кого старался? Для этих кошек. Они — племя прожорливое, мастера добро на навоз переводить... Куд-ды, тварь слепая?! Хмель в дурную башку стукнул!

Одна из «прожорливого племени», молодая пестрая коровенка, пронеслась мимо; если бы Игнат не отскочил, чего доброго, сбила бы с ног.

— Не знаешь, скоро кончат нас обещаниями угощать? — спросил Игнат, наблюдая, как неутихающим наметом удаляется корова. — Иль обещанного три года ждут?

— На неделе в области должно собраться совещание по животноводству. Скажут... Ты тоже там должен быть.

Игнат только хмыкнул неопределенно, оборвал разговор:

— Что ж, едем в Кудрявино?

Они направились в деревню.

Перед самой деревней — широкий пустырь. В позапрошлом году здесь росли крапива и репейник, кое-где торчали кусты можжевельника да березовые пни, обливавшиеся весной пузырящейся розовой пеной. Теперь среди нестывших, обдутых сугробов поднимаются дощатые шатры, укрытые толем, самый пустырь походит на мрачный, покинутый цыганский табор. Под каждым шатром — яма. В них хранится силос разных сортов, разных качеств. Каждый сорт среди колхозников имел уже свое

прозвище: силос из гороховой зелени — «медок», то есть сладкий; силос из подсолнуха — «соломат»<sup>1</sup>, то есть вкусен и сытен; силос из крапивы и веток был груб и звался «тюрька».

Игнат обернулся к Павлу:

— Вот ежели не разведу вместо теперешних навозных скотинок добрых коров, то со всем этим хозяйством, — Игнат обвел рукой ямы, — буду смахивать на голодную мышь, которая уместилась на банке свиной тушенки: под ней целое богатство, а попользоваться нельзя. На кой черт невесте наряды, коль рыло корчагой... А вот и Сашка, — перебил себя Игнат, взглядываясь в конец улицы. — Эге-гей! Сю-юда!.. Вьюн парень. Увернется — потом ищи днем с огнем по углам.

Павел почти всю зиму не встречался с Сашей Комелевым. Бросалось в глаза не то, что тот раздался вширь, что старенький пиджачок (хотя и было по-весеннему холодновато) тесен в плечах, — удивляли непонятные, неуловимые перемены в лице: черты его стали как-то тверже, может быть, потому, что четче вырисовывались брови, иными стали и глаза — раньше чистые, прозрачные, они словно бы потемнели.

— Лошадей я уже запряг, — произнес Саша неожиданным для Павла баском.

Он, верно, не в силах был просто спокойно идти рядом — нагнулся, схватил горсть снега, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колесную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал. Чувствовалось, что для его тела самое тяжелое наказание — перестать двигаться.

— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.

Саша лишь смущенно отвернулся, походя потряс рукой кол изгороди — крепко ли держится. Зато расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.

— А чего ж, мужаем... — ответил он за Сашу не без самодовольства.

### 3

На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; все это соединено с остальным миром извилистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с ми-

---

<sup>1</sup> Соломатом в северных областях называют овсяную или пшеничную кашу, обильно залитую маслом.

ром, — убогая проселочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.

Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и тракторы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоединить.

Починок Кудрявино лежит как раз посередине между колхозами «Труженик» и «Светлый путь». От обоих он далек. В тот год, когда началось укрупнение, Кудрявино присоединили к «Светлому пути», колхозу крепкому, со старым опытным председателем Федосием Мургиным.

Кудрявинцы были бесшабашный народ: весной не особенно торопились с севом, осенью — с уборкой, просили у государства кредиты, расходовали и не думали выплачивать. Оказавшись под крылышком Федосия Мургина, начали надоедать ему: «Федосий Савельич, хлебец вышел... Федосий Савельич, нельзя ли авансик...» — за что степенный и рассудительный Федосий Мургин возненавидел их тайной и лютой ненавистью и эту отброшенную в леса бригаду называл не иначе, как «автономная республика Кудрявино», тем самым намекая районному начальству, что оно не имеет сил подчинить кудрявинцев своей воле.

В деревнях Погребное, Сутолоково, Ивашкин Бор — оплот и ядро разросшегося ныне колхоза «Светлый путь» — не было обиднее клички, чем «кудрявый». «Кудрявый ты, брат, не иначе...» Тот, кому бросали такие слова, знал, что они отнюдь не похвала наружности, а просто его считают и бессовестным попрошайкой, и последним на свете бездельником, и вообще ни к чему не пригодным человеком.

Павел Мансуров предложил передать Кудрявино колхозу «Труженик».

— Федосий стар и живет по старинке, ему теперь дай бог управиться со своим колхозом без этого довеска. Ты ж вон как разворачиваешься. Хватит сил, вытянешь кудрявинцев, — говорил он Игнату.

От деревни Новое Раменье до починка через поскотины считалось километров пятнадцать. Но кто мерил эти километры лесных дорог?

Лошадь уже два часа старательно тащила розвальни по лесу. Полозья то скользили по грязи, то скрежетали по жесткому снегу, то погружались в мутные лужи. Спасение, что санный полз — не колесо: всюду пойдет, нигде не застрянет...

Дорога становилась все уже и уже, лес — выше, гуще, глуше. В одном месте обогнули бурелом — толстые стволы сосен лежали крест-накрест друг на друге, вскинув черные от сырости корневища. Ничто в лесу не может вызвать с такой силой впе-

чатление дикости, как бурелом — хаос, хранящий на себе следы неистовой силы. После него казалось странным, что они едут по проложенной людьми дороге. Невольно ждешь — вот-вот обернется она, лошадь потащит розвальни через пни, кочки, трухлявые стволы упавших деревьев, по бездорожью и... кончится путь.

Но вот среди плотного леса показался голубой просвет, скрылся, показался другой, более широкий... Розвальни выехали на колею, заполненную вязкой грязью, кое-где, как щитом, покрытую толстой коркой унавоженного льда. Дорога пересекала поле озими. За полем — обычные деревенские крыши с выкинутой к небу неизменной березкой. Вот оно, Кудрявино!

Саше еще ни разу не случалось бывать в лесных починках; подъезжая, он с любопытством вглядывался — должна же на чем-то лежать печать глухоты. Но дорога вела к привычной деревенской околице: осевшая за зиму изгородь, такие же осевшие ворота из жердей, распахнутые гостеприимно настежь бревенчатые избы...

— Да у них электричество! — удивленно воскликнул Саша.

В глубь просторной деревенской улицы уходили желтые столбы.

— Федосий Мургин локомобиль завез, — пояснил Игнат. — Одну зиму свет был, потом случилась какая-то неисправность. Федосий к тому времени махнул рукой на кудрявинцев, кудрявинцы — на его локомобиль... Столбы-то стоят, да и в избах лампочки есть...

Сам Игнат, хоть и не раз бывал здесь, сейчас глядел вокруг быстро бегающими глазами, на переносе легла напряженная морщинка, — как-никак все, что ни увидит, станет его хозяйством.

— Эх-хе-хе! — вздохнул он. — Косилка-то где перезимовала.

Председатель «Светлого пути» Федосий Мургин еще не появлялся, но его ждали с минуты на минуту.

В бригадной избе, до укрупнения служившей колхозной конторой, приезжих встретил бригадир Савватий Копачев, более известный по прозвищу Саввушка Вязунчик, маленький человечек с большой лобастой головой, сморщенным бритым лицом, прыгающими вверх-вниз бровями и живыми, беспокойными глазками. Павел не был знаком с ним, Игнату же частенько приходилось видеть Саввушку у себя. Не скрывая своего удивления, Игнат прямо спросил:

— Как же так случилось? Ты — и бригадир.

— Сам не пойму, — безунынным, по-детски тонким голоском ответил Саввушка. — Народ за меня горой стоит.

Игнат с сомнением покачал головой:

— Ишь ты... деятель.

Саввушка Вязунчик, от рождения слабосильный, не приспособленный к крестьянской работе, сам сознающий это, был одним из тех, кого обычно называют в деревне «зряшный мужик». Не только в колхозе, но и к своему хозяйству он не прикладывал рук. Приходила пора пахать усадьбу, садить картошку, а Саввушка ходит от соседа к соседу, просит сначала табачку на сигарку, а затем...

— Дощечек у тебя, брат ты мой, не завалилось ли?.. На что? Да, чай, весна. Скворцы, слышь, прилетели, скворечник надо приладить.

И он целый день самозабвенно сколачивал скворечник, не обращая внимания на то, что старуха с высоты крыльца честит его на всю деревню:

— Полюбуйтесь, люди добрые! В доме луковицы завалишей не отыщешь! Век-вековечный мучаюсь с непутевым!.. Господи! Когда ты его приберешь?

У Саввушки был сын, brave офицер, красавец парень, изредка приезжавший на побывку домой, сводивший с ума девчат щегольским, с золотом нашивок, мундиром. Саввушка им гордился, многозначительно напоминал встречным и поперечным: «Мое семья». На деньги, высылаемые сыном, и кормился он со старухой.

Никто в округе не знал больше Саввушки смешных побасенок и страшных историй. В любом месте, где только сходились два-три человека, Саввушка начинал своим детским голоском рассказ.

И сейчас, ожидая приезда Федосия Мургина, он начал не без хвастовства:

— Нелегко, видать, к нам добратся. Вы, Павел Сергеевич, примечаю, машинку-то свою оставили, на простых дровнях к нам подкатили. Лесные мы люди... Не слышали, какое лихо сюда загнало? Нет. То-то и оно. Мы кудрявинцы, одного с тобой корня, Игнат Егорыч. Ты родом из Останова, мы — тоже. Лет так сто пятьдесят назад в Останове жила Фекла, по уличному-то — Лешачиха. А почему Лешачиха — разговор особый. Здоровая была, страсть. Мужички-то наши на медведя один на один хаживали, она и их кулаком сшибала. Муженек у нее был хлипкий. Она его понуждала бабьи работы делать: корову доить, тесто ставить, бельишко там простирать, а сама пахала, косила, новины жгла. Характеру угрюмого, живет не по-людски, все на выворот. Ну, народ-то по темноте своей коситься стал: не иначе ведьма, не иначе лешачиха, пакости ей, ребята! И пакостили: на клин коров напустят, бычку там ногу перешибут, дошло дело — колом лошаденку ейную пришибли. Тут Фекла-то и не стерпела, дозналась кто... А пришиб лошаденку парень один, по селу первый ухарь... Так что вы, братцы мои, думаете! Средь бела

дня Фекла этого парня смяла, голову его промеж колен вставила да при всем народе, при девках-то штаны спустила, по голому задку и всыпала... Извелся потом от этого парень-то. А Фекла покидала на телегу свое добришко, на добришко мужика посадила, сама в оглобли впряглась, да и в лес... Вслед плевались: «Лешачихе — лешачье место, живи где хошь, сатанинское семя». Выбрала Фекла местечко поглуше да поприглядней, с одного боку соснячок, с другого — березки, одна одной кудрявее...

Саша слушал с интересом, Павел — скучающе, Игнат боялся задержаться до вечера, нет-нет да и поглядывал в окно. Он первый и перебил Саввушку:

— Наконец-то! Прибыл Федосий.

Тучным животом вперед, расставляя раскорячкой короткие ноги, на каждом шагу шумно отдуваясь, вошел в избу председатель «Светлого пути» Мургин, протянул пухлую ладонь Павлу, затем Игнату, помедлив, протянул Саше, на Саввушку не повел и бровью.

— Овраг за Коростельскими лужками залило, еле перебрались. В мои-то годы с кочки на кочку прыгать... — Он снял с головы кожаный картуз, вытер платком лоб и круглое лицо.

До укрупнения колхоз Мургина вызывал зависть у окружающих колхозников. В те годы не только коршуновские покупатели, но и на базаре областного города спрашивали хозяйки: «Из «Светлого пути» свинину не привезли?»

После укрупнения «Светлый путь» заметно осел. Прошло три года, а до прежнего уровня не дотянулись.

Сейчас Мургин, выставив живот, сидел с суровой важностью, только умные рыжеватые глазки сквозь узкие щелки припухших век настороженно бегали по лицам. Ведь как бы там ни было, а он не сумел сладить с кудрявинцами, приходится передавать их Гмызину. А кто этот Гмызин? В колхозных председателях всего четвертый год. Федосий Савельич боялся, что секретарь райкома Мансуров намекнет с ехидцей: «С твоей шеи груз... Благодаря человека, что освобождает». Легко ли такое выслушивать на старости лет?..

Но Павел лишь сказал:

— Пойдем по хозяйству посмотрим. Ты, Савельич, все расскажешь без утайки.

— Обрадовать не обрадую, а расскажу начистоту. — Мургин поднялся, кивнул небрежно Савватию: — Сбегай пока к Марфе Карповне, накажи, чтоб погода самовар сообразила. Люди целый день тут будут.

— Дело невеликое, перепоручить могу, — с важностью заметил Савватий. — А при осмотре-то хозяйства и мое слово не лишнее.

— Иди, иди, куда посылают. Сам покажу твое хозяйство.

Савватий с явным сожалением расстался с гостями: народ они свежий, можно бы побеседовать.

— Не удивились вы, случаем, что на бригадирстве Саввушка Вязунчик сидит? — отдуваясь после каждого шага, заговорил Мургин. — Ставил я, ставил своих бригадиров... Никиту Обозникова посадил сначала. Тот с месяц промучился, потом пришел, шапку об пол брякнул: что хошь, мол, делай, сбегу от кудрявинцев. Самая уборка, а они все в лес по ягоды. С собаками ищи каждого! Ведь подумать только, мужик с утра раннего под окнами сторожил, чтоб в лес не отпустить, — хитростью уходили... С Иваном Мишиным такая же штука. А на собраниях кудрявинцы кричат: «Не надо чужого! Из своих бригадира выберем...» Вот и выбрали этого шута горохового. Очень удобный для них человек... Здешний народ лесом попорчен... Не земля их кормит — лес! Ягоды собирают, продавать носят. Малинка-то рубль стаканчик, а этой малины возами вози отсюда. Дичину бьют, рыбу в озере ловят. При нужде и лося освежают... Закон далеко... Весь закон и вся власть тут — бригадир. Потому чужие и не приживаются... Потому и Саввушку выбрали: самый безобидный человек... Он и лошадей не откажет усадьбу вспахать, и малиной заниматься не запретит, и на работу не погонит, — сам ее не любит. Живут у этого Христа-Саввушки за пазушкой, а тот по своей глупости рад почету. Должно, и вам хвалился: «Народ-де мне доверяет...» Вот, Игнат, слушай... Не для остротки говорю — для науки.

Земля задубенела от вечернего морозца, и лошади тяжелей было тащить сани. Приходилось больше идти пешком. Молчали. Наконец Павел спросил:

— Не жалеешь, что согласился?

Игнат нехотя ухмыльнулся:

— Иль, думаешь, оглобли поверну?

— Пока-то еще не поздно... Я, прямо скажу, хоть и посоветовал, да теперь сомневаться стал. Колхоз твой, как на дрожжах, растет. Он, может, знаменем всего района будет, и вдруг такую гирию повесили...

— Не мне гирию, так Федосию — как ни кинь, кому-то вешать придется...

— Только это и заставляет. Но невыгодны тебе кудрявинцы. Ой намучаешься...

— Не из-за выгоды их беру. Людей жаль. Утонули в лесах, одичали, сами не вылезут. На Федосия — сам толковал — невелика надежда. Непрочно на ногах стоит, потянет кудрявинцев, сам того гляди в болото сползет. Попробуем мы... Больше некому.

— Если так — святое дело. Спасибо скажем.

— Не на чем. Межой свой колхоз от других отделять не собираюсь.

— Ну и все ж, как думаешь своротить лесовиков?

— Как? — переспросил Игнат. — Да очень просто. Хлеб с их полей — долой! Невыгодно. Часть полей отведу под луга, часть буду засеивать корнеплодами. Поставлю хороший скотный двор, силосных ям нарою, маслобойку оборудую и буду вывозить из Кудрявина масло. Выпасы у них большие, травы сколько угодно, силосу хоть на весь район заготовляй... — Игнат помолчал и добавил: — Это — дело дальнего прицела. а пока придется просто тянуть их... Мне скот для развода нужен, племенной, породистый! — закончил он упрямо.

Павел рассмеялся.

— У тебя на каждую болячку одна и та же припарка. Дашь скот — и шабаш!

Игнат не ответил, двумя широкими шагами он нагнал сани, завалился на них.

— Садись! Здесь уклон — лошади полегче...

Мансуров и Саша привалились к нему.

Скрипели оглобли, шуршали полозья, молчал затянутый сумерками лес.

4

Саша временами смутно чувствовал, что жизнь напористо наступает на него, не дает опомниться. Каждый день приносил новое.

Недавно казалось, что нет скучнее на свете случайно прочитанной в газете фразы: «Такой-то колхоз перевыполнил план силосования...» Бесцветные, серые слова, они не оставляли следа в душе.

Но проходили дни, и он с ревностью, со страстью искал в газете: засилосовали? А как? Почему мало сказано? Три строчки написали, словно огрызнулись...

Новое приходило вместе с беспокойством, вместе с заботами.

Колхоз косит, колхоз запасаает сено. В эти дни каждый с опаской смотрит на небо: а вдруг да грянет дождь, погниет трава, чем кормить скот зимой? Хорошо, если будет солома, а как и той не хватит? Прирезай тогда коров, пока сами не сдохли. Под богом ходим.

К осени на скошенных лугах подрастет густая отава — добрая трава, коси по второму разу. Плохо ли снять сена вдвойне! Скосить-то можно, но как высушить? Осеннее солнце негорячее, дожди перепадают часто. Коси не коси, все равно сгниет — пропадет добро, что ж делать? Под богом ходим!

На Роговском болоте вокруг ляг и бочажков несчитанные гектары осоки. Не ходит туда скот, не ест ее — жестка, края листьев, что бритва, режут в кровь язык, десны, губы. Никчемная трава. А велика ли польза в дремучих зарослях крапивы за раменским полем? Многие считают — возмущаться нечем, мало ли растет и плодится бесполезного на свете, на то божья воля.

Но все это так кажется до времени, пока не узнаешь, пока не раскроют тебе глаза.

Скоси отаву, засыпь в яму, притопчи поплотней, закупори покрепче — немудреное дело. Не надо высматривать да выжидать солнца; дожди, сырость, утренние заморозки — ничто не помеха. А в конце зимы вынимай эту перебродившую, пахнущую хлебным квасом отаву, разноси по кормушкам — будут есть коровы да облизываться. Осока, крапива — даже их можно перегнуть на молоко и мясо...

Тридцать семь ям силосу заложил Игнат Егорович. В каждой яме от тридцати до сорока тонн. Подсчитай, лежат в земле сокровища, копилка колхозного богатства на пустырe!

Сотни тысяч рублей в банке, новые подвесные дороги на скотном, чтобы не на руках таскать навоз, велосипеды у ребят, шелковые платья у девочек, крыши, крытые железом, музыка из радиоприемников — вот что такое силос! На красивой земле — красивая жизнь, отцовская мечта! Саше ли быть к этому равнодушным...

По-прежнему Игнат Егорович считал законом каждый свободный вечер вместе с Сашей проводить над учебниками. Книжную премудрость Саша схватывал быстрее Игната. Но если Саша просто запоминал, верил всему, что ни прочтает, без оговорок, то Игнат часто ворчливо спорил с учебниками:

— Что пишут? Башня для силоса дешевле ямы. А утеплять башню, а ремонтировать ее?.. Клепка каждый год будет расплываться по швам. Такие ремонты встанут в копеечку...

И он сразу выкладывал кучу житейских примеров, после чего и у Саши пропадало доверие к прочитанному.

Заботы и беспокойства были у них общими, мечтали они вместе, вместе учились, вместе работали, и новое для Саши открывалось через Игната Егоровича.

С Катей Саша помирился вскоре же после возвращения из города.

Проведенная в одиночестве часть ночи после размолвки была для Саши прощанием со старой сосной. И не только наступившие осенние дожди, не только зима с ее морозами помешали им встречаться на прежнем месте — другое. Их отношения изменились, стали более обыденными, но от этого вовсе не более холодными, наоборот — появилась простая дружественная близость.

И эту дружбу незачем было скрывать от людей, прятаться с ней в темноту ночи под сень сосны, стоящей в стороне от дороги.

Старая сосна отслужила им свое и стала не нужна.

Катя начала приглашать Сашу в гости. Вместе с дедом, бывшим Сашиним учителем Аркадием Максимовичем, пили чай. Катя, сменив костюм на фланелевый халатик, с гладко забранными волосами, румяная, довольная новой для нее ролью гостеприимной хозяйки, угощала напористо:

— Саша! Ты что, как красна девица, сидишь? Вот варенье, вот слойки! Не заставляй кланяться.

После чая Аркадий Максимович любил посумерничать и философствовать на какие-нибудь очень высокие темы — о вселенной, о человеческом уме, о будущем...

— Бесконечность окружающего мира меня не гнетет. Напротив! В этой бесконечности я вижу бесконечные возможности для применения человеческих сил. Да, да, друзья! В мире есть только один бог — человек!

На столе смутно поблескивали неприбранные чашки. Глуховатый голос старика будил какую-то приятную шемящую мечту о чем-то огромном, недоступном. Катя, забравшись с ногами на громоздкий старый диван, гладила задумчиво кота Фомку, лежебоку, упрятого в густую шубу, с презрительно-недоверчивыми круглыми глазами. Саша, не поворачивая головы, ощущал взгляд Кати. Уютно и покойно чувствовал он себя в этой маленькой семье.

Такие посещения дали повод считать всем Сашу и Катю посватанными. Свою мать Саша нет-нет да и заставлял в слезах. «Я так, родненький, так... Только ты не бросай мать-то, легко ль без твоей-то помощи нам будет...» — невнятно объясняла она. Последнее время она усидчиво вязала пуховую шаль — уж не подарок ли будущей невестке?

В колхозе же подарила Сашу своим вниманием одна из развеселых раменских девчат, Настя Баклушина.

Среди своих подруг, отличавшихся дородностью и здоровьем, она, невысокая, худенькая, с бледным, не загорающим на солнце лицом, казалась на первый взгляд неприметной. Но все знали, что Петр Демин, нынче флотский офицер, завидный кавалер (фуражка с белым верхом, китель в обтяжку, морской кортик у пояса), шлет сердитые письма Насте, обещает жениться. Знали, что Настя не особенно-то сохнет по нем, крутит голову и секретарю сельсовета Мите Голикову, и Перхуну Федору, агроному МТС, и шоферу Никите Шуренкову. Из леспромхоза к ней на разговоры ездит за двадцать километров какой-то десятник, уже в годах, кто знает, может, и семейный. За все это дородные, пышнотелые раменские девчата тайно ненавидели Настю.

При всей почти детской нескладности Настиной фигуры бросались в глаза налитые зрелой тяжестью груди и на худошавом лице — сочные, яркие губы с каким-то мягким и жадным выступом на верхней.

Настя с самых первых дней стала дразнить Сашу. Это она кричала ему на сенокосе:

— Иди к нам в копейки! Охотка поиграть со свеженьким!

Потом Саша привык к таким окликам, научился даже отвечать на них. Настя на время оставила его в покое.

И вот теперь какой-то черт снова толкнул ее к Саше. Увидит в конторе — не стесняясь, проталкивается к нему:

— Куда спешишь? Поглядеть на себя не даешь. Поди сюда, миленький, посидим рядком, поговорим ладком.

Какой-нибудь бородатый правленец при этом советовал Саше:

— Мотри, парень... Подальше от нее — укусит. Девка с бесинкой.

## 5

В области малый прирост скота, в области низкие удои, в пяти районах из-за летних дождей бескормица, зимой пришлось прирезать скот. В области тяжелое положение с животноводством.

В городском театре по этому вопросу собиралось совещание передовиков.

Нарядное фойе с высокими потолками, с переливающимися люстрами в этот вечер выглядит менее празднично. Будничны лица гардеробщиц, не мелькают распорядители с пачками программ, буднична и публика. Яркий электрический свет с потолка освещает косоворотки, гимнастерки, яловые сапоги рядом с уютюженными костюмами. Много мужчин и мало женщин. Люди большей частью собираются кучками, курят, разговаривают, а не ходят попарно.

На стенах под самым потолком висят портреты великих композиторов: Лист, Бетховен, Моцарт, Глинка, Чайковский... И странно под сенью этих корифеев искусства слышать озабоченные житейские слова: выпасы, надон, молодняк, силос, концентраты...

За последнее время Павел Мансуров полюбил такие совещания в области. В безукоризненном костюме, курчавая голова вскинута, на широком смуглом лице готовность любого встретить открытой, дружеской улыбкой, он мягкой, неспешной походкой ходил по фойе, кивал знакомым, заводил разговоры. На него оглядывались, за его спиной шептались:

— Из Коршунява?

— Тот самый.

— На вид молод...

Обкомовские работники, обычно в такие дни все до единого занятые по горло, озабоченно снующие через фойе и зрительный зал на сцену, находили минутку, останавливались, чтобы переброситься парой слов с Мансуровым.

Секретари райкомов из больших промышленных районов, таких, как Сумковский, Ключаевский, Глазновский, люди пожилые, знающие себе цену, еще недавно не ведавшие о существовании Павла Мансурова, встречали его дружески — равные равному.

Секретари из районов более удаленных, менее заметных отыскивали Павла в толпе, осторожно придерживая за рукав, отводили в уголок, советовались, жаловались. Для них он был уже старшим.

Коршуновцы собрались отдельной кучкой: Игнат Гмызин; Федосий Мургин, недавно вышедший из буфета, где до краев налился пивом, отчего широкое лицо его расцвело влажным свекольным румянцем; Огарышев — зоотехник колхоза «Первая пятилетка»; председатель этого колхоза Пятерский, сухощавый человек с аскетическим лицом, к которому вовсе не подходил нерешительный и мягкий взгляд голубых глаз; доярка Распопова, со старым, еще довоенным, орденом Ленина.

Только что выступил с докладом председатель облисполкома Чернышев. Он сообщил: в область прибывают большие партии племенного скота. Раньше такой скот приходил лишь маленькими партиями и распределялся механически. В областном отделе сельского хозяйства раскидывали по районам: столько-то голов туда, столько-то сюда, хотите или нет принимать, раз назначено — получите, никаких возражений, никаких отговорок на бескормицу! В этом году брать или не брать должны решать районные руководители, они сами обязаны рассчитывать силы своих колхозов.

Федосий Мургин, собрав под подбородком толстую складку, рассматривая на своем обширном животе пуговицы, говорил с привычным ему недовольством:

— Знаем мы этот скот. В позапрошлом году прислали мне трех холмогорок. Коровы — без всяких бумаг видно — породистые из породистых, спины что полати, вымя у каждой мешком висит. Только я наплакался с ними. Подавай им, видишь ли, заливные выпасы. Плохую траву жрать не желают, рыла воротят. А где у меня заливные, когда кругом в суходолах сижу, как свиной ошкварок на сковородке... А ведь скот-то этот даром не дают, денежки за него плати, и немалые...

Зоотехник Огарышев обиженно возражал:

— Рано или поздно, все равно нам придется менять своих дохлых коровенок на продуктивных. Тут такой случай — бери! Отвращиваться прикажешь?

— Дохлые коровенки, это верно,— смущаясь, соглашался Мургин.— Только почему они дохлые?.. Кормим плохо! С такими кормами наши еще выдюжат, а племенные загнутся, не жди от них ни молока, ни приплоду настоящего. Забываешь, милоч, поговорочку: у коровы-то молоко на языке.

Игнат Гмызин молчал, но по тому, как с сосредоточенным видом поглаживал бритую голову, было видно — он уже прикидывает в уме, сколько голов взять, где разместить. Его-то меньше всего трогали сомнения Мургина.

Павел Мансуров понимающе поглядывал на Игната: «Хозяйская башка... Вот как попал в точку! Не зря копил запасы силоса... Этот, не боясь, отхватит себе племенных коров, этот создаст стадо!»

— Павел Сергеевич! Здравствуйте, голубчик...— Перед Павлом остановился секретарь райкома из соседнего Шумаковского района, невысокий живчик, с квадратной, в ладошку, лысиной на макушке. Он подхватил Павла, потащил в сторону, сразу на ходу выговаривая:

— Слышали, о чем Курганов собирается выступить?

Шумаковский секретарь имел одну удивительную способность: какими-то неизвестными путями на пять минут раньше других узнавать во всех подробностях обкомовские новости. И уж эти новости он не держал при себе.

— Он скажет (тут подразумевался первый секретарь обкома Курганов), что работа районных руководителей будет измеряться тем, сколько район возьмет на свои плечи племенного скота. Много возьмешь — хороший работник, значит, у тебя в районе есть корм, есть где скот поставить. Мало возьмешь — так на тебя и будут глядеть. Областным-то хочется как можно больше в свою область упрятать сейчас этого скота. Шутка ли — сразу поднимется поголовье. И не рассчитывай на мясопоставки, особливо-то не дадут списывать старых коров. Цифра, цифра нужна! А эти цифры вот кому на шею сядут — нам! — Шумаковский секретарь похлопал себя по короткому загривку.— Я лезть наобум не буду, не-ет. Пусть как хотят, так и смотрят, хоть косо, хоть прямо в лоб смотрите. У меня сейчас в редком колхозе клок сена отыщешь. Ждем не дождемся, когда зеленая травка, спасительница наша, выглянет. А за падеж племенного скота ой как спросят! Ну, извините, бегу к своим. Потолковать надо. В таких вопросах решать одному боязно. А решать надо, торопят...

Шумаковский секретарь отбежал от Павла, по дороге столкнулся с высоким седым мужчиной в полувоенной форме, подхватил его под руку и начал ему горячо рассказывать, должно быть, то же самое. Мужчина с терпеливым снисхождением слушал шумаковца.

Павел знал этого седого человека с простоватым лицом ра-

бочего, с прямыми широкими плечами, со щеголеватой подобранностью офицера запаса. Он секретарь Ключаевского райкома партии, Звонцов. Видя, как шумаковец, суетясь, выкладывает ему, Павел усмехнулся: «Тоже мне, чижик соколу на беду сует. Звонцову ли беспокоиться?.. Да у него в районе целое созвездие колхозов первой величины — украшение всей области. Не только в кормах, но и в самом племенном скоте особо не нуждаются. Его-то не тронут слова Курганова...»

Высокий Звонцов с мягкой настойчивостью освободился от прилипшего к нему шумаковца, кивнул головой и зашагал прочь. Павел Мансуров с уважением и завистью проводил взглядом прямую, широкую спину, обтянутую зеленым кителем: «Ничего, поживем — увидим: кто над кем поднимется. Не боги горшки обжигают...»

Павел вернулся к своим.

— Хватит споров, — произнес он. — Скоро начнутся прения. Мне выступать. Надо сейчас обо всем договориться...

Их небольшое совещание оборвал звонок.

Плохо ли отхватить богатый куш, одним разом выправить положение с животноводством, — соблазн велик, но в районе не везде хорошо с кормами, скотные дворы не подготовлены к приему племенных коров, да и кадры животноводческие слабы. Нет, больших обещаний давать нельзя.

Павел уселся на свое место с твердым решением — не зарываться.

Выступал шумаковский секретарь. Он говорил, что прибывающий в таком количестве скот — событие в области, оно, возможно, сделает революцию в экономике, но тем не менее к приему скота надо подходить осторожно, вдумчиво...

Из президиума секретарь обкома Курганов бросил короткую, сухую реплику:

— Не потому ли за вдумчивость ратуете, что в прошлом году сено погноили?

— И это приходится учитывать, Алексей Владимирович, — отозвался шумаковец.

— Учитывать, чтобы впредь сено гноить?

Шумаковский секретарь замялся, а зал зашелестел недоброжелательным к нему смешком. Вместе со всеми осуждающе смеялся и Павел Мансуров. Шишковатый лоб шумаковца под ярким электрическим светом блестит от пота, сам он весь как-то съежился на трибуне, спешит, комкает фразы:

— ...Перебросить в нашу область тысячи голов племенного скота! Такие решительные меры говорят о мощи нашего социалистического хозяйства!..

— Конкретно о районе! — подкидывает опять Курганов.

— Наш район, — с готовностью подхватывает шумаковец, — не может не откликнуться... Мы приложим все силы...

— Конкретно!

— Должны признаться, что мы еще в недостаточной степени... — галопом продолжает шумаковский секретарь, обливаясь потом.

Докладчик кончил, суетливо сгреб бумаги, сбежал с трибуны и исчез, растворился...

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется секретарю Коршуновского райкома партии товарищу Мансурову!

Павел поднялся и по узкому проходу, усталому мягкой ковровой дорожкой, пошел своим легким напористым шагом к трибуне. В одном из рядов крайний к проходу человек в овчинной душегрейке, с костистым волевым лицом, то ли колхозный председатель, то ли низовой зоотехник, повернувшись к соседу, произнес:

— А ну-ка, ну-ка, на что этот решится?

Павел слышал эти слова.

Из-за стола президиума встречал Павла подбадривающей улыбкой Курганов. Весь вид его — вскинутая голова, прямой приветливый взгляд — выражал уверенное ожидание: этот скажет, не подведет, еще и удивить может.

И Павел почувствовал, что твердое решение — не зарываться, не обещать ничего — он не сумел донести целиком до трибуны. На секунду он растерялся, молчал, собираясь с мыслями, глядел в зал. А из освещенной глубины зала, мельчась, утопая в ней, уставились сотни лиц, напряженно глядевших в упор.

Тишина своей настороженностью властно требовала: говори, слушаем, чем удивишь? И в этой тишине, в терпении людей чувствуется уважение. Сами того не желая, люди как бы приказывают ему говорить то, против чего минуту назад Павла предостерегал здравый смысл. Нет сил им не подчиниться, вызвать разочарование — невозможно!

Павел со спокойным достоинством бросил привычное:

— Товарищи!

Не спеша заговорил о том же, что и шумаковский секретарь: сегодняшнее совещание обязано разрешить один из самых важных вопросов — племенной скот облагородит местные породы, подымет продуктивность...

Он заговорил и со страхом отмечал про себя: напряжение в зале падает, тишина, вначале чистая, прозрачная, словно замутилась сейчас. Слышалось шевеление в рядах, осторожное покашливание. И казалось, что вот-вот из-за стола президиума, от секретаря обкома, донесется требовательное: «А конкретно?»

Павел вдруг почувствовал отвращение к своему бесцветному, вялому голосу. Нет, он не шумаковский секретарь, он — Мансуров!

Резко, как от удара, он распрямился, вскинул голову, обли-тый светом театральных рефлекторов, юношески подобранный, смуглое, широкоскулое лицо как бы вспыхнуло решительностью, голос стал звучным, упругим, властным:

— Мы сидим в болоте и мечтаем, как бы взобраться на гору! Нам пришли на помощь, нам спустили лестницу, а мы мнемся, раздумываем — ступить на нее или не ступить? Мы боимся, что сорвемся. Из-за этой боязни чуть ли не готовы отказаться от своего спасения!

Зал снова зашумел, но как отличен был этот новый шум от прежнего равнодушного шороха и покашливания. Бесконечные ряды утопающих в полутьме лиц, кажется, приближались, стягивались на горячие слова Павла Мансурова.

А Павел, чем больше говорил, тем отчетливее понимал — произнести незначительные цифры ему нельзя.

Он назвал цифру — пятьсот голов, и зал доброжелательно прошумел аплодисментами.

После заседания около театрального гардероба нет чинного порядка — толкучка, все торопятся. Многих ждут машины, на ночь глядя надо ехать километров пятьдесят — шестьдесят в свои районы. Рослый мужчина в бараньей душегрейке набрал целую охапку пальто и плащей, протискивался в угол:

— Налетай! Могу продать вместе с хозяевами!

В этой толкучке к Павлу, уже надевшему свой плащ, подошел Курганов. Был он невысок, держался прямо, движения живые и резкие. Он крепко пожал Павлу руку, заговорил:

— Хватил — не постеснялся. Смело действуешь. Что ж, на широкие плечи и тяжелый куль. Но будем требовать, чтоб весь скот прижился. Ни одной твоей жалобы, ни единой слезинки не примем во внимание. Помни!

Тон был полушутливый, голос бодрый, но Павел уловил в словах секретаря обкома жестковатое предупреждение и понял, что отступить от своих слов ему не дадут.

Он ответил также полушутливо и бодро:

— Не обещаю, Алексей Владимирович, может, и придется в чем-нибудь поплакать в жилетку.

Федосий Мургин слышал этот разговор и, после того как Курганов отошел, проворчал, пряча недружелюбный взгляд от Павла:

— Кому плакать, так это нашему брату...

Павел оборвал его холодно, едва сдерживая раздражение:

— Только уволь, раньше времени не плачь... Почему Гмызин не собирается плакать, а ведь у тебя стаж колхозного руководителя побольше, чем у него!

Стоявший в стороне, уже одетый, Игнат Егорович промолчал.

6

Выписывая петли по лугам, течет речка Шора. Летом она вся, как в шубный рукав, упрятана в густые кусты ивняка.

На протяжении всего года тиха. Редко-редко ее ленивая темная вода своевольно звенит на каменных перекатах, больше отдыхает в затянутых кувшиночными листьями сонных омутах. И только весной неожиданно свирепеет скромница. В узких берегах, утыканных лозняком, тесно, ей нужен размах. Луга — вот где раздолье! Дороги, кусты, пни после вырубki — все остается под водой. Дня три несет Шора на своей мутной спине вперемежку с заматерелым, не желающим таять льдом коряжистые выворотни, прокопченные бревна, сорванные с какой-то черной баньки, иной раз часть сруба — два-три намертво сбитых венца.

Дня три, от силы пять, разгула, и... спадает вода. Незаметно уходит Шора в свои прежние берега. Только разбросанные по кустам грязные глыбы льда да какой-нибудь ствол сосны с перекалеченными ветвями, с истерзанной корой, выпирающий из ивняка, напоминают о былой удали.

Снова Шора, как благодная дочь на выданье, тиха и скромна, снова ленива ее вода.

После разлива остаются на лугах бесчисленные озерца, глубокие и мелкие, широкие и длинные, лишь по цвету одинаковые, синие-синие, словно само небо, разбившись на осколки, раскидано по земле, убого покрытой вымокшими остатками прошлогодней травы.

Солнце быстро прогревает эти озерца, и в них сразу начинается жизнь. Длинноногие водомерки бестолково, лишь бы быстрее, бегают по гладкому зеркалу воды, юркими зигзагами плавают лакированные черные плавунцы. А у берега уже выставила пучеглазую морду оттаявшая лягушка.

Поражают своей смышенностью большие пауки. Они выпускают в воздух длинную нить паутины, ветер подхватывает ее. И, как под парусом, из одного конца озерца в другой несется паук на растопыренных лапах. Вода, словно от крошечного глissера, расходится игрушечной волной по сторонам.

С берега паутина совсем не заметна, окоченевший в неподвижности и в то же время скользящий по воде паук кажется чудом.

Катя долго недоумевала, пока Саша не поймал такого паука и не обнаружил паутинку.

Густая синева неба, всасывающая в себя главающих вровень с солнцем птиц, яростный блеск воды, стеклянный трепет нагретого воздуха, запах прели, запах земли, чего-то тинистоягушечьего, живого, мокрого, весеннего — все это опьянило Катю.

Они сидели на выдутом, сухом пригорке. Катя, подобрав ноги, в светлом платье, облитая режущим глаза солнцем, чуточку расслабленная: плечи безвольно опущены, наклон шеи переходит в ленивый изгиб спины, но глаза, глядящие в землю, нетерпеливо бегают, тревожат веки. Вся она в одно время и млеющая и беспокойно ждущая чего-то...

Саша последнее время стал замечать — оставаясь с глазу на глаз с Катей, чувствует неловкость, между ними исчезает простота, появляется натянутость.

Вот и сейчас сидит она перед ним, необычно красивая, взволнованная, ждет от него необыкновенных слов. И он ведь знает эти слова, он собирается их давно сказать, но трудно начать!.. Если б Катя не волновалась, легче решиться...

— С тобой никогда не случилось такого?.. — начинает Саша издалека.

Катя поднимает ресницы, глядит с немym вопросом: «Чего — такого?..»

— Вот вроде ничего особенного нет, а чувствуешь, что западает на всю жизнь в память минута... Заранее чувствуешь...

Немой вопрос не исчезает с лица Кати: «Не понимаю...»

— Я вот сижу сейчас и точно знаю — этот день запомню: и пауков этих, и вон ту березку... Гляди — воздух поднимается от земли, сквозь него березка видна, поживаетея словно... Ничего особенного, не событие, а, пока буду жив, не забуду этой березки. Что-то сейчас есть кругом. Ты не чувствуешь?

Саша видит: Катя начала понимать, но хитра, делает вид — ничего не ждет, обычный разговор, глядит в сторону, глаза скучноватые, только на щеках под прозрачной кожей легкий, мягкий румянец.

— И сейчас, в эту минуту, нравишься ты мне по-особому... Нравится, как ты оперлась рукой о землю, как плечо твое поднялось, лицо твое, руки твои, колени... (Катя поспешно прикрыла высунувшееся из-под платья крепкое колено.) Как глядишь на меня, как слушаешь — все нравится. Захлестнет вот такое — солнце темнеет... Фу! Кажется, глупостей наговорил...

Саша отвернулся, насупил. Катя легко поднялась, под села ближе, взяла его руку и, стараясь заглянуть в опущенное лицо, сказала тихо и удивленно:

— Какой ты, однако... То о силосе толкуешь... И вдруг черт проснется.

— Катя!.. Я давно хочу сказать, и ты знаешь о чем...

— О чем?

— Знаешь! Хочу, чтоб была моей женой! Пора говорить об этом!

Он сказал резко, сердито, почти грубо. Катя не вздрогнула, не удивилась, а снова задумалась, глядя остановившимся взглядом на воду озера. Гладь воды пересекла наискось крутой хребтиной щука. Она пленница, сотни метров нагретого солнцем луга отделяют ее теперь от родной реки. День ото дня, час от часу будет сохнуть озеро, пока не превратится в тесную лужу. Прибегут из села ребятишки, взмутят и без того застойную воду... Долго будет бороться щука, ловкая, быстрая, сильная, станет метаться между ребячьих голых ног, между жадно протянутых рук, а выхода нет, конец один... С торжеством внесут ее в село на ивовом пруту, продетом сквозь жабры, и выпученные тусклые глаза со слепым равнодушием будут глядеть на солнце.

От долгого молчания в душе у Саши родилась подозрительность: Катя не отвечает, не хочет, почему?.. Так ли уж он нравится ей, как думал до сих пор?.. Полез с предложением, нужно ей оно...

Саша, бледный, стараясь все же не выдать волнения, глядел на Катю, ждал, слышал, как стучит в груди сердце.

Катя наконец подняла глаза и внимательно, долго разглядывала Сашу — выгоревшие волосы, чистый лоб, упрямые губы, тонкую шею, торчащую из помятого воротника рубашки...

— Муж... — произнесла она удивленно. — Неужели ты — судьба моя?.. Каждая девчонка много думает о муже. Что скрывать, и я думала... И как глупо... Представлялся — высокий, красивый, плечистый, сильный, печальный, непонятный и главное — таинственный. Сказка перед сном! Где он живет, какие подвиги совершает, где пересекутся наши пути?.. И вот не Иван-царевич, а просто Саша Комелев... Муж... Александр Степанович...

— Что разглядываешь?.. Иль раньше не нагляделась?

— Раньше Сашку видела, теперь — другое.

Саша вскочил:

— Да ну тебя!

Он потоптался, пряча лицо. Катя, чувствуя свою силу и свое превосходство, следила теплыми, улыбающимися глазами, уверенная, что не обидится, никуда не уйдет от нее.

— Пошли!

Не дожидаясь, когда она поднимется, Саша повернулся, неровной походкой, словно кто толкал в спину, зашагал. Катя, не сводя улыбающихся глаз с его спины, гибко поднялась, распрямилась во весь рост, с разгоревшимся лицом, солнечная, светлая, постояла и сорвалась, легкими, летящими шажочками нагнала Сашу, обняла за шею...

Как дети, взявшись за руки, они шли по рыжему весеннему лугу, застенчиво прятали друг от друга лица...

Разнеженная теплом, пахнувшая влагой, украшенная синими озерами, тяжелыми темными ельниками, обкуренными зеленой дымкой воздушными березовыми лесами, отдыхала земля под нарядным, ярким небом.

Разбросав на солнцепеке темные домишки, сушилось после благодатной весенней сырости село Коршуново. Оно на этой земле, под этим небом занимает неприметное место, но и в нем, как и всюду, бывает простое и необычное, негромкое и великое человеческое счастье!

Саша поздно вернулся из Коршунова в колхоз.

Весной улицы деревни Новое Раменье долго не просыхают от грязи. Пройти от дома к дому можно только по узкой обочине, цепляясь руками за плетень. И вот на такой обочине, когда обе руки заняты, а ноги не могут найти устойчивую опору, Саша столкнулся со встречным.

— Кто тут? Кому из нас давать задний ход? — весело окликнул Саша и узнал Настю Баклушину.

Она, плотно прижимаясь узким гибким телом к плетню, сделала шаг-другой вперед, выдвинулась из тени, наискось покрывавшей улицу с круто размешанной грязью: ее продолговатое, с нежным овалом маленького подбородка лицо оказалось рядом. Саше был ясно виден пухлый, жадный выступ на верхней губе.

— Вот и встретился, миленочек, на темной дорожке. Давно такой встречи ждала, — вполшепота произнесла Настя, приваливаясь грудью к плетню, не собираясь ни отступать, ни идти дальше. — Что ж смотришь по сторонам? Все еще меня пугаешься?.. Беги, не держу, беги! Не бойсь, собачкой догонять не стану.

Сегодня у Саши был счастливый день, мир казался красивым, люди добрыми, к каждому, кто попадался на глаза, хотелось подойти, сказать приятное, поблагодарить за то, что он, такой славный, живет на свете... Невольную, необъяснимую вину почувствовал он сейчас перед Настей.

— Обижаешься за что-то. Зря, Настя, — сказал он мягко. — Я о тебе плохо не думаю и худого тебе не хочу...

— Худого не хочешь?.. Мало мне этого, Сашенька. Ты мне хорошего пожелай... Ты взглядишь в меня — не урод, не порченная... — Она придвинулась еще ближе, уперлась в него плечом. — Чего отворачиваешься? Иль я зарок возьму, иль свяжу тебя?..

От обжигающего дыхания, от близости ее губ начали путаться мысли.

— Настя, — произнес он хриловато, — не приставай... Зря это...

— Знаю, коршуновская цыганочка тебя привязала. Да и то... Я девка колхозная, она образованная, с докладами выступает, ручки только чернилами пачкает...

— Пусти-ка лучше.

— Нет, ты пусти. Сдай, дай! Не бойся ножки промочить.

И Саша отступил, пропустил Настю.

Она, уже скрывшись в темноте, крикнула в спину:

— Все одно покою не дам! Я упрямая! Дождусь своего!

Саша только сердито передернул плечами.

## 7

Катя изредка навещала жену Павла Мансурова, свою бывшую учительницу, Анну Егоровну, теперь просто подругу.

Разбросав по коленям сиреневый шелк, Анна орудовала иглой. Подняв на вошедшую Катю глаза, перекусила нитку, поздоровалась, сообщила:

— Вот вчера платье купила — подгоняю.

Катя подсела, стала разбираться:

— Плечи японкой... Юбка трехклинка — простовата...

— По мне и это хорошо. Отошло мое время модничать... Живем, а зеркала хорошего приобрести не можем. Не знаю, как и сидит... Катя, надень ты, посмотрю со стороны.

— Да оно мне будет узковато...

Однако Катя взяла платье, стала расправлять. Анна разглядывала ее с внимательной грустью — от подернутых загаром ног в босоножках до густых волос, выбившихся темным мягким пухом у маленьких ушей.

— Узковато будет... Сейчас, Аннушка, я в другую комнату выскочу.

Но Анна остановила:

— Не надо.

— Почему?

— Не хочу... Платье разонравится.

— Да почему же?

Анна с улыбкой вздохнула:

— Недогадлива ты... Ведь мы все завистливы на красоту. Ты красавица, а я и в молодости-то не была такой, а теперь и подавно.

Катя раздумянулась от удовольствия.

— Ничего ты так не увидишь. На мне все же видней...

Анна с неохотой выпустила платье из рук.

Катя, несмотря на свой возраст, в плечах и в спине была шире Анны. Платье действительно казалось узковатым, только в талии не морщилось, гладко облегало, подчеркивая упругость бедер.

Анна с горечью опустила руки:

— Так и знала... Хоть не снимай. Мне теперь на себя в этом платье взглянуть тошно.

Она, угловатая, с тонкими руками, излишне длинной шеей, узкоплечая и узкогрудая, с печальной завистью смотрела, как поворачивается перед ней, косясь одним глазом на зеркало, Катя: высокая, стройная, сиреневый шелк оттеняет нежную смуглоту тонкой кожи на руках, с лица не сходит счастливый румянец — кому не лестно чувствовать себя красивой.

— Аннушка... — Катя ласково обняла Анну, усадила ее на диван, осторожно, чтоб не смять юбку, опустилась сама. — За муж я выхожу...

— За Комелева?.. За Сашу?

Катя смущенно кивнула головой.

— Он моложе тебя?

— Всего на год. Разве это — препятствие?

— Он мальчик. Ты не по годам взрослой выглядишь.

— Аннушка, не надо, молчи. Ничего слышать не хочу.

— Нет, что ты! Не отговариваю тебя... Только помни об одном: в таком деле самая мелкая, самая незаметная ошибка вырастает в бесконечные мучения... Впрочем, всех нас предупреждали опытные люди, и никто их не слушал. Бесплезное я говорю, забудь все. Полюбился — выходи.

Катя, слушая Анну, притихла, наблюдала за ней; когда та замолчала, спросила осторожно:

— Что случилось, Аннушка?

Анна опустила голову, пожала плечами:

— Кто знает... Приходит с работы, если слово скажет, то по крайней нужде: «Поесть дай. Готов ли чай?..» Что случилось? Неизвестно. То и страшно, Катя...

Катя слушала и испытывала обычную неловкость, когда счастливому человеку приходится сочувствовать горю. Надо что-то сказать, как-то подбодрить, а слов нет.

В это самое время во дворе хлопнула калитка, на крыльце раздались шаги.

— Павел... Легко на помине. — Анна со вздохом поднялась с дивана.

Он вошел со своей обычной напористостью — волосы спутаны, ворот на красивой шее распахнут, глаза сухо блестят. Узнал Катю, и суровое лицо подобрело.

— Эге! У нас гости... Здравствуйте.

Катю пугал этот непонятный для нее стремительный человек. Она сразу же вспомнила, что на ней чужое платье, в плечах и груди стянутое нелепыми складками, засмущалась. Скрываясь за перегородку в соседнюю комнату, чувствовала всей спиной пристальный взгляд Павла Сергеевича.

Вернулась она в своем скромненьком светлом платье, с выбившимися около ушей волосами, смущенно-румяная, с нерешительно вздрагивающими ресницами.

— Катя, не уходи, останься... — попросила Анна.

— Похоже — меня испугалась? — улыбнулся Павел.

Он собирался умываться, был без пиджака, в сорочке с засученными рукавами, плечистый, улыбающийся, вовсе не похожий на того замкнутого, сурового мужа, о котором только что рассказывала Анна.

Катя ушла. Что-то мешало ей остаться. С приходом Павла Сергеевича без причины чувствовала себя связанной.

Шла к дому медленно. Вспомнила: широкоскулое, крепко вычеканенное лицо, перепутанные жесткие волосы, обнаженные до локтей руки поигрывают мускулами, мнут толстое полотенце, взгляд прямой, дружеский, открыто-веселый, но где-то в глубине за веселостью тлеет тревожная искорка.

Не в первый раз Катя замечает эту искорку. При случайных разговорах в кабинете, при встречах на собраниях всегда кажется, что Павел Сергеевич смотрит на нее не так, как на всех, по-особенному... Нелепая фантазия. Кому не лестно вообразить, что такой человек, как Мансуров, отличает тебя от других. А в том, что он человек необычный, на голову выше всех, Катя не сомневалась. Тем больше перед ним робости.

8

Павел веровал, что только беспокойные люди двигают жизнью.

Тот первобытный человек, который привязал к длинной палке острый камень, наверняка имел тревожную, ищущую душу. Его угнетала слабость своих рук, он хотел быть сильнее других охотников, и это не давало ему покоя, заставило думать и додуматься — он сделал копье! Он быстрее всех на охоте свалил пещерного медведя, он стал сильным. Беспокойство — признак силы!

Тревожные натуры изобрели машины, опутали матерьяки железными дорогами, заставили по морям плавать корабли-города, а по воздуху — летать корабли-птицы. Люди спокойные, уравновешенные лишь подчинились неистовой силе беспокойных. Они, обливаясь потом, по указанию выплавляли детали машин, по указанию укладывали шпалы, рыли туннели, вбивали сваи, перекрывали реки плотинами... Сила спокойных натур целиком принадлежала беспокойным, была в их власти...

Так думал Павел Мансуров.

Всю жизнь ему не давало покоя одно смутное беспокойство. Это беспокойство можно выразить двумя словами: «Не то!»

Он вырос в глухой уральской деревне. Учителя в школе, кни-

ги из сельской библиотеки, изредка наезжавшие кинопередвижки с забытыми ныне картинами «Абрек Затур» и «Красные дьяволята» открыли перед Павлом заманчивый мир. Вместе с этим открытием пришло желание вырваться из деревни. Кругом него все *не то*; настоящее, красивое, загадочное *то* — в будущем.

После школы он работал делопроизводителем в конторе леспромхозовского орс, томился и тревожился — *не то*, не настоящее.

Уехал в город, перепробовал специальности слесаря, монтера, был даже с неделей администратором кинотеатра, но все это — *не то*, рвался к другому, пока неясному.

Удалось поступить в институт. Лекции, зачетные сессии, поездки на практику в Красноярский край... *То* или *не то*? Нашел бы он свое место в жизни или нет? Неизвестно. Началась война...

Фронт и покой несовместимы. Нечего бояться, что жизнь застоит, начнет надоедать однообразие. Что ни день, то новое, пока жив — оглянуться некогда. Даже смерть там приходила на ходу, ее не ждали, ее не готовились встретить. Два дня на передовой Павел был командиром взвода. На третий убили лейтенанта Яценко. Павел принял командование ротой, а через четыре месяца стал командиром батальона, через год был взят в штаб полка... Но вот демобилизация, от армии остались только погоны майора, спрятанные за ненадобностью на дно чемодана, да офицерский китель со щегольскими бриджами, которые приходилось донашивать в будни. И снова тревожное беспокойство: куда идти, к чему приложить руки? Опять *не то*.

Теперь — хватит гоняться за загадочной синей птицей: руководи, действуй, покажи свои силы, есть где развернуться. Не подопечный Комелева или Баева, сам себе хозяин и другим голова.

После областного совещания Павел сначала почувствовал себя растерянным. Дал слово обеспечить полтыщи голов племенного скота. Одуматься — не маленькая ответственность, не лучше ли вовремя спохватиться, пойти к секретарю обкома, признаться начистоту — пасую!

Этого хочет Федосий Мургин, хотят многие председатели. Даже Игнат Гмызин (уж как ждал в свой колхоз племенной скот) и тот настороженно отмалчивается, по всему видно — ошарашен словом Павла.

Но беспокойство тогда становится силой, когда оно смело. Если бы тот первобытный человек был трусом, он не изобрел бы копье. Трусу и копье не в помощь. Беспокойство без смелости становится беспомощной суетливостью.

Федосий Мургин давным-давно утратил способность беспокоиться, и винить его за это нельзя: ему за шестой десяток, в такие годы тревоги и беспокойства — тяжелое бремя.

Игнат — мужик умный, сильный и в решительности ему не откажешь, но, как матерый медведь, он тяжел на раскачку. Порой, прежде чем ногу поднять, постоит, подумает, куда поставить.

Так кого слушать — Федосня, Игната? Или самого себя?

Риск есть, но когда большое дело удавалось без риска? А здесь дело великое! Пятьсот голов племенного скота, разбросанных по колхозам района, через год дадут потомство. Увеличится животноводство, окрепнут колхозы. Это ли не показательно! Заговорят в области, зашумят газеты, до самой Москвы дойдет слава о Коршуновском районе. Стоит идти на риск.

Нет, он, Павел Мансуров, дал слово и не пойдет на попятную. Он будет бороться: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

То ли виновато его неумное беспокойство, то ли еще какая причина, но Павел чувствовал — ему день ото дня труднее становится жить с женой.

С Анной он познакомился, когда служил последние дни в армии. Полк стоял в маленьком городке Владимирской области. Многие офицеры, кто с нетерпением, кто скрывая растерянность перед будущим, ждали со дня на день отчисления в запас, занятия проводили лениво, скучали. Женатые ходили друг к другу играть в преферанс, «холостяжник» по вечерам, навешивая блеск на пуговицы и сапоги, отправлялся в жиденький городской сквер. Его посещали студентки лесотехникума и учительницы двух имеющих в городе десятилеток.

В этом скверике и встретились они. Чистенькая, сдержанная, любящая стихи, сухие воздушные волосы лежат на белом строгом воротничке глухого темного платья, с нежным и прозрачным лицом, Анна показала Павлу, только что вырвавшемуся из окопной грязи, фронтовых землянок, олицетворением семейного уюта. Опрятность, подчеркнутая безупречность девичьих воротничков сразу вызвала в воображении гардины на окнах, коврики у постели, ряды книг на полках, настольный покойный свет — все, о чем стосковалась душа в фронтовой бивачной жизни.

Все это было. Было даже и большее, чем семейный уют. После командировок, где приходилось расстраиваться из-за каких-то телег, задерживающих вывозку семенного материала, после совещаний, где приходилось слышать обидные упреки, что пропагандист Коробков плохо провел семинары агитаторов, Павел знал, что дома его ждет предупредительная жена, что она сможет посочувствовать не просто для виду, а умно, от души, что у

нее наверняка подготовлена интересная книга, которая заставит забыть и телеги без колес, и пропагандиста Коробкова.

Все это было хорошо, пока деятельность не захватывала всей его жизни. В своей аккуратной, чистой, со вкусом, насколько можно это в Коршунове, обставленной квартирке Анна всегда умела спрятать Павла от неприятности.

Но вот вся жизнь его изменилась, а Анна осталась прежней. Как и раньше, он первое время ей жаловался:

— Черт его знает что такое! Проехал от Сорокина до Верхних Дворков — ни одного хорошего моста. Уборочная на носу, по этим мостам комбайны пропускать. Сутолоков, пока в шею не толкнешь, не пошевелится.

Анна отвечала ему, как отвечала в те дни, когда он жаловался на разбитые телеги:

— Стоит ли портить кровь?

Прежде она была права: неудачи обрушивались на его голову неожиданно, вина в том, что телеги не подготовлены, была не его, а отвечать приходилось ему. Теперь он всюду хозяин, даже мосты, даже телеги касаются его. Стоит волноваться, стоит портить себе кровь! А она этого не понимала, не хотела понять, успокаивала по-прежнему. Павел вдруг увидел, что они жили и живут разной жизнью. Ей не интересно, как он работает, ему не приходило в голову поинтересоваться, что делает Анна в школе. Жалобы ее, вроде тех: «Никита Петрович, завуч наш, составил нелепое расписание. У меня четыре окна в неделю», или: «Наталья Ивановна требует с учеников в ответах книжной точности, прививает систему зубрежки...» — Павел всегда пропускал мимо ушей.

Их, оказывается, объединяло немного: комната с ковриками, общий стол... Одна крыша — и только.

Встречаются разложившиеся семьи, где муж и жена живут каждый по отдельности; у мужа на стороне свои любовницы, у жены — любовники. Это вызывает у людей чувство брезгливости. Но бывает иначе: муж и жена внешне живут порядочной жизнью, но взгляды у них разные, интересы разные, друг друга не понимают, чужды, а в то же время нужно встречаться день изо дня за столом, исполнять супружеские обязанности, дни, месяцы, долгие годы быть привязанными один к другому. И это никого не удивляет, не возмущает, это считают нормальным.

Павел неожиданно стал замечать, как постарела Анна, что лицо ее, прежде нежное, прозрачное, потускнело, что локти ее рук слишком остры, что веки безнадежно смяты морщинами...

Особенно ярко все это бросилось в глаза, когда Анна надела то платье, в котором он недавно видел Катю Зеленцову. Ну, какое между ними может быть сравнение!

В прошлое лето в Демьяновском лесу, что подпирает поскотину «Сахалин», в самом глухом месте, сметали стожок сена. Зимой его вывезти не смогли: велик был снег, срывавшаяся с пробитой дороги лошадь тонула в сугробах по уши... Никто не пытался вывезти сено и весной, в распутицу. Теперь в лесу повыветрило. Игнат Егорович вспомнил о демьяновском стожке — не пропадать же добру, наказал Саше: вывези.

Саша хотел захватить с собой Лешку Ляпунова. Парень — крикун, а на работу зол, с ним не застрянешь. Но Лешка перешел в плотницкую бригаду Фунтикова, заворачивал бревна на сруб, лаялся при этом со всеми.

Евлампий Ногин, бригадир первой полеводческой, пощипывая густую бородку, долго соображал, кого бы выделить, и вдруг ухмыльнулся:

— Ладно, парень, найду тебе горяченького напарника, с таким не замерзнешь... Когда отправляешься-то? После обеда... На конюшне ждать будет. Мое слово верно, не обману.

Саша не обратил внимания на ухмылку, вспомнил о ней, когда пришел к конюшне и увидел этого напарника.

Лошади были выведены, запряжены, в телегах лежат слеги, деревянные вилы, веревки — все как нужно, ничего не забыто, даже узелок с едой — платочек с игривыми цветочками — брошен на грядку. Рядом с лошадьми стояла Настя, в старых сапогах, в длинном, не по росту, мужском пиджаке, туго стянутом потрескавшимся ремнем. Она с веселым вызовом взглянула на Сашу:

— Тронемся помаленьку, Степаныч?

— Ты едешь?

— Иль и тут не по нраву?

— Я бороду просил: парня дай.

— То и беда, что по нынешнему времени в парнях не достача.

— А, черт! Разговаривать! Иди домой лучше... Один поеду.

— Кто тебе, родненький, сразу двух лошадей доверит? У Островского оврага головы им свернешь один-то.

Саша понял, что хочешь не хочешь, а Настю взять придется. Бежать сейчас к бригадиру, заявить, а он, пряча в бороду знакомую ухмылочку, начнет возражать: «Чем же плоха? Работаща, хоть с лошадьми, хоть с вилами парня за пояс заткнет». Только для пересмешек и разговоров лишний повод.

Лесные дороги разнообразны. Есть проселки с пылью в жару, с лужами после дождей, с грязными глубокими колеями, с колдобинами, с ухабами. Это дороги бойкие, они бегут от деревни к деревне, по ним ездят на дню несколько раз, случается видеть на них даже следы автомобильных скатов.

Есть дороги к вырубкам и поскотинам: колесные колеи отчетливы, они не заросли травой, а трава между ними притоптана копытами лошадей и скота... По таким не каждый день проходит колесо, но на неделе обязательно раз или два кто-нибудь проедет.

Есть дороги, ведущие к лугам: колеи еле заметны, поросли мягкой, нежной травкой. Их тревожат только во время сенокосов.

Но и еще есть дороги... Как иногда в чистом небе бывает трудно различить, расплывшееся ли это облачко или просто ма-рево, так не поймешь, дорога ли тут или же редкий лес. Колей нет, бархатная, чистая, необмятая травка; часто там, где по расчету должна проходить самая середина дороги, безмятежно растут юные елочки... Раза три в год, пригнув их верхушки, проскрипит по какой-то лесной оказии телега или же, приминая снег, протянутся сани. В остальное время все живое здесь радуется солнцу и дождям в полном покое.

У такой дороги известно начало, но никто не знает конца. Незаметно для человеческого глаза она превращается в обычный лес.

С такой дороги легко «сорваться», потерять ее, заблудиться вместе с лошадьёю.

Порой эта дорога удивляет каким-нибудь лесным сюрпризом: рухнула древняя сосна, да еще в самую чашу, ни объехать ее, ни перескочить, и в сторону не отбросишь — тяжела, кончившая свой век, матушка, хоть поворачивай обратно. Есть и заведомо опасные места...

На одной из этих безыменных, неезженных дорог Демьяновского леса таким опасным местом был Островский овраг. Ничего дикого, необычного в нем не было, овраг как овраг, без обрывов, весь зарос кустарником, но попробуй-ка в этом кустарнике продаться с возом...

Порожняком проехали его легко. Настя, на удивление, всю дорогу была молчалива, шагала возле задней подводы, только изредка окликала Сашу:

— Правей держись! Собьемся — не вылезем!

Будь она, по своему обыкновению, назойливой и веселой, Саша легче бы переносил ее общество.

На полянке — с одной стороны угрюмый частый ельник, с другой — прозрачный, ясный осинничек — стоит стожок, потемневший, скособочившийся, похожий на старушку горемыку, греющуюся на солнышке. Единственный во всем лесу стог, — все остальные давно вывезены.

Лошади сами вплотную подошли к нему, с ходу зарылись в сено мордами.

— Не терпится! — прикрикнул Саша. Задирая лошадям головы, освободил от удил, сам надергал из глубины несопвевшее сено, бросил лошадям под ноги.

— Глянь-ко, сова! — негромко воскликнула Настя.

На верхушке стога, у самого шеста, притаилась буро-рыжая птица, тревожно пучит слепые глаза, сердито растопорщила перья. Саша, схватив с телеги деревянные вилы, потянулся к ней. Сова сорвалась, раскинув широкие, короткие, с грязно-желтой изнанкой крылья, полетела бесшумно через полянку, ткнулась в чащу ельника. Было слышно, как она забилась в нем.

— Ведьмачиха лесная! Спугнул, видно, кто-то ее, — оживленно заговорила Настя, пытливо и вопросительно заглядывая Саше в глаза, ожидая ответа.

Но Саша отвернулся, полез наверх раскрывать стог. И Настя снова притихла. Пока навивались воза, она не произнесла ни слова.

...С возами сквозь кусты пробираться было труднее. Время от времени то один воз, то другой угрожающе кренился, вот-вот опрокинется. Саша и Настя, придерживая их плечами, кричали на лошадей. Несколько раз руки их сталкивались — Саша поспешно отдергивал свою, отворачивался от Насти...

Перед спуском в Островский овраг остановились. Из сухого валежника Саша выбрал толстый кол, просунул в задние колеса меж спиц — для тормоза, взял лошадей за поводья.

— Давай помаленьку, — приказал Насте. — Иди следом, поглядывай. Кричи в случае чего.

Неустойчивый, колеблющийся воз с медлительной нерешительностью пополз вниз между кустов.

— Тихо, тихо, милая... Тяни помаленьку, не рви, — уговаривал Саша лошадь.

На самой середине спуска воз остановился. Саша сердито хлестнул лошадь, она дернулась, забилась, ломая копытами ветви кустов, и затихла, поводья боками.

— Тут под кустом яма выпрела — колесо провалилось. Что и делать, ума не приложу, — сообщила из-за воза Настя.

Саша оставил лошадь, обошел вокруг накренившегося воза, хмуро приказал:

— Я сдам назад, ты слегу выдерни. Без тормоза спустимся.

— Спуск-то крутенок. Лошадь можем покалечить.

— Не сваливать же нам воз...

Напирая на морду лошади, Саша звонко, на весь лес, закричал:

— Н-но! Сдай! Сдай!

Хомут съехал на уши лошади. Несколько раз Саша чувствовал, что кованое копыто едва-едва не задевает его колена, — припечатывает так с размаху, и останешься калекой.

— Сдай! Н-но, милая!.. Да скоро ты там?!

Настя суетилась у задних колес.

Вдруг воз дрогнул, что-то смачно хрястнуло, Саша едва успел отскочить, его задело концом оглобли в плечо, отбросило в сторону. Храп лошади, треск кустов, плачущий крик Насти... Лежащий на земле Саша увидел, как падающий высокий воз заслонил полнеба и обрушился, вдавил его в кусты, вплотную к влажной земле, своей мягкой, удушливой тяжестью.

Все стихло.

Саша, обдирая о кусты пиджак, вылез из-под воза. Над ним нависло бледное, без кровинки, со вздрагивающими губами лицо Насти.

— Слава богу, жив. Думала, насмерть придавило... Говорила же...— Она, как ребенок после сильного плача, глубоко, прерывисто вздохнула, бережно помогла подняться.— Зашибся, поди?

В глазах ее еще не исчез недавний испуг, но уже мягкая, нежная, какая-то родственная радость вместе с выступившей влагой заблестела под короткими желтыми ресницами.

— Цел,— смущенно и неуверенно ответил Саша.

Лошадь задыхалась в вывернутом хомуте. Ее распрягли, подняли на ноги, ощупали со всех сторон. Лошадь была невредима, зато от заднего колеса телеги осталась одна втулка с торчащими спицами. Веревка, стягивавшая воз, лопнула, сено развалилось по кустам.

Покалеченную телегу лошадь вытянула наверх. Второй воз — с сердитыми понуканиями, с лошадиным придушенным храпением — осторожно спустили вниз и так же осторожно, тормозя колеса колом, с передышками, вытянули из оврага, поставили рядом с разбитой телегой.

— Ты таскай наверх сено, я пойду березку подсматрю, слегу вырублю, вместо колеса пристроим,— сказал Саша, выпрастывая из-под веревки топор.

От земли вместе с прохладной сыростью к сдержанно шумящим верхушкам поднимались синие сумерки. С каждой минутой лес становился мрачней, суровей, неуютней. Стук топора о дерево звучал в тишине вызывающе громко.

Со стволом молодой березки на плече Саша вернулся к возам. Сено из оврага было сложено кучей возле порожней телеги.

— Настя! — окликнул Саша.

В ответ из сена послышались сдавленные рыдания.

— Настя, что с тобой?

Из кучи сена торчали старенькие, со сбитыми набок каблуками сапоги Насти.

— Вот еще... Да что случилось? С чего ты?

Настя села — к платку, к выбившимся волосам пристало сено, лицо, осунувшееся, усталое, весь вид ее, в мятом пиджаке, в грубых сапогах, какой-то обездоленный, горестный.

— Делай все, да едем,— произнесла она тихо.

— Обидел тебя чем?

→ Коль сам знаешь, что обидел, нечего и распытывать.

Она снова закрыла лицо руками.

— Настя...

— Что — Настя? — резко откинула она руки.— На́ вот, радуйся! Слезы лью! Лестно небось... Сама любого парня присушить могу, ты меня присушил... Чем только? Мало ли кругом меня увивалось...

— Настя, пойми...

Саша осторожно дотронулся до ее руки. Рука Насти, худенькая, с нежной кожей на тыльной стороне, была груба и шершавая на ладони. Она схватила Сашину руку, притянула его к себе.

— По ночам снился. Покою нет... Ты уж думаешь, что бесстыдная я, бессовестная... Пристаю... А что сделаю, коль тянет? Ни к кому так не тянуло. Упал нынче под воз — сердце остановилось. Подмяла бы тебя лошадь — рядом бы легла, кажись, умирать... Заплачешь тут, коль видишь — ты в тягость, ни взгляда ласкового, ни слова человеческого...

Саша чувствовал теплоту и крепкий запах сена от Настиной одежды. К его щеке прижалась мокрая горячая щека.

— Настя, сумасшедшая!..

— Верно, сумасшедшая... Ум помутился, не могу без тебя. Хоть на время, да мой... Ледышка ты, людской радости в тебе ни на капельку...

Она прижималась, горячие губы искали его губы, сухой туман окутал мозг, цветные пятна, как оранжевые совы, поплыли в глазах... Словно издалека слышался шепот:

— Иной раз думаю: рвал бы, кости ломал — не от боли, от счастья плакала бы...

Настя замолчала, только вздрагивающие губы обжигали лицо, без слов просили, умоляли...

Распряг лошадей, не стреножив, пустил по деревне, неразвиезые возы оставил у конюшни, сам, как вор, крадучись, направился к дому Игната Егоровича...

Избы сердито уставились ночными, черными, влажно поблескивающими окнами. Казалось, не спит народ, из каждого окна глядят любопытные.

Случилось позорное. Какими глазами взглянуть теперь на Катю? Какой ценой искупить вину? Не говорить, затаить, спрятать позор? Разговоры пойдут, не спрячешься... Да что там разговоры, от своей совести нет прощения!

На следующий день он столкнулся с Настей у конторы.

В белой пышной кофточке, в тесно обтягивающей узкие бедра черной юбке, Настя брезгливо, как чистоплотная домашняя кошечка, перебирала модными туфельками по грязному правленческому двору.

Старик пастух из деревни Большой Лес, дед Незадача, как всегда навеселе, увидев Настю, с пьяненьким изумлением развел руками:

— Бутончик мой сладенький! Пра слово, бутончик...

Настя проплыла мимо восхищенного старика, бросила Саше улыбку, горделивую, победную, ласковую...

А Саша вздрогнул от стыда, горя и ненависти к ней.

## 10

Станция Великая — бревенчатый вокзальчик с дощатой платформой — наверняка со времени своего основания не видала такого нашествия.

Вдоль дороги борт к борту стоят грузовые машины: истрепанные по дорогам полуторки, осанистые трехтонки, даже пятитонный дизель с высоко поднятым кузовом — предмет вечной зависти каждого колхозного председателя. У грузовиков к бортам из толстых вершковых досок приделаны клетки... Тут же — густо пропыленные от скатов до брезентовых тентов легковые «газики», та же пыль придает нарядным «победам» утомленный вид. Лошади, запряженные в легкие ходки, плетушки, старомодные, начавшие, быть может, свой век до коллективизации, тарантасы. Лошади просто оседланные. К ним уже из леспромхозовского поселка набежали на даровое сено козы. Повозочные хлещут их кнутами, гонят прочь. Из того же поселка появилась партия мальчишек, жадных до развлечений и пронырливых не менее коз.

Колхозные председатели стоят озабоченными кучками. Те из них, кто повидней, чей колхоз пользуется уважением, — в стороне, на особи: рослый, с опущенными плечами Игнат Гмызин; с багровой шеей, наплывшей на ворот рубахи, Федосий Мургин; костистый, хищно вскинувший голову Максим Пятерский; молодой, в галифе, в рубахе навыпуск — ни дать ни взять красавец со старинной картинки — Костя Зайцев...

Из-под всех станционных кустов торчат головы, и в фуражках и простоволосые, рядом с ними — сапоги, а то и просто босые ноги — перематывал хозяин портянки да решил понежить на ветерке пятки.

Две большие группы женщин. Одни сидят на солнцепеке, распаренные, поскидавшие с голов на плечи платки, едва-едва перекидываются словом, другим. Вторая группа тоже на солнцепеке, но эти стоят и так громко и бойко разговаривают, что со стороны кажется — всем десятком враз торгуются о чем-то.

Молодежь из колхозов, девчата и парни, похохатывает в тени вокзала. Среди них Катя Зеленцова.

Под развесистой березой — стол. Около стола — в белых халатах зоотехник Дядькин и главный ветеринарный врач района Пермяков. Дядькина каждая хозяйка знает в Коршунове — он мастерски удаляет перерастающие зубы пороссятам. Пермяков, рыжеватый, веснушчатый, нетерпелив — все время ищет в своих карманах что-то, цедит сквозь зубы:

— Экие увальни. В тартарары провалился их эшелон, что ли?

Дядькин сидит на стуле, косо стоящем на земле, спокоен, сосредоточенно, со вкусом курит, пропуская каждую затяжку сквозь заросшие волосом широкие ноздри.

Из станционных дверей вышло, сопровождая начальника в красной фуражке, районное руководство: Мансуров, Сутолоков, Зыбина...

Начальник станции, повертев торопливо своей красной фуражкой, оторвался и рысцей бросился куда-то к складам. Со всех сторон вслед ему полетели вопросы:

— Эй, хозяин! Долго нам сторожить твой порог?

— В болоте увяз их самовар.

— Свистни только — конями вытащим.

— Верно, быки сами паровоз гянут.

Начальник не отвечал, только передергивал плечами. По потному лицу видно: районное руководство довело, сердит.

— Идет, идет, ребята! — громко сказал Павел Мансуров, проходя к председателям. — Через пять минут покажется. Готовьтесь принимать.

Все зашевелились, из-под кустов стали подниматься люди. Те, что, прохладаясь, лежали босиком, торопливо начали обуваться.

Ни одну знаменитость не встречали так многолюдно на Великой, как встречали сегодня первую партию племенного скота.

Эшелон обещали рано утром, да вот где-то застрял... Прошли уже три товарных и один пассажирский поезд. Из последнего выскакивали люди, подбегали к ожидающим колхозникам, спрашивали:

— Молочком не торгуете?

Им отвечали:

— Обождите, вот приедет — надоим.

Провожали густым смехом.

Наконец-то...

Вслед за отдувающимся паровозом потянулись длинные пульмановские вагоны. От головы к хвосту по телу эшелона прошла крупная дрожь, залязгали буфера. Эшелон остановился. Из приотдвинутых дверей каждого вагона выглядывали люди — больше женщины.

Неизвестно откуда, похоже вынырнул из-под колес, появился юркий чернявый человечек в картузе небеленого полотна и в такой же гимнастерке, изрядно затертой в дороге. Он перебросился несколькими словами с Мансуровым и Сутолоковым, затем, прижимая под мышкой полевую сумку, дрыгающей походочкой подошел к столу под березой.

Колхозники, председатели толпились у вагонов, заглядывали в пахнущую навозом, сеном, молоком темноту дверей, заводили разговоры с сопровождающими:

— Издалеча к нам?

— Из Коми...

— Вот те раз, с севера коров везут.

— Что ж, коль вы своими обеднели.

— Там колхозы так скотом богаты, что ли?

— Нет, тут все из совхозов да пригородных хозяйств.

— Жаль расставаться, поди?

— Чего там жаль... Нам кормить нелегко, всё больше на привозном, у вас здесь сено свое...

— Свое-то свое, да не густо его. Чай, привередлива ваша скотинка, абы чего не жрет?

— Что там привередлива... Рацион обычный.

— Наш рацион: летом по травке моцион, а зимой соломка под нос, добро бы овсяной, а то и ржаная идет.

— Для таких заставят завести рационы — не простая порода.

— То-то и оно...

Открыли первый вагон, установили настил. Коровы, измученные долгим переездом в качающихся вагонах, ошеломленные ярким солнцем, многолюдием, покорно выходили на свет, сразу же останавливались, пьяно пошатываясь. В их больших, тоскливых и покорных глазах лихорадочными тенями отражалась обступившая беспокойная толпа людей.

Игнат Гмызин пробил плечом тесную стену народа, встал впереди, широко расставив ноги, засунув руки в карманы. Лицо его было насупленным и холодным, маленькие глаза сузились, взгляд их стал острым, шупающим.

— Так, так, — бормотал он, — широкая кость, много мяса нарастет... Похудали в дороге...

Его толкали в бока женщины, громко переговаривались, оценивали коров уже по-своему:

— Матушки мои, родимушки! Вот это вымечко! Что твоя торба.

— Пустое теперь, а как нальется... Ведро, коль не больше.

— Вы на животы гляньте — на последях словно бы...

— В этакie пучины сколь корма войдет. Съедят они нас живьем, голубчики!

— Тебя съешь — подавишься.

— У-у, ирод! Нашел время зубы скалить.

На лицах женщин, потных, серьезных и в то же время возбужденных, чувствовалась растерянность и потаенный страх. Какая крестьянская душа, тем более бабья, останется спокойной при виде коров? Еще каких коров — широкие спины чуть-чуть прогнуты, бока раздуты вширь, меж угловатыми крестцами и животом у каждой впалое место — дорога еще сказывалась. У всех вымя висит мягкими тяжелыми складками — недавно доены. Да кто понимает не разумом — душой, в кровь от прабабок и прадедов ввевшейся любовью к скотине, сразу увидит: это — богатство! Но оно-то и пугает... Местную пеструху можно выгнать с утра на выпас, вспомнить к вечеру и подоить. Сама себе найдет чем набить брюхо. Этаких ли барынь держать на пеструхиных харчах?..

— К ветеринарам ведите! Чего задерживаете? Еще посмотрите, — раздались голоса.

— И то... За простой вагонов, верно, платить придется...

Люди зашевелились, большинство бросилось к вагонам, часть пошла отводить в сторону коров.

Через два часа у тихой станции Великой шевелилось, мычало тесное стадо — вскидывались рогатые головы; уже деловито, хозяйски раздавались женские голоса:

— Марья! Марья! Эту сивую заверни! Ишь домой захотелось...

— Далеко дом, голубушка, далеко! Иди-ко, иди!

Разгружали последние вагоны.

В маленьком станционном буфете были выпиты все запасы воды, на полках остались только коробки дорогих папирос — «Северная Пальмира», «Герцеговина флор» — да шоколадные плитки.

К неудовольствию начальника станции, неподалеку от приземистой водокачки был разложен костер, варилось артельное ведро картошки.

С восторженным визгом носились ребяташки, козы ныряли в гущу коровьего стада...

Мычание коров, гул людских голосов, путающийся в ветвях пристанционных деревьев дым костра, легкий запах гари, резкий — навоза и пота животных... Казалось, на станции Великой задержалось великое становище кочевников, здесь оно собирает свою силу, чтобы двинуться дальше.

Павел Мансуров не мог усидеть на месте. От ветеринаров бежал к вагонам, сам хватал коров за рога, осторожно сводил по шатким доскам, от вагонов срывался и бежал искать Игната, весело спрашивал:

— Ну как? Прицелился?.. Присматривайся, присматривайся, лучших коров тебе...

Но Игнат Гмызин не мог оторваться от огромного белого быка, похлопывал его по бокам, оглаживал, ногтем отколупывал грязь и навоз, приставший к шерсти. У быка, где вагонная грязь и железнодорожная сажа не тронули тело, под белой шерстью просвечивала розовая кожа, на шее, груди, коротких ногах перекатывались толстые каменные мышцы. Этот бык должен был попасть в колхоз «Труженик», и с Игнатом в эти минуты разговаривать не стоило, он отвечал лишь «да» или «нет». Бык, выворачивая кровавый белок, косил глазом на будущего хозяина, зло рыл копытом землю, гнул неподатливую толстую шею, собирал кожу в мелкие складки. В его розовом, нежнее детской кожицы, носу висело массивное железное кольцо; от кольца, обвивая ствол дерева, тянулась цепь.

Картошку на костре варила молодежь. Верховодила Катя Зеленцова. Мутный кипяток слили, ведро было опрокинуто на траву, картошка рассыпалась дымящейся кучей. Девчата растелили два платка, разложили крупно нарезанные ломти хлеба, соль на бумажке.

С пыхтением прошагал мимо Федосий Мургин, нажимая тугой шеей на воротник, оглянулся, позавидовал:

— Одначе неплохо...

— Верно, неплохо... Примите в компанию! — Павел Мансуров быстрым шагом подошел, скинул пиджак, запачканный в вагонах известью или мучной пылью, отбросил в сторону.

Фаня Горохова, доярка из колхоза «Первое мая», безбровая, солидная, щеки вздрагивают от каждого движения, подобрал юбку, освободила рядом с собой место:

— Милости просим, не побрезгуйте...

И величаво, с достоинством, как хорошая хозяйка на именинах, поджала губы.

Катя вдруг поймала себя на том, что позавидовала Фане.

Павел Сергеевич перебрасывал с ладони на ладонь горячую картошку, смеялся глазами, рот напряженно приоткрыт, дышит часто, видно ровные блестящие зубы. «Боже мой, на мальчишку похож!» Он, видимо, почувствовал на себе взгляд Кати, поднял голову, и по его смуглым скулам разлился неяркий кирпичный румянец. Катя поспешно отвернулась.

В это время со стороны раздался женский пронзительный крик:

— Бабоньки! Родимые!

Послышалась крепкая мужская ругань, легкий перезвон, треск, утробное — короткими, частыми выдохами — мычание.

Огромный белый бык, который недавно был крепко привязан цепью к дереву, своротив стол ветеринаров, круто согнув корот-

кую шею, выставив лоб, слепо шел вперед, волоча по траве цепь.

— За цепь его хватай! За цепь!.. Успокойся!

— Серега! Куда прешь?

— Не с того конца, дураком! Смерти хочешь?

— Господи! Миленькие! Да сзади, сзади, родные, подходи!

Игнат Гмызин — без фуражки, бритая голова блестит на солнце, — отталкивая в стороны попадавших на его пути людей, бросился сзади к быку, с несвойственной резвостью нагнулся к тянущемуся по траве концу цепи... Но бык словно почувал — круто повернулся, плечом сбил Игната на землю.

— А-а-а! Милушки! Затопчет!..

Тяжелый, рослый Игнат по-мальчишески весело, с боку на бок, покатился от копыт в сторону. Он, видно, успел схватить цепь, дернуть ее. Бык с силой яростью взревел от боли. Не обращая внимания на Игната, не успевшего вскочить на ноги, он медлительной рысцей, от которой, казалось, вздрагивала земля, ринулся на сбившийся в кучу народ. Сталкиваясь, падая, снова вскакивая, люди кинулись врассыпную перед многопудовой тушей, тараном несущей впереди себя короткую, словно обрубленную, голову. Из-под твердых, крутых надлобий бешеной злобой горели налитые кровью глаза.

Платок сорван, волосы растрепаны, в группу девчат и ребят, окруживших потухший костер и разбросанные на земле платки, врезалась женщина.

— Смертынька моя! Спасайте, люди добрые!

Катя видела, как одеревенели крутые скулы на лице Павла Мансурова, он весь вытянулся, словно вырос, на своих чуть выгнутых, туго облитых галифе и мягкими сапогами ногам, упруго шагнул вперед, навстречу крикам и воплям.

Перед мордой быка оказался один человек — зоотехник Дядькин. Широкозaday, неуклюжий, в мятом халатике, он растерянно выплывал, подаваясь назад, боясь повернуться спиной к быку. В руках у него была какая-то папка, он отмахивался ею, а оборвавший свою рысь и перешедший на скупые шажочки бык напирал головой. Дядькину кричали:

— Не махайся! Зря гнечишь!

— В сторону прыгай, в сторону!

— Да беги ты, черт!

— Ой! Пропал человек!

Наконец Дядькин, задев за короткие рога распахнувшимися полами халата, повернулся и заячьими прыжками бросился прочь. Бык качнулся, от тяжести не сразу набрав быстроту, ринулся следом.

Навалившись животом на станционную оградку, Дядькин пе-

ревались и упал... Легонькая оградка, сколоченная из тонких планок, разлетелась в щепки, пропустила быка.

— О-ох! — Общий, как один, вздох пронесся по народу.

Дядькин не успел подняться. Сбитый тупой головой, он снова упал на землю и вяло, мешком, перекатился. Бык с разгону уперся в бревенчатую стену станционного здания, очумело, непонимающе стоял секунду, другую, повернулся, по-прежнему взбешенный; по тяжелому кольцу, выпущенному из розовых ноздрей, текла тягучая слюна. Безумные глаза искали новую жертву.

И тут только все заметили, что около быка близко, очень близко стоит один Павел Мансуров. Его заметил и бык, качнулся к нему, громадный, белый, лоснящийся от пота, бока с натугой раздвигаются и опадают — вот-вот ринется, смешает со щепой...

Павел шагнул навстречу. Бык резко вздернул голову, но промахнулся — рога не задели Павла — и вдруг дико взревел... Но в этом хриплом реве слышались боль и жалоба. Павел держал рукой кольцо, вправленное в розовые ноздри.

Покорно вытянув голову, бык двинулся за Мансуровым. Лишь размашисто ходившие бока выдавали с трудом остывающий гнев.

Около разбитой оградки лежал ничком, в халате, задранном на лопатки, Дядькин. Вокруг него на траве белели листы бумаги, разлетевшиеся из папки. Он с трудом поднял голову, с натугой застонал — то ли невнятно выругался, то ли позвал... О нем вспомнили, к нему бросились...

Игнат Гмызин сконфуженно ощупывал синяки на бритом чепе.

Катя как вскочила на ноги, так и не двинулась с места. Она вытягивала шею, старалась разглядеть в обступившей быка толпе Павла Сергеевича.

Скот увозили и угоняли партиями. Станция быстро пустела. Начальник в красной фуражке ходил взад-вперед, грустно глядел на оставленные коровами лепешки, на разбитую оградку. Будь на то его воля — прогнал бы эшелон с таким грузом подальше, к черту на кулички. Да станция крошечная, разъездные пути только напротив вокзала...

У Кати от райкома комсомола была своя лошадь, тихая и покорная кобылка Погожая. Ездить на ней, держать в руках вожжи, покрикивать ласково: «Н-но! Родненькая! Шевелись!...» — доставляло Кате почти детскую радость.

За складами, где шоссе уходит прямо в лес, она вдруг увидела задумчиво стоящего на самой дороге Павла Сергеевича,

пиджак накинута на плечи, под мышкой папка Дядькина. Он быстрым, решительным шагом двинулся ей навстречу.

— Екатерина Николаевна, подберите подкидыша.— Он положил на передок пролетки руку, глядя ей в лицо, улыбнулся виновато.— Отправил на своей машине помятого Дядькина в леспромхозовскую амбулаторию. Пока возился, все поразъехались...

— Да, да, пожалуйста.— Катя торопливо задвигалась в набитой соломой пролетке, освобождая рядом с собой место.

Дорогой они говорили не о племенном скоте, не о колхозах, вообще ни о чем серьезном. Павел Сергеевич, забрав вожжи в свои руки, выкинув из пролетки одну ногу в хромовом сапоге, рассказывал о том, что встреча с таким взбесившимся быком вторая у него в жизни. В детстве он рубил дрова с отцом. Выскочил такой же бык. Отец бросил топор (чтоб сгоряча не садануть — отвечать придется) и скатился в овраг. Он, Павел, не помня себя, взлетел на дерево, и это дерево, молодую березку, бык стал раскачивать рогами.

— Думал, стряхнет меня или с корнем дерево выворотит. Лес да земля вместе с небом перемешались...

Путь не короток до села Коршунова. Павел Сергеевич успел рассказать о диких зарослях малинника в лесных чащах Северного Урала: «Продираешься, бывало, верхом, а лошадь у нас белая была; приедешь домой — живот и ноги у нее красные, а сапоги от сока промокли». Рассказал о дикой реке Чусовой, о донских степях с прыгающими перекати-поле, где пришлось воевать.

Кате почему-то казалось всегда, что он замкнутый, — нет, оказывается, очень простой, разговорчивый. Как ошибаешься иногда в людях...

## 11

Поздно вечером большое здание райкома и райисполкома пустеет. В коридорах, где днем постоянно толчется народ, — тишина. В общем отделе на столах — покрытые чехлами машинки. В кабинетах торчат окурки в пепельницах (все, что осталось от делового дня), безмолвствуют телефоны... Как красят люди помещение! Ушли все, и вот уже из углов неуютно пахнет канцелярией — пыльной, залежавшейся бумагой, химическими чернилами и еще чем-то официальным, нежилым.

Из всего здания только в одном месте теплится жизнь. В маленькой прихожей, перед кабинетом первого секретаря, до самой поздней ночи горит свет. Здесь по вечерам сидит дежурный. Дежурят по очереди все работники райкома и даже просто члены партии, проживающие в райцентре.

Дежурить — дело немудреное. Возьми с собой книгу, хо-

чешь — сиди читай, хочешь — дремли над ней. Позвонят — расспроси, кто, по какому вопросу, и звони на квартиру к первому секретарю. Впрочем, ночные звонки стали редкостью...

В два часа ночи появляется ночная сторожиха Ксения Ивановна. Пока дежурный собирает свои книги, надевает плащ, она чинно сидит на краешке стула. Дежурный уходит. Ксения Ивановна, распустив платок, позевывая, щупает рукой замки на шкафах, затем уходит в кабинет первого секретаря — там мягкий диван. Свет в дежурной комнате не тушит — пусть видят его с улицы, дверь в кабинете оставляет открытой: позвонят — слышно.

Кате приходилось дежурить не в первый раз.

Она раскрыла заложенную конфетной оберткой книгу, принялась читать:

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.  
Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Подняла глаза и засмотрелась, как по матовому абажуру настольной лампы ползает серая, клинышком, ночная бабочка.

Что-то непонятное творилось в ее жизни. Более полугода она встречалась с Сашей... Старая сосна за селом, размолвка, примирение, наконец слова: «Хочу, чтоб стала женой...» Этих слов она ждала, давно ждала. Отмахивалась про себя: «Пустое... Встречаемся, и только...» Но какая девушка с первой встречи, если парень понравится, хотя бы мельком не подумает об этом. Подумает, а там уж одно из двух — или разочарование, или ожидание от встречи к встрече, от вечера к вечеру. Это ожидание особое, оно не тягостное, не трудное, с ним легко жить, каждую минуту ждешь какую-то великую новость.

И вот свершилось, слово сказано Сашей, ожидание кончилось. После этого должно случиться что-то огромное, после этого Катина жизнь должна измениться совсем, стать новой... Прошло уже около недели, а все по-старому. Саша не показывается... Но слово-то сказано!

Однако самое страшное и удивительное не то, что исчез неожиданно Саша. Пугает другое... Она сама спокойна. А должна бы волноваться, не находить себе места, негодовать, если позволит гордость, искать его... Что с ним? Как теперь думает? Неужели раскаялся в своих словах?..

Не ищет, не волнуется — спокойна. А обрадуется ли она, если Саша появится и снова будет настаивать на том, что сказал? Даже сейчас при одной мысли об этом чувствует какую-то растерянность.

Что-то непонятное творится в жизни. Лучше не думать...

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.  
Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Серая бабочка ползает по абажуру, как будто внимательно, сантиметр за сантиметром, изучает его.

Тихо... И отчего быть шуму, когда на обоих этажах, в длинных коридорах, многочисленных комнатах — ни души. Тихо, а стоит прислушаться и — на лестнице таинственный скрип, над потолком что-то легонько погромыхивает. Дом-то старый, строен еще купцом Ряповым для себя, для семьи, для конторы и разных служб, после этого десятки раз перестраивался, ремонтировался, но все-таки старый. А в старом доме всегда что-нибудь трещит, осыпается...

Катю не оставляет одно навязчивое ощущение: вот-вот должен кто-то прийти, и потому она не может читать, все прислушивается... И кому приходиться, когда идет двенадцатый час ночи? Давно уже кончилось кино, переговариваясь, прощаясь на ходу, прошел мимо народ. Ксении Ивановне еще рано... Нет, надо читать.

Ты услышишь все то, что не слышно врагу...

А все-таки который час? Катя тянется к телефону, но рука ее еще не успела коснуться трубки, как телефон сам, громко, казалось на весь опустевший дом, зазвонил. Катя вздрогнула: «Экий голосистый...»

— Дежурный слушает...

Незнакомый усталый басок:

— Мансуров случайно не засиделся?

— Это кто звонит? Откуда?

— Из леспромхоза... Так нет его?.. Ну что ж, на нет и суда нет.

— Если срочное дело, я могу позвонить к нему на дом. Позвонить? А?.. — Катя едва сдерживает нетерпеливость голоса.

Но усталый басок возражает:

— Звонил уже, нет его дома.

Далеко, за тридцать с лишним километров, в конторе леспромхоза кладут трубку. С неохотой кладет трубку и Катя. Связь ее с миром оборвалась. Телефон снова безмолвный, бесстрастный, мертвая вещь на столе.

«Ты услышишь...» Нет, она совсем не может читать, она волнуется, ждет... Почему так взволновал ее телефонный звонок, что ей такое сказали из леспромхоза?.. Ага! Нет Павла Сергеевича дома... Но где же он тогда? Ведь уже полночь. Смешно подумать, чтобы он в такое позднее время мог подняться сюда... «Вот оно что! Ведь это его ты ждешь, прислушиваешься — не его ли шаги раздадутся по лестнице?»

Серой бабочке стало горячо на абажуре, она сорвалась, принялась выплясывать над лампой. Катя склонилась над книгой.

— Дорогие мои, я хочу вам помочь  
Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете.

Внизу глухо хлопнула дверь. У Кати упало сердце: послышалось или нет? На лестнице раздавались размеренные, неторопливые шаги. Как хорошо все слышно в этом пустом старом доме. Но кто же это идет? Выскочить? Спросить? А вдруг и на самом деле?..

Катя торопливо склонилась над книгой:

Тишина, тишина нарастает вокруг...

Шаги раздались по коридору. Сейчас откроется дверь. Неужели он?..

Дверь открылась. Вошел он.

Катя, сгорбившись над книгой, растерянным, жалобным взглядом встретила Павла Мансурова.

— Дежуришь?.. Никто не звонил?

Голос у него холодновато-сдержанный, вид обычный — верно, просто зашел проверить.

— Звонили... Из леспромхоза... Вас спрашивали...

— Угу.

Павел присел к столу. При свете, упавшем из-под абажура на его лицо, Катя заметила, что под усталое опущенными веками глаза у него беспокойные, горячие, он сам это чувствует и прячет их. Она со страхом ждала, когда он поднимет глаза.

— В твои годы,— начал Павел спокойно и негромко,— я от института ездил на практику в тайгу... Красивые места...

«К чему это он?»

— Дикие и красивые... Но все портит одна вещь — мелкая мошка, гнус. Вот и в обычной жизни так. Все вроде бы хорошо, а мелочи, мошки заедают, и становится трудно до нестерпимости...

«К чему это он?..»

— Молчишь?..

Катя молчала — ну что ей ответить?

— Понятно... Что тебе сказать на это? Ты только начинаешь жить.

Павел Сергеевич говорил, но глаз не поднимал, а только поглядывал осторожно, краешком.

— Не понимаю,— растерянно призналась Катя.

И глаза его взметнулись, горячие, с разлившимися до белков зрачками, его рука властно легла на задрожавшую руку Кати, придавила к столу.

— Я перестал любить свою жену... Мне тяжело. Я в растерянности... Ты теперь понимаешь, для чего я все это говорю?

О-о! Это не Саша... Страшно, жутко сейчас, но самую большую радость на свете ни за что не променяешь на этот страх. Сказать ему что-то надо, возразить, отодвинуться... Да что уж там... Бессильна пошевелиться. Вот она, вся перед тобой. Требуй.

Раньше, если в хозяйстве родится теленок,— в доме радость. Соседи поздравляют: «С прибавком вас...»

В Коршуновском районе — «прибавок». В каждый колхоз прибывает племенной скот. И казалось бы, надо радоваться — впереди богатство! Но вскоре в разных колхозах, разными людьми была замечена одна, на первый взгляд, пустячная вещь: выпущенные на свежую траву (она уже густо поднялась на выпасах и по просекам) племенные коровы уныло стоят, косят по сторонам голодными глазами, мычат жалобно и ни былинки не берут в рот.

Все они пестовались на стойловом кормлении — завозном сене, пророщенном зерне, силосе.

Еще задолго до весны во многих колхозах кончилось сено, последние остатки приели в посевную лошади (не держать же их, работающих на полях, на соломе), до травы изворачивались — подкидывали овсяную солому, крошили и запаривали ржаную. Свели концы с концами, дождались травы. Не впервой.

И вот в эти дни, когда уже в колхозах не особенно беспокоятся о корме для скота, скотницы, приставленные ухаживать за племенными коровами, со слезами начали обивать пороги правленческих контор: «Освободите, ради бога. Из рук даем, отворачиваются... Долго ли до греха...»

Из райкома, из райисполкома звонили по разным областным организациям, запрашивали, где купить сена, хоть в кредит, хоть наличными. Но, верно, с наплывом нового поголовья в область такие запросы летели от многих. В МТС и в райисполком пришли лишь бумаги, где во всех подробностях было описано, как ухаживать за прибывшим скотом, приложены во всей точности разработанные рационы: грубых кормов столько-то, сочных столько-то, столько-то красной моркови для введения витаминов в организм. Районные руководители, читая эти разумные наставления, кисло морщились.

Во всем районе не было ни одного председателя колхоза, который не завидовал бы Игнату Гмызину: «Назаквашивал силосу, теперь знай яму за ямой распечатывает — горюшка мало...» Да и как не завидовать... Если обычная коровенка из «навозного племени» падет, за ту таскают, допрашивают с пристрастием, а эти на особом учете, сдохни хоть одна — не миновать суда.

И не дай бог оказаться в беде первым — весь гнев выльется на голову несчастного.

Председатели колхозов изворачивались как могли, выписывали всё — овес так овес, ячмень так ячмень, даже припрятанные на всякий случай остатки яровой пшеницы отпускались из амбаров для племенных коров.

Но миновать беду трудно. Первое известие пришло из колхоза Федосия Мургина. Скотница Прасковья Кликушина, получив по наряду овес, накормила два дня голодавшую корову Карамель и по глупой доброте своей или по забывчивости напоила. А ночью к спящему Федосию Мургину с грохотом — вот-вот выскочат из рамы стекла — постучали. Карамель умирала от колик. За ветврачом сразу же послали лошадь. Тот приехал рано утром, сказал: «Поздно», составил акт и уехал...

13

Самое страшное — ждать наказания.

За четыре дня перед бюро Федосий Мургин осунулся, лицо пожелтело.

Никакой вины он за собой не чувствовал. Прасковья опростоволосилась. Вот уж воистину куриная голова у бабы — весь век на крестьянской работе, а такой простой вещи не сообразила. Виноват и Куницын, заведующий молочной фермой, — недоглядел; зоотехник Рубашкин не подсказал вовремя...

Он, Федосий Мургин, не собирается отыгрываться на Прасковье или на Куницыне. Подло свалить все огулом на глупую бабу, когда у той куча ребятишек, муж убит на фронте. Но взять да рыскнуть грудь — бейте, все приму! — ни к чему это вовсе.

Мансурову же одно интересно — проучить, чтоб другие задумались. А на примере с Прасковьей не проучишь — мелка. Но уж так повелось, что всегда ответчик за беду — председатель колхоза.

Помнится, в колхозе «Большевик» (нынче влился в «Труженик») жулик кладовщик во время сева подсунул вместо отсортированных подопревшие семена. На ста гектарах не взошло. Кто ответил? Председатель Тимофей Ивашко.

А в Чапаевском колхозе погнила тысяча центнеров овощей. Виновники посторонние — начальники орсов, которые заключили договоры. Ни одной машины, черти дубовые, не прислали, а Алексей Семенович Попрыгунцев перед судом отвечал...

Нет, Федосий Савельич, ты конь старый, выезженный. знаешь, с какого конца палка бьет. За твой загривок возьмутся. Одно может помочь тебе — седые волосы, двадцать с лишним безупречных лет на председательском месте!

Федосий плохо спал по ночам, вспоминал в подробностях всю свою жизнь. Шестьдесят пять лет за плечами, много пережито,

всякое случалось... Кажется бы, можно набраться ума, всякую беду на версту вперед видеть, но правду говорят: век живи — век учись...

Мургин ворочался грузно с боку на бок, припоминал, как учила его жизнь. Ох, велик путь, нелегка дорожка...

Отец его был столяр и печник — «золотые руки, да непутевая головушка». Мог бы жить неплохо, но пил. Раз в два месяца спускал все, что имел и что не имел, — пропивал в долг будущую работу, — потом ходил, взяв гармонь за одно ухо, кичливо кричал: «А ну, кто против Савелки Мургина?» Пьяным и был убит в троицу на гулянье.

Он оставил после себя избу с разобранной крышей — собирався наново перекрыть, да тес-то пропил — и крошечный клынышек земли за Приваженским лугом.

Не в отца пошел Федосий. Летом пропадал на поле, пахал на чужой лошади. Зимой ходил по селам и деревням, перекладывал печи, случалось, и зарабатывал, но обнов не покупал — каждую копейку хоронил на лошадь. Хотел стать хозяином. «Ужо пообзаведусь, легче будет...» Это под старость разнесло — поперек себя толще, а раньше был жиловат, сух, как перекрученная корявая сосенка на песчанике, уему в работе не знал. Редкую ночь спал больше четырех часов, даже в праздники не давал себе отдыху.

И стал хозяином.

Выходил, поутру во двор: лошадь бьет о переборку копытом — хоть мелковата, стара, живот бочкой, но своя! Корова вздыхает — своя корова! Овцы шуршат в подклети — свои овцы! Хозяин! Обзавелся! Но легче не стало: «Мало! Больше надоть!»

Себя не жалел, не жалел и жену. Она родила двух погодков, Пашку да Степку, а еще троих — мертвыми. У нее дети, хозяйство, мужу помощница. «Шевелись, Матрена! Не богатые, чтоб полати пролеживать!» И Матрена шевелилась, так и умерла на ходу — поднимала на шесток полутораведерный чугунок с пойлом и упала... На другой женился.

Подросли сыновья — на сыновей навалился Федосий. И уж не одна брюхатка на дворе, а две лошади холками под потолок да к ним еще стригунок, четыре коровы, овец стадо... Но... «Мало! Больше надоть!»

Сперва случилось одно несчастье — сыновья сбежали от отцовской каторги. Ушли зимой в город на сезон рабочими и не вернулись.

Его считали крепким середняком — не терпел чужих рук при дворе, все вывозил на собственном горбу. Каждая стежка на обороти, каждая лоснившаяся шерстинка на лошадиной спине была прошита, выхолена им самим, не придерешься, не эксплуататор.

В деревне его не любили. Он тоже без особого почтения относился к однодеревенцам. На богатых смотрел косо, голь презирал. Помнил одно: «Велика земля, а жить тесно. Чем дальше от других, тем покойней». И нелепым, глупым, страшным показалось ему то, что не кто-нибудь, а его родные сыновья, вернувшись (оба уже отслужили в армии), начали звать мужиков соединиться в одну жизнь, в одну семью, в колхоз!

С давних пор самым большим врагом Федосия был кулак из Шубино-Погоста Лаврушка Жилин. Федосий как-то прицелился купить мельницу — Лаврушка у него перехватил; Федосий приглядывался к лугам по речке Ржавинке — Лаврушка снимал их первым; вздумал было Федосий заняться шорничеством, накопил кож, пригласил из Ново-Раменья старика Данилку Пестуна в помощники, но Лаврушка и тут подставил ногу — свою шорную наладил, сманил и Данилку. Кулаки грыз от злобы Федосий, когда начали гнить кожи. Жидковат он был против Жилина. Друг на друга не смотрели, друг с другом не здоровались, а как подперли колхозы, сошлись они душа в душу. Не таясь, ругал Федосий перед Лаврушкой своих сыновей.

И как бы повернулось тогда дело — неизвестно, если б в одно утро у крыльца Остановского сельсовета не нашли мертвым старшего сына Федосия — Степана. Сзади, в упор, дробью разнесли ему череп.

С топором под полой искал тогда Федосий Лаврушку, но... сбежал, собака.

В тот день Федосий впервые задал себе вопрос: для чего он живет?

Для чего?

Иные любят жизнь просто. Любят росу поутру, тревожные затишья перед грозой, ливень пополам с солнцем, любят цветистую радугу на обмытом небе... Все это они любят бескорыстно, только за то, что красиво, что это жизнь.

Такой жизни Федосий не знал и не хотел знать.

Для него обильная роса на траве — хорошо, значит, будет погожий день, значит, он, Федосий, успеет выкосить свой загон.

Притихло все, жди грозы — плохо, не дай бог, побьет хлеб градом.

Ливень с солнцем — славно! Сохнут хлеба, давно пора обмочить землю.

А радуга — это пустое, она могла быть, могла и не быть. Пусть висит, никому не мешает.

Федосий корыстно любил жизнь, слова: «Мало! Больше надо!» — не давали ему покоя.

Он жил для хозяйства.

После смерти Степана он задал себе вопрос: для чего ему оно? Чтоб быть сытым? Нет. Миску щей и кусок хлеба он мог

иметь и без большого хозяйства, а к разносолам Федосий всегда относился равнодушно.

Для сыновей? Нет. Из-за этого хозяйства и отказались от него сыновья.

Выходит, что ни для чего! Жизнь показалась впереди пустой, ложись и умирай — ничего другого не оставалось.

Но Федосий не умер, жизнь повернулась по-новому...

Он все, что копил десятилетиями, вытягивая жилы из себя и из родных, отдал в колхоз, все — лошадей, коров, овец. Чего уж жалеть, коли жизнь кончена.

Председателем колхоза тогда стал его Пашка. И хоть не хватай его голыми руками — уже партиец, но как был сопливый мальчишка, так и остался. Постоянно бегал к отцу, спрашивал: «А как здесь, батя, поступить? Что ты тут посоветуешь?..» Выручал его Федосий, подсказывал, втихомолку от людей поругивал: «Власть ваша несуразная, молокососов к такому делу допускает...» Сам же работал простым колхозником. После домашней каторги работа в колхозе показалась забавой. Легко работалось, но работал не от души, а так — просто без работы жить скучно.

Помнит, первый раз на общем собрании вызвали перед всеми к красному столу и вручили премию. Премия пустяковая — ситчик горошком на рубашку. Но Федосий ходил подавленный. Раньше, чем он больше работал, тем чаще слышал: «Мало ему, прорве, подавился бы! Хапуга!» Шипели от зависти. А вот нынче: «Спасибо тебе, Федосий Савельич. Чем богаты, тем и рады — ситчик горошком прими». Эх! Люди!..

Под отцовским доглядом Пашка уже начал разбираться в хозяйстве, но ударило парню в голову ехать учиться. На собрании неожиданно-негаданно выбрали председателем его, Федосия. «Человек ты хозяйственный, непорядку не допустишь, помним, какое хозяйство для себя своротил, теперь для народа потрудись...»

Это было двадцать один год тому назад.

Казалось, что его прошлое отпало, как старая короста... Во время войны с одними бабами давал фронту по две тысячи центнеров хлеба, а масла, а мяса сколько!.. Колхоз-то был — две маленькие деревеньки. Подал заявление в партию, приняли без возражений.

Своими деревнями жили семейно, дружно, а на соседей косились — колхозы кругом были незавидные, любили просить займы, за них приходилось доплачивать то поставки, то в фонд обороны... Недолюбливали в колхозе Мургина тракторы и комбайны — за них приходилось платить натуроплату. То ли дело лошади: что ни сделал на них — все в своем кармане.

Век живи — век учись. Плохо, оказывается, работал, непутево.

Все хозяйство держал на своих плечах, раз председатель, значит, маточная балка всему колхозу. Был твой колхоз — две деревеньки, триста га пахотной земли, — ворочал, ума хватало. Запрягли в колхознице, земли уж не триста га, за день на пролетке не объедешь, — стал спотыкаться на ровном месте.

Не только своим умом жить, людей заставлять надо думать. Есть один агроном Алешин — золото парень, остальные ждут, что скажет председатель. Оттого и кормов нехватка, оттого и несчастья...

Дай бог эту беду миновать — животноводов на курсы пошлет, трактористов толковых из своих ребят подберет, заставлять будет: думайте своей головой, не ждите указки. Лишь бы беда с места не столкнула. Столкнет — конец Федосию Мургину, годы не те, чтоб снова подниматься, ложись тогда и помирай. Не столкнет — покажет еще, на что старики способны. Уж покажет!..

14

Две небольшие комнатки. Окна одной выходят прямо на дощатый тротуар, в них время от времени показываются фуражки и картузы коршуновских прохожих. Единственное окно спальни упирается в высокий куст рябины на огороде. От этого в спальне с ее старомодным комодом, флаконами и флакончиками перед зеркалом, с двухспальной кроватью — подушки под кружевной накидкой — днем всегда уютный полусумрак, даже теперь, когда лист на рябиновом кусту еще не вошел в силу. Вечерами и ночами за стеклом слышен успокаивающий шорох...

В столовой два стола: один — под голубым абажуром, обеденный, всегда накрыт свежей скатертью, другой — крошечный, письменный, со стопками книг. На нем проверяла Анна школьные тетради. Павел же любил читать лежа на диване, поставив рядом на стул пепельницу.

Без малого четыре года прожили в этих стенах, среди этих привычных вещей Анна и Павел. Жили скромно, не вызывая ни любопытства, ни попреков соседей. Жили, как живут учителя, районные работники, вся неприхотливая коршуновская интеллигенция.

Все эти годы Анна была довольна жизнью: чистота, уют — дело своих рук в свободное время, — книги по вечерам, никакой особой нужды, что еще нужно? Жаль, конечно, что нет детей, зато можно больше внимания отдать работе, ученикам... Без учеников бы жизнь в четырех стенах опостылела, а с ними и радости, и мучения, и ежедневная усталость, значит, и ежедневный счастливый отдых дома в чистенькой квартире. Трудись, уставай в меру, отдыхай в покое, чувствуй себя полезной — нет, ничего другого не надо, как только прожить так до глубокой ста-

ростп. В этом, наверное, и есть незамысловатая, но истинная мудрость жизни.

А Павел лишен этой мудрости. Чем удачнее у него судьба, чем больше он добивался в жизни, тем сильнее в нем чувствовалась какая-то непонятная тревога, неуживчивое беспокойство.

Прежде это беспокойство проходило мимо Анны, мимо стен их дома,— спорил с заглядывавшим в гости Игнатом, временами был угрюм после работы, но едва скидывал пиджак, влезал в старые галифе и тапочки — оттаивал. В нижней рубаше, с размякшим лицом пил не спеша чай под голубым абажуром, потом ложился на диван, шуршал газетами и журналами, порой прислушивался к ветру за окном, к жестоко хлещущему по стеклам дождю, замечал:

— А погодка-то... того и гляди закрутит...

И в этой брошенной мимоходом фразе чувствовалось душевное равновесие, счастливое безразличие. Закрутит ли погода, нет ли — как случится, так и ладно, все равно вокруг него будет тепло, чисто, сухо, все равно на побеленном потолке останется голубой сумрак от абажура, а в тени под столом котенок будет играть бахромой скатерти. Незыблем покой, незыблем дом, незыблема — пусть небольшая, в два человека, — семья!

Но вот Павел стал уходить из дому рано, возвращаться поздно, пил чай в чем приходил с работы — в костюме так в костюме, а то и в ватных брюках после командировки, по-чужому, словно на часок заскочивший гость. Старые домашние галифе валялись без дела в нижнем ящике шкафа, тапочки пылились под диваном. Прежде аккуратный, он теперь часто забывал вытереть сапоги, оставляя следы по лоснящемуся крашеному полу, шагал в спальню. Некогда уже прислушиваться к непогоде, некогда оценить уют...

Анна понимала — работа! Шутка ли, секретарь райкома, весь район теперь на его плечах. Понимала и даже в мыслях не допускала упреков. И все-таки в пренебрежении к дому чувствовалось отдаленное пренебрежение и к ней, Анне. Ведь это она навела лоск на пол, ее заботами всегда тепло и уютно в комнатах, хотелось, чтоб голубой полусумрак, со вкусом уставленный стол так же доставляли удовольствие, так же радовали его, как и ее. В том, что он равнодушно пользуется маленьким счастьем, которое создано ее силами, была едва приметная отчужденность. Нерушимость семьи чуть-чуть расстроилась, в чем-то начали жить по отдельности.

Пройдет горячка, войдет в норму работа Павла — все уляжется, все станет по-старому. Мало ли в жизни случается временных неувязок. Анна верила в это и оставалась спокойной.

Однако дни шли, а Павел все больше и больше отходил от дому, вместе с этим незаметно отходил и от Анны. Сначала у

него не хватало времени скинуть костюм, натянуть галифе, с порога просил: «Аннушка, я голоден, чего бы перекусить...» Потом эта фраза стала короче: «Аннушка, перекусить...» Наконец, входя, бросал краткое: «Поесть бы!» Рывком вешал шапку на гвоздь, садился за стол. «Поесть бы!» — не жена, не Аннушка, кто бы ни был, хоть по-щучьему веленью, лишь бы поесть.

И опять Анна оправдывала: скрутила работа, все забыл, беда, да и только... Вот пройдет время, все уляжется — станет по-прежнему.

Так она обманывала себя до одного апрельского воскресного дня.

Обычно Павел не пользовался воскресеньями, — то уезжал в колхозы, то, как в будни, отсиживался в райкоме. Но в это апрельское воскресенье он остался дома.

Весна уж взяла свое. Развезло дороги, дощатый тротуар под окном плавал среди зеленой лужи, приветливо грело солнышко. И встал вроде Павел в хорошем настроении: умывался — радостно фыркал, вышел чистить на крыльцо сапоги — насвистывал. Умылся, надел начищенные сапоги, попил чаю, прочитал газету, сел у окна и долго глядел на прохожих. И вдруг Анна со страхом почувствовала, что им не о чем говорить. Она сказала первое, что пришло в голову, — надо бы к весне прикупить картошки на семена, неплохо бы для него, Павла, пошить пальто, так как старое уже истаскалось по командировкам, а в кожанке просто неприлично выезжать в область... Павел отвечал односложно, соглашался, глядел в окно, наконец поднялся:

— Пойду подышу свежим воздухом.

Он ушел, и Анна на минуту почувствовала облегчение — не торчит над душой, но тут же спохватилась: что же это, чужие?.. До сих пор надеялась — со временем все обернется по-старому. Но идет день за днем, а они дальше и дальше друг от друга. Время, единственная надежда, единственный спаситель, предавало — не сближало, а отдаляло их.

Должно быть, на самом деле Павлу было нечего делать, иначе он не вернулся бы так рано домой. И уж лучше бы не возвращался... Он, как прежде, лег на диван, как прежде, подставил поближе стул с пепельницей, взял в руки книгу... Все было, как прежде, — он лежал и читал, Анна за своим столом проверяла тетради, а уюта и покоя не было. Павел молча шелестел страницами, на столике перед Анной с суетливой поспешностью будильник вязал бесконечную ниточку, секунда к секунде. Анна вслушивалась в мягкое потикивание, и ей казалось, что будильник, эта немудреная машина, отсчитывая скрытым колесиком время, зубчик за зубчиком, миллиметр за миллиметром, с неумолимой настойчивостью отодвигает от нее Павла. С каждой се-

кундой труднее заговорить по-простому. А надо что-то сделать, как-то объяснить, пока не поздно... Но как?..

Встать сейчас, подойти, присесть рядом и сказать ему, что думает, чем болеет... Сказать?.. А он не поймет, пожмет плечами — ведь внешне-то ничего не изменилось. Упрекнуть его, что черств, что забывает о ее существовании... Он ответит, что его съедает работа, что несет нелегкий груз, что некогда ему вглядываться в замысловатые переливы женской души.

После этого долгого и тяжелого воскресного дня Павел стал бывать дома только в обед и ночью. А Анна заметила за собой, что она чаще обычного вглядывается в зеркало, страдает от того, что у глаз легли морщинки. Даже до замужества, когда франтоватый майор Мансуров ухаживал за ней, не было у Анны такого ревнивого и страстного желания нравиться ему. Она стала одеваться тщательней, купила новое платье, две новые кофточки, хотя сама прекрасно понимала, что это глупо, бессмысленно, уловки наивной девчонки. Однажды утром, когда надела новое сиреневое платье, заметила еле приметное брезгливое выражение на лице Павла...

Чем помочь, как спасти?! Бессильна!

Нет ничего страшнее на свете, чем молчаливое презрение. Ни грубая ругань, ни прямое издевательство так не оскорбляют человека. Против них хоть можно возмутиться, поднять бунт. А при молчаливом презрении отнято все. Держи при себе обиды, если не хочешь выглядеть вздорной бабой.

Анна терпела.

Совсем недавно, всего несколько дней тому назад, Павел вернулся домой особенно поздно. Открывая ему дверь, Анна сразу заметила, что он вошел не так решительно, как входил обычно, кепку повесил не рывком, а, пряча лицо, долго нащупывал на стене гвоздь, затем бочком, словно боясь неосторожно задеть Анну, прошел в комнату, произнес:

— Ложись, ложись, чего стоишь?..— И в голосе его Анна уловила какую-то смесь вины, беспокойства и заискивания.

И догадка ожгла ее. Впрочем, она давно ждала этого — раз так идет, то рано ли, поздно ли должно случиться.

— Чего стоишь? Да ложись же...— Это Павел уже произнес с досадой.

— Павел...— негромко произнесла Анна, — ты был у другой женщины?

Свет не зажигали — после часа ночи коршуновская электростанция кончала работу, — и Анна в темноте увидела, как вздрогнул Павел.

— Ты что?.. У тебя помешательство?

— Пусть так. Я ошиблась... Извини... Тогда мне хочется поговорить о другом...

— О чем еще?.. Поздно же. Не время.

— Нет, время! Скажи, что случилось? Почему я для тебя стала чужой? Почему я должна ежечасно, ежеминутно чувствовать на себе молчаливое пренебрежение? Какая причина?

— Ты рехнулась, честное слово. Не понимаю, чего хочешь?

— Не лги! Ты прекрасно понимаешь! Прекрасно!

— Да не кричи же...

— Я долго молчала. Не могу больше! Хватит!.. Я имею свое человеческое достоинство. Об этом ты забыл...

— Я не намерен слушать глупости, тем более в такой час,— возвысил голос Павел.

— Нет, ты выслушаешь! Ты ответишь! Хватит играть в молчанку!..— Анна первая перешла на крик.

Оба кричали, бросали друг другу упреки, Анна плакала, ломала руки. Это был первый в их совместной жизни скандал, один из тех бессмысленных скандалов, после которых чувствуешь отвращение к себе.

Павел лег на диван. Утром, хмурый, невыспавшийся, выпил поспешно стакан чаю, страдая не от угрызений совести, а лишь от того, что стакан чаю приготовлен руками Анны — маленькая, но зависимость, одолжение с ее стороны.

Вечерами особенно тяжело. За окном гремят по шоссе запоздалые машины, громко разговаривая, смеясь, проходит молодежь; к соседям, завучу школы Никите Петровичу, пришли гости — чопорная чета учителей Крупяновских, слышно, как на крыльце вытирают ноги, чинно разговаривают:

— Как здоровье Агнии Федоровны?

— Ничего, спасибо... Как Танечка?

— Коклюшем за это время приболела.

Анна же одна в двух комнатах, тихо вокруг, только в спальне слышно, как шуршит за стеклом рябина. Не жди, никто не придет. Даже Игнат не заглядывает последнее время. Это к лучшему... Появится охота пожаловаться, раскрыть беду, а к чему? В таком деле никто не помощник. Незачем и выносить сор из избы. Бывало, забегала Катя. Той теперь не до нее — замуж выходит... Одна... А Павел в райкоме. В райкоме ли? Может, у другой, чужой, ненавистой... Глупости! Стала без меры мнительна. Он сегодня был озабочен, даже утром обронил несколько слов о какой-то подохшей корове. Но разве такие несчастья в диковинку в районе? Одна корова — то-то важность! Почему он сообщил, ведь обычно молчит? Неспроста!.. Помнится, глаза прятал... Где он? Что делает? С ума сойти можно...

Анна решительно встает, надевает шерстяную кофту, накидывает на голову платок.

Нет, нет, она не собирается высматривать, где Павел. Бегать, подглядывать — до такой низости еще не опустилась и не опу-

стится! Пусть как хочет живет, пусть что хочет делает. Надо просто подышать воздухом, вечер, кажется, теплый..

Но гулять Анна идет не к реке, не в рощицу, а по центральной улице. Проходя мимо райкома партии, она, даже от самой себя скрытно, бросает взгляд на окна второго этажа. Два угловых окна, которые ее больше всего интересуют, светят спокойно, по-деловому, кажется даже озабоченно. Там заседание. Какие только глупости не придут в голову от одиночества.

У Анны становится легче на душе, она, пройдя еще немного, сворачивает к дому...

А дома ее встречает тишина, дома пусто, снова лезут в голову подозрения...

## 15

Два часа продолжалось бюро. Два часа распаренный, осунувшийся Федосий Мургин выслушивал упреки, возражал, оправдывался, признавал свою вину. Ничем другим так быстро не купишь прощения, как тем, что вовремя — пусть скрепя сердце — признаешь вину. Голоса становятся сразу тише, упреки снисходительнее, взгляды мягче.

На прощание Мансуров сказал:

— Возраст тебя спас. Твои седины жалею. С кем другим разговор был бы более короткий. Но гляди — случись еще раз такое, не мы с тобой будем разговаривать, а прокурор!

Мургин спустился к своему коню сумрачный: выговор, да еще строгий, шутка ли на старости лет схватить. Но в глубине души чувствовал облегчение: могло быть и хуже, до крайности не дошло, на председательском месте оставили. Об этом даже страшно подумать... Пусть выговор, пусть строгий... Обидно, но теперь-то он возьмет в оборот своих колхозников, к Игнату Гмызину без стеснения на выучку пойдет. Через год, глядишь, и нет выговора — снимут. Кончились страхи, слава богу!..

Правда, и кроме выговора есть о чем печалиться. За корову-то платить придется, а она, окаянная, не простых кровей — четыре тыщи с гаком стоит. Ну, «как» покроется, прирезать успели... Четыре тыщи! Их бы по закону должна Прасковья заплатить. А что с нее взять? Придется обмозговать с правленцами...

Покряхтывая, Федосий с трудом влез в плетушку, поерзав, устроился на вянушем клевере. («Вот дожили, даже председателю коню — ни клок сена».) Лошадь с охоткой тронулась к дому.

Выехал за село, пустил пролетку по обочине, чтоб не трясло на булыжнике, задремал. Пролетка нет-нет да кренилась. Сонный Мургин всей своей рыхлой тяжестью заваливался на бок, покрикивал сипловато: «Н-но! Слепота!» — и снова засыпал.

Своя деревня встретила его веселенькими огнями, пробивающими густую листву кустов и деревьев перед окнами.

«Э-э,— сразу же встрепенулся председатель,— уж за полночь, почему свет горит?»

Погребное и Сутолоково освещались от маленькой ГЭС, построенной на месте бывшей мельницы. Летом, по указу Федосия Савельича, в одиннадцать часов свет выключали, ГЭС запиралась на замок. Зачем попусту заставлять крутиться генератор, кому нужен свет ночью, да и спать народ будет ложиться раньше,— значит, раньше вставать на работу.

«Гришка Цветушкин, поганец, своевольничает,— решил Федосий.— Ребята с девками, видать, пляску устроили, уговорили посветить. Вот я ему посвечу! Уж коль невтерпеж, выплясывайте при керосине...»

В темноте хлопнула калитка, кто-то выскочил, побежал вперед, слышался женский голос, негромкий, со сдержанным испугом:

— Господи! Господи! Твоя воля! За что только такая напасть?

«Ужель опять что случилось?» — похолодел Федосий, подхлестнул лошадь, позвал:

— Авдотья! Ты это?.. Чего причитаешь?..

— Савельич! Солнышко! Ведь наново беда! Наново!

Федосий нагнал Авдотью, придержал лошадь.

— Ты не колготись. Толком рассказывай! Где беда? Какая?

— Ох! Горемычные мы! И твою головушку не помилуют...

— Ты, бестолочь, не тяни жилы!

— У сваты-то Натальи...

— Опять на скотном?

— Ой, там, родимый, опять там...

Федосий не стал больше спрашивать; как молодой, легко вскочил на ноги, отчего пролетка застонала, заходила ходуном, и изо всей мочи стал нахлестывать лошадь.

На скотном дворе вместо тусклых лампочек были ввернуты большие, стосвечовые. Яркий свет освещал бревенчатые, в старой побелке стены, затоптанный нескобленный пол. Коровы, возбужденные этим непривычным светом, все до единой поднялись, тревожно оглядывались на сгрудившихся людей, негромко мычали. Заведующий молочной фермой Трифон Куницын свирепо и в то же время трусливо ругался, не стесняясь скотниц, вспоминал и бога и мать. Заметив перешагнувшего через порог Федосия Савельича, сразу же, споткнувшись на полуслове, сник — знал, что старик не выносит матерщины.

Перед председателем расступились. Одна из новых коров, по кличке Влага, лежала на свежей, поверх истоптанной подстилки, соломе, как отдыхающая собака, уронив вытянутую вперед

голову. Дышала она порывисто, поводя боками, судорожно вздрагивая кожей спины. Крупный глаз, направленный на людей, влажен, ресницы по-человечьи слиплись мокрыми стрелками, мелкая слезинка медленно пробиралась по жесткой короткой шерсти носа.

Все удивились спокойствию голоса Федосия Савельича. Он спросил коротко:

— Овес?

— Не давали овса, Савельич! Пропади он пропадом, овес этот!..— сыпанула плаксиво скотница Наталья, отнимая от глаз захватанный кончик платка.

Куницын перебил ее:

— Хуже. Сеном накормили, тем, что из Люшнева привезли.

— Так, так, не овес...

Федосий Савельич, жмурясь от яркого света,— без того узкие глаза стали как щелки,— по-чужому, бесчувственно разглядывал больную корову. Он не ругался, не прятал свой гнев. И то, что гнева не было, всем стоящим рядом казалось сейчас страшным.

Куницын, снизив голос, пояснял торопливо:

— Из тех стогов, Савельич, что залило... Помнишь, песок в сено нанесла вода. Песок и ил. Поганое сено. На подстилку привезли. А эта есть, видно, его стала.

— Знатьё, да разве ж я бы...— всхлипнула Наталья.

— Молчи! — цыкнул на нее Куницын.

— Так, так, верно... На подстилку оно гоже...— повторил председатель.

— Что? — уже совсем испуганно переспросил Куницын.

Женщины замерли.

Куницын, не дождавшись ответа, снова, захлебываясь от поспешности, заговорил:

— За врачом сразу же послали... Иван на грузовике поехал... Как ты с ним разминулся?..

— Так, так... Не встретился, нет... Разминулись...

Вдруг Федосий Савельич с какой-то беспомощной убедительностью выдавил:

— Зарезали вы меня... без ножа...

Качнувшись, он отошел, опустился на край навозной тачки, подставив под взгляды широкую, пухлую спину, обтянутую выгоревшим пиджаком. Все увидели, что эта спина вздрагивает, седая, коротко стриженная голова председателя опускается все ниже и ниже.

Скотница Наталья тоненько, боязливо прикрывая рот концом платка, завывала...

Корму нет. Даже трава на этот раз не спасает. До первого сена еще не близко. Болезни среди племенного скота становятся изо дня в день обычным явлением. Падеж в колхозе Мургина, случай падежа в колхозе «Искра»... Появились недовольные, многие сомневаются: а правильно ли действует он, Павел Мансуров?

То, что он сделал и продолжает делать, нельзя назвать иначе, как атакой. Может, он поспешил, может, слишком горячо рванулся, но дело сделано — в атаке на полдороге не останавливаются. К тем, кто хочет залечь на полпути, надо относиться без жалости.

В обкоме пока еще в него верят. Всего несколько дней назад в областной газете упоминалась его фамилия как пример инициативности и решительности. А если случаи падежа будут продолжаться, то в первую очередь обком, затем все, кому не лень, начнут бросать упреки: «Хвастун! Беспочвенный, наглый авантюрист!» Добро бы только упреки... Падеж каждой головы — убыток в несколько тысяч рублей, да, кроме денег, племенной скот — это надежда на зажиточность, это мост к будущему счастью. И если этот мост рухнет по его вине, не жди прощения — отберут партбилет, возможен и суд. Он, Павел Мансуров, заставивший говорить о себе, уважать себя, рухнет в грязь вместе со своими высокими мечтами, с широкими замыслами.

Идет атака, он впереди! Велик риск, но оглядываться и сомневаться поздно. Не место колебаниям!

О том, что в колхозе «Светлый путь» пала вторая корова, Павел Мансуров узнал утром, а в полдень к нему в кабинет явился сам Федосий Мургин.

Держался он прямо, казался даже выше ростом, только лицо стало словно более плоским. Когда он спустился без всякого приглашения на стул, Павел заметил перемены: плечи сразу обвисли под глазами — потные, тяжелые мешки.

С минуту Мургин молчал — после лестницы не мог отдышаться, — глядел в сторону, наконец начал тихим, но внутренне напряженным голосом:

— Суди, Павел Сергеевич.. Вот как случилось.

Усталые глаза из-под нависших век встретились с отчужденно холодным взглядом Мансурова, отбежали в сторону. Мансуров молчал.

— За последние дни вот оглянулся я назад, — продолжал тихо и осторожно Мургин, словно шел по натянутой веревке, — и увидел: глупая у меня была жизнь, длинная и глупая. Одно интересное в ней — колхоз... Из шестидесяти пяти лет — эти двадцать...

— Короче, Федосий Савельич. Разжалобить надеешься? Надежды напрасные.

Мургин взгляделся в Мансурова — вытянутая шея, отвердевшие скулы, губы жестко сжаты, пропуская слова, шевелятся неохотно — и вздохнул.

— О жизни говорить хочу, а коротко-то о жизни нельзя... Так вот, кроме колхоза, у меня ничего. Оставить мне колхоз, не пугая скажу, — смерть. Куда я?.. Просто ворочать рядовым — стар, даже на прополку с бабами ходить негод. Для другой какой работы не способен. Одно стается — ложись под образа да выпучи глаза...

— Прямо! Без подходов! Боишься, что с председателями снимут?

— Боюсь, Павел Сергеевич. Боюсь, как смерти.

— А ты думаешь, если председатель смертельно боится слететь со своего места, мы из жалости доверим ему колхоз? Он не может научить скотниц и животноводов уходу за скотом, он не успевает вовремя заготовить корм, он допускает падеж — все это пусть, лишь бы не боялся, сидел прочно на стуле.

— Павел Сергеевич! — Мургин поднялся, грузный, приземистый, с угрюмым взглядом узких глаз. — Коль я боюсь больше смерти уйти с председателей, значит, я врос, значит, я после такого урока костями лягу, а все выправлю, вытащу колхоз, людей подниму. Не жалости прошу — поверить! Как человеку поверить, как коммунисту!

— Как коммунисту?.. Ты делами подмочил свое слово коммуниста! Простить, по головке погладить? Чтоб другие нерадивые глядели на это и радовались — ничего, мол, в райкоме добренькие сидят, всё спишут. Не-ет, защищать тебя не буду! Буду настаивать, чтоб сняли с председателей, немедленно!.. И это не все. Мы партбилет попросим показать!

Мансуров стоял против Мургина, тонкий, подобранный, красивый, кудри упали на брови, глаза большие, темные. Мургин — рыхлый, вялый — осел на стуле, подставив под взгляд Мансурова седое темя.

— Мне шестьдесят пять лет, — медленно заговорил он в пол, — а после такого... Павел Сергеевич, две коровы, пусть самые породистые, ведь не дороже они человека. Все сломается у меня! Все!

— Не в коровах дело! Прости тебя — другие спустят рукава. Нет, не обессудь, в следственные органы заявим, районную газету заставим кричать о твоём ротодействе... Да как тебе не стыдно, товарищ Мургин, оглянись — пришел милости выпрашивать.

Мургин с усилием поднялся:

— Верно... Стыдно...

Его кожаный картуз упал с колен. Мургин этого не заметил, наступил сапогом.

— Стыдно...— еще раз сипло повторил он, хотел что-то добавить, но, судорожно глотнув воздух, махнул рукой. Сутулый, вялый, шаркая подметками по крашеному полу, пошел к дверям, в дверях ударился о косяк плечом...

У Павла шевельнулась жалость: «На самом деле, ничего не останется у человека...» Но он решительно отвернулся от бережно прикрытой двери. «Нечего раскисать. Тем сильнее другие задумаются, коль такой, с двадцатилетним стажем, скатится».

На полу, примятый сапогом, валялся вытертый кожаный картуз Мургина. Павел поднял его, положил в угол, на сейф: «Вернется — возьмет».

Но Мургин уже не вернулся...

На другой день рано утром в Погребное, прямо к конюшне, без пролетки, в расклевшем хомуте, с волочащимися вожжами пришла Проточина — старая, смиренная кобыла, возившая председателя. Из Погребного высыпал народ, стали прочесывать лес...

Федосия Мургина нашли лежащим под березой, уткнувшимся лицом в прелую прошлогоднюю листву. Сук березы сломался под грузным телом, но длинная сыромятная супонь, снятая с хомута Проточины, крепко врезалась в толстую шею.

Жил и не замечал, что был до отказа счастлив, не ценил этого, считал: так и должно быть, не иначе. И вот сорвалось... но как — нелепо, глупо!.. Последние события, даже смерть Мургина, не взволновали Сашу — все заполнила своя беда, не оставила места другому.

Встречался ли с Лешкой Ляпуновым на улице, вел с ним разговоры о тесе, о том, что неплохо бы на фундамент для свинарника подвезти с реки камни — там на перекатах лежат валуны «с доброго телка» — и все думал: «А что, если б он все знал?..» Глядел с тайным страхом в красное, словно ошпаренное кипятком, Лешкино лицо, а самого бросало в жар. И живут они дружно, и обижаться Лешке нет причины, а наверняка поднимет на смех, так, без злобы, просто за будь здоров. «Ха-ха! Девка уломала!.. Го-го-го! Да ведь ты женихом считался!.. Ай да хват! Не теряешься... А невеста твоя коршуновская что же?.. Не жалуется, сносит грех?..»

И каждый раз, доходя в мыслях до этого места, Саша готов был кричать от отчаяния. Стыдно не за себя. Если б дело было только в нем одном, смех, сальные словечки, обидные подковырки — все бы перенес не сморгнув глазом. И поделом: сорвался,

запачкал себя — отвечай. Но в том-то и дело — не одного себя запачкал, Катю!

Катю, встречи с которой, бывало, ждал, как самой большой радости в жизни, Катю, по которой столько тосковал, мучился! Катю, которой он должен быть благодарен уж просто за то, что она, такая красивая, такая чистая, живет на свете. Да, чистая! И представить себе нельзя, чтоб она себя чем-нибудь загрязнила.

И вот над ней могут смеяться, о ней говорить сальности, ее пачкать. Из-за кого? Из-за него, Саши Комелева, которого она так любит, которому так верит. Неужели может такое случиться?! Большого ужаса на свете не бывает.

И чтоб никто ничего не узнал, Саша пробовал идти даже на то, о чем прежде бы и не мог подумать. Он стал заискивать перед Настей. Кто знает эту вертихвостку. С обиды или от легкости в голове может при всех раскрыть, сама же первая посмеется — хи-хи да ха-ха, крутанет юбкой, к ней грязь не прилипнет, а Катю засмеют. Рви потом на себе волосы, казись, да поздно будет.

Саша старался держаться с Настей ласково, на улыбку пытался отвечать улыбкой. Но Настя была не из тех, кого легко купишь одними улыбками. У крыльца ли правления, вечером ли на улице возле скотных дворов она улучала минутку встретиться с глазу на глаз. Выставив плечо, поглядывая с игривой прищурочкой, спрашивала:

— Примечаю: вдвойне меня сторонись. Или никак не подхожу? Иль все не по нраву?

Можно было скрепя сердце отшутиться один раз, два, но каждый день да по несколько встреч выдержать не под силу. Саше была ненавистна ее прищурочка, игривый голос, ее губы с жадной припухлостью на верхней, ее тяжелые, беззастенчиво зовущие груди на худощавом, гибком теле. Она виновница его несчастья, и ей надо отвечать шуткой, ей надо улыбаться, да ну к черту такое наказание.

Однажды, когда Саша шел мимо штабелей бревен, привезенных на строительство свинарника, и Настя загородила ему дорогу, он грубо сказал:

— Слышь, не приставай больше. Что было, то кончено. — И, помолчав, добавил с угрозой: — А коль смешки подленькие подпускать будешь — убью, честное слово!

Приготовленная Настей дежурная улыбочка на лице застыла на минуту, губы дрогнули. Она помолчала растерянно.

— Эх ты, дурак зеленый, — наконец ответила она горько, отвернувшись, шагнула раз и остановилась, чуть-чуть повернула голову. Саше была видна ее щека, упавшие из-под платка на лоб волосы. — Боишься, что на посмешище тебя выставлю?.. Не бойсь. Что дорого, того не осмеивают... Живи спокойно.

Подняв плечи, торопливо ушла.

В другой раз Саше было бы стыдно и жалко Настю, но для большого возу лишний узел грузу не прибавит. Без-того хватало стыда и боли. Пусть не совсем красиво получилось, зато Настя теперь оставит в покое.

Но и на следующий день Настя снова подошла, поджимая губы, тая в глазах ядовитую насмешку, сообщила:

— Ты что ж коршуновскую цыганочку не наведишь? Иль напрочь от ворот поворот дала?..

Саша не захотел разговаривать, повернулся, пошел от Насти. Но та крикнула ему в спину:

— Зря мучаешься! Ты для нее мелка рыбешка. На матерую шуку крючок точит!

Ушел за деревню, в поля. Стынул красный злой закат — к ветру, должно быть. А на другом конце неба поднялась луна. Она, казалось, весь день пряталась от солнца в реке, выползла сейчас бледная, будто вымоченная. Кусты, пышно взбитые, еще не потеряли дымчатой весенней легкости, издали кажется — улеглись отдохнуть на землю нагулявшие по небу облака.

Саша, опустив голову, засунув руки в карманы, шел по оставленному под пары полю, начавшему уже неряшливо зарастать хвощом и осотом. Непросохшая местами земля прилипала к сапогам.

Что хотела сказать Настя?.. «Мелка рыбешка... На матерую шуку крючок точит...» Неужели дошло до Кати?.. Тогда конец. Придется за километр обходить ее. Стыдно показать глаза... Катю обходить?! Конец?! Разве это возможно? Жить без радости — жить без надежды. Ведь даже теперь, когда стыдно, когда пакостно на душе, не пропадает надежда — все обойдется, простит... И откуда Катя могла узнать? В деревне никто — ни слухом ни духом, а уж ежели слухок будет, то первые его понесут новораменцы. Врет Настя! Врет!.. Ничего Катя не знает...

Но может догадываться... Разве это трудно? Сколько дней не показывался к ней, отсиживался в Новом Раменье. Катя горда, от одного, что не показывался, что забыл, может такое натворить...

Прячется, как трус? А выход один — надо идти к Кате, надо встретиться с ней. Пойти — значит рассказать, признаться. Признаться! Но ведь это же плюнуть ей в душу. На вот подарок, изволь любить грязненького. Разве можно потом надеяться на прощение! Тут уж не оправдаешься. Сам себя презираешь, сам себя ненавидишь, а хочешь, чтобы другие были милостивы...

Уныло, непривлекательно выглядит поле, еще не распаханное под пары. Заплывшая при таянье снегов земля сейчас почти всюду подсохла, кое-где ее верхняя корка потрескалась. По всему корявому, неопрятному телу клочками, как шерсть на одар-

шивевшей собаке, растет сорняк. И кажется, что поле болеет, ему тяжело лежать под заскорузлую корку и вместо благородных зеленей, как наказание, терпеть на себе рахитично хилые елочки хвоща, мясистый осот, отбросы, которым нет места на лугах среди обычной травы. Поле томится, поле ждет того дня, когда железные лемеха расчешут его, сорвут всю нечисть, принесут свободу и здоровье.

Саша шагал, ничего не видя, ничего не замечая, и все-таки тускло-красный закат, сумрачно разлившийся над землей, широкое, выглядевшее заброшенным поле помимо сознания давило на душу. Мысли, без того мрачные, тревожные, мечущиеся, становились более беспокойными. Новый приступ безысходного отчаянья охватывал Сашу.

Он прячется, он боится показаться Кате. А Кате что ни день, то более непонятно, необъяснимо его поведение. Что ни день, то глубже тонешь, труднее встретиться, страшнее взглянуть в глаза. Чего ждать?.. Дождаться того, что отвыкнет Катя, сам смиришься с потерей? Стыдно! Страшно! Невозможно! Но надо! Надо идти к Кате. Надо сказать ей все. Надо просить прощения без гордости... Какая уж гордость, не Саше вспоминать о ней. Просить... А там как она хочет...

Саша выбрался на шоссе, стал ждать машину.

18

После ночной встречи с Мансуровым Катя долго мучилась — хорошо или дурно она поступила.

Хорошо или дурно?..

В ночь, когда она ворочалась на своей кровати, ей казалось, что поступила она дурно, очень дурно. Ее грызло раскаянье.

Дед Кати прожил со своей женой двадцать восемь лет, перешагнув через серебряную свадьбу. Катя помнит, как старики до самой смерти бабушки были влюблены друг в друга. «Кешенька, голубчик, — ворчала ласково Софья Кузьминична, — у меня вовсе не мерзнут ноги». — «Мать! — строгим петушком возвышался над ней Аркадий Максимович. — Если хочешь, чтоб я жил покойно, ты должна слушаться. Закутай ноги, сядь к печке».

Катины отец и мать жили вместе всего года четыре. Но до Кати дошли рассказы, как отец чуть ли не носил мать на руках, как он трудно переживал ее неожиданную смерть, следили даже, чтоб он не наложил на себя руки.

Дед постоянно повторял: «Не по пословице наша семья — она без уroda. У Зеленцовых перед людьми чиста совесть».

А Катя отвернулась от всех приличий, на Катю — первую из Зеленцовых — люди за спиной станут показывать пальцем. А Са-

ша?.. Все Зеленцовы отличались честностью, верностью, прямо-той. Катя встречалась с Сашей, говорила ему, что любит, наконец обещала стать его женой. Он верил — она обманула. Дурно, очень дурно поступила, нет ей оправдания.

Так она думала первую ночь и первый день.

Но, думая об этом, Катя невольно все время помнила о Мансурове. Ни на минуту он не выходил из головы. Она вспоминала его потемневшие, приказывающие, умоляющие глаза, вспоминала, как его твердое лицо порой становилось нерешительным, робким, его смуглые руки то властно сжимали ее руки, то становились мягкими, предупредительно чуткими. Вспоминала его страстный шепот, с мужской досадой сказанную жалобу, что ему трудно, ему тяжело...

Эти воспоминания вместе с раскаяньем, с сознанием того, что она сделала что-то дурное, вызывали в Кате страх. А страх в свою очередь рождал возмущение. Как он смел так глядеть, так говорить, по какому праву решился на такое, заставил ее мучиться? Он старше, он мудрее, он понимал, что делал! Хоть немного, да хотелось оправдать себя, снять с души частицу вины, свалить на другого. И Катя упрекала Павла Сергеевича.

Если бы он на следующий вечер подошел к ней, она, возможно — пусть в замешательстве и смятении, — отвернулась бы от него. Но Мансуров не подошел. Катя знала — началось горячее время в районе, Павлу Сергеевичу было некогда, до поздней ночи в райкоме горел свет.

Не подошел, занят... А только ли из-за занятости некогда вспомнить о Кате?.. Нет, нет! Зачем же он глядел тогда на нее тем, потемневшим от волнения, взглядом. Не минутное же увлечение вызывало у этого решительного, твердого человека робость на лице, а его руки, его задыхающийся шепот, слова о том, что трудно живется... Разве он не был искренен? Глупо в этом сомневаться. Так играть, так лгать невозможно! Раз искренен, значит, любит... А она его? Неужели она настолько не уважает себя, что пошла бы на сближение, не любя человека? Да нет же! Тысячу раз нет! Она тоже любит! А раз любит, тогда что тут дурного? Зачем мучиться раскаяньем, сгорать от стыда.

Неожиданно окружающая жизнь повернулась для Кати по-новому. Что бы ни случилось, до сих пор Катя принимала без особой тревоги. Ее радовало, что прибыл скот, огорчало, что он плохо приживается, но радовало и огорчало, как всех, как каждого сознательного коршуновца, не больше. А теперь она стала смотреть его глазами, глазами Павла Мансурова, человека, которому поручено руководить районом.

Нет кормов для скота. Что делать? Какие советы дать колхозникам? Ой нелегко сейчас Павлу!

В колхозе Мургина пала корова. Не начало ли катастрофы? Страшно подумать. А всех страшней, верно, ему...

У того же Мургина пала вторая корова! Да что же за растяпа этот председатель! Павел, миленький, он подведет тебя, образумь старого дурака, покрепче образумь!..

Господи! День ото дня хлеще! Мургин повесился! И все ложится на совесть Павла, все на его голову! Как тяжело этому человеку! Как трудно добывать людям счастье...

Эгоистка! Еще упрекала в душе, что не встречается, забыл... До нее ли теперь. Пусть не встречается, пусть порой забывает, она простит, она понимает... Ей выпало счастье любить человека, который переносит все людские беды. Трудное счастье! Но она от него не откажется.

И глупо, нелепо мучиться...

Дед был прав, когда говорил: «Наша семья без уroda».

Катя помнит о своей семье.

Бабка Кати, как и Аркадий Максимович, работала в школе, умерла от приступа грудной жабы, так и не закончив своего последнего в жизни урока.

Мать Кати была врачом. В одно жаркое лето в удаленном Верхнешорском сельсовете вспыхнула эпидемия дизентерии. Мать выехала туда, сама схватила заразу. Сказалась утомительная работа по восемнадцати, по двадцати часов в сутки — не перенесла болезни.

Отец Кати погиб зимой сорок второго года под Сталинградом.

Сам дед проработал в школе около тридцати лет...

Катя всегда гордилась семьей и всегда мечтала, как о величайшем счастье, отдать свою жизнь на что-нибудь необыкновенное, на подвиг!

Но что она могла, девчонка? Ей ли совершать необыкновенные дела? Ждала особого случая... А жизнь была кругом равна и буднична...

Так вот случай, вот ее подвиг — ее любви! Она не просто любит мужчину, будущего мужа. Она любит человека, посвятившего жизнь людям. Она не станет требовать особого внимания к себе. Нет! Требовать внимания — значит связывать. Одного хочется — одного, небольшого! — чтоб он знал, что есть она, которая без конца верит ему, любит его, живет для него, только для него! Ведь жить для него — значит жить для людей!

И она, Катя, не урод в семье Зеленцовых. Чисты ее помыслы, чиста ее совесть! Что б ни случилось, дурного не произойдет.

А Саша?.. Что же, Саша... Разве ему объяснишь? Прежняя их любовь кажется только забавой...

Невысокий домик, сквозь кусты — свет из окон, расхлябанная калитка в оградке, к ней ведет выбитая неширокая тропинка; отступив в сторону, стоит старая липа... Знакомое место! И раньше было родным, теперь роднее в тысячу раз.

Вот где-то здесь, за кустами, за окном, — Катя. Она живет, она существует на свете. Не легенда, не вымысел — по этой самой тропинке недавно прошли ее ноги, за шершавую ручку у калитки бралась ее рука...

Саша осторожно открыл калитку, шагнул во двор. От неизвестности на какое-то мгновение застыло сердце: «Как-то встретит? Что-то скажет?..»

Между кустами красной смородины и бревенчатой стеной легко пролезть к окну. Приезжая неожиданно из колхоза в село, Саша всегда стучал в крайнее окно — чуть-чуть, два раза. Рядом с этим окном Катин столик...

Окно было задернуто, но между занавеской и косяком — щель... Саша припал к стеклу, увидел знакомый кусочек маленького письменного стола: толстая потрепанная книга, на ней — руки, ее руки! С тонкими запястьями, сухими маленькими кистями, они сейчас выражают покой и задумчивость. О чем же задумалась Катя?.. Только оконное стекло да занавесочка отделяют от нее. Катя, Катя... Саша легонько стукнул. Руки на книге дрогнули, замерли тревожно, но с места не двинулись — прислушивается... А сердце стучит так оглушительно, что, наверное, слышно в комнате. Катя, Катя!.. Руки слабеют, распускаются, всем своим видом говорят — слышалось.

Саша стукнул еще раз. Руки сорвались с книги. Занавеска откинулась, и глаза в глаза, через стекло Саша увидел лицо Кати.

— Катя, — позвал он беззвучно.

Занавеска упала, в расширившуюся щель стала видна часть комнаты, стена со знакомой репродукцией «Синопский бой». Стариковской походочкой проплыл мимо картины Катин дед.

Спотыкаясь, цепляясь за кусты, Саша бросился к двери.

Долго-долго не открывалась дверь. Бесстрастная, поблескивающая в свете луны кольцом — никакой жизни за ней. «Где же Катя, да услышала ли? Догадалась ли? Может, просто не хочет выйти?.. Ну, скоро ли? Катя! Катя!..»

Осторожный звук послышался за дверью. Кольцо дрогнуло, повернулось, стукнуло, и дверь вкрадчиво проскрипела: «З-здесь...»

Катя вышла, закутанная в белую шаль, — не видно лица, не видно рук. У Саши сжалось горло, с трудом вытолкнул хриплое:

— К-к-к-к!..— И замолчал, разглядывая ее, высокую, с опущенной головой, длинные кисти с концов шали свисают к коленям.

Катя, не поднимая глаз, заговорила:

— Хорошо, что ты пришел. Я должна тебе сказать...

— Катя! Я сам тебе все скажу! Все!

— Сказать должна я! — возвысила голос Катя. — Прости меня, но теперь понимаю — я просто была увлечена... Я не любила... Ой да не все ли равно!.. Саша, прошу — не ходи больше.

— Катя, выслушай сначала...

— Зачем мучить друг друга.. Я теперь по-настоящему люблю... другого человека. — Катя с облегчением закончила: — Вот все.

Уже из полуоткрытых дверей, из темноты, добавила торопливо:

— Хотелось, чтоб ты понял.

Дверь на этот раз скрипнула резко и испуганно, будто выкрикнула: «Ой!»

Долго качалось кольцо. Ничего не понимая, без мысли, без боли, с какой-то пустотой и в голове и в душе, Саша смотрел на это кольцо до тех пор, пока оно не замерло в неподвижности.

У калитки он остановился, привалился спиной к столбу — ослабили ноги. Луна, часа два тому назад бледная, вымоченная, теперь светила всюду, укрепшая, косорожая, довольная...

Вспомнилось, как в первый раз прощались с Катей у этой калитки. Так же были разбросаны по земле лунные зайчики, так же лениво они шевелились при ветерке... Один зайчик — ласковая голубая ладошка — поглаживал белую кофточку Кати. Только луна была круглей и еще ярче...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Кожаный картуз с головы Мургина лежал в углу кабинета, на сейфе. Мансуров даже забыл о нем — последние дни не сидел за столом: выезжал в Погребное, давал справки следователю, лично присутствовал на похоронах, сам проводил общее собрание колхозников, где выбрали новым председателем молодого агронома Алешина.

Мансуров забыл о картузе, но о самом Мургине переставал думать разве только глубокой ночью.

Вспоминалась сгорбленная, сразу же осевшая фигура, вялая, шаркающая походка. Вспоминались слова его: «Все сломается

у меня!..» Сиплый голос, обронивший: «Стыдно...» Вспоминалось, как шатнуло его у дверей, ударился о косяк плечом...

Что и говорить, по-человечески жаль мужика. Жаль! Но даже теперь Мансуров не хотел признавать за собой вину. Он не имел права смягчать тон, сглаживать острые углы, удерживаться от упреков, прощать и тем самым давать повод к новой безответственности. Он поступил так, как обязан был поступить!

Но кому эти оправдания нужны? Свершилось недопустимое, будут искать виновника. Непременно заинтересуется обком. Кажется, отольется эта история... Если признают хоть косвенно виновным, на партийной работе держать не будут. Приклеят ярлычки: «Недостаточно гибок... Отсутствует глубокое понимание людей». Эх, мало пней да кочек, еще один камень на дорогу!

Мансурову в эти дни вдруг захотелось поговорить с кем-то не просто, а по душам. И он обрадовался, когда к нему вечером появился Игнат Гмызин. Если кто и друг Павлу, то это он, Игнат. Хотя в последнее время что-то стала стираться их дружба — реже встречались, а если и встречались, то слово, другое — и врозь. Да еще с Анной натянутые отношения, как-никак Игнат ей родной брат, и это безотчетно, против воли, немного стесняло Павла.

— Вижу, свет у тебя...— проговорил привычное Игнат, протягивая через стол руку.

Загорелый, широкоплечий, добротный, голова недавно выбрита, с плавными выступами и округлостями, она лоснится, словно навошенная, так и хочется ее погладить рукой. Кажется, люди такого вот типа по своей природе не могут ни терзаться сомнениями, ни чувствовать растерянность, они постоянно ровны, уверены, покойны. Шажок за шажком, не торопясь и не спотыкаясь, тянет вверх Игнат свой колхоз. Неудачи с освоением племенного скота. чрезвычайные происшествия, вроде смерти Мургина,— все это проходит где-то в пространстве, не задевая бритой гмызинской макушки. Павел с тайной завистью разглядывал Игната.

— Рад, что пришел. Очень рад.

— А у меня дело...

— К черту дела! Давай хоть раз посидим да поговорим, как обычные люди, не о кормовой базе, а так, ни о чем, хоть о вчерашнем дождичке. Ты знаешь, Игнат,— тяжело... Тут еще это с Федосием... Вроде и авторитет у меня, уважение, а ведь приглядеться — один как перст.

— Почему бы это? Уж не потому ли, что в начальство вышел?

— Не знаю. Кажется, не заношусь, спесью не надуваюсь.

Оба помолчали. Не о делах, оказывается, они говорить разучились. Бывало, когда-то Игнат приглашал Павла к себе на

рыбалку — под деревней Большой Лес на озере неплохо ловились в мережу караси, — сходились за бутылкой, вспоминали каждый на свой лад фронт. Нынче давно уже, по занятости, не ездили за карасями, не распивали бутылочек...

Павел хотел было произнести со вздохом: «Ну, какое там дело, выкладывай», как Игнат поднялся:

— Что это у тебя?

Он шагнул, снял с сейфа картуз Мургина. Мясистое, мягкое лицо отвердело, какая-то непривычная черствость появилась в нем.

Для самого Павла появление картуза сейчас было неожиданностью. Оба молча минуту-две разглядывали: кожа порыжелая, потерлась — видать, много лет служил картуз своему неприветливому хозяину, — козырек дряблый, темный, захватанный, — его руками захватан! — внутри околыш засалился от пота, ввевшийся запах пота еще сохранился. В этой старенькой вещи Мургин продолжал жить. И обоим, Павлу и Игнату, позавчера только похоронившим *его*, эти памятки жизни казались странными...

— Оставил... Я прибрал. Отдать потом хотел... И не вышло, — вполголоса пояснил Павел.

— Так, так... Без картуза выскочил, — хмуро обронил Игнат.

— Игнат... ты винишь меня?

— В чем? В этом? Ведь отчитывал ты не с намерением, чтоб он бежал искать веревку.

— Некоторые, должно быть, так и подумают...

— Вряд ли...

Снова неловкое молчание. Игнат продолжал вертеть в руках картуз, разглядывал со всех сторон, а Павлу хотелось остановиться с досадой: «Да брось ты! Нашел забаву...»

— Признаться, — Игнат наконец отложил картуз, — Федосия-то хотел пугалом выставить?

— При чем тут пугало? Я одного хотел — чтоб другие серьезнее к своим делам относились.

— Телега не смазана, воз туго идет — не конь виноват...

— Ты без загадок...

— Какие загадки. Перегнул ты, Павел, со скотом.

— Слышал. Обычная перестраховка.

— Мне, брат, страховаться нечего. Свой скот я накормлю, в тепло поставлю, падежа не допущу, весь приплод сохраню...

— Чего тогда и беспокоиться?

— Не за себя. За Никиту Бочкова из «Искры», за Луцильникова из «Красной зари», за все колхозы беспокоюсь. Врасплох их скот застал.

— Уволь. Как-нибудь мы сами об этом побеспокоимся...

— Кто это «мы»?

— Райком.

— Я член бюро райкома. Почему я должен меньше тебя болеть за район?

Мансуров криво усмехнулся:

— Выходит, не меньше, а больше болеешь. Ничего не скажешь, похвально, очень похвально.

— Смотри — молодой осот легче выдернуть, свежую ошибку проще исправить.

...Нет, что-то треснуло в прежней дружбе. Перебросились о сенокосе, об МТС, которые до сих пор не перегнали тракторных косилок (Игнат и заглянул, чтоб сообщить это), простились сдержанно.

Мансуров думал с раздражением: «Идешь на риск, а кругом жмутся, оглядываются... Игнат-то, Игнат! Как он не понимает: скот прибыл, распределен, поверни на попятную — подымется страшный шум в области...»

Картуз Мургина лежал на столе. Что с ним делать? Не держать же его у себя. Выбросить? Почему-то не поднимается рука. Отослать старухе Федосия?.. Что тогда подумают в деревне Погребное? От секретаря райкома пришел картуз покойного председателя — чего доброго, насочиняют еще историй. Да и картуз-то гроша ломаного не стоит.

Павел сунул его в самый нижний ящик стола, запер на ключ — с глаз подальше.

## 2

Как и ожидал Павел Мансуров, его вызвали в обком.

Кем он станет, если его отстранят от работы, куда пойдет? За всю свою беспокойную жизнь он так и не успел получить профессии. Не инженер, не агроном, не учитель, даже офицер такой, что сдан в запас. Где смог бы он устроиться?.. Скорей всего сунут на заведование промтоварной артелью или в сонную контору какого-нибудь пищекома...

Но в кабинет к Курганову Павел вошел внешне спокойный, голову нес прямо, с достоинством, от дверей к столу четко отстукали по паркетному полу каблук его ботинок.

Через огромные окна ломилось во всю силу пыльное городское солнце. Курганов сидел без пиджака, ворот свежей сорочки расстегнут на потной шее. Обычно живые, колющие мелкими зрачками глаза секретаря обкома сейчас глядели из-под припущенных век устало. И утомленное жарой лицо Курганова, его веки, коричневые, тяжелые, прячущие под собой зрачки, и то, что без пиджака он, по-простецки в рубашке, — все это, как ни странно, успокаивало Павла Мансурова. Не верилось, что этот пожилой (только теперь Павел почувствовал возраст Курганова), будничный на вид человек может перетряхнуть его жизнь. Для этого, казалось почему-то, непременно нужна необычная обста-

новка и не обычный, а официальный вид обкомовского секретаря.

На красном сукне стола для заседаний, как раз напротив того места, где уселся Павел, стоял большой макет какой-то постройки: стены сложены из игрушечных бревнышек, крошечный шифер на крыше не отличишь от настоящего, из распахнутых дверей выбегают рельсы, на них — вагонетка, столбы с электрическими лампочками, само строение — два корпуса, приставленные один к другому в виде буквы «Т». Разглядывая макет, время от времени косясь на Курганова, Павел Мансуров стал рассказывать, просто, не волнуясь, не оправдываясь, словно докладывал не чрезвычайное происшествие, а вводил в курс дела по сеноуборке.

...Кормов мало. Да, это так. Но когда кризис с кормами почти миновал, у Мургина на скотном дворе случился падеж, два раза подряд — несчастье дуплетом. Он, как секретарь райкома, разумеется, не мог смотреть на это сквозь пальцы. Было бюро, он, Павел Мансуров, не скрывает, выступал резко, а как же иначе?.. Словом, та или иная причина, но, как снег на голову, неожиданно-негаданно трагическая развязка. Оправдываться он не будет. Если обком и районные коммунисты найдут нужным поставить все это ему в вину — что ж, он примет...

Курганов, слушая, смотрел вниз, и только время от времени веки его медленно поднимались и крошечные зрачки пытливо, ищуще упирались в лицо Павла. У Павла в эти моменты липко потели ладони, но взгляд он выносил, не сбиваясь с ровного тона.

— А что ж ты тогда пугаешься? — неожиданно спросил Курганов. — Иль все-таки вину в чем-то чувствуешь?

Павел пожал плечами:

— Человек покончил с собой — испугаешься... А вина, черт его знает, может, и есть.

Веки Курганова снова поднялись. У Павла появилось неприятное ощущение, словно к его переносице крепко прижали холодный металл.

— Вина есть. Ее не может не быть. — Голос Курганова был так же тверд и суров, как и взгляд. — За смерть человека нет оправданий. Что говорит твоя партийная совесть? Подскажи сам: какого ты достоин наказания?

Павел молчал.

— Ну!

— Готов на любое.

— Событие позорнейшее! Случай чрезвычайный! Но насколько ты виноват — неясно. Выговор за такие дела не записывают. Исключать — нет оснований. Важно, чтоб ты почувствовал тяжесть на своей совести как человек и как коммунист...

Павел слушал, глядел на макет непонятной постройки и чувствовал, как мало-помалу сваливается с души тяжелый груз. «Пронесло. Признал невиновным. Да и с какой стати... Пусть отчитает, его обязанность...»

— Тяжелый урок, помни! — Курганов поднялся, вышел из-за стола.

Павел хотел уже попрощаться, но секретарь обкома ласково провел рукой по крыше игрушечной постройки, словно погладил, и сказал совершенно другим голосом:

— Вот ведь не любопытный. Глазами мозолит, а не спросит, что такое.

— Не пойму. — Павел с виноватым смущением вглядывался в макет. — Коровник? Нет. И на свиноферму не похоже...

— То-то! Плохо мы знаем, что кругом делается. Второй год такое сооружение в колхозе у Борщагова действует. Мне эту игрушку прислал — то ли просто в подарок, то ли в назидание: учись, мол, да других учи уму-разуму...

Павел насторожился: колхоз Борщагова был знаменит. Сам Борщагов — признанный талант-самородок. Его, человека с трехклассным образованием, не кончившего и церковноприходскую школу, не раз приглашали читать лекции профессорам в Тимирязевскую академию. Должно быть, опять какое-то нововведение, опять подымут шум газеты. Интересно узнать.

— Это, дорогой мой, не коровник и не свинарник, а фабрика-кухня... Да, да, фабрика! Вот смотри... — Курганов снял шиферную крышу и начал рассказывать о кормозапарниках, о трубах с горячим паром, о машинном отделении. — Словом, в эти ворота въезжает воз, скажем, с соломой, а через час вагонетки развезут корм, на солому не похожий. Борщагов смеется: гвозди железные можно приготовить — коровы будут есть да облизываться. Удои поднялись. Прокорм одной головы обходится вдвое дешевле. Электричество качает воду, электричество мельчит корма, развозит их. Человеку нужно только остановить вагонетку возле кормозапарной ямы да опрокинуть ее.

Курганов, цепко взяв за локоть Павла, усадил рядом с собой и, глядя твердыми, радостными глазами в лицо, продолжал:

— Вот на что надо держать курс! Племенной скот есть, есть старая кормовая база — сено, силос и прочее, нам остается увеличить ее. В этом деле помогут вот такие кормоцеха. Эшелоны мяса, масла пойдут тогда из нашей области, и дешевого! Твой район идет в числе первых по освоению племенного скота, он должен первый подхватить и почин Борщагова.

— Кормоцеха... Да-а, вещь завидная, — без особого восторга согласился Павел, — только дорогая, нашим колхозам, пожалуй, не по карману.

— Электричество у вас есть. Это основа. Никто не будет требовать — вынь да поставь завтра готовые кормоцеха. Постепенно обстраивайтесь, но обстоятельно, навек. Только не старайтесь ограничиться обещаниями. Если начинать, то надо сейчас, не сегодня завтра закладывать кормоцеха...

Поезд, отстукивая на стыках рельсов, уходил от города. Среди пассажиров, ехавших в Сибирь, шла своя налаженная жизнь. Она начиналась до того, как Павел появился в вагоне, и будет продолжаться, когда он сойдет на своей станции Великой. В купе стучали костяшками домино, смеялись над анекдотами, клевали сонно над книгами...

Павел стоял у окна. История с Мургиным могла кончиться иначе. Он, Павел, должен бы чувствовать теперь облегчение, но нет, легче не стало... У многих колхозов развалились скотные дворы, зимой будет мерзнуть племенной скот. Куда там кормоцеха! Не по Сеньке шапка. А Курганову не возразишь... Сразу поставит вопрос ребром: «Сил мало?.. Почему тогда хапнули столько скота, почему не рассчитали свои силы?..» Что ответить?..

Тут еще Игнат... Он, если заговорит, будет теперь настаивать — признайся, что перегнул. Попробуй-ка признаться — грянет гром из обкома, пыль пойдет от секретаря Мансурова. Скот, бескормицу, даже смерть Мургина припомнят. Тугой узел завязывается, как распутать его?

За окном проплывали знакомые картины: лениво кружились широкие луга с тихими, пригревшимися на солнце деревеньками, с рыжими заплатами паров, с пыльными дорогами и неизменным страдальцем-грузовичком на них. Иногда виднелись косилки, цветные платья женщин, загребавших сено, копны, полусметанные стога.

Покойная, мирная жизнь кругом. Жить бы вместе со всеми и радоваться. Нет, не получается.

### 3

Молча, ревниво пряча от всех, носил Саша первую в жизни тяжелую обиду. Пусть эта обида не свела со щек румянца, пусть не сушила его по ночам бессонница и загибистому словечку, брошенному каким-нибудь бригадиром в правлении, он весело смеялся вместе со всеми, но от этого не меньше было горе.

Настя Баклушина торжествовала. Как-то вечером она подошла к Саше, и тот сам повел ее на берег...

Игнат Гмызин послал Сашу в новую бригаду «Труженика» — в Кудрявино.

...С весны до сенокосов — время недолгое. Жизнь в Кудрявине изменилась, но немного. Бригадиром вместо Вязунчика стал Петр Мирошин, длинный, сухой, с тонкими жердистыми ногами, с острым, словно проглотил скелетный камень, кадыком на тонкой шее (за эту шею и за густой, крякающий голос прозвали его за глаза кудрявинцы Гусаком). В колхоз он пришел в прошлом году из армии, был сверхсрочником, но дослужился только до старшины. Носил жиденькие ржавые усики, постоянно подкручивал их, сердиться по-настоящему не сердился, а кудрявинцы побаивались его. Даже в лес бегали реже, может быть потому, что лесная страда — пора грибов и ягод — еще не настала. Засеяли в эту весну кудрявинцы землю не по-старому: ячменем да пшеницей самую малость, больше подсолнухом, кормовым турнепсом да горохом под зеленую массу. Мирошин каждый день собирал народ рыть силосные ямы. Кудрявинцы ворчали: «Песок ворошим, то-то от этого хлебом разбогатеет...» Но когда в конце каждого месяца из Нового Раменья стали приходить подводы с мукой (смолотой не на ручных «притирушках», а на пищепромовской вальцовке) и Мирошин по списку выдавал на трудодни, замолчали, стали напрашиваться на рытье ям... Игнат не на шутку решил сделать Кудрявино животноводческой бригадой.

Когда-то, в давние времена, среди леса лежали глубокие озера, связанные друг с другом затянутыми осокой ручейками. С годами эти озера повысохли, съежились, превратились в болотистые «ляжины». В одних летом вода цвела вонючей зеленью, в других даже в самый светлый день она стояла черная, дегтярная.

Берега, обсохшие от воды, превратились в небольшие луговинки, по весне заливаемые водой. При единоличном житье каждый хозяин оберегал свой участок, нет-нет да срежет не в меру разогнавшийся куст. При колхозе кудрявинцы запустили эти и без того стесненные лесами луговинки. Косить почти нечего. Так, кой-где трогали одичавшую, соперничающую в росте с кустами траву, плохую, одеревенелую.

Весь день Саша вместе с колхозниками махал косой, выбирал прогалинки. В деревню решили не идти, переночевать тут же, в лесу, завтра добрать, что можно, и уходить совсем. Те жалкие охапки травы, которые удавалось выцарапать из-под кустов, не стоили труда.

На сухом месте разожгли большой костер, над ним повесили ведра — в одном варился суп из солонины, в другом — на всю ораву чай. Огонь костра то разгорался, закрывая рвущимся пламенем ведра, то спадал. Ночь то теснилась в стороны, выдвигая вперед розовые при свете костра стволы березок, то сдвигалась, ревниво прятала их. Тени женщин, хлопотавших около ведер,

при разгоравшемся огне были могучими, срывались в темноту с верхушек деревьев. Они, шевелясь, казалось, перемешивали тускло-красный лес.

Саша лежал в стороне на охапке свежей травы вместе с бригадиром Мирошиным. Мирошин, откинувшись на спину, уставив в неясно мерцающее звездами небо острые колени, говорил сипловато:

— Просмотрел я все их бумаги... Лугов сто десять га числится. Сто десять! Да! А скашивают их здесь — ей-ей, не соvrать — от силы гектар пятьдесят. Те, что лежат под самой деревней. Да! Планы-то им спускают из какого расчета? Само собой, из расчета ста десяти.

— Сколько сумеем скосить, столько и скажем...

— Скажем?.. Эх ты, молодой да горячий. Вот возьмут тебя за загривок и начнут трясти: почему планы не выполняешь, почему не все скосил? Сто десять гектар по плану, а у тебя сколько?.. Что скажешь?

— Что есть, то и скажу.

— Ну-ну, говори. Ты ведь правлением поставлен руководить здесь покосами. Да! Мое дело — ямы силосные, уход за полями.

А у костра, угнездившись среди женщин, бывший кудрявинский бригадир, теперь просто рядовой колхозник, Саввушка Вязунчик детским голосом задушевно (верный признак — побывальщину хочет рассказать) рассыпался:

— Нашу травку, братцы мои, надо умеючи брать, сноровки одной мало... Вот слышали, как кузнец Демка Крюков косил? — Вязунчик победно поворачивал вправо-влево сморщенное, плачущее от дыма лицо. — Ты-то, Дарья, должна помнить Демку-то... Так вот этот Демка одну траву знал. А называется она «тумка»...

— Ну, держи, бабы, подолы, пойдет Саввушка сыпать.

— Как жеребец хороший, только вожжи опусти...

— Да пусть треплется. Все одно ждать.

— Валяй, Савватий, слушаем.

— Так вот, — переждав, пока стихнут голоса, тем же задушевым родниковым голосом продолжал Саввушка, — есть такая травка, на вид ну самая что ни есть неприметная. Ее-то, братцы мои, Демка-то и узнал... А как узнал? Это, братцы, история... Раз как-то он лежит у своей кузни, должно быть, квасу напился, животом переживает. Вдруг видит, едет по дороге хургон, на передке цыганка старая сидит, трубку курит, вожжами правит; за хургоном гусенятами цыганенки бегут. Приостановила лошадь цыганка и просит: «Подкова отпала, подладь, красавец. Заплачу, не обижу». Долго ли Демке при сноровке-то: лошадь выпряг, копыто промеж ног, тюк-тюк — и готово. «Плати, — говорит, — ведьма». Цыганка-то хватъ с земли пук травы и подает: вот, мол, держи. Демка за молоток да на нее: «Смеяться надо мной, расту-

ды тебя, карга старая!» А та его за руку придержала да на ухо — шеп, шеп, и смяк Демка. Так-то, братцы мои.. Уехала цыганка с цыганиями, Демка взял ведро, травы той нарвал, водой залил и прямо в кузне сварил... И вот, братцы мои, сковал он себе косу... А ковал ее так: накалит, вынет, аж светло в кузне, да в ведро со словами, в навар тот самый... Семь, что ли, раз так-то. Накалит и окунет, накалит и окунет... Пошел он в лес со своей косой. Махнет — будто скрозь воздух, через деревину коса пройдет, куст так куст, береза так береза — все не мешает, не цепляется коса-то, а трава самая маленькая ложится, ну, чисто под бритвой. И не тупилась коса-то. Перед смертью Демке нет чтоб в общество отдать — в реку косу бросил. Сказывают: на том месте три дня вода ключом кипела... Вот дела-то какие...

Саввушка торжествующе оглядывался кругом.

— Ты видел косу-то, что ль?

— Он Демке ковать помогал.

— Демка ковал, он нашептывал...

— Нашептать может не хуже цыганки.

— А с цыганами однова вот какой случай был. Я в ту пору малолетком бегал...

Саша устал от непривычной работы, сейчас в каждой косточке — сладкая ломота, руки свинцовые лежат вдоль тела; великое наслаждение лежать вот так, не двигаясь, вдыхать смешанный с сыростью запах дыма, думать о своем под захлебывающийся от торопливости (чтоб не оборвали) голос Вязунчика.

Катя отодвинулась сейчас далеко-далеко; в прошлом она, в другом мире. Незаметно поднимавшаяся за деревьями луна запуталась в черной хвое высокой ели, так и остановилась там. Над лицом ноют невидимые в темноте комары, десяток — молодых, писклявых, один — басовитый, матерый. Он все время прилаживается сесть на висок Саше — то-то бы наслаждение пришибить надоедливое, но тяжела намахавшаяся за день рука, не поднять ее.

Мысли Саши лениво кружатся около кудрявинских покосов. Строго судить, их нет в этой бригаде, наглухо заросли. Мирошин, чудака, беспокоится: станут спрашивать, почему не скосили. А какой тут спрос, когда косить нельзя... Завтра же отпустит всех косцов в деревню, пусть Мирошин использует их куда нужно. Доложит Игнату Егоровичу...

Тянутся мысли, неторопливые, дремотные, мысли отдыхающего человека. Накинуть бы на себя ватник, поверх ватника плащ, подтянуть колени к подбородку и уснуть... И чего это там долго возятся с ужином?

Наконец рассказ Саввушки оборвался. Сашу и уже успевшего задремать Мирошина позвали к костру.

Саше, сонному, растрепанному, отчаянно хмурящемуся после темноты на огонь костра, подали на колени глубокую миску густого, дымящегося супу. Суп чуточку отдавал болотной тиной.

Костер угас. Косцы носили траву охапками, укладывались спать. Саввушка Вязунчик, устроившийся в кустах, ворочался, треща ветвями, шумел:

— Бабоньки! Холодно одному, шли бы ко мне, гуртом спинку погрели.

— Велика ли корысть от тебя, кабы помоложе был.

— А ты иди, Марья, узнаешь, есть ли корысть. Я б тебя погладил, мягонькую.

— Уж спи, старый козел, отгладил свое. Небось молоденькие-то голос не подают.

Сладкие зевки, кашель, ворчание, женский затихающий шепоток.

4

После лесных покосов даже деревня Новое Раменье кажется оживленной. Стучат топоры на стенах нового скотного двора. Там же сгружают с машины кирпич. Бригадир строителей Фунтиков, подсмывая на тощем животе штаны, сердито кричит на девчат:

— Я те брошу! Я те повольничаю! Как ребеночка, кирпичик клади!

Бродят загорелые, испачканные мазутом трактористы, слышится стук мотора за домами... Шумно. Вот что значит центр колхоза, а не дальняя околица Кудрявино.

Саша всего неделю не был здесь, а его уже встретили новостями.

Когда уходил в Кудрявино, все были озабочены — у племенных коров стали гноиться глаза, да и молоко от них нехорошо пахивало. Ломали головы — что да как?..

Секрет же оказался прост: плохо прибирали кормушки, новые порции силоса валили в объедки. Теперь кормушки три раза на день моют...

Саша знал, что многие коровы, которые прежде отворачивались от травы, стали охотно есть кошенный клевер. Но до сих пор из-под ног на выпасах траву не брали. Крепка, видать, привычка — жить на том, что подносят. Игнат Егорович установил премию той скотнице, что первая приучит своих коров пастись на воле.

Игната Егоровича Саша застал в его «закутке» — так называли бригадиры председательский кабинет, угол в одно окно, отгороженный дощатой переборкой.

— Только вспоминал тебя. Ну-ко, с ходу рассказывай, как там, в Кудрявине, разворачиваются?

Саша рассказал: заросло больше половины покосов, что не заросло — выкосили, людей отпустил на другие работы.

Игнат Егорович озадаченно крикнул:

— Так и знал. — Вынул из стола бумаги. — Отчитываться надо, а как? Из-за Кудрявина мы, выходит, не докосили шестьдесят гектаров.

— Сообщить надо, что заросло.

— Кому? Знают. У многих позаросло.

Игнат Егорович взял ручку, задумчиво обмакнул ее в чернила.

— Хошь не хошь, а придется докосить перышком по бумаге.

Саша видел, как на синем шершавом бланке Игнат Егорович поставил число и вывел твердую цифру — 60.

— Игнат Егорович! Ведь это же обман!

— Обман, Саша, обман. Подписываю и чуть ли не фальшивомонетчиком себя чувствую.

— Не пойму... Зачем же тогда?

Игнат Егорович отодвинул в сторону бумаги, положил па стол тяжелые, с набухшими венами руки и, встретив недоуменный взгляд Саши, заговорил:

— Хотелось бы, чтоб ты таких штучек не знал. Очень хотелось! Но жизнь есть жизнь, и не след от нее прятаться. Те люди, которые меня контролируют, цифрами привыкли питаться. Поднеси им не ту цифру, всполошатся, начнут забрасывать к нам в колхоз бумаги, телефонограммы, одну другой грозней. Почему не выполнен план? Подводите район! Подрываете колхоз! Втолковывать, что район мы не подводим, колхоз не подрываем, план в конце концов от этого не страдает, — бесполезное дело. Дай им нужную цифру, иначе не будет видимости, что все благополучно.

— Так лучше обман? Перед собой же стыдно!

— Хорошо, буду совестливым, упрюсь. Меня начнут таскать по заседаниям, по совещаниям, указывать пальцем. Ну, это еще полбеды. Перестанут доверять, пришлют уполномоченных, тех, для кого цифра — бог. Они по пятам начнут ходить, указывать, сдерживать, руки свяжут. И все это из-за маленькой цифры. Не напиши ее или напиши, покриви чуточку или выдержи правду — все равно от этого кудрявинские покосы не очистятся от кустов, сена с них не прибавится и не убавится. Если б вредило, мешало жить — кровь из носу, а воевали бы. Ни попреки, ни уполномоченные, поверь, не испугали бы. А сейчас — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Саша сидел растерянный и подавленный — всю жизнь приходилось слышать: будь честным, прямым, не криви душой... Как-то не сходится, непонятно...

Игнат Егорович долго вглядывался в Сашу, с виноватым вздохом обронил:

— Что и говорить, неладно... Цифре больше верят, чем человеку.

Разговор этот Саша скоро забыл. До него ли...

Пастух, по прозвищу Незадача, веселый старик, горький пьяница, узнав о премии, каждый вечер приходил из деревни Большой Лес, вваливался в председательский закуток, начинал надоедать Игнату Егоровичу:

— Что там премия! Ты мне косушку поставь да разреши своих породистых пустить в мое стадо, не траву — кур щипать будут. Эко, незадача!

Приставал до тех пор, пока не решились испробовать — чем черт не шутит. И верно, через несколько дней племенные коровы в стаде Незадачи паслись с таким же усердием, как и местные.

Премию самому Незадачке не отдали, а выписали на имя его старухи. Но Незадача свое вытянул, два вечера подряд ходил козырем перед правлением, восхищался собой:

— Я слово знаю! Профессоров в коровьем деле забью! Егорыч! Эй, председатель! Ты мне верь! Мы с тобой хозяйство, как балалаечку, настроим. Не жизнь у нас — плясовая будет!

5

Из обкома пришло письмо. Павел Мансуров давно его ждал. Кратко описывались выгоды и достоинства кормоцехов, рассказывалось о том, как у Борщагова в колхозе такой кормоцех повысил доход, говорилось, что почин должен быть подхвачен во всех районах, строительству кормоцехов уделено достойное внимание и т. д. и т. п.

Письмо привычное, но Павел Мансуров, прочитав его, начал ходить по кабинету, раздумывать...

Слов нет, кормоцеха выгодны, кормоцеха полезны. Однако так же были выгодны и полезны торфоперегнойные горшочки. Но они-то, кажется, должны были научить...

Вырастить огурцы, помидоры, капусту не так просто, как рожь или ячмень, — бросил в землю семена и следил за всходами. Ранней весной в парники закладывают рассаду. С началом теплых дней эту рассаду высаживают — пикируют. При этом надо не повредить тончайшие, как волоски, корешки. Для рук, привыкших к грубому крестьянскому труду, это почти ювелирная работа. Да к тому же после родной парниковой земли сразу непривычная земля поля — резкая перемена, не всякое-то растение ее выдержит. Как правило, многие хиреют, засыхают, Большие

потери, нелегкий, кропотливый труд. Торфоперегнойные горшочки в этом случае — спасение.

Из навоза и торфа лепится или выдавливается продолговатый квадратный столбик, величиной примерно с граненый стакан. В него кладется зернышко. Такой «заряженный» зернышком огурца, помидора или ранней капусты горшочек ставят в парник рядом с другими... Пусть расползаются тончайшей путаной сеткой корни по жирной земле горшочка, пусть тянется вверх росток. Придет время — не будут грубые пальцы, обрывая корни-волоски, выковыривать его из земли.

Полезная вещь торфоперегнойные горшочки! Бесспорно, полезная!

Года три тому назад в Коршуновский район пришло похожее на теперешнее письмо о торфоперегнойных горшочках. Коршуновские руководители, желая показать свое умение быстро подхватывать передовое, начали разворачиваться. В колхозы полетели строгие указы: «Наладить массовое производство... С такого-то по такое число надлежит сделать...» — шли цифры с раскатистыми нулями. Председатели колхозов или участковые агрономы, почему-либо не сумевшие организовать производство горшочков во всю силу, вызывались в райком, райисполком, прорабатывались с пристрастием. Лепили горшочки руками, штамповали их на специальных станках, горшочками заваливали склады, жилые дома, колхозные конторы. Они, подмороженные, лежали штабелями прямо на улицах. Район охватила «торфоперегнойная горячка».

Часть горшочков погибла от непогоды, превратилась в кучи земли, часть осталась лежать мертвым грузом, — не хватало парников и семян овощей. Часть благополучно высадили. Ранней весной влажные, осевшие горшочки с зелеными ростками можно было видеть не только в парниках, но и на подоконниках председательских кабинетов, по лавкам в избах колхозников.

С началом весны выяснилось: планы посева овощей увеличены, но ненамного. Надо сеять лен, надо сеять зерновые, надо сеять картошку — не хватало земли под огурцы, капусту, помидоры. И снова часть горшочков, уже выбросивших веселенькую рассаду, так и не увидела полей.

А осенью оказалось, что покупать огурцы и капусту некому. Население в Коршунове невелико, каждая семья имеет свой огород. Промышленные предприятия — всего один лесокombинат, да и тот в соседнем районе, возле него не развернешься. Кроме того, председатели ни за что не хотели снижать цены: надо же оправдать те горшочки, что погибли от непогоды, были выброшены за ненадобностью — труд-то на них затрачен.

Многие колхозы бросились на станцию Великую, к леспрохозовским рабочим, скрепя сердце назначили убыточную цену —

полтора рубля за килограмм огурцов. Но по железной дороге привезли такие же огурцы из южных районов, запрашивали всего восемьдесят пять копеек...

Заготовительные организации обходили коршуновцев стороной — на ценах поступиться не могут и доставка нелегкая, в стороне от железной дороги. Овощи гнили. Один из председателей, Алексей Попрыгунцев, попал под суд. В большинстве колхозов дорогими овощами стали кормить свиней и коров...

Полезная вещь торфоперегнойные горшочки, но недешево они обошлись коршуновским колхозам.

Кормоцехи — тоже полезная вещь. Можно верить — немалые доходы получает с кормоцеха Борщагов.

Но в колхозе Борщагова ворочают миллионами. Скотные дворы у них давным-давно механизированы, давным-давно построены водонапорные башни, проведены водопроводы, все было в хозяйстве, не хватало только кормоцеха, и его построили. В коршуновских же колхозах часто проблема, как перекрыть крышу на телятнике.

Труд невелик — выбрать место, подвезти лес, закупить материалы, сообщить — кормоцех заложен. А дальше?.. Наверняка эти кормоцехи будут стоять недостроенными, наверняка в старых, дырявых фермах будут болеть зимой племенные коровы. Все б силы на ремонт этих ферм бросить да на постройку новых. Планы, расчеты, всю жизнь коршуновских колхозов могут запутать эти кормоцехи.

Возражать надо, драться за самостоятельности!

Драться?..

Если б покойный Комелев возразил в свое время: «Я против торфоперегнойных горшочков!» — наверняка попал бы в рутинеры. А кому не лестно бросить камень в рутинера, показать себя сторонником передового.

Но вот торфоперегнойная горячка провалилась, и Комелеву никто не поставил это в упрек. За что упрекать? Он все сделал, что требовали. Кому упрекать? Тем, кто хвалил его раньше за решительность и широкий разворот? Они, как и сам Комелев, просто решили: ничего не поделаешь, жизнь — сложная штука.

Возрази он, Павел Мансуров, против кормоцехов... Даже не возрази, а отнесись к ним равнодушно, при первой же неудаче ткнут пальцем: «Ты виноват! Благодаря бездействию, благодаря твоей косности! Несмотря на наши напоминания...» И уж никакими силами не убедишь в обратном.

Разверни строительство скотных дворов, силосных ям и башен, сделай все возможное, чтобы спасти зимой племенной скот, — это не поставят в заслугу. Скотные дворы — вещь обычная, ими никого не удивишь. Кормоцехи же — новое, подхвати, и сразу станешь на виду, все заметят, какой ты деятельный.

И уж если впереди начнутся неудачи (а они таки начнутся!), в области будут только удивляться: ах как не везет Коршуновскому району... Району, не Мансурову! В области будут считать: секретарь райкома Мансуров сделал все, что мог, он даже проявил себя при этом инициативным, решительным, энергичным. Покажи себя — и ты, как жена Цезаря, останешься вне подозрений.

Павел ходил из угла в угол нервно, порывисто и в то же время бесшумно, лишь чуть-чуть поскрипывали хромовые сапоги.

«Какой дурак, — думал он, — будет подставлять голову?.. Кормоцеха так кормоцеха. Но уж если наживать на них капитал, так большой, не щепотками — горстями хватать. Все районы переплюнуть, чтоб у самого Борщагова, когда услышит, глаза от удивления и зависти на лоб полезли... Так приходится действовать, не иначе».

Павел Мансуров ходил, а тень от него беспокойно бросалась с одной стены на другую.

## 6

Горят два окна на втором этаже райкома. Строгий, ясный свет обливает верхушку телеграфного столба с желтыми чашечками изоляторов. То в одном, то в другом окне через равные промежутки мелькает тень.

Там, за этими окнами, — он!

Час назад прошел народ с вечернего сеанса кино, сейчас на улице пустынно, только в роще играет гармошка да во дворе райкома кто-то стучит, перебрасывает доски.

Катя стоит в стороне, прислонившись виском к другому телеграфному столбу, собрату того, что стоит под стеной здания райкома, смотрит на окна, ловит мелькающую тень Павла Мансурова. Столб ровно и грустно гудит, поет без слов о своем, пережитом, о чем никто из проходящих мимо людей не догадывается, да и не хочет знать. Под эту тягучую песню Катя думает.

Знает ли Павел, что она так любит, что она тайком от всех простаивает под окнами? Откуда ему знать... Если б знал... Один-единственный раз держал ее за руки, жег, угрожал, ласкал глазами. Один-единственный раз были близки. Не повторилось счастье... Она тогда не понимала, не противилась, покорилась, но как-то безрадостно, с испугом. Глупый девичий страх уничтожил счастье. Ох, если б это случилось снова!..

Последние дни приходилось встречаться на людях. Перебрасывались взглядами, незначительными словами... Но даже слова о молодежных кормозаготовительных бригадах, произнесенные его голосом, обращенные к ней, были для Кати подарком.

Один раз она принесла ему список комсомольских докладчиков. Павел Сергеевич был один в кабинете. Он долго смотрел

список, хмурился. Катя стояла рядом и робела. Наконец он поднял голову, взял Катю за руку и произнес:

— Как неуютно устроена жизнь.

В это время за дверями кабинета послышалось движение, и Катя, оставив на столе Павла Сергеевича список, выскочила, едва не ударив головой входившего Сутолокова.

Она потом долго думала над этой странной фразой. Что он понимал под словом «неуютно»? Наверное, то, что много домов в селе, велики поля вокруг Коршунова, а для них нет места, чтоб встретиться, чтоб перекинуться наедине словом. Не может же Павел Сергеевич прийти в дом к Кате, и сама Катя перестала навещать Анну. Встречаться где-нибудь на берегу или в роще, как коршуновские ребята и девчата, вовсе неудобно. Павел Сергеевич не мальчик, видный человек, да к тому же женатый! Что подумают люди, какие сплетни после этого появятся!

Минуты, когда Катя, прислонившись к столбу, глядела на окна, заменяли ей свидания. Что только не думала, о чем не мечтала она тут! Жила новыми надеждами, чувствовала новые желания.

Она рвалась душой подойти к Павлу, но сделать это нелегко,— Павел всегда выходил из райкома с народом. И Катя уходила домой, каждый раз переживая сложное чувство разочарования, облегчения и тревоги. Разочарования — потому, что не встретились, облегчения — потому, что перед тем, как подойти, она до изнеможения мучилась, волновалась, робела, тревоги — оттого, что вечер за вечером проходит попусту, и они все дальше друг от друга...

Каждый день Катя успокаивала себя: обязательно подойду завтра, и каждый раз надежда на завтра рушилась. Однажды у Павла Сергеевича сидел Игнат Гмызин. Катя дождалась, пока он вышел. Гмызин прошел, сердито посапывая, не заметил прижавшуюся к столбу Катю. Через четверть часа потух свет в окнах, на крыльцо вышел чем-то озабоченный Павел. Наклонив голову, он быстро пошел прочь. Надо было нагнать, надо было окликнуть, но горло перехватило, ноги приросли к земле. До сих пор Катя не может простить себе этого.

По всему видно, что Павел сейчас один в кабинете. Выйдет — Катя обязательно подойдет. Сейчас или никогда!.. Но рано волноваться, — время не позднее и Павел еще не скоро выйдет из кабинета.

Слышно: ребята идут с гармошкой из рощи, старый конюх райисполкома ругается во дворе с уборщицей из-за лопаты, все обычно, никто не думает о том, что делается за этими окнами, кто там сидит. Он же помнит о них, это его обязанность!

Вот сейчас он ходит по кабинету, размышляет.

Подтянутый, плечистый, голова в густых курчавых волосах

всегда горделиво вскинута, легкая, сильная походка,— даже вспоминая, любишь им. Партийный вожак района! И человеческая красота, и величие будущего, все, что с пионерского возраста волнует душу,— все в нем! И он, кажется, любит ее. Любит! Это ее великая гордость, великая радость!

Вдруг у Кати похолодело на сердце. Она почувствовала, что кто-то стоит сзади и пристально смотрит ей в спину. Катя оглянулась. На середине тротуара, шагах в десяти, виднелась невысокая фигура женщины — бледное лицо, кофточка в вырезе черного костюма выделяются в темноте. Женщина заметила, что Катя оглянулась, осторожно двинулась к ней. Катя узнала Анну.

— Здравствуй... Катя.

Голос Анны, негромкий, ледяной, споткнулся на слове «Катя». Худощавое лицо в обрамлении пышных волос было непроницаемо, и лишь глаза горячо блеснули, на секунду задержались на Кате, метнулись к освещенному окну, уставились куда-то в ночь, в пространство.

Катя смогла в ответ только кивнуть головой, но Анна к тому времени уже отвернулась и не заметила кивка.

— Ждешь?.. — скупой спросила Анна. — Сторожишь?..

Голос ее был по-прежнему ледяной, но ни злобы, ни раздражения в нем не слышалось. И Катя снова не нашла, что ответить. Она стояла у столба, выставив грудь, словно старалась загородить от Анны что-то дорогое, чему грозит опасность.

Анна медленно повернулась к ней, без стеснения оглядела: напряженное, словно ждущее удара лицо с остановившимися глазами, крепкая грудь, обтянутая платьем, полуобнаженные руки закинута назад.

— Красивая... Молодая... Зачем ты это затеяла?

— Анна... — с усилием выдавила первое слово Катя, запнулась на нем, сама прислушалась к своему голосу, звучащему чуждо и бесцветно, — чего ты хочешь?

Анна вздохнула. Катя подалась на нее:

— Хочешь ругать меня, упрекать?.. Твое дело: презирай, ненавидь — все вынесу и от тебя, и от людей, от всех-всех!

— Зачем ты это затеяла?

— Ты знаешь зачем. Ты знаешь!

— Я-то знаю... Ты — нет... Ты не знаешь его. Пусть мне калечишь жизнь... Да, калечишь. Я не молода, искать нового мужа, устраивать заново семью — для меня уже невыносимая сложность. Жить одной как перст — кому в радость... Но ведь ты не только мне калечишь, но и себе, Катя, себе!

— Я ничего не хочу слушать.

— Нет, будешь... Он тебе кажется отзывчивым, тонким, искренним. Да, он отзывчив, но лишь к своей беде, к своей боли. Он тонок, может быть, но в одном — во внимании к своей лич-

ности. Есть в нем и искренность... Искренность человека, верящего, что он сам создан для более значительного, чем живущие вокруг люди.

— Вранье, вранье! Как не стыдно!

— Ты в угре. Когда очнешься, помни — любовь кончится, но будет поздно, сломается жизнь.

— Ругай меня, кляни, но не клевети на него!

— Не кричи. Кричать должна я. Я — не ты — обижена.

— ...Оклеветать мужа, чтоб спасти его для себя!..

— Я не клеветчу!..

— Тогда почему ты не отвернешься от него, почему ты хочешь его вернуть, почему ты следишь по вечерам за мной?..

— Потому, что я его люблю такого, какой он есть. Я могу ему прощать. Ты любишь Павла выдуманного. А когда узнаешь настоящего, прощать не сможешь... Опомнись, Катя.

— Не хочу слушать! Не хочу!..

Анна не ответила, она через Катиню плечо, мимо ее лица глядела вверх на окна райкома. И Катя, прижавшаяся к столбу, с блестящими от слез глазами, с бледным до зеленоватости в густых сумерках лицом, застыла, замолчала. Она не посмела оглянуться, но поняла, что в окнах Мансурова потух свет. Павел должен сейчас выйти.

— Что ж, я и не надеялась, что ты поймешь. А пока, — Анна возвысила голос, — я его законная жена. Я, а не ты, пойду к нему.

Анна неверными шагами направилась к райкомовскому крыльцу. Катя через плечо глядела ей в узкую спину, скрывавшуюся в темноте, улавливала шум шагов, шелест юбки и чувствовала, что Анна боится встречи с мужем, что нет в ней решительности.

Чтоб не слышать голосов мужа и жены, чтоб не заметил ее Павел, Катя сорвалась, бегом бросилась к дому.

До глубокой ночи она тайком от деда плакала в подушку от унижения, от любви к Павлу, от беспричинной, непонятной к нему жалости. Как бы ни думали о ней, каких бы слов ни говорили о Павле, она все равно его любит, любит, любит!

7

На красный стол с обеих сторон положено несколько десятков пар рук. Впереди, друг против друга, лежат тяжелые, большие, простодушные руки Игната Гмызина и костистые, цепкие руки Максима Пятёрского. Руки Кости Зайцева, председателя «Первого мая», широкие, красивые, сильные, переплелись пальцами, нетерпеливо мнут одна другую, воюют. По ним видно — не нравится хозяину то, что он слышит сейчас. Белые, мягкие,

ничего не выражающие ладошки председателя из «Нивы» Дудыринцева чинно сложены одна на другой, как у примерного первоклассника. А рядом, словно нарочно подсунуты на отличку, руки Дарьи Терехиной — не по-бабьи громадные, корявые, короткопалые. Немало переворочали они земли на веку, должно быть, и теперь им легче выметывать на вилах пудовые охапки сена, чем выводить на бумагах председательскую подпись. На дальнем конце стола — руки безликие, выглядывают из обтерханных рукавов.

Павел Мансуров докладывает о необходимости развернуть строительство кормоцехов по колхозам и не глядит на лица... Говорят, что по рукам легко отгадать характер человека. Ой ли! Руки Игната Гмызина самые простодушные из всех, а Игната-то Павел Мансуров и боится сейчас больше всех.

А вдруг да не только Игнат, все хозяева этих разнохарактерных рук поднимутся стеной против кормоцехов...

Не должно этого случиться! Райком партии за строительство, обком — тоже. Кому интересно навязываться на неприятности? Кроме того, еще покойный Комелев крепко-накрепко привил привычку — есть указания сверху, значит, надо подчиняться.

Не должны возражать! Только крупные руки Игната заставляют Павла Мансурова быть настороже.

Он кончил, отложил в сторону бумаги и только теперь поднял глаза от красного стола на лица.

Иссиня-белый череп Игната был низко опущен. Сухое, длинное, с хрящеватым носом и резкими морщинами лицо Максима Пятерского казалось невозмутимо бесстрастным, но только казалось. Когда взгляд Павла Мансурова остановился на нем, веки Пятерского с неуловимой поспешностью прикрыли глаза: «Не выйдет, не дознаешься, о чем я думаю...» Большинство председателей избегало глядеть на секретаря райкома, и только с чистого, розового лица Дудыринцева глаза так и прыгали навстречу, ловили взгляд.

Обсуждения на заседаниях, как правило, начинаются с общей заминки, минуто-две все молчат. И в эту минуту молчания Павла Мансурова охватила смутная тревога — вот он сидит один против всех, чужой этим людям. Склонили головы, взгляды отводят, — что они думают о нем, какие упреки зреют под черепом Игната Гмызина; под гладко зачесанными жидкими волосами Максима Пятерского?.. Может, презрение, может, даже ненависть?..

— Разрешите парочку словечек...

Из угла, за председательскими спинами, поднялся Серафим Сурепкин. Рыжеватый ежик волос повернулся в одну сторону, затем в другую, выцветшие глаза, искренние и детски наивные, бежали присутствующих.

— Товарищи! Мы, как один, должны отдать свои силы на укрепление колхозного строя. Наша задача, товарищи,— поднять животноводство. Наш долг — капля по капле отдать свою кровь за дело процветания...

К выступлениям Сурепкина все обычно относились как к повинности,— надо перетерпеть положенное время, выговорится, сядет, никому от этого ни холодно ни жарко. Павел Мансуров еще при Комелеве недолюбливал безобидного инструктора — такие ли работники нужны райкому! — позже хотел даже освободить его от работы, взять на его место человека боевого, думающего, но не доходили руки, да и сам-то Сурепкин не давал повода к недовольству — был добросовестен и исполнитель.

Но вот сейчас, когда увидел высокую сутулую фигуру, услышал голос с заученными, то повышающимися, то спадающими интонациями, Павел Мансуров неожиданно почувствовал облегчение: этот не скажет против, наверняка поддержит...

А Сурепкин, словно угадывая его желание, каждым своим словом гладил по сердцу:

— Кормоцеха, товарищи,— великое дело. Их строительство — первейшая задача...

Недалекий человек, он в эту минуту среди угрюмо молчащих председателей, сам того не подозревая, стал другом Мансурову. Павел сдержанно кивал каждому ему слову: «Так, так, верно».

Преисполненный скромного достоинства, Сурепкин сел. Поднялся Дудыринцев. Круглый, мягкий, чистенький, с тихим голосом, влезающим в душу, этот председатель всегда первым откликался на кампании, всегда давал высокие обязательства, но не всегда их выполнял, жаловался: того не хватает, этого нет, осторожно гнул линию — отдать государству поменьше, положить в амбары побольше, задабривал и колхозников, умасливал и районное начальство.

— Правильно сказал Павел Сергеевич, что кормоцеха могут спасти положение с животноводством. Я обеими руками подписываюсь под тем, чтоб приступить к строительству...

И Павел Мансуров снова кивал головой: «Так, так, верно...» Но уж выступление Дудыринцева настораживало. Хитер — так пересластит, что все возмутятся. Будет потом сидеть и пожимать плечами: «Я что? Я придерживаюсь взглядов Павла Сергеевича». А Павел Сергеевич отдувайся...

Так оно и получилось. Дудыринцев, расхваливая кормоцеха, словно мимоходом обронил, что они важнее новых скотных дворов. Это была нелепость. Павел Мансуров не успел возразить, из-за стола поднялся Игнат Гмызин, всем телом повернулся к устраивающемуся на стуле Дудыринцеву и спросил:

— Ты веришь, что теперь строительство кормоцеха принесет твоему колхозу пользу?.. Можешь не отвечать. Знаю — не ве-

ришь! А ты сам, Павел Сергеевич?..— Игнат повернулся к Мансурову.

— Верю! — с поспешностью ответил Павел. — Да, я верю в пользу, не сейчас, а в будущем.

— В будущем польза? Это не тогда ли, когда наш племенной скот померзнет зимой в неотремонтированных дворах?

Рука Игната Гмызина, выглядевшая до сих пор такой простодушной, сжалась в увесистый кулак, угрожающе закачалась над столом.

— Никто не верит в такую пользу, ни я, ни Дудыринцев, ни ты сам, товарищ Мансуров! Кроме, может, одного Сурепкина... Не верим, а настаиваем, приводим с серьезным видом доказательства. Только потому, что желательно блеснуть этими кормоцехами перед областью. Что ж это, товарищи, жизнь устраиваем или игру играем? Если это игра, то опасная. Ставка в ней — благополучие всего района. С такой ставкой не шутят.

— По-твоему, выходит, обком игрушками занимается? — не выдержал Павел Мансуров. — С чьего совета мы начинаем?

— Обком плохо знает наш район, передоверился таким, как ты! А ты запутался и стараешься выкрутиться нечестными путями...

— Мы, кажется, здесь разбираем вопросы не личного характера, — бросил Мансуров сдержанно.

— Где уж личное, когда ты, чтоб выигрышней показать себя перед областью, ставишь на кон животноводство всех колхозов.

Мансуров резко встал, прямой, подтянутый, грудь вперед, голова закинута, глаза горят темным, недобрым огнем, голос ледяной:

— Товарищ Гмызин! Не вносите склочный характер в обсуждение. Иначе я вынужден буду лишить вас слова.

— Не стоит лишать, я уже кончил. Еще раз повторяю: в нашем положении сейчас кормоцех — опасная афера!

Игнат Гмызин сел.

Теперь все до единого глядели в лицо Мансурову — одни с испугом, другие с сумрачным торжеством, третьи с любопытством.

— Дайте мне слово, — поднялся Максим Пятерский.

Длинный, узкоплечий, лицо схимника, только седой бородки недостает, он вынул распухшую, захватанную записную книжку, не спеша оседлал хрящеватый нос очками, заговорил не торопясь:

— Вот, товарищи, послушайте цифры...

Павел Мансуров устался в пряжку брючного ремня на тощем животе Максима Пятерского и слушал... Лесу для кормоцеха нужно столько-то, рабочих рук — столько-то, материал, до-ставка, рубли, копейки, статьи годового дохода... Не хватит на

ремонт крыши телятника... Он, Павел Мансуров, не хочет этого слышать, не хочет понимать! Ему понятно одно: кормоцеха — щит, кормоцеха — занавеска, не будет их, придется предстать перед обкомом голеньким, а после истории с Федосием Мургиным надо быть начеку. Надеялся — не возразят, побоятся. Возразили! Игнат виноват, лезет на рожон. Хорошо же, Игнат Егорович, придется, видать, всерьез схлестнуться. Еще узнаешь Павла Мансурова!

8

Павел знал: Игнат сильнее других убежден, что излишек скота — ошибка, что Мансуров перегнул палку и боится открыть это перед обкомом.

Игнат убежден, что Федосий Мургин не виноват, что его вину раздули.

Наконец, Игнат единственный из всех людей видел в кабинете Мансурова картуз, догадывается о характере разговора, после которого старика нашли мертвым в лесу. Стоит Игнату пожелать, и история с Мургиным снова всплывет. Случись такое, к Павлу Мансурову станут относиться с предельной подозрительностью.

А то, что Игнат постоянно напоминает о нехватке кормов... А рассуждения его о неготовности животноводческих построек к зиме...

Павел до сих пор успокаивал себя: свой человек, старая дружба свое покажет... При встречах против воли заигрывал, трепал по плечу, заводил разговоры о близости:

— Нас же с тобой не базарное знакомство связывает...

Сам не замечал, что жил какой-то заячьей надеждой — авось не тронет, помилует. Тронул, да еще как! Перед всеми вывесил: «Выкрутиться стараешься нечестными путями...»

Теперь, вспоминая Игната, Павел Мансуров наливался ненавистью. Ненавидел все: приглушенный, медлительный басок, щупающий взгляд маленьких серых глаз, до синевы выбритый череп, даже привычку сидеть ненавидел — локти в стороны, кулаки в колени, без того широк, а тут еще растопорщится. Мону-мент, а не человек.

Совещание председателей ничего не решило. А время не ждет. В областной газете что ни день, то информация: такой-то колхоз в таком-то районе приступил к строительству кормоцеха. Коршуновцы медлят, коршуновцы отстают, тянутся в хвосте. В обкоме, должно быть, создается впечатление — Мансуров работает спустя рукава...

Второе такое же совещание собирать бессмысленно. Снова председатели встанут за широкую спину Игната Гмызина.

Павел Мансуров начал вызывать председателей поодиночке, разговаривал с ними с глазу на глаз.

— Можно?

Приглаживая ладонью волосы, бочком протискивается Максим Пятерский, сутулится, ищет взглядом, куда бы сунуть кепку.

Павел Мансуров встает из-за стола, в выутюженном полотняном кителе, свежевыбритый, идет навстречу, протягивает руку:

— Заходи, заходи, Максим. Ну-ка, присядем.

Полуобняв председателя за плечи, тянет к дивану, усаживает, сам садится, закидывает ногу в хромовом сапожке, щелкает портсигаром:

— Закуривай. По какому вопросу тебя вытащил, ты знаешь?

— Догадываюсь, Павел Сергеевич,— вздыхает Пятерский и отводит горбатый нос в сторону.

Он чувствует — сейчас будет поединок, а выиграть его нелегко. Это не на совещании, там и справа и слева сидят такие же, как он сам. Они и реплику подбросят, и взглядом ободрят, и выступлением поддержат — не робей, действуй. Тут — один. Корешки толстых книг виднеются сквозь стекло шкафа, черным и коричневым лаком блестят два телефона: один — местный, звонить по колхозам и районным организациям, другой — прямой провод в область. Все значительно, все напоминает о больших деловых связях, о широком размахе в работе. Павел Сергеевич прост с виду, глядит в глаза без хитрости, но в любое время может подняться и сказать: «Я, как секретарь райкома партии, считаю...» Легко ли возражать?

— Так ты категорически отказываешься от строительства кормоцеха? — спрашивает Павел Мансуров, чуть-чуть нажимая на слово «категорически».

— Павел Сергеевич, сами посудите... — Максим Пятерский поспешно выуживает из кармана свою пухлую записную книжку.

Но Павел Сергеевич не дает ее раскрыть.

— Все понимаю... Ты думаешь, мне неизвестны ваши трудности? Рабочих рук нет, в кредиты и без того залезли... Хорошо! Решим не строить, отстанем от других районов, признаемся перед областью: простите, нет сил преодолеть трудности...

— Объяснить надо, Павел Сергеевич. Такое-то дело пойдут...

— Объяснить? Ты человек в годах, коммунист со стажем. Ты понимаешь, слово «не могу» — не наше слово. Через него приходится перешагивать...

Павел Мансуров, стряхивая пепел на ковер, покачивая носком начищенного сапога, говорит спокойно, неуверенные возражения Пятерского опрокидывает без усилий. И мало-помалу Максим Пятерский понимает — поединка не получилось, сопротивляться бессмысленно.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, — продолжает неторопливо Павел Мансуров, словно не замечая подавленности Пятерского, — но для меня, близко с ним знакомого (ты же знаешь, мы даже родня), он как человек до сих пор загадка. Вот тебе факт: сам Гмызин просил племенной скот, получил его, а тем, что другие получили, недоволен. Наверно, не раз от него слышал: «Перегнули палку, не под силу набрали...» Сейчас он возражает против кормоцеха, но, я уверен, будет исподволь готовиться к его строительству. Сам построит, а такие, как ты, будете глядеть с раскрытым ртом, удивляться: ну и хозяин, вон как вырвался! Не могу утверждать, но мне кажется: честолюбив мужик, хочет быть первым, боится делить славу. Такое честолюбие — позор для коммуниста...

Через час Максим Пятерский уходил от Мансурова, дав слово начать строительство кормоцеха, унося в душе растерянность.

А через пятнадцать минут в кабинет Мансурова снова просовывалась выгоревшая на солнце кепка, слышался вопрос:

— Можно?

И Павел Мансуров шел навстречу.

— А-а, Никита Фомич! Заходи, заходи...

Разговор начинался снова.

Игнат Гмызин думает, что колхозные председатели поднимутся вокруг него частоколом. Павел надеется: хватит сил расшатать такой частокол. И все же он понимал — это еще не победа...

Этот Максим Пятерский начнет строить кормоцех: привезет лес, заложит фундамент, а недостроенный телятник будет стоять без крыши, мучить председательскую совесть... Да к тому же на всяк роток не накинешь платок — члены правления, колхозники непременно станут попрекать: «Неладно поступаешь. Кормоцех нам не к спеху, телятник позарез нужен...» Разве можно быть уверенным, что Максима опять не охватит сомнение? А если охватит, кому он его понесет? Не секретарю райкома, который не поддержит. Только Игнату Гмызину, не иначе...

Все тихо пока. Колхозы берут в банке кредиты, заготавливают лес. Тихо... Но искорка тлеет, ее не затоптал еще Павел Мансуров. Где гарантия, что при первом же удобном случае не разгорится снова сыр-бор?

И все Игнат Гмызин, крапивное семя!..

Пять лет Саша Комелев носил в кармане комсомольский билет. Пять лет — срок немалый, это четверть Сашиной жизни.

Две недели тому назад в колхозе «Труженик» было партийное собрание. Собрались: чисто выбритый, лоснящийся, но без при-

вычного добродушия, суровый Игнат Егорович, Евлампий Ногин, навесивший бородку над протоколом, скотница Мария Гуляева, по-бабьи встревоженно поглядывающая на Сашу, Петр Мирошин, Федор Гуляев, Иван Пожинков, все трое — фронтовики, «гвардия», как называл их Игнат Егорович.

Саша вместе с ними уселся за стол.

Председательствовал кудрявинский бригадир Петр Мирошин. Встал, крикнул, поглядел грозно на Сашу и объявил:

— На повестке один вопрос: прием в кандидаты партии Александра Комелева. Да!

Попросили Сашу рассказать о себе. В комсомол вступал — терялся, нынче по-прежнему трудно говорить о жизни: кончил школу, теперь в колхозе, и вся недолга.

Выслушали, посочувствовали:

— Ничего, парень, дело наживное. Вырастет еще твоя биография.

Читали рекомендации, спрашивали по Уставу. Приняли единогласно...

Пять лет носил в кармане комсомольский билет, пять лет — четверть жизни! Пришла пора с ним расстаться.

Саша сидел в общем отделе райкома, дожидался, когда вызовут к Мансурову. Тот должен сейчас вручить ему кандидатскую книжку.

Только что в кабинет к Мансурову вошел высокий парень, тракторист-трелевщик из леспромхоза. Он до этого тискал меж колен кепку, два или три раза, наклоняясь, указывая глазами на дверь кабинета, таинственно спрашивал у Саши:

— Не знаешь, друг, там по политике гонять не будут?

Оставшись один, Саша вынул из кармана комсомольский билет, развернул. Билет совсем новенький, словно вчера получил, за пять лет — ни пятнышка, ни потертости. Берег его, на работу с собой не брал, боялся, как бы от пота не пожелтел. Теперь даже обидно — уж очень свеженький, не обжитый. Возраст билета только и сказывается в многочисленных лиловых штампах, да еще в фотокарточке — мальчишка взъерошенный, нос задран, глаза круглые, как у совенка...

Саша вспомнил тот день, когда впервые взял в руки этот билет. Секретарь райкома Женя Волошина вручила его: «Помни, кто ты теперь!» На улице тогда была осень, мелкий дождичек щекотал лицо, булыжник мокро блестел на шоссе, погода не из праздничных. Вместе с Сашей получил билет Пашка Варцов. Они учились в разных классах, имели разных товарищей, даже в ночное, на рыбалку не ходили вместе. А тут вышли из райкома, оглянулись и поняли: никогда до самой смерти уж не забудут этот серенький день, с дождиком, с мокрым булыжником, со словами, которые еще продолжают звучать в ушах: «Помни,

кто ты теперь!» Будут помнить день, будут помнить друг друга. Смущенно улыбаясь, они протянули руки: «Поздравляю...» — «И тебя тоже...»

Мать, увидев билет, сказала свое: «Не хватай грязными руками, живо завозишь, глядеть будет не на что...»

Отец подержал билет в руках: «Вот и вырос, Сашка. Теперь ты нам помощник».

Сам Саша не мог успокоиться много дней. Оставаясь один, вынимал из кармана, разглядывал, не уставая: серая обложка, силуэт Ленина, развернешь — под длинным номером полностью фамилия, имя, отчество. Никогда еще в жизни не имел документа — этот первый.

И Саша старался себе представить, как будет выглядеть этот билет через много лет. Видел его Саша потертым, покоробившимся, кто знает — забрызганным кровью, его кровью! Будущее связано с этой книжкой. Как тогда хотелось заглянуть в него! Может, придется прятать билет в солдатскую пилотку, чтоб переправиться на вражеский берег, может, вода незнакомой реки размост лиловую печать райкома комсомола, может, горячий осколок полоснет по груди, вырвет уголок серой обложки...

Через минуту-две получит книжку кандидата партии, комсомольский билет придется сдать. И обидно, что он новенький, только у краев чуть пожелтела бумага.

У Пашки Варцова билет, должно быть, выглядит не так. Он поступил в ремесленное, сейчас, слышно, работает далеко, в Новосибирске, жизнь более шумная...

Парень-трелевщик вышел из кабинета красный, сияющий. Путаясь в кармане, он с ревнивой суетливостью прятал книжку.

— Спросил, газеты читаю ли, — доверительно и радостно сообщил он. — Регулярно ли их доставляют, перебоев нет ли?... — И добавил шепотом: — Давай, друг, шевелись, тебя приглашает...

Саша вошел в кабинет, смущенно поздоровался, замялся у порога.

— Прошу, товарищ Комелев, проходите.

Павел Сергеевич Мансуров поднялся из-за стола, чуть-чуть склонив курчавую голову на правое плечо, протянул руку, крепко, по-мужски пожал.

— Присаживайтесь.

Саша сел на самый кончик стула. Он, как и только что вышедший отсюда тракторист-трелевщик, ждал каких-то особых, мудреных вопросов.

— В институте учишься?

— Да, на заочном, — ответил Саша и похолодел: «А вдруг да спросит, как студента, про эмпириокритицизм, например! Буду плавать...»

— И на каком курсе?

— На втором.

— Когда кончишь, чем думаешь заниматься?

— Как — чем? Буду работать в колхозе.

— А сейчас в колхозе что делаешь?

— Вот на сенокосе работал.

— Кем же ты на сенокосе работал? Простым косцом?

— И простым случается. Правление меня послало в кудрявинскую бригаду...

— Как в этом году кудрявинцы справились?

— Скрывать нечего, заросли у них покосы. Гектаров шестьдесят не пришлось тронуть.

Саша понемногу успокоился — вопросы все были простые, житейские.

— Заросло? А по сводке все скошено, — удивился Мансуров.

— Что подделаешь, — невольно подражая Игнату Егоровичу, сокрушенно развел руками Саша, — приходится кривить душой.

— Приписали?

Это слово было подброшено с поспешностью, взгляд Мансурова из официально приветливого стал пристальным, острым. Саша почувствовал неловкость, словно Мансуров его поймал на лжи.

— Да, — ответил он растерянно.

— По инициативе Игната Егоровича Гмызина?

— Да, — снова обронил Саша, чувствуя что-то недоброе.

К счастью, Мансуров на этом кончил с вопросами. Он поднялся, взял из лежащих на столе бумаг коричневую книжку, лицо его стало торжественным, голос звучным:

— Комелев Александр Степанович! С этой минуты вы считаетесь кандидатом в члены КПСС! Надеюсь, что вы с честью станете носить звание коммуниста. Возьмите вашу книжку!

Саша с волнением взял ее.

— Разрешите поздравить вас, товарищ Комелев, — прозвучало у него над головой.

Оторвав взгляд от книжки, Саша увидел протянутую руку. Он схватил ее, с силой сжал...

На обратной дороге в колхоз Саша не спешил, не гнал лошадь: хотелось побыть одному, подумать.

Встречный грузовик, промчавшийся мимо, как загнанный конь запахом пота, обдал горячим дыханием бензина. Затихая, удалялся шум его мотора за спиной. Лошадь шла ленивым шагом, лениво покачивалась дуга. Саша глядел вперед и не видел ее. Далеки были мысли, покойным ручьем текли они по Сашиной жизни...

...Коршуновский Дом культуры, над сценой всего только две электрические лампочки. В зале из темноты выступают ребячьи лица, лица родителей... Холодно в одном пиджаке и без шапки.

Саша стоит, уставился в темноту зала, поднял руку над головой, повторяет вместе с другими ребятами:

— Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...

В нестройный хор детских голосов вплетается шум метели, срывающей снег с железной крыши.

Они кончили. Пионервожатая Галя Пекарева должна была каждому повязать галстук. Но вдруг появился на сцене отец Саши, в высоких валенках, в тяжелом полушубке, с воротником, занесенным снегом. Он встал посреди сцены, снял шапку, поднял ее над головой и сообщил громко и радостно:

— Товарищи! Наши войска прорвали блокаду Ленинграда! Большая победа!

Кричали, хлопали в ладоши. Саша под общий шумок, кажется, даже выплясывал на сцене от радости, но никто не остановил, никто не обратил внимания.

— Вас поздравляю, юные пионеры! — обернулся отец к сбившейся шеренге. — Вы наденете красные галстуки в памятный день!

Закричали «ура». Отец схватил подвернувшуюся под руку Машу Журавлеву, поднял, поцеловал.

Вожатая Галя первому повязала галстук отцу Саши. Тот стоял в расстегнутом полушубке, края галстука лежали на мокром мерлушковом воротнике, лицо, как галстук, красное то ли от радости, то ли от смущения, то ли просто от мороза — почетный пионер.

С того дня, наверно, и начался Сашин путь к партии. Ждал: «Вот вырасту большим...» Слова «большой», «взрослый» для него не отделялись от слов «член партии». И вот он взрослый, вот он переступил порог партии. Отец теперь сказал бы: «Ты не мощный. Ты такой, как я».

Истомленная жарой, гнулась к земле почти поспевшая рожь. Парит. Не соберется ли к вечеру дождь?

Саша вспомнил, как в прошлом году он вместе с Игнатом Егоровичем на этой дороге попал под дождь. Помнится, как тот сорвал с головы кепку, прижал к сердцу, чтоб не замочило партбилет. Мелочь, а вот запала в память...

Игнат Егорович сейчас ждет... Вчера вечером, после занятий, они вышли вместе на крыльцо, уселись под звездами. Игнат Егорович курил, хмурился, думал о чем-то своем, и, должно, не совсем веселом.

И Саша спросил, о чем он думает.

— О честности, Сашка, — ответил Игнат Егорович.

— Почему это вдруг о честности?

— Не вдруг. Жизнь заставляет.

— И что ж ты думаешь?

— Я думаю, что не тот честный, кто в чужой карман не за-

лез, а тот, кто другого схватил, залезть не дал. Последнее-то труднее. Завтра партийный документ получать едешь, вспомни эти слова.

Вспомнить-то их нетрудно, вот и сейчас вспомнил, но не совсем они понятны для Саши: кого хватать, кто лезет в карман? Мудрит что-то Игнат Егорович.

10

Игнат Егорович был занят. В его закутке сидел корреспондент областной газеты, донимал вопросами.

У разъездного корреспондента Ильи Ромадского первый запал юности уже исчез вместе с густой шевелюрой. Последнюю сменила лысинка на макушке, пока еще довольно удачно прятавшаяся в остатках черных сухих волос. Ромадский начал уже слегка полнеть, но ни живости движений, ни молодой энергии не утратил. Газетной работой дорожил, но продолжал писать лирические стихи про «синеглазое счастье» и «золото волос». И хотя жена его была ярко выраженная брюнетка, она прощала мужу любовь к синим глазам и золотым волосам, так как твердо верила в его добропорядочность.

Илья Ромадский считал себя зрелым корреспондентом, мастером собирать материал. В этом деле он придерживался теории, которая заключалась в следующем. В нашей жизни важно новое, нарождающееся, а не старое, отмирающее. Новое в нашей жизни лучшее. Значит, в первую очередь надо показывать только лучшие колхозы, лучших людей. Худшие же колхозы, худшие люди суть старое, отмирающее, они недостойны внимания.

Поэтому, выезжая в Коршуновский район, Илья Ромадский еще в городе узнал, что одним из лучших колхозов там считается «Труженик».

Шофер Никита Шуренков, получавший на станции оборудование к автопоилкам, привез корреспондента в Новое Раменье вместе с его плащом, фотоаппаратом и крошечным, выдавшим виды чемоданчиком.

В шляпе, сбитой на затылок, в потертом костюмчике, в галстук с захвачанным узлом, Илья Ромадский предстал перед Игнатом Гмызиным.

Еще не видя председателя, зная о нем понаслышке, Ромадский уже заочно любил его. Как же иначе — герой его будущего очерка.

— Придется вам извинить меня — отниму время. Приехал специально побеседовать с вами...

Каждый новый человек всегда немного смущал Игната, а тут еще корреспондент, пишущий в газетах. Игнат виновато улыбнулся:

— Не знаю, сумею ли быть умным беседчиком...

Ромадский с ходу оценивающе приглядывался к будущему герою, мысленно представлял, как напишет его портрет: «Коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... Умное, русского склада лицо...»

Усевшись в председательском закутке, Ромадский принялся задавать привычные вопросы:

— Как приживается племенной скот?

— Ничего, не жалуемся.

«Председатель Гмызин не из тех, кто любит хвастать своими успехами. Он скуп на ответы...» — мимоходом отметил про себя Ромадский.

— Как с заготовкой кормов?

— Силосу еще прошлогодного хватит, ну и в этом году заготовили. А с силосом и о сене не печалимся.

«...Но по скупым ответам можно судить, в каком прекрасном порядке содержится колхозное хозяйство...»

— Надеюсь, что вы в числе первых приступаете к строительству кормоцеха?

Игнат Гмызин пожал плечами:

— Пока не думаю.

— Как так?

— Нам в первую очередь надо сейчас оборудовать новый скотный двор с автопоилками, с электродоильными агрегатами, словом, со всей механизацией. В мечтах есть — свинарник заложить.

— Ну а кормоцех?

— Преждевременно.

— Отказываться от передового с вашими возможностями! Нет, пет, не укладывается у меня в голове.

— Передовое с куста не сорвешь, в карман не положишь. Атомная электростанция — вещь более передовая, чем, скажем, ГЭС. Но сейчас в нашей стране строят пока в широком масштабе гидростанции. Всему свое время, дойдут и у нас руки до кормоцехов.

Игнат Гмызин навалился грудью на стол и принялся терпеливо и подробно рассказывать корреспонденту, почему сейчас колхозу нужней строить механизированные фермы, а не приступать к кормоцеху.

Ромадский вышел от Гмызина в полной растерянности.

Он любил постоянно повторять слова — «глубокое проникновение в жизнь», верил, что с каждым выездом он совершает такое проникновение. Но проникать в жизнь было просто-напросто некогда, ему не приходилось подолгу задерживаться в одном колхозе. Вместо того чтобы самому заметить, самому выяснить, невольно прислушивался к чужому мнению и высказывал как

свое. И это-то собрание чужих мнений он искренне считал проникновением в жизнь.

В редакции все были убеждены, что кормоцеха полезны во всех случаях. Убежден в этом был и Ромадский. Теперь Игнат Гмызин, колхозный председатель, пользовавшийся уважением в области, заявил обратное. Ромадский стал колебаться.

«А что, если развернуться очерком на подвал и факт за фактом доказать — строительство кормоцехов не всюду можно представлять как первоочередную задачу?..» И ему уже представлялось — очерк вызывает шум, горячие диспуты. Ответственный секретарь Сорочинцев, разумеется, будет против помещения очерка — перестраховщик. Заведующий отделом Корольков любит боевые выступления.

Но одного мнения Игната Гмызина было недостаточно.

Ромадский попросил «подкинуть» его в село Коршуново и часа два спустя сидел уже в кабинете Мансурова, осторожно передавал недавний разговор.

— А вы как думаете, — перебил его Павел Мансуров, — прав Гмызин или нет?

— Я думаю, отчасти прав.

— Отчасти? Гм...

Ромадский поспешил поправиться:

— Пожалуй, даже очень во многом.

— Вы, газетные работники, — начал не торопясь, внушительно Мансуров, — часто глядите на жизнь в увеличительное стекло. Для вас достаточно, чтоб какой-нибудь председатель колхоза пошевелил ногой, как тут же громогласно извещаете: такой-то товарищ идет твердой поступью к коммунизму!

— Не скрою, не скрою, всякое случается.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, умный мужик. За четыре года колхоз поднял — не узнать...

— Вот-вот, я заметил это. Не правда ли, его замечания о кормоцехах не лишены здравого смысла?

— Но это очень сложная личность...

— А на вид, представьте, простоват...

— Этот человек выступает против всеми признанного ценного начинания только потому, что не хочет иметь соперников...

Павел Мансуров вышел из-за стола, принялся ходить по кабинету от стены к столу, говорил громко, уверенно, словно диктовал корреспонденту его будущий очерк. Тот, поджав губы, следил быстрыми глазами за шагающим секретарем, ловил каждое слово.

— В душе он честный, порядочный, колхозники его уважают за принципиальность, но желание казаться лучше, чем есть на самом деле, желание быть первым во всем заставляет Гмызина совершать довольно-таки некрасивые поступки. Всего несколько

часов тому назад один колхозник из «Труженика», получавший кандидатскую книжку, сообщил мне, что Гмызин посылал в район дутые сводки.

— Как так?

— Очень просто. Их покосы кой-где позарастили кустарником. Вместо того чтобы выкосить всю траву между кустов, Гмызин просто вписал цифру. Если строго судить, он обманул райком, партию, обманул государство!..

— Простите, как фамилия того колхозника, который сообщил вам этот факт?

— Комелев. Александр Комелев. Сын покойного секретаря райкома Комелева. Неглупый парень. Работает в колхозе, учится на заочном в сельхозинституте. Сегодня я ему вручил партийный документ.

— Так, так, я слушаю...

В этот же день Ромадский покинул Коршуновский район. Дорогой, в вагоне, он был возбужден, чувствовал в себе творческий зуд.

Он начнет очерк со встречи с председателем колхоза «Труженик», расскажет, какое произвел тот на него впечатление — «коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... умное, русского склада лицо...». Он не скроет, что Гмызин толковый хозяин, что пользуется уважением колхозников, вызовет вначале к нему восхищение у читателя, а потом штришок за штришком раскроет сущность: честолобив, не желает, чтоб остальные колхозы шли в ногу с его колхозом, выступает энергично против передового, падок на темные махинации... Да ведь это же образ, многоплановый, сложный! Удачный подвернулся материал!

## 11

Коршуновская МТС помещалась в старой церкви. Внизу — вагранка и кузница. Там, где прежде был алтарь, за царскими воротами, — кабинет директора. На заброшенной колокольне хозяйничают голуби. На паперти, развалясь, сидят обычно трактористы, шоферы, приехавшие по делам колхозники, передают друг другу кисеты, крутят сигарки.

Саша приехал договориться о переброске кустореза в кудрявинскую бригаду. Директора не было. Обещал к обеду вернуться. Саша сидел вместе с другими на паперти, слушал ленивые разговоры о травах, о горючем, о подгонке подшипников...

К чугунной ограде, где висела газетная витрина, забранная проволоочной сеткой, подошла девушка с кипой газет, не спеша сменила старую газету на свежую, крикнула сидевшим на паперти:

— Чем лясы точить, читать идите! О нашем районе пишут.

Старичок из колхоза «Светлый путь» соскочил первым, подпрыгивающей походочкой направился к девушке:

— Погоди, красавица. Ненужную-то газетку на раскурочку нам оставь.

Взял газету, принялся свертывать и застыл, пригнувшись к витрине.

— Пойти почитать, что пишут, — лениво поднялся один из трактористов.

А через минуту около газетной витрины уже стояла толпа.

Тракторист, низко пригнувшись, выставив зад с двумя удивленными глазами заплат, читал вслух:

— «Вдумчивый, расчетливый хозяин, способный организатор, председатель Гмызин всеми силами противится передовому. В чем причины?..»

— Вот что значит начальство против шерстки гладить.

— Да-а, вlepили мужику промеж глаз.

— Тише, черти! Слушайте. Читайте дальше, Серега.

— «В чем причины?.. А причины кроются в том, что товарищ Гмызин из сугубо эго... эгоистических расчетов...»

Саша, чувствуя над ухом чье-то горячее дыхание, весь сжавшись, слушал, слушал и не совсем понимал: что случилось? До сих пор ни от кого не слышал даже слова, даже намека, что Игнат Егорович нечестный человек, что он хитрит ради своей выгоды. Все относились к нему только с уважением. И вдруг такие упреки! Без малого враг колхозам. Как все перевернулось! Где правда? Чему верить?

Спотыкающийся голос тракториста Сереги доходил словно издалека, недоуменные, путанные мысли, закипевшие в голове, мешали сразу схватывать смысл. Вдруг Саша вздрогнул — тракторист произнес его имя и фамилию. Произнес и споткнулся, замолчал. Стоявшие вокруг Саши люди зашевелились, он почувствовал на себе настороженные взгляды.

— «...Колхозник Александр Комелев, — продолжал тракторист, — получая из рук секретаря райкома партии товарища Мансурова кандидатскую книжку... кандидатскую книжку, сказал, что не может утаить такой факт... факт, когда председатель Гмызин подсовывал райкому и райисполкому фальшивые сводки...» Эх мать честна! Выходит, жульничал. Не похоже на мужика.

— Какой факт? Не говорил я! Ничего не говорил! — закричал сердито Саша.

— Помолчи-ко, друг. Опосля петушиться станешь, — обрезал его голос сзади.

— «Фальшивые сводки...» Э-э, черти, сбили меня... вот... «Покосы колхоза «Труженик» отчасти заросли кустарником. Вместо того...»

У Саши обмякли ноги — трудно стало стоять, невозможно слушать дальше, отойти бы, сесть в сторонке, опомниться... Но Саша не посмел пошевелиться, прослушал все до конца.

Тракторист кончил. Люди зашевелились, раздвинулись, не спеша потянулись к церковному крыльцу.

— Камешек спустили.

— Пересолили.

— Пересолили не пересолили — тут уж разбираться поздно. Припечатали, и баста.

— Теперь, поди, не усидеть в председателях.

— А то... На всех заборах по области вывесили.

Саша отошел, опустился на траву, под кирпичный фундамент ограды, лег лицом вниз. А со стороны доносился разговор. Говорили просто, не боясь, что он услышит.

— Гляньте — вроде мучается паренек-то.

— Что ему мучиться. Не его стукнули — председателя.

— Да его-то Игнат обхаживал, как добрая корова телка.

— За то, видно, он и свинью ему подложил.

— Молод, молод, а уж знает, как по чужим костям на печку влезть.

Саша вскочил на ноги, зашагал прочь.

То отбегая от берега, то прижимаясь к самой воде, вдоль Ржавинки бежит тропинка. Она, как и шоссе, может привести к деревне Новое Раменье. Но если шоссе через овраги, через угоры и поля проламывает себе прямой путь, то тропинка, как и речка, капризно вертлява. Путь по ней до Нового Раменья вдвое дольше.

Над вздрагивающими от течения камышами задумчиво висят стрекозы. Подергивая узкими хвостиками, прыгают трясогузки по выступившим из воды камням. Солнце обливает кусты и речку со всей ее непотревоженной живностью.

Ни быстрая ходьба, ни тихий уют суетливой Ржавинки не могли успокоить Сашу.

Он был почти сыном Игнату Егоровичу. За спиной сказал, тайком наябедничал — вот благодарность за все заботы! Люди уже говорят: «Свинью подложил... По чужим костям на печь влезть...» По чужим костям! Не по чужим, выходит, по костям Игната Егоровича! Как это получилось? Мансуров! Ведь только он мог сказать, он один!

Посреди речки лежали валуны. Их, ноздреватых, с зеленой слизью, неприступно молчаливых и старчески безобразных, Ржавинка игриво, по-молодому щекотала водой, весело и ласково на что-то уговаривала.

Только бы не встречаться с Игнатом Егоровичем! стыдно.

Страшно. Страшен взгляд его глаз, страшен будет и голос его, а разве не страшно, когда промолчит, не упрекнет ни в чем. Нельзя встречаться, нельзя идти в Новое Раменье. А люди?.. Там-то ведь живут те, кто знает Игната Егоровича. Если посторонние сказали: «Свинью подложил...» — что тогда скажут раменцы? Даже Настя и та должна отвернуться...

Тропинка нырнула в кусты, потянуло от земли запахом пре-ли. С каждым шагом он все ближе и ближе к деревне Новое Раменье. Зачем он идет? Нельзя там показываться!

Нельзя?.. Остановиться, выбрать место поглуше, прилечь в тень на травку... Вода меж камней журчит, стрекозы висят ко-ромыслами, трясогузки прыгают. Глядеть на все это, слушать воду, не думать ни о чем, пролежать до ночи. А ночью — домой, к матери, собрать вещи, взять денег — и утром, с первой маши-ной, на станцию. Оставить здесь весь стыд и позор.

Тропинка вынырнула из кустов, врезалась в рожь. В этом году рожь вымахала высокой, колосья бьют по глазам... Он про-должает шагать. Он идет. Куда? Зачем? Нельзя идти!

Нельзя?.. Скрыться?.. Вот тогда-то уж Игнат Егорович поду-мает — от стыда сбежал, вот тогда-то скажет — подлеца выраст-тил. Прав будет!

Саша прибавил шагу, колосья хлестали по лицу...

Все вышло неожиданно просто. С замирающим сердцем Са-ша толкнул дверь в председательский закуток. Игнат Егорович встретил его спокойным взглядом, кивнул — «садись», продолжал писать. Крупная, с натруженными венами рука старательно вы-водила тонкой ученической ручкой букву за буквой. Наконец отодвинул бумагу, закурил, произнес:

— Ну, рассказывай, как там вышло?

Широко раскрытыми глазами, с удивлением и благодарностью Саша уставился на Игната Егоровича. Тот усмехнулся:

— Думал, что возмущаться буду?

— Игнат Егорович! Все не так... Все иначе...

— А ты рассказывай. Знаю, что иначе.

Саша, сбиваясь и спеша, принялся передавать разговор с Мансуровым.

— Подлец!

— Игнат Егорович...

— Не ты подлец, а Мансуров... В нашей жизни, Сашка, есть рамки. Часто в них трудно развернуться, — тесны. Надо, скажем, купить партию шифера, и деньги есть в банке, а не дают — не по смете. Надо посеять клеверу — нельзя, не по директивной ус-тановке. А эти сводки... В Кудрявине покосы позарасти лет де-сять тому назад, а в сводках требуют — учитывай их. Кому не приходилось обходить сторонкой эти сметы, директивы, сводки? Я обошел. Суди меня — отвечу, но подними вопрос о том, чтобы

ни у меня, ни у других председателей не случилось больше нужды объезжать на кривой, поправь жизнь. Но разве это нужно Мансурову? Для него партийная работа — лишь лесенка, по которой удобно подняться над всеми... Что ж, Павел Сергеевич, пришла пора поговорить в открытую... Вот, Саша, прочитай: в обком пишу...

Саша взял в руки бумагу.

12

Велика сила слов, напечатанных на шершавом газетном листе.

Все знакомые Игната Гмызина вроде бы не соглашались со статьей, многие даже возмущались ею, многие от чистого сердца высказывали сожаление:

— Поводил какой-то перышком по бумаге, глянь — матерому мужику ноги обломал.

— После такого тумака трудно не захромать.

Игната Гмызина жалели, а тех, кого жалеют, невольно начинают считать слабыми, беспомощными, в них перестают верить.

Сам Игнат продолжал жить, как жил. Утром рано уходил на поля — не пришла ли пора начинать выборочную жатву? Днем всегда его можно было увидеть на стройке нового скотного — там бетонировали дорожки, устанавливали автопоилки. По-прежнему добродушно спокойный, уверенный в себе, нахлобучив на гладкий череп мягкую кепку, увесисто-твердой походкой ходил он по деревне. Те, кто видел его каждый день, мало-помалу начинали забывать о газетной статье. И только Саша помнил, не мог успокоиться.

Между Сашиним домом и школой на пустыре, теперь застроенном сельповским магазином и складами, раньше стояла осина. Каждый день Саша по несколько раз проходил мимо нее, не замечал, не обращал внимания. И вот однажды в летний день, после дождя, когда от низких тяжелых туч легкий сумрак рассеян в воздухе и тусклые лужи разбросаны по дороге, Саша бросил случайный взгляд на осинку. Бросил и остановился: тонкий ствол отливает металлическим холодком, твердые листья невесомо окружают его, цвет их под стать стволу — неяркий, серебристо-прохладный, — осинка живет, дышит, купается во влажном густом воздухе. В течение многих лет каждый день по несколько раз пробегал мимо и не замечал, что она красива, стой и смотри хоть час, хоть два — нисколько не надоест. Открытие!

Так иногда поражаешься красоте человека.

Не день, не месяц, больше года знал Саша Игната Егоровича. Кажется, ничем он не мог уже удивить; кажется, наперед известно — что скажет, как поступит. Но вот простой случай:

вместо того чтоб осердиться, отвернуться после газетной статьи, он встретил простыми словами: «Рассказывай, как там вышло». И Сашу поразило — понял, без объяснений. Саша ждал обиды. Как он смел так думать об Игнате Егоровиче? Ведь он знал его, жил вместе...

День ото дня росло негодование — какого человека оклеветали! Где правда? Почему не возмущаются?..

Порой появлялось желание подняться на второй этаж райкома, войти и сказать в лицо, с ненавистью все, что знал, что думал. Глупость, конечно, мальчишество, этим делу не поможешь.

Не это ли желание заставило выложить все перед Катей?

После той ночной встречи, когда Катя ушла, хлопнув дверью, они не перебросились ни единым словом. Саша видел ее только издалека.

Сбежала раз с крыльца райкома, легкая, быстрая, чем-то озабоченная. Ветер полоснул подолом светлого платья по загорелым ногам. Резко повернула голову, в открытое окно кому-то бросила слово.

Или же... Шел в кино. Плечи теснит отглаженная рубашка, потная рука в кармане мнет билет. Навстречу девчата. Среди пестрых платьев, наброшенных на плечи шелковых косынок словно ударило по глазам — гладко зачесанные волосы, белый лоб, под ним ровные брови, лицо — и знакомое и забытое!.. Блестящие глаза вздрогнули и скользнули в сторону... Прошла мимо...

После таких встреч день, два не оставляло беспокойство — не мог сидеть на месте, бросал одно дело, хватался за другое, чего-то не доставало, что-то искал. Проходили дни — успокаивался.

Дошли до Саши и смутные слухи, что Катя любит не кого-нибудь, а Мансурова, что она вечерами «все глаза проглядела» на его окна, что тот за занятостью даже не замечает ее. Саша против воли прислушивался, верил и не верил, ругал самого себя: «Мне-то что? Не все равно теперь, о чьи окна глаза мозолит».

Саша пришел в райком комсомола, чтобы сдать свой билет. Давно бы пора это сделать.

Попал в обеденный перерыв. В первой комнате ни души. В открытое окно влетает ветер, шевелит на столах бумаги. Заглянул во вторую комнату. Катя с гримасой упрямства и мученичества на лице одним пальцем отпечатывала на машинке какую-то бумагу. Она заметила Сашу, и он вошел, сказал в сторону:

— Здравствуй. Я комсомольский билет хочу сдать.

— Здравствуй.

Притихшая, робкая, виноватая... Сразу же где-то в дальнем уголке души шевельнулась надежда: а вдруг да раскаялась, вдруг да захочет, чтоб было по-прежнему?..

— Вот... — Саша выложил на стол свой билет.

Катя взяла его, застенчиво улыбнулась, глядя на фотографию, предложила:

— Хочешь взять ее на память?

— Не надо.

— А если я возьму?

— Тебе-то зачем?

— Саша... — Она подняла глаза, доверчивые, добрые, просящие. И Саша вздрогнул: неужели?! Но он ошибся. Хоть голос Кати, как и глаза, был доверчивый, просящий, но говорила она совсем не то, что бы хотелось ему услышать. — Саша... Разве мы не можем быть просто хорошими товарищами?

— Чего зря толковать... Билет-то примешь или Клешинцеву подождать?

— В партию вступил... Недавно слышала, как о тебе Павел Сергеевич Мансуров говорил Сутолокову. Хвалил тебя...

— А я в похвале Мансурова не нуждаюсь!

— Почему?

И тут Сашу взорвало. Он высказал все, что слышал от Игната Егоровича, что думал сам.

— ...Он карьерист! Занимается не делами — интригами! Не смотри на меня так — не боюсь! В лицо ему скажу! Все! Прямо!

Глаза Кати округлились. Они сначала налились ужасом, потом вспыхнули негодованием, наконец губы ее скривились презрительно, лицо из доброго, мягкого стало сразу сухим, каким-то острым.

— Мелкая душонка, — оборвала она. — Ведь знаю, почему ты так говоришь. Знаю! От злобы! Из-за личных счетов! Наслушался сплетен... Я-то считала порядочным, в товарищи напрашивалась... Уходи! Уходи! Слушать тебя не хочу!..

13

Изогнув шею черным лебедем, лампа бросает яркий круг на зеленое сукно стола. В стороне от границы света поблескивают телефоны. Во всем кабинете мрак. Освещенный кусочек кабинета — второй дом Павла Мансурова, и даже не второй, а единственный.

Только поздними вечерами в кабинете, когда можно не опасаться случайного посетителя, Павел чувствовал себя совершенно свободным.

Сейчас он перебирает бумаги и не спеша думает:

«Теперь тебя в твоём же гнезде легко взять за шиворот. Соберем партийное собрание в «Труженике». Поговорим. Пора... Пусть-ка встанут в защиту! Против общественного мнения? За раскритикованного вдребезги? Кому захочется лбом на обух

лезть. Как ты, Игнат Егорович, себя чувствовать будешь?.. Вот тогда и поговорим по душам. Зла-то тебе не хочу, лишь бы под ногами не путался...»

Павел толстым карандашом пометил на листке календаря: «Вызвать из «Труженика» Ногина».

«Может, не доводить до собрания? Встретиться с Игнатом, дать почувствовать, что вожжи в моих руках... — продолжал думать Павел и тут же решительно отмахнулся: — Не поймет — толстокож, упрям, самоуверен. Только лишний шум поднимет — делу во вред».

Где-то был документ — прошлогодняя записка Игната, отданная Павлу, чтоб тот положил ее тогда в свою папку. Помнится, там мимоходом говорится о пользе кормозапарников. Кормозапарники Игнат в прошлом году защищал, а теперь отвергает кормоцеха. Интересный документ, очень может пригодиться...

Павел выдвигал ящики стола, рылся в них. Запустив руку в нижний ящик, он вдруг наткнулся на что-то твердое, вытащил... Свет лампы упал на сплюснутый кожаный картуз Мургина.

За темными окнами спало село. Только по дощатому тротуару простучали шаги запоздавшего прохожего, затихли вдаль. Снизу, с первого этажа, доносился непонятный скрип и потрескивание.

Павел положил картуз под лампу. Странно было его видеть среди кабинетных бумаг — грубый, заскорузлый, с жеваным козырьком, у околыша чуть-чуть распоролся шов, подкладка бурая от пота, он все хранит следы жизни человека, который отходил свое по земле.

Павел забыл даже, что картуз лежит здесь. О многом забыл.. Не потому ли, что неприятно оглянуться назад?..

«Не у меня одного неудачи... В Шумакове, у соседей, тоже плохо с кормами! Банникова, секретаря райкома, каждый месяц вызывают в обком на бюро, записали уже выговор. Перхунов из Сумкова — авторитет! — а весной чуть ли не треть колхозов оставил без рабочей силы, ушли люди на строительство целлюлозного комбината, сорвали сев, — теперь освобожден мужик от работы... А недавно в газете раскатали соборянского секретаря райкома за то, что его уполномоченные подменяли колхозных председателей. А разве мало было неприятностей у Комелева?.. Всем трудно работать, но не было ведь случая, чтоб на чьей-то совести висела человеческая жизнь. Не слышно такого... Ты один, Павел Сергеевич, отличился... Один!.. Любуйся теперь картузом...»

Хотел быть среди людей лучшим, хотел добыть для района первенство. Думал — заметят, оценят, выдвинут в область. На

опыте коршуновцев — победа всей области... Чем черт не шутит. Не боги горшки обжигают. Так, должно быть, и вырастают люди, управляющие государством.

Вот что хотел. Получается иначе...

Что впереди? Долго ли идти такой неверной походкой? Каков будет конец?..»

От упирающихся в тупик мыслей, от ссохшегося картуза, вызывавшего смутные мучения, Павел Мансуров почувствовал себя ненужным, заброшенным. Как крот в норе, сидит сейчас в этих стенах, что-то выкапывает, что-то плетет... Возможно, и удастся столкнуть с дороги Игната, а через неделю не поднимется ли другой Игнат? Не вечно же воевать. Когда-нибудь поднимешь вверх руки, признаешься: «Все! Нет больше сил!» Перебросили бы в другой район, там бы начал по-новому, там бы стал умнее...

Неожиданно Павел услышал, что кто-то открывает дверь. Он нервно вздрогнул, схватил картуз, заслоняя рукой от слепящей глаза лампы, всмотрелся.

В дверях стояла Катя. Увидев, что Павел Мансуров заметил ее, решительно шагнула вперед.

— Не могу больше... — обронила она тихо и опустилась на диван. В полутьме на бледном лице выделялись большие тревожные глаза. — Хочу услышать от вас самого...

— Что с тобой, Катя?

— Павел Сергеевич, про вас говорят нехорошие вещи... Говорят, что вы... Нет, не могу повторить... Скажите: есть хоть маленькие основания упрекать вас? Мне это нужно, мне не безразлично знать...

Павел Мансуров глядел на Катю и удивлялся: как он заездили за последнее время. Забыл... Не минутная прихоть, не вольность женатого человека, но и не настоящее... Для настоящего не хватило его, как не хватает и в других делах. Разве сможет она это понять?.. Сидит, кутается в платок, передергивает плечами, в глазах боль и тревога. За него тревожится — славный человек.

— Павел Сергеевич, что ж вы молчите? — громким шепотом переспросила Катя, подаваясь вперед, вся взвинченная, напряженная — вот-вот сорвется с места.

— Катя... — ласково и грустно произнес Павел, не зная еще, что сказать ей, в чем признаться. В руке он держал картуз Мургина, помедлив, протянул: — Вот!

— Что это? — Легкие руки Кати вынырнули из-под платка.

— Не признаешь?

— Нет.

— Эту вещь забыл в моем кабинете Федосий Мургин за несколько часов до своей смерти.

Катя вздрогнула.

— И я признаюсь в большем: если б я говорил с ним не так жестко, он, возможно, был бы жив.

— Павел Сергеевич...

— Я человек, а не бог. Я могу ошибаться. Я хотел людям хорошего, я знал, что без дерзости, без решительных бросков его не добудешь. Я дерзнул, сделал бросок, а вокруг меня были равнодушные. Я начал с ними воевать, понял, что не обойтись без жестокости. Одному человеку я бросил несколько жестких слов (всего несколько слов!) — и вот... вместо человека в моих руках остается только его картуз... Я не железный, и меня порой охватывает отчаяние. Мне трудно, Катя.

Павлу хотелось жалости, и он ее добился. Катя поднялась с трепетно мерцающими глазами на вытянувшемся, мутно-бледном в комнатных сумерках лице.

— Если б я смогла помочь, — дрожащим голосом произнесла она, — я бы считала подвигом в своей жизни. Но что я могу, что могу?

— Спасибо, Катя. Доброе слово — тоже помощь.

— Вы для меня выше всех. Счастьем было бы вечно быть с вами, вечно помогать вам... Никакие сплетни — ничего, ничего! Вы не знаете, кто вы для меня! Вы моя надежда! Может, глупо навязываться... Но пусть! Знайте!. Долго молчала...

Катя выронила картуз из рук, уткнула лицо в ладони, резко повернулась. От разметнувшегося платка шевельнулись на столе бумаги. Павел не остановил ее. Он долго сидел, не двигаясь, прислушивался, как стучат по лестнице каблуки ее туфель. Ему стало стыдно...

Любит? Да! Но не его — другого! Трудно жить. Может, легче было бы признаться начистоту перед всеми?.. Скажут: запутался, напакостил — каешься. Нет, Москва следам не верит... Путь один... Вперед! Отступать поздно!

Уходя, Павел захватил с собой картуз Мургина, на полдороге к дому бросил его за чью-то изгородь в густо разросшуюся крапиву. Лежи здесь, недобрая память, пока не сгниешь от дождей...

А на следующий день в райком партии был вызван Евлампий Ногин, секретарь парторганизации колхоза «Труженик».

Поздно вечером Евлампий Ногин пришел домой к Игнату Гмызину. Нерешительно пощипывая бородку, виновато ворочая выпуклыми желтыми белками, попросил Сашу:

— Ну-ко, милочка, иди спать, мы с Егорычем посекретничаем.

Саша вышел, и Евлампий, придвинув бородку к самому лицу Игната, зашептал:

— Плохи твои дела... Не должен бы тебе говорить этого. Мансуров узнает — в муку меня сотрет. На партсобрании тебя обсуждать предложили...

— Так что ж, пусть... Обсуждайте.

— Эко! Пусть... Не Сашка — знаешь, чем пахнет!

— Вы-то что, младенцы? За правду постоять не можете?

— Такой момент, нас и прижать нетрудно. Газета тебя долбанула? Долбанула. Против передового ты выступал? Признано и записано — выступал. А история со сводкой? Ее ой-ой как повернуть можно. Сунемся мы, а нас в один рядок поставят, в пух-прах разнесут.

— Боишься в одном ряду со мной стоять?

— Не побоялся б, коль смог бы доказать. А как тут докажешь, когда даже в газете утверждено, что ты такой, ты сякой... Ты вот что, — боясь, что Игнат перебьет, заторопился Евлампий, — не лезь на рожон. Если в ошибках признаешься, покаешься, не выкажешь гордыню — все сойдет, верь слову. Полезешь напролом, упрешься — раздуется пожар. Не таким быкам рога обламывают...

Игнат презрительно глядел в виновато бегающие глаза Ногина.

— Одначе заячья же душа у тебя. Мансуров пнем на дороге стал. Не нам теперь этому пню кланяться. Иди да на ус себе намотай.

Они расстались.

14

На бревенчатые стены из низеньких окон падали медные отсветы разбушевавшегося за деревней заката. Упрямо и безнадежно точила стекло залетевшая оса.

Бухгалтеры, кассиры — вся контора кончила рабочий день сегодня раньше, случайных посетителей заворачивали обратно — собиралось закрытое партийное собрание, лишние могли помешать.

Пока явились на собрание трое: Евлампий Ногин, Иван Пожинков и Саша Комелев. Евлампий нет-нет да и прилипал бородкой к стеклу: не пылит ли машина, с минуты на минуту должен подъехать Мансуров.

Евлампий был одет ради собрания в чистую косоворотку, пегая борода расчесана на две стороны, на коричневом, стянутом сухими морщинами лице застыло выражение брюзгливой измученности, какая бывает у людей, страдающих утомительной зубной болью. Он не мог спокойно сидеть, ерзал на лавке и, обращаясь к Пожинкову, жалобно говорил без умолку:

— Я ведь было лыжи наострил из колхоза. Думаю, бабу оставляю дом стеречь, а сам — на лесокомбинат. Кто меня оста-

новил? Он, Игнат. Теперь живу хоть и не князем, а корова без сена не сохнет, подсвинка хлебом подкармливаю, не корыстные, а деньжата водятся. Лонись парню велосипед купил. А купил бы я его без Игната? Нет. Вот и рассуди — могу ли я его не уважать? Бесценный человек...

Иван Пожинков, подперев простенок широкими плечищами, склонил квадратную голову, и не понять, что он слушает — то ли Евлампия, то ли ноющую на окне осу.

— Как родного отца люблю. Он мне жизнь устроил. При нем я помолодел словно... И вот теперь...

Пожинков молчал. Евлампий, не услышав от него ни сочувствия, ни возражения, продолжал:

— Мансуров из рук в руки бумагу передаж. Вот, мол, выступи, и принципиально, личные счета отбрось начисто. А в этой бумаге, хуже чем в газетной статье, на Игната каких только собак не навешано...

Пожинков молчал. Евлампий помедлил, покосился, вздохнул:

— Эхма! Как подумаю: буду говорить, а Игнат рядом сидит, в душу смотрит. Что делать?.. Нечего. Красней, рак, коль в кипятке попал! Отмолчаться нельзя. Поперек пойдешь — в райкоме спросят: с газетой споришь, общественному мнению перечишь? А ну-ко, дай пощупаю — какое в курочке яичко сидит!

Пожинков молчал. Саша сидел взъерошенный, сердито, исподлобья поглядывал на беспокойного Евлампия.

— Слышь, Евлампий! — окликнул он. — Мне на собрании разрешается выступать?

— А как же, как же! — встрепенулся Евлампий, обрадованный уж тем, что откликнулась живая душа. — Тебе только голосовать прав не дано. Выступай себе на здоровьице.

— Тогда выступлю, — мрачно пообещал Саша.

— Только, сокол, помни: партийное собрание — не бригадирская сходка. От молодой прыти не напори чего. Каждое словечко в протокол заносится, а протоколы-то наверх идут, их там по буквам прочесывают.

— Вот-вот, пусть прочешут. Я расскажу, как ты до собрания хвалил Игната и как на собрании все наоборот толкуешь. Докажу — партийному собранию лжешь!

Иван Пожинков пошевелился, с интересом поглядел на Сашу, не спеша полез за кисетом. Рачьи, с желтыми белками глаза Евлампия растерянно уставились на Сашу. С минуту он молчал, вздрагивая бородкой.

— Типун тебе на язык, — выругался незлобиво. — Пойми ты, цыпленок недосиженный, что я спасти Егорыча хочу, спасти! Он хоть не молод, но тоже, не дай бог, — все лбом стенку пробить норовит. Не подзуживать его надо, а уломать, чтоб мирно решилось, чтоб в председателях оставили... «Докажу — лжешь!..»

Эк, хватил. Я ли лгу-то, газета же выступила, на всю область ославила. Море вокруг Игната разлилось, уж не думай — мы с тобой это море ложками не выхлебаем.

— И это скажу.

— Задолбил: скажу да скажу. Думаешь, у нас честности меньше, чем у тебя, сосунка.

— Честный не тот, кто в карман не залез, а тот, кто другому это не позволил.

— Эх!..

Но в это время застучали сапоги по крыльцу, распахнулась дверь, один за другим вошли люди. Низкий, покойный голос Игната спросил:

— Что сумерничаете, как на посиделках? Зажгли бы огонь.

Свет зажгли, в конторе сразу стало шумно.

— Где Мирошин? Хвастался — кучу новостей привез.

— С лошастью к конюшне не завернул ли?

— Здесь я, здесь. Не сбежал с новостями.

При свете тусклой лампочки, нескладно сгибаясь под низкой притолокой, шагнул через порог Мирошин. Прошел, опустился рядом с Пожинковым, прямой, даже сидя долговязый, с острым кадыком на тощей шее, с проржавленными от табачного дыма усиками.

— Да! Вот так... Не знаю только, хороши ли новости-то.

— Какие есть, за плохие бить не будем.

— Приехал к нам в район самый первый секретарь из области.

— Курганов?

— Он самый. Невысокий такой, полноватый, лицо не улыбочное. Глаз, как и полагается, строгий. Да!

— Вовремя! Не мешает ему погостить у нас.

— Может, распутает петельки.

— А ехал он в одной машине с Мансуровым. Да! Плечико в плечико сидели, как я теперь с Пожинковым.

— Ясно дело, не с тобой же ему ехать.

— Напоеет ему Мансуров.

— Мансуров-то машину остановил, за локоток меня взял и в сторонку отвел, говорит: не буду я у вас сегодня...

— Не будет. Нам доверяет? Зря.

— Что жалеть-то, без него вольготней.

Мирошин повернулся к Евлампию:

— И еще велел передать: собрание-де лучше отменить, так как вопрос об Игнате Егоровиче пока будем решать в более высоких... как их?.. инстанциях. Вот как. Да!

— Ого!.. Это новость, братцы.

У Евлампия от такой новости удивленно отвисла губа. Он секунду глядел на Мирошина своими выпученными глазами и

вдруг, всегда осторожный, всегда почтительный к начальству, вскипел:

— Да что ж это? Чего он выплясывает? То настаивал, бумаги всучил, то теперь, как норовистую кобылу, в сторону бросило.

— Бросит, когда Курганов приехал.

— Бойтся, как бы осечка не вышла.

Евламий не успокаивался:

— А что мне с бумагами этими делать? Хранить или свиньям скормить? Глядеть на них не могу!

Общий шум пререзал неожиданно звонкий голос Саши:

— Товарищи! Партсобрание надо проводить! Обсудим эти бумаги! По-своему обсудим!

— Ну, ты! — цыкнул Евламий. — Судили мыши kota...

— Э-э, Евламий, не горячись, — возразил Мирошин. — Парень-то, гляди, толковое предлагает. Да!.. Как, ребята?

Молчаливый Пожинков, сидевший невозмутимо во время шума, придавил окурки о ребро скамьи, скупой обронил:

— Верное дело.

На минуту все притихли.

— Как ты, Игнат Егорыч, глядишь? — спросил Мирошин.

Игнат Гмызин стоял у входа в свой председательский закуток, заполняя узенькие двери громоздким телом. Он медленно повернул крупную, тяжелую голову в сторону Саши, посмотрел без улыбки, пытливо, ласково.

— Умно и вовремя, — согласился он.

Евламий Ногин послушно сел за стол, привычно раздвинул пальцами бородку, произнес:

— Ежели так... Кто протокол вести будет? — и спохватился: — Вы все-таки шутейно или всерьез предлагаете бумаги Мансурова обсуждать?

Непривычно, ново, страшновато было для него начинать собрание, «не согласовав» и «не увязав»...

## 15

В четыре часа утра еще спит село Коршуново. Даже шоссе — самый неутомимый и беспокойный труженик — отдыхает. На нем, где пыль лежит густо, остались нетронутыми зубцы от шин последнего грузовика. Их не успели растоптать ноги прохожих, их не смяли колеса утренних машин. Это след вчерашних суток, новый день не стер его.

В половине пятого румянятся стволы берез. С этих берез, что окружены молодыми липками — березам под мышки, — взлетает галчиная стая. Беспорядочно побранившись друг с другом в воздухе, галки опускаются на пустынное шоссе и тут, как одна,

становятся важными, переваливаются, деловито перелетают с места на место.

Вспугнув их, нетерпеливо прошагал первый прохожий — долговязый кассир сберкасы Акинди́н Митрофа́ныч. В руке — прокопченное ведерко, на сутулом плече — удочки. И так каждое утро. Седина в бороду, бес в ребро...

Ровно в пять, как и во всяком добропорядочном русском селе, кричат петухи, поднимаются хозяйки. Всклопоченные, с пылающими после теплых подушек щеками, хозяйки, позванивая ведрами, тянутся к колодцам.

В шесть, немилосердно гремя расхлябанными бортами, проносится первый грузовик. Пыль после него оседает на влажную листву палисадника.

В умытое небо из печных труб потянулся вялый угарный дымок.

Похоже, дюжина взбесившихся двустолок загрохотала за калиткой одного дома. То Славка Калачев завел свой мотоцикл. Он его купил месяц тому назад и до сих пор никак не может привыкнуть к своему счастью. Ему мало вечером пролететь лихачом по селу, — день испорчен, если утром, чуть продрав глаза, не послушает мотора. Хлопки, судорожный грохот, чихание милей всякой музыки...

Время отдало людям свой обычный и драгоценный дар — сон. Подарить сон — значит подарить силы.

И чтоб этот подарок принимался радостней, часы пробуждения празднично украшены: трава особенно зелена, воздух особенно свеж, даже железные щеколды дверей, даже бревенчатые стены, даже полустертые булыжины шоссе — тронь рукой — обласкают бодрой росяной прохладой. Вставай, человек, в чистый, обмытый, приготовленный для тебя мир! Вставай с новыми силами!

Мансуров плохо спал ночь, поднялся с головной болью. Куда, к черту, радоваться утру, непросохшей росе на кустах под окном — до того ли? Новый день... Если б перескочить через него...

Прошла целая неделя, с тех пор как Курганов появился в районе. Встретился он тогда с Мансуровым суховато, сообщил о письме Гмызина, пристращал: «Если из того, что написано, хоть одна треть — правда, пеняй на себя». Не ко времени такой гость, но Павла успокаивала одна фраза, брошенная вскользь Кургановым: «Пока весь район не объездим и до косточек не обшупаем, ни на один шаг не отпущу от себя...» Ездить-то вместе придется, будет время покаяться, пожаловаться, а там, глядишь, и договориться. Не след пасовать...

Не повезло Павлу...

На следующее утро, выехав с Кургановым из Коршунова, пе-

ред въездом в деревню Тароватка Павел увидел Игната Гмызина. Тот, перегнувшись из пролетки, разговаривал с дюжим парнем в рубаше распяской. Парень сидел на длинном сосновом бревне, взваленном на тележный передок. Его неказистая лошаденка дремала в оглоблях, не обращая внимания на беспокойное похрапывание сытого гмызинского жеребца. Рано ли, поздно — Курганов должен был встретиться с Игнатом, и Павел указал:

— Может, поговорить нужно. Вот он, Гмызин-то.

Думал, что Курганов не захочет на ходу разговаривать.

Но Курганов остановил машину.

Тут же, на обочине дороги, между Гмызиным и секретарем обкома при молчаливом присутствии Мансурова и дюжего парня, с любопытством поглядывавшего из-под путаного чуба, произошел короткий разговор.

— Товарищ Гмызин, к вашему письму нужны еще конкретные доказательства. Когда я смогу их получить?

— Да кое-что хоть сейчас, товарищ Курганов.

— Так быстро?

— Пяти минут не займет.

— Вот как... Что ж, попробуем выслушать это пятиминутное доказательство.

— Слушать нечего. Идемте смотреть.

Впереди Игнат Гмызин, за ним Курганов, за Кургановым, настороженный смутной догадкой, Павел Мансуров, на почтительном расстоянии парень, засовывающий на ходу рубаху за брюки, — двинулись в сторону от дороги, к дремотно растянувшемуся под утренним солнцем скотному двору.

Стены скотного угрожающе покосились и были подперты под верхние венцы бревнами.

Гмызин остановился, кивнул головой:

— Вот... Картина для нас не редкая.

— Исправлять такие картины надо, а не любоваться, — сказал Курганов.

— То-то и оно, надо исправлять. Яков! — крикнул Игнат стоящему в стороне парню. — Скажи: куда ты лес возишь?

Дюжий Яков смущенно склонился, выбивая каблуком сапога ямку в земле, произнес:

— Известно куда... На том конце кормоцех строим, туда и вожу...

Курганов повернулся к Якову, с минуту оглядывал с ног до головы, спросил:

— Как по-твоему, когда этот кормоцех кончите?

Парень замаялся.

— В будущем году, ежели... Да то, должно, председатель знает.

— В будущем году... А ремонтировать коровник когда?

— Чего тут ремонтировать. Раскатать да наново поставить — дешевле будет.

Курганов протерся с Игнатом, дорогой молчал и, только за-видев пылящий навстречу грузовик, попросил:

— Павел Сергеевич, задержите эту машину.

И когда недоумевающий Мансуров, выйдя на дорогу, остановил грузовик, Курганов спокойно произнес:

— Садитесь, поезжайте обратно. Я решил один поездить по колхозам.

Так они расстались.

Курганов колесил по району. На перегоне между деревнями Плесо и Дворки он сломал свой «газик», потребовал из МТС другой и продолжал разъезжать — не угадаешь, где был, куда нацелился, что высматривает.

До Павла доходили только обрывочные слухи...

Курганов облазил все хозяйство «Труженика» — многозначительно!

Курганов провел целый день в колхозе покойного Мургина — неспроста.

Курганов всюду интересуется силосованием и подготовкой к зиме скотных дворов...

Наконец, позавчера раздался звонок: «Собирайте районный партактив, готовьте доклад по вопросу зимовки скота».

Все ясно.

Вчера вечером Курганов появился в райкоме: тронутый загаром, посвежевший на коршуновском воздухе, в галифе, в громоздких сапогах.

Сейчас он вместе с коршуновцами встречает утро...

Догадывается ли, что творится в эти минуты на душе у Павла Мансурова? Возможно. Впрочем, вряд ли поймет убойщик овцу. Поговорить с ним надо начистоту, но не по-овечьи...

Павел умылся, сел, чтобы выпить стакан чаю. Анна, уже причесанная, одетая, сидела за столом. Светлое, с голубыми наивными цветочками ситцевое платье молодило ее. Она привыкла ничем не интересоваться, ни о чем не расспрашивать, молчала, как всегда.

Тревога ли, может быть, тоскливое чувство одиночества заставило Павла вдруг понять — пусть она далека от него, а все же ближе никого нет на свете. Никого кругом!

— Анна, — произнес он осторожно, — на меня сегодня обрушатся...

Анна вопросительно взглянула на мужа.

— Все кругом настроены твоим братом...

Она долго молчала, наконец спросила:

— Для чего ты мне это говоришь? — Подождала, не скажет ли он что, и добавила: — Может, это к лучшему.

Павел молча допил свой стакан.

Жену не тревожит его беда, какого же сочувствия ждать от других? Никто, только он сам может защитить себя. Надо поговорить с Кургановым начистоту, другого выхода нет.

Павел шел по улице в своем выутюженном летнем кителе, в начищенных сапогах, как всегда, чуточку щеголеватый и торжественный. Ни резко выступившие скулы, ни усталые круги под глазами не изменили на лице привычного достоинства.

Встречные, как всегда, почтительно здоровались с ним.

Ухабистые проселки, деревни, то разбросанные среди полей, то растянувшиеся по берегам веселых речек, деревни, утопающие в картофельной ботве, бесконечные встречи: старухи, девушки, парни, неторопливые разговоры среди мужчин с неизменными сигарками — день за днем раскрывался Коршуновский район, дальний уголок области, руководителем которой был он, Курганов.

Из всех пестрых собеседников в этой поездке последним оказался агроном МТС Чистотелов. Курганов столкнулся с ним в одном из колхозных правлений и попросил сводить его на поля.

— Боюсь, загоняю вас. Вразвалочку-то ходить не умею. — Чистотелов из-под нависших бровей пристально с ног до головы оглядел секретаря обкома.

— Кто кого загоняет. На мой животик не смотрите. Я, брат, охотник. В горах по козьим тропам лазил, диких козлов бил.

— Коль так, идемте...

Переходя с поля на поле, вели обычные разговоры: о нехватке минеральных удобрений, о клочковатости полей, разбросанных по лесам, о трудной обработке их машинами.

Уже на обратном пути попали под дождь, короткий и сильный, вымокли, но Курганову было жарко, — грела ходьба.

Огрузившее вечернее солнце затонуло в лиловом мареве. Между черной землей и тяжелым плоским облаком, как раскаленная река среди берегов, разлился багровый закат.

Шли полем льна. Лен давно отцвел, сейчас на каждой зеленой головке висела дождевая капля, тянула к земле. И эти капли, все как одна, украли у растекшегося по небу пламени частички света, мизерные дольки — капля не может украсть больше капли. Раскинулось вокруг темное поле, на нем миллионы льняных головок истекают мягким светом. Куда ни глянь — всюду бережливо висят над землей робко тлеющие огоньки. Они разбиваются о голенища сапог...

Курганова в эти дни ни на минуту не оставляла тревога. Сейчас — то ли от застойной неподвижности в природе, подчеркнутой сияющими дождевыми каплями на головках льна, то ли от

того, что спутник подвернулся не из болтливых, не мешал думать,—тревога выросла, сжала сердце Курганову.

Он считал себя принципиальным руководителем — не жаловал льстецов, не бил с высоты своего положения тех, кто осмеливался возражать. Работал и был покоен: он понимает людей, люди — его.

Но теперь в Коршуновском районе этот покой мало-помалу исчез. Он вдруг почувствовал, что ошибался, не всегда-то хорошо понимал людей.

Оценивал: кто добросовестно исполняет поручения, кто не плачется на трудности, тот истинный руководитель. Мансуров все выполнял, Мансуров не жаловался, больше того, хватал на лету любую идею, рождавшуюся в стенах обкома. В нем ли было сомневаться?..

И вот племенной скот, загнанный в дырявые коровники, близкая зима и... сводки: начато строительство кормоцехов, подвезено столько-то леса, заложен в таких-то колхозах фундамент...

Чистотелов, видно, понял молчание Курганова, он обернулся и произнес:

— Вот оно как... Издалека-то, бывает, и петух на насесте за ястреба сойдет.

— Мне намек? — спросил Курганов.

Тяжелые брови Чистотелова двинулись вверх, открыли спрятанную усмешку в светлых запавших глазках.

— Что там намекать... Раз человека бросает из одного конца района в другой, значит, задело за больное.

— Задело, — признался Курганов. — Что скрывать — обманулся.

— Э-э, мы рядышком с ним жили, каждый день бок о бок отирались и не заметили, как расцвел цветочек. Я сам поначалу за него горой стоял.

— На что же клюнули?

— На лен. Горячо он за лен схватился, документы собирал: мол, по таким-то и таким-то причинам плохо растет... Оказалось, нужен ему не рост льна, а свой рост в райкомовском кресле.

— Что ж вы в обком знать не давали?

Чистотелов хмыкнул в жесткие прокуренные усы, кольнул из-под бровей взглядом.

— Не догадываетесь?..

— Нет, не догадываюсь.

— Просто побаивались: вам же выгодней Мансурову верить, чем, скажем, мне или Игнату Гмызину.

— Это почему?

— Потому что кто, как не обком, Мансурова за веревочку дергал.

Закат потускнел. Лен все еще мокро хлестал по сапогам, но уже сияющих дождевых капель не было видно. Природа побаловала своими маленькими радостями и спрятала их до другого раза.

— Значит, по-вашему, обком виноват? — перебил минутное молчание Курганов, исподтишка, не без досады разглядывая спутника.

Длинный, сухой, кадыкастая шея вытянута. На фоне отливающего бронзой заката четко виден рубленый профиль — из кустистости бровей выгнулся массивный нос с хрящеватым выступом на изгибе, крепкий, шероховатый от щетины подбородок подпирает ровно срезанные усы.

Чистотелов не повернул головы, спокойным голосом ответил куда-то в пространство:

— Вы сами так считаете, иначе бы эти дни возле Мансурова сидели.

Курганов проглотил упрек молча.

Впереди, стиснутое темной зеленью полей, синело шоссе. У обочины маячила неподвижная машина: это шофер Курганова выехал их встречать.

## 17

С полудня до вечера в Доме культуры будет идти совещание партийного актива. А вечером для участников этого совещания коршуновский кружок самодеятельности даст концерт.

Под сценой в полуподвале — две комнаты. На бревенчатых стенах висят пыльные парики, в конторском шкафу хранятся костюмы, в одном углу стоит большой барабан с медной тарелкой на макушке — его вытаскивают наверх, когда нужно изобразить гром. Есть труба, не находящая применения. Есть старая фисгармония. Есть гримировальный столик с трюмо, крапленным по стеклу ржавыми пятнами.

Перед концертами в этих комнатах воюет кладовщик райпотребсоюза Василий Васильевич Боровсков. Почтенный возраст (Василию Васильевичу за сорок), куча детей, злая жена, даже фронтовое увечье — остался без ноги, — ничто не смогло заглушить его любовь к святому искусству. Он со своей лысиной, тощей фигурой, висящей на костылях, все еще продолжает истступленно мечтать, что когда-нибудь да сыграет Гамлета. «Я так ее любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» — частенько читал он кому-нибудь со слезой.

Сейчас он прыгал среди своих доморощенных актеров, всем возмущался, роняя на пол костыли, хватаясь руками за лысину, кричал:

— Разве это фрак? Это кафтан! Чацкий в кафтане! Варвары!

Кате надоела эта репетиционная суета. Сюда, в полуподвал, доносился приглушенный шум из зала — собирались участники совещания.

В последние дни приходилось слышать нехорошие разговоры о Павле Сергеевиче. Не понимают люди, что Павел Сергеевич — человек поиска. Поиски без ошибок невозможны! Сегодня утром издалека видела Сашу, приехал вместе со своим Игнатом Егоровичем на совещание. Искренний, честный парень, а попал в руки Гмызина, поет его голосом. Этот Гмызин — по одному виду можно судить — человек самоуверенный: краснолицый, широкий, идет — раскачивает плечищами, сам черт ему не брат. Саша рядом — штаны пузырями на коленках, а кепчонка на затылке — тоже петушок. Перед такими-то Павел Сергеевич сумеет себя отстоять.

Народ собирается на совещание, пора и Кате идти в зал.

По узенькой скрипучей лесенке она поднялась на сцену, заставленную старыми декорациями. Пахло олифой, пылью, чем-то нежилым, неудобным — задворками театра. Шарканье ног, голоса, скрип стульев — весь шум постепенно заполнявшегося народом зала здесь был слышен уже не приглушенно. Эту заднюю часть сцены от того места, где стоял длинный красный стол президиума, отделял лишь занавес.

Из-за косо стоящей фанерной колонны с облупившейся побелкой Катя неожиданно увидела около занавеса двух человек. Коренастый, крепко стоящий на расставленных ногах, секретарь обкома Курганов, заложив за спину руки, выжидательно снизу вверх смотрел на Мансурова. Павел Сергеевич, вытянувшийся, какой-то собранно-решительным, тоже в упор шупающим взглядом уставился на Курганова. По выражению его лица Катя поняла, что идет такой разговор, где свидетели нежелательны, и что ей в эту минуту просто неудобно проходить мимо, лучше переждать.

— Мне очень хотелось сказать вам несколько слов, — негромким, но четким голосом говорил Мансуров, — в последние дни никак не мог улучшить время встретиться наедине.

Кате было видно его похудевшее лицо, остро обозначившиеся скулы, глаза в усталых коричневых глазницах потеряли знакомую твердость, ищущим, шупающим взглядом они блуждали по Курганову. Какая-то пронзительная, нежная жалость залила Катину душу — страдает, никем не понятый, кроме нее, Кати, для всех чужой.

— А почему нам нельзя было говорить на людях? — возразил Курганов. И Катю покоробил его сухой, недружелюбный тон.

— Мне кажется, Алексей Владимирович, есть вещи, которые безрассудно выносить на широкое обсуждение, не поговорив о них заранее.

Курганов лишь поглядел с подчеркнутым вниманием на часы.  
— Мне тяжело признаться,— продолжал Мансуров,— но приходится... Со всей откровенностью, с болью, Алексей Владимирович, говорю вам: да, я понял — Гмызин прав... Прав целиком...

«Целиком?.. Зачем же так? Гмызин не может быть прав целиком! — К жалости Кати прибавился страх.— Неужели испугался? Невозможно! Не тот человек!»

— Я перегнул со скотом. Моя вина — не послушал советов, не рассчитал, не спохватился вовремя... А история с кормоцехами, когда отмахнулся от здравых предупреждений...

«Со скотом не прав, с кормоцехами не прав?.. Что он говорит?» Катя, сжавшись, с испугом следила за Мансуровым, а тот тем же негромким, твердым голосом продолжал:

— Как видите, Алексей Владимирович, я ничего перед вами не скрываю, выворачиваю душу. Если прежде меня можно было упрекнуть в нечестности, если до сих пор я изворачивался, боялся, как бы обо мне плохо не подумали, то теперь хочу говорить открыто...

— Когда говорят открыто, не прячутся за углом, товарищ Мансуров. Душу нужно открывать там! — Курганов кивнул на занавес.

Всем было непонятно. Странно поведение Павла Сергеевича, странно и то, почему не удивляется Курганов. Разве можно спокойно слушать такие слова, разве можно не поражаться?

— Сказать там — никогда не поздно... — По усталому лицу Павла Мансурова пробежали досада и раздражение и тут же исчезли, в голосе зазвучало отчаяние. — Алексей Владимирович! Кто не хочет быть честным? Кому не в тягость, оступившись однажды, нести на своих плечах ложь? Помогите очиститься. Не отталкивайте, не топчите... Поверьте, в другом месте, уехав из Коршунова, я очишусь от грязи, с самой решительной, с самой горячей радостью забуду прошлое!

— Значит, должен поставить вопрос о переводе вас в другой район?

— Переведите, помогите сбросить все коршуновское...

— Короче говоря, вы просите: помогите спрятать от людей поганенькие дела.

Катя, окаменев, стояла за бутафорской колонной и слушала.

От последних слов Курганова Павел Мансуров распрямился, глаза потемнели, рот жестко сжался.

— В вашей воле переиначивать мою просьбу, я же прошу — и это мое право — дайте возможность стать мне снова честным коммунистом.

— Честным коммунистом?.. Для коммуниста преступно не то, что он допустил ошибку, вдесятеро преступней скрыть ее! Вы

в течение многих месяцев замазывали, прятали ошибки, теперь осмеливаетесь предлагать мне: скройте меня с прошлыми грехами, помогите стать чистеньким. Не выйдет это, товарищ Мансуров!

— Так... Не выйдет... Мои ошибки... Вы хотите, чтоб я о них сказал во всеуслышание, там? — Мансуров кивнул на занавес. — Что ж, скажу. Скажу: я стал таким, пусть судят. Но кто виноват в том, что стал таким? Кто поощрял меня, когда я не по силам решился набрать племенной скот? С чьего молчаливого одобрения я настаивал на строительстве кормоцехов? Я лез по зыбкой дорожке, но кто меня подбадривал и словом, и бумажкой, и добрым сочувствием? Мне придется обо всем говорить, товарищ Курганов!

Курганов, невысокий, прочно упирающийся расставленными ногами в пол, заложив руки за спину, стоял, поглядывая на Мансурова исподлобья, и только на его крепкой шее, над воротником, туго перехваченным галстуком, узелками вздулись вены.

— Очень хорошо, — спокойно заговорил он, — хорошо, что скажете. Я свои ошибки прятать не собираюсь. Не только вы, я и сам скажу. Не беспокойтесь, буду требовать для себя жесткого суда! И неужели вы думаете, что сумеете запугать, что я поддамся на шантаж, соглашусь скрывать от народа свои грехи, а вместе с ними и ваши? Ошиблись, не все на ваш манер скроешь!.. Да что тут — идемте, нас ждут!

Курганов шагнул к занавесу и задержался, снова повернулся к Мансурову:

— Сейчас ваш доклад. Не забудьте упомянуть в нем о том, какую сделку мне только что предложили.

Он исчез за занавесом.

Расправленные плечи Мансурова обмякли, подобранность исчезла, он стоял не двигаясь, потом бочком, болезненно приподняв плечо, полез за занавес...

Стихли покашливание и шорох. В зале за занавесом, во всем просторном здании районного клуба, наступила внимательная тишина. На столе президиума шелестели бумаги...

А в темном углу сцены, среди свернутых холстов на полу, среди щитов, оконных переплетов, дверей, каких-то брусьев с торчащими гвоздями, сжавшись в комок, пачкая платье о побелку фанерной колонны, давилась в молчаливых рыданиях Катя, маленькая, потерянная в этом пыльном хаосе.

Каждый вечер за окном над крышами коршуновских домов распахиваются закаты, то золотисто-нежные, как пронизанная солнцем вода в ручье с песчаным дном, то густые, непроницае-

мые, как начавшая темнеть бронза, то свирепо багрянистые, тяжелые, давящие, то бунтующие, с раскаленными вздыбленными тучами.

Что ни вечер, то закат, и каждый раз новый, схожих нет. Но всегда одинаков силуэтный рисунок под этими закатами — две острые крыши, одна повыше, другая пониже, поприземистей, на одной выпирает слуховое окно, на другой торчит короткая труба, меж крышами незатейливое кружево черемуховой листвы да вскинута на высоком шесте скворечник.

И оттого что этот рисунок неизменен, словно оправа в перебивающемся камне, сами разнохарактерные закаты, кажется, имеют одну неуловимую общую черту — бессилие. Они бунтуют, они давят, они ласкают, но каждый вечер те же крыши с трубой и слуховым окном, та же черемуховая листва, тот же на тонком шесте скворечник.

Таковы и мысли Павла Мансурова — то бунтующие, негодующие, то подавленно озлобленные, то отчаянно безнадежные, но общее у них — бессилие.

Прошла неделя с того партийного собрания, где все без исключения ополчились на него. Первые дни после собрания шли заседания пленума, бюро, где снова сыпались упреки на голову Мансурова, где освобождали его из состава бюро, освобождали от работы... Потом Курганов уехал к себе. Разговоры, поднятые собранием, утихли мало-помалу. Временно в кабинет первого секретаря перебралась Зыбина. Она, больше, чем сам Павел Мансуров, напуганная крутым поворотом, всеми силами старалась руководить так, чтоб ее было как можно меньше видно и слышно. По любому поводу и без повода звонила в колхоз «Труженик», спрашивала совета у Игната Гмызина. Она бы даже с удовольствием, если бы только позволили, предоставила ему право ставить подписи под всеми бумагами.

А Павел Мансуров, всеми забытый, сидел дома и ждал, ждал, изнемогал от ожидания, а чего — не знал сам. На улицу он почти не выходил. Как прежде, появиться на улицах села в выутюженном полотняном кителе, с достоинством на лице было уже нельзя, — вслед будут криво усмехаться, шептаться за спиной.

Привык к разъездам, к беспокойной жизни, неделями, случалось, некогда было поесть, а тут сиди — четыре стены, добровольная тюрьма и, что всего страшнее, безделье... Это безделье было страшно тем, что давало разгул мыслям, одна другой мрачней.

Днем валялся на диване, думал до иступления все об одном и том же.

Вечером садился сбоку от окна (чтоб не заметили с улицы излишне любопытные), исподтишка глядел на закаты, на коршуновскую жизнь. Бегали ребятишки по улице, поднимая пыль,

проносились грузовики, шагал из школы прямой, чопорный старик Зеленцов, приподнимая перед встречными шляпу, и никто не замечал притаившегося у оконного косяка Мансурова, никому не было до него дела. Для тех, кто жил за окном, Павел Мансуров умер...

А Павел жил, думал, мучился, тысячу раз переживая свое падение.

Все напали! Даже желторотый Сашка Комелев и тот выступал. Краснел, мялся, заикался на трибуне, а тоже, куда конь с копытом, по-гмызински наскакивал... Подыхающего медведя и телок бодает. А Игнат?.. На Игната у Павла большой злобы нет. Дрались. Что ж, оказался сильнее, сломал хребет ему, Павлу, в честном бою. Но кого Павел ненавидит, так это Курганова. Ох как ненавидит!

Курганов чист как стеклышко. Не он, а Мансуров взял лишку скота в район, не он, а Мансуров начал прижимать председателей колхозов. Не при Курганове, а при Мансурове покончил с собой Федосий Мургин. Не Курганов, а Мансуров зарпортовался со строительством кормоцехов. Кругом виноват он, Павел Мансуров, только он.

Он, Павел, попытался обвинить Курганова — куда там...

Курганов не скрывал своих недостатков, распахнулся перед людьми: «Передоверился! Упустил из поля зрения. Не обратил вовремя должного внимания...» И странно, чем больше он обвинял себя, тем выше росла куча грехов, ошибок, преступлений не на его плечах, нет, на плечах Павла Мансурова.

Ох как ненавидит Павел Курганова! Он опозорен, он затравлен, крест на его будущем, трагедия, горе, которым ни с кем не поделишься, которое надо переваривать в себе. Но он бы чувствовал великую радость, если б мог, падая, схватить за полу Курганова. Сейчас он, Мансуров, убит, месть вдохнула бы жизнь, вызвала бы уважение к себе, помогла бы смотреть людям в глаза.

Но что мечтать попусту. Он, Павел Мансуров, — внизу, Курганов вверху, по-прежнему чист, по-прежнему вне подозрений. Письмо в ЦК?.. Там наверняка приглядятся: а от кого оно? Ах, от Мансурова, райкомовского секретаря, которого народ сам снял с руководства. Подкуп! Клевета!.. Каждый замах по Курганову придется по твоей же без того многострадальной голове, товарищ Мансуров. Бессилен ты. Сиди пока в четырех стенах, прячься за оконным косяком от людей, жди, когда вспомнят для дальнейших ответов или ничтожной милости. Большой же милости ждать уже нечего...

Сегодня закат разгорался медленно и скучно — сухой, желтый, вверху лишь ласкала глаз нежная, прозрачная зелень, в которой дремало крошечное, мутновато-грязное облачко. За окном

на обочине шоссе играли ребятишки. У них поперек толстого полена была перекинута доска, на один край доски укладывалась горсточка щепочек. По доске ударяли ногой, щепочки разлетались в разные стороны. Один из мальчуганов ползал на четвереньках, искал раскиданные щепочки. Остальные прятались — кто за калитку соседнего дома, кто за угол, кто ложился под забор. Пока все были вместе, стоял шум, крик, прятались — наступала тишина...

Павел Мансуров без интереса, с равнодушием следил за игрой, продолжал мучительно думать.

Как он будет жить теперь? Чем ему заниматься? Никакой нет специальности, никому не нужен. Тупик.

Вернулась Анна из школы, где занималась с учениками, оставшимися на осеннюю переэкзаменовку. Осторожно ступая, прошла к столу, положила книги, скрылась в спальне. Оттуда слышалось шуршание одежды. Через минуту в ситцевом халатике так же бесшумно прошла на кухню. Зашумел примус, донесся запах поджаренного лука.

Павел не жаловался Анне, не заводил с ней откровенных разговоров, по-прежнему они больше молчали друг с другом. И все же падение Павла сблизило их. Он сидел дома, не имел возможности никуда выходить, она была рядом с ним. За одно это Павел был уже благодарен ей. Анна не навязывалась с сочувствием, держалась незаметно, всегда была занята своим, что-то читала, что-то шила, что-то делала по хозяйству. Но по сравнению с прошлыми днями у нее появилось чуть приметное внимание и даже некоторая уважительность, не к нему, а, скорее, к его горю, которое она не могла не замечать, которому не могла не сочувствовать.

Вот и сейчас Павел не пошевелился на своем месте, по-прежнему рассеянно глядел на игру детворы, только мысли его чуть-чуть изменились. Но оттого, что изменились, они не стали покойнее...

Ей он нужен... Будет опекать, будет заботиться. Кто знает, придется, может, зависеть от ее внимания, даже от ее заработка квалифицированного педагога. После дерзких желаний, после высоких надежд законодателя человеческих судеб — приживал при жене, которую недавно в душе презирал...

Павел давно уже приглядывался к мальчугану, самому вертлявому и шумному из всей компании, в вылинявшей майке, просторно висевшей на угловатых загорелых плечах, в каком-то колпаке, сползавшем на глаза.

— А ты меня отыскал? Отыскал?.. Хошь, в нос дам! — доносился его высокий голос через закрытое окно.

Павла почему-то притягивал нелепый колпак на голове парнишки, сваливающийся на нос, заставлявший владельца заносчи-

во задирать вверх подбородок. Трудно было разглядеть его издали в вечерних сумерках, но, как казалось Павлу, колпак был кожаный. С какой стати...

— Васька! Васька! — позвал женский голос. — По всему селу ищу, поганца! Иди козу с луга гони! Ночью, что ль, мне ее доить!

Паренек прекратил спор, высморкался, деловито вытер о штаны руку, покорно направился на сердитый голос. Когда он проходил мимо окна, Павел почувствовал, как вдоль спины от шеи к пояснице побежал холодок: «Черт возьми! Что за наваждение!» На голове мальчишки он узнал жалкие остатки кожаного картуза Мургина. Козырек сорван, но потертый сплюснутый верх был так знаком, так памятен, что ошибиться невозможно.

— Пакость какую-то напаялил, побирушник. Скинь сейчас же! Скинь, тебе говорю!

Не фатализм — что тут особенного, если парнишка нашел брошенный Павлом картуз, — не испуг, что могут опознать, что пойдут толки и перетолки, — на это теперь наплевать, — совсем другое встревожило Павла Мансурова. Встревожилась совесть. Она приглушила и острое чувство униженности, и пронзительную обиду, и даже ненависть к Курганову.

Ловчил, пакостил, даже перед собой притворялся, что-де для людской пользы суров и требователен... Блажь! Можно пережить унижение, можно смириться с тем, что будущее не удалось, но постоянно помнить о том, как притворялся, как изворачивался, лгал, лгал, лгал всем, вплоть до себя. Лгал попусту, ничего не добившись, ничего не получив за это! Всю жизнь станешь испытывать неуважение к себе. Всю жизнь. Да будь проклята такая жизнь! Не лучше ли поступить, как Мургин?.. Снять со стены ружье, вставить патрон, заряженный картечью, и оставить потомству не память о великих делах, а историю о трагической кончине да какой-нибудь сувенир, вроде картуза...

За дверью в кухне послышался чей-то незнакомый ломкий басок. Анна заглянула в комнату, сказала виновато и непривычно мягко, как уж давно не говорила с ним:

— Паша, тут пришли... Телефон надо снять.

От всего, что напоминало о прошлых заботах, о беспокойном времени, о власти, осталась одна вещь — телефон, старомодная коробка с ручкой, висящая на стене. Что ж, он уже не районный руководитель, ему некуда звонить, не от кого ждать звонков. Павел неопределенно кивнул головой: «Пусть снимают».

Вошел парень — круглолицый, безусый, в форменной связистской фуражке, с сумкой через плечо. Он, верно, смутно понимал, что бывшему секретарю райкома его появление неприятно, поэтому смущался, от смущения сурово хмурился.

— Аппарат у вас в полной исправности? — спросил он, чтоб показать: я ничего не знаю, меня интересует только техника.

Павел не успел ответить: аппарат, молчавший столько дней, вдруг зазвонил, словно протестовал против того, что его хотят снять с насиженного места.

— Слушаем,— строго ответил связист и тут же протянул трубку Павлу: — Вас просят.

Торопливый, озабоченный голос Зыбиной сообщил:

— Павел Сергеевич, пришла телеграмма за подписью Курганова. Вас вызывают в обком. Срочно...

— Хорошо,— ответил Павел, повесил трубку, кивнул связисту: «Снимай».

В обком так в обком. Теперь бояться нечего.

Он с тупым равнодушием следил, как парень отвинтил розетку, снял аппарат, обнажив свежий, четкий рисунок невыгоревших обоев, обмотал шнур вокруг трубки. Все это, казалось Павлу, делает он вяло, с досадной медлительностью.

Когда связист ушел, Павел старался не оглядываться на то место, где недоуменными тараканьими усиками торчали два откушенных проводка.

19

Кончилось заточение в четырех стенах: дорога от Коршунова до станции Великой, тряский кузов грузовика, тесно забитый колхозниками и леспромхозовскими рабочими, серый денек с ветром, срывающимся с сырых отавных лугов, с мелким дождичком время от времени, незатейливые разговоры о погоде, о поспевающих хлебах, о подрастающей картошке...

Павел Мансуров сразу же почувствовал себя ожившим. Вчерашние мысли показались не такими уж тягостными, положение — не безвыходным, отчаянье — не оправданным, а решение о самоубийстве — глупым и отвратительным.

На станции перед отправкой поезда ему хотелось ходить, двигаться. Усилившийся дождь показался приятным. Павел шагал взад-вперед по дощатому перрону, вымок и чувствовал от этого наслаждение. Он как бы заново открыл для себя, что не стар, здоров, походка упруга, в каждом мускуле тела играет сила.

В вагоне его окружали незнакомые люди. Ни один из них не знал его прошлого. И то, что можно запросто беседовать, как обычный человек с обычными, вызывало у Павла новое, незнакомое прежде удовольствие.

В городе, на вокзале, он взял такси, проезжая по улицам, поглядывал из окна кабинки с независимым видом. Но такси везло его к зданию обкома, близилась встреча с Кургановым, и Павла начинало уже охватывать беспокойство. Хотелось верить, что не все пропало...

Еще вчера Павел твердо знал, что войдет в кабинет к Курганову с высоко поднятой головой, будет разговаривать с ним независимо, на дерзкий упрек ответит дерзостью. Терять нечего — значит, нечего и бояться. Единственное утешение — дать почувствовать ту ненависть, которая душит в последние дни.

Но едва Павел открыл двери и шагнул в знакомый кабинет, огромный, как школьный спортивный зал, с высокими, до потолка, окнами, со столом для заседаний, накрытым красным сукном, длинным и торжественным, как ковровая дорожка царского выхода, увидел в самой глубине человека, по сравнению с масштабами кабинета, стола, высоких окон слишком маленького, как сразу появилась неуверенность, появилась робость. Павлу очень хотелось верить, что не все пропало, а сидящий в противоположном конце кабинета невысокий человек — влиятелен, слишком многое от него зависит. Робость вытеснила ненависть.

Приподняв голову, расправив плечи, упругой походкой, впечатывая каблучки в звонкий паркет, Мансуров подошел к Курганову, с достоинством поздоровался.

— Садитесь, — кивнул Курганов. Он был свежевыбрит, крепкую шею мягко облегал воротник ослепительно чистой рубашки, коричневые веки непроницаемо прикрывали глаза. Руки Курганова, не по плотному телу небольшие, суховатые, листали бумаги.

— Товарищ Мансуров, — поднял Курганов ничего не выражающий взгляд — ни презрения в нем, ни снисходительной доброты, — я считаю, что вы в достаточной степени прочувствовали тот урок, который по заслугам получили...

Павел опустил глаза, чтобы Курганов не увидел в них радости: снова говорят ему об уроках, значит, снова имеют в виду будущее...

— Или, может быть, вы до сих пор считаете себя обиженным, до сих пор надеетесь свалить вину на обком?

— Я виноват. Кругом виноват. Получил свое. Мне тяжело... Больше ничего не могу добавить, Алексей Владимирович, — негромко ответил Павел.

Веки Курганова опустились, и опять по ним нельзя было понять — понравился ли ответ, или просто секретарь обкома прячет досаду, не веря ничему и не сочувствуя.

— Мы могли бы ограничиться обычным: вписать вам выговор, наказать со всей партийной строгостью и отвернуться. Живите как хотите. Могли бы пересадить вас с партийной работы на низовую административную. Но!.. — Курганов возвысил голос и остановился, испытывая терпение Мансурова.

Мансуров с решительно сжатыми губами ждал, что последует за этим «но». Однако с души уже свалился тяжелый груз: ре-

шили не засовывать на низовую работу, значит, «но» кое-что обещает...

— Но легче всего наказать, легче всего отвернуться. Мы же не собираемся действовать облегченными методами. Самая святая обязанность руководителя — бережное отношение к кадрам. Наделали ошибок, наломали дров, хотели вывернуться, свалить свои грехи на обком — пусть-де расхлебывает Курганов... И все-таки мы помним, что вы человек с головой, что вы энергичны, деятельны, надеемся, что эту энергию можно повернуть на полезное для страны дело... Так вот, товарищ Мансуров, обком партии решил не ставить на вас точку, а воспитывать. Мы посылаем вас на учебу в Высшую партийную школу. Но помните: никто не сможет сделать вас настоящим, принципиальным руководителем, если вы сам...

Павел Мансуров слушал, покорно склонив голову. Партийная школа... Лучшего выхода он сам бы не мог придумать. Вряд ли он уже попадет обратно в эту область и наверняка навечно распрощается с коршуновцами. Счастливо им оставаться, нисколько не жаль... Все прекрасно, все как нельзя лучше.

Однако при прощании Курганов не заметил протянутой руки Павла, кивнул холодно и отвернулся.

Отпечатывая по паркету шаги, Павел уносил в душе легкое презрение: «Держит марку. Показывает, что принципиален — личное отношение не мешает быть объективным... Испугался, милый, что молчать не стану, тебя вместе с собой вытащу на чистую воду».

В приемной он неожиданно лицом к лицу столкнулся с Игнатом Гмызиным, ожидавшим приема у Курганова. Павел кивнул Игнату так, как с минуту назад кивал ему самому Курганов — холодно, со скрытым презрением. Игнат в ответ тоже едва пошевелил бритой головой.

«А этот зачем тут? Не на мое ли место сватают? Если так, то славный подарочек. Пусть-ка сам повоюет, вместо того чтоб указывать и одергивать... А Курганов-то, Курганов — спасовал. Неожиданность!..»

Возбужденный, несколько оглушенный удачей, Павел пошел по коридорам обкома оформлять направление на учебу, повторяя про себя одно лишь слово: «Спасовал, спасовал...»

Уже вечером в номере гостиницы, покойно лежа на койке, Павел не спеша, трезво взвешивая все, открыл для себя то, что и при безделье, и при лихорадочных постоянных поисках ни разу не приходило в голову.

Нет, он был не прав — Курганов вовсе не спасовал перед ним. Курганов наверняка знал, что сброшенного секретаря райкома бояться нечего. Понимал, что каждый выпад его, Павла Мансу-

рова, легче повернуть против него же самого. Есть вещи страшнее, чем гнев какого-то обиженного Мансурова.

Он, Павел Мансуров, был не на последнем счету. Анкеты, отзывы, характеристики — все бумаги, что для отдела кадров рассказывают о секретаре райкома Мансурове, — безупречны. На них нет ни одной буквы, порочащей его, ни одна запятая не бросает тень на деятельность партийного руководителя Мансурова. Напротив, все бумаги — характеристики от политотдела армии, характеристики Комелева, когда он, Павел Мансуров, работал еще заведующим отделом, наконец, рекомендации обкома на первого коршуновского секретаря — все в один голос, в одинаковых выражениях сообщают: инициативен, энергичен, вдумчив, политически зрел... А если приедет комиссия ЦК, станет проверять, наткнется на такие характеристики, узнает о том, что он, Мансуров, снят с работы без каких-либо предупреждений, предварительных взысканий, непременно начнут придирааться: «Это что у вас за отношение к кадрам? Почему не воспитываете? Почему бережно не относитесь? Ошибся, не справился? А где вы раньше были, почему не помогли вовремя?..»

А Курганов во всем этом замешан сам, не на кого указать, не на кого сослаться, самому придется краснеть, самому изворачиваться, терпеть упрёки. Самый верный и покойный выход — без шума, не противореча бумагам, отделаться от Мансурова, удобней всего на учебу.

Глуп ты еще, Павел Сергеевич, неопытен. Стоило мучиться, лезть на стенку, отчаиваться вплоть до мыслей о самоубийстве. Забываешь, что есть великая спасительная сила — бумажка с подписями, подшитая в канцелярскую папку. Она сильнее Курганова, она сильнее тебя самого.

А Курганов не только не сможет загородить перед тобой дорогу, он даже позаботится о том, чтобы и в будущем тебе особо не мешали. Не пошлет же в партийную школу с плохой характеристикой, обязательно впишет доброе слово, хоть не от души, не от чистого сердца, но доброе...

И Павел Мансуров, размышляя, не чувствовал ни особой радости, ни особых угрызений совести. Он считал: что радоваться — он же не победитель, чем тут возмущаться — так положено, так заведено, его спасение законно.

Саша вместе с Игнатом Егоровичем ездил в город, побывал в институте, побегал по разным хозяйственным организациям, прощупывая — нельзя ли достать водопроводные трубы, насосы, электрооборудование. Игнат же все эти дни не выходил из обкома.

Уже ночью, перед тем как сесть на поезд, Саша узнал, что Игната Егоровича обком рекомендует на место первого секретаря. Член бюро, пользуется авторитетом, учится в институте — по всем статьям подходит.

Новость большая, а для колхоза «Труженик» — особенное событие, причем не очень-то радостное. Шутка сказать — остаться без такого председателя.

Саша надеялся, что всю ночь до самой станции Великой будет не до сна, не хватит времени все обсудить, обо всем переговорить. Но Игнат Егорович был молчалив, озабочен, даже сумрачен. Он взобрался на верхнюю полку, бросил Саше, выжидательно следившему за каждым его движением: «Спать, братец, спать. Утро вечера мудренее». Поворочался со вздохами и кряхтением, затих — то ли уснул, то ли задумался под стук колес.

Разговорились они уже по дороге в Коршуново, в кузове трехтонки, груженной плитами подсолнечного жмыха.

Который день без устали сыпал дождь (совсем некстати — самая пора уборки). Под низким, без просвета серым небом проползали мокрые, зеленеющиеся темной отавой луга, поля с начавшими уже лежать хлебами, кусты с расквашенной от сырости листвой — все кругом выглядело уныло — казалось, устало от дождя.

Саша и Игнат лежали на твердых, как камни, плитах жмыха, накрывшись одним брезентовым плащом. Игнат сообщил:

— Мансурова-то обком на учебу посылает.

— Слышал краем уха. Как же так получается?

— Вот так. Пообчистят, наведут глянец на старый сапог, скажут: шагай дальше. И он с документами школы пойдет шагать смелей. Ему ли будет оглядываться, когда так легко с рук сходит. Считай: из райкомовского стула он теперь вылез, после партшколы повышение ждет.

— Почему так, почему? Курганов же был у нас, сам выступал против Мансурова...

Игнат Егорович не ответил. Он лежал, положив на руки подбородок; натянув на глаза кепку, уставился из-под козырька вдаль, в мутновато-синие леса.

— Не враг же людям Курганов, — повторил Саша.

— Нет, людям не враг, а себе тем более...

Машину бросало на ухабах. Тяжелый Гмызин лежал не шевелясь, словно прирос к твердым, прикрытым брезентом плитам жмыха. Саша же вцепился рукой в борт, морщился от ударов.

— Значит, ты уйдешь из колхоза? — заговорил Саша, когда дорога выправилась, машина пошла ровнее, а ветер с прежним упрямством заполоскал концом брезента.

— Не хотелось бы. Ой как не хотелось. Невеселое дело ждет. Зима на носу, скотные дворы не отремонтированы — золотое вре-

мя съела возня с кормоцехами. Кормов по-прежнему не густо, а скота прибавилось, да еще племенного. Мансуров заварил кашу, расхлебывать придется мне. С него-то взятки гладки, будет жить в городе, слушать лекции о диалектическом развитии. Курганов, чтоб положение выправить, каждую мелочь на прицел возьмет. Попробуй тогда ему напомнить, что чужая беда на шее висит, живо обрежет — взялся за гуж...

— А ты откажись, Егорыч. Будем жить в колхозе, разворачивать хозяйство.

— Жить в колхозе?.. А за секретаря посадят Зыбину или пришлют постороннего, которому не жарко и не холодно от коршуновских забот. Нет, брат Саша, это опять робеть за свою шкуру. Не дело.

Машина ворвалась в небольшую придорожную деревеньку: замелькали крыши, окна с белыми наличниками, шатровые калитки, брызнули с дороги куры, выкатилась с лаем собака. Игнат ворочался, никак не мог по-прежнему удобно пристроиться. Деревня осталась позади, потянулись мокрые хлеба, склонившиеся с обеих сторон к булыжной дороге...

— А председателем у нас кто ж теперь будет? — спросил Саша.

— Вот это-то больше всего и расстраивает. Что тантятся, мечтал тебя на замену вырастить. Думал: придет пора, будет сидеть дряхлый дед Игнат на завалинке — сыт, на пенсии, душой покоен: не зря парня обхаживал, покруче моего ворочает. А вон как получается... Не успел...

Игнат на минуту задумался, неожиданно, с оживлением повернулся к Саше:

— Не слыхал про такую председательницу — Зязина, из Вологодской области?..

— Может, и слыхал, да в память не запало.

— Ее выбрали в председатели, когда девке едва девятнадцать лет минуло. Колхоз до нее был аховый, хозяйство на честном слове держалось, институты она сама не нюхала, а ведь вытянула колхоз, сама в люди вышла, депутат, орденоноска, районное начальство перед ней потрухивает... Ладно, пожием — увидим. Что еще люди скажут... Не успел...

Игнат сошел у отворотки на Новое Раменье. Саша поехал дальше, в Коршуново, к матери.

Пусть недолгим было расставание с родным селом — не годы, всего несколько дней. Но невелика пока и Сашина жизнь, не успел еще привыкнуть к отъездам, всякое возвращение ему — в новинку. Может, в будущем перестанет так радостно и тревожно сжиматься сердце, когда впереди, в конце дороги, выползу

из-за земли первые крыши коршуновских домов. Может, станет он встречать их скучающим взглядом... Все может быть, но пока не настало то время.

Перед самым въездом в село, словно величественный страж, поднималась на крутом взлобке старая сосна.

Шофер весело гнал машину. Сашу подбрасывало в кузове. Все ближе, все отчетливее видны ее старые ветви, распластавшиеся над пригорком.

Навстречу из Коршунова выкатился грузовик. Обе машины, не доезжая друг до друга, сбавили скорость, поравнялись, остановились: кабинка к кабинке.

Меж шоферами своя дружба, свои знакомства и свои новости, которые не терпится выложить. Из одной кабинки в другую пропутешествовала пачка папирос, в сыром воздухе запахло табачным дымком.

Кузов соседней машины был набит пассажирами. Саша, распрямившийся, ощупывая избитое на каменных плитах подсолнечного жмыха тело, неожиданно увидел прямо перед собой Катю. Она сидела возле большого чемодана, бережно держала на коленях авоську, на голове теплый платок, знакомое Саше синее пальто по-дорожному застегнуто на все пуговицы. На лице у нее, чуть изменившемся с последней их встречи, непривычная отчужденность и замкнутость.

Они были рядом; молчать, отвернуться неудобно. Саша спросил:

- Ты куда?
- Уезжаю. Совсем.
- А куда?
- Далеко.
- Куда же?
- В Казахстан.
- Зачем это?
- По путевке райкома комсомола.

Те же сросшиеся чуть приметным темным пушком брови над переносицей, глаза же стали серьезнее, холоднее, в губах нет прежней мягкости, что-то взрослое, бабье, горькое появилось в суховатом складе рта. Саша без этого догадывался — нелегко ей жилось последнее время. Бежит. Может, сойти, поговорить не на людях, не наспех?..

Но шофер Катиной машины утонул в глубине кабинки, хрустнули шестерни передач. Катя аккуратно подобрала полы пальто под авоськой, приготовилась к толчку, кивнула Саше головой. И в эту последнюю секунду Саша заметил, как растерянно и жалобно дрогнул ее взгляд, твердо сжатые губы разошлись. Ей тоже хотелось, чтоб шоферы не так быстро расстались.

Машины торопливо разбежались каждая в свою сторону. Саша с опозданием махнул Кате рукой.

Где-то в незнакомом Казахстане начнет она искать свое счастье, устраивать свою жизнь. И в этом счастье, в ее жизни он, Саша, будет таким же далеким, как село Коршуново для Казахстана. Не на месяц, не на год, даже не на многие годы — навсегда расстанутся.

Саша, редко вспоминаявший в последние недели о Кате, вдруг почувствовал сейчас, как сдавило горло, заняло в груди. Немедленно соскочить, броситься вслед, кричать, звать, звать с отчаянием!..

Но Катина машина скрылась за поворотом. Проплыла мимо сосна, заломившая в серое небо костистые ветви. Могучая в старости, она продолжала жить своей жизнью, чуть-чуть шевелила мокрой хвоей на верхушке...

# КОНЧИНА

---

## ПОВЕСТЬ

Дом отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа, — в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна.

Хозяин, который строил этот дом, по-мужицки считал — красиво то, что вечно. Ему самому вечность была не суждена. Сейчас он умирал в этом доме.

Умирал Лыков Евлампий Никитич, знаменитый человек по области, председатель колхоза «Власть труда».

Он был не так уж и стар — на шестьдесят третьем.

Вылезая из машины у скотного на Доровищах, он рухнул на талый мартовский снежок — перекосило рот, тихо мычал, непослушное веко затянуло левый глаз.

Шофер Леха Шаблов провез его по тряской дороге шесть километров, на руках внес в дом. Спешно вызванный главврач районной больницы объявил: «Не транспортабелен».

На следующее утро на лугу за рекой приземлился самолет — из областного города прилетел профессор. Он каких-нибудь полчаса пробыл у постели больного да еще полчаса беседовал с районным начальством — улетел обратно.

И тут-то разнеслась весть — умирает.

Со всех концов большого колхоза — из самого села Пожары, из Доровищ, из Петраковской — потянулись доброхоты под окна лыковского дома. Каждому ясно — жди перемен.

Стояли кучкой у крыльца, смотрели издали, беседовали, внутрь не совались. За дверью днюет и ночует верный Леха Шаблов, у Лехи рука тяжелая...

Волоча из последних сил подшитые валенки, опираясь на деревянную клюку, с хрипотой и клекотом дыша, пришел старик — потертый треух упал на глаза, полушубок гнет к земле, мотня штанов висит у колен. Он приступом взял крыльцо, ступенька за ступенькой, попробовал открыть запертую дверь, не сумел и обессиленно сел, сразу же впал в дремоту.

В кучке толкущихся доброхотов он вызвал острый интерес:

— Это чтой за моща? Не Альки ли Студенкиной свекор?

— Он и есть! Лет пять не вылезал за порог.

— Эй, дедко Матвей! Ты ль это?

Дед разлепил веки, повел хрящеватым носом:

— Ай?

— Он самый! Что тебя с печки стряхнуло, Жеребый?

— Пийко-то... А?.. Сказывают: помирает.

Кто-то не выдержал, подпустил:

— Не в компанию ль пришел напрашиваться?

— Пийко-то... А?.. Я вот жив.

И все острословы вспомнили — «вечный председатель» при смерти, какие тут шуточки, — разглядывали старика недоброжелательно: ввел в грех.

А тот сидел: из-под облезлого треуха — крючковатый нос, на сизом кончике мутная капля, деревянная клюка поставлена между большими валенками, на клюке отдыхают руки — крупные окаменевшие мослы вдеты в слишком просторную, морщинисто-жесткую кожу. Сидит старый Матвей, глаз не видно из-под шапки — может, спит, может, думает...

Заставив потесниться людей, подкатил «газик». Проворно выскочил из него заместитель Лыкова — Валерий Николаевич Чистых, долговязый, без углов человек — покатые плечи, маленькая голова, болтающиеся бескостные руки. Он почтительно принял костыли, помог вылезть наружу неуклюжему, грузному человеку. И пока тот утверждался на костылях, Чистых суетливо крутился в своем длинном, узком — что плечи, что талия — пальто, гибкий, как лоза под ветром.

У грузного гостя под мерлушковой шапкой старчески отечное, восковое лицо домоседа. Ноги, обутые в белые чесанки, не повиновались. Налегая на костыли, привычно выкидывая белые чесанки, брезгливо касаясь ими несвежего, затоптанного снега, гость направился к крыльцу и остановился...

На крыльце сидел старик Матвей — дремал или думал, — загораживал путь.

И Чистых налетел, словно хорек на ворону:

— Ты что тут расселся?.. Эй, как тебя?! Слышишь, марш отсюда!

Старик очнулся, запрокинул голову, взглянул на белый свет из-под треуха и стал с натугой подыматься.

— Давай, давай, шевелись! Торчат тут всякие... Остороженько, Иван Иванович. Скользко тут, не оступитесь... Ах ты господи! Да не путайся ты, старик, под ногами!

Приехал главный бухгалтер колхоза, соратник Евлампия Лыкова и вторая фигура после знаменитого председателя на селе.

Дверь, до сих пор непроницаемо захлопнутая, распахнулась. На пороге вырос Леха Шаблов — шевелюра выше косяка, красные, лопатами лапищи на весу, в них услужливая готовность: «Только разрешите, внесу на ручках». И внес бы в одной охапке толстого бухгалтера с костылями и длинного, тощего Чистых.

Но Иван Иванович, усердно сопя, сам одолел последнюю ступеньку.

У крыльца, опираясь дрожащими руками на клюку, стоял дед Матвей — в серой свалывшейся шерстке провал беззубого рта, из-под шапки потухший взгляд в широкую, пухлую спину, воющую с костылями.

Иван Иванович перевел дух у дверей, оглянулся назад, на нелегкий для него путь в десяток шагов и пять ступенек, встретился с потухшим взглядом из-под облезлого треуха.

— Эге! Да это же он, — удивился бухгалтер.

— Торчат тут всякие...

— Старый ворон на запах мертвечины...

Деду Матвею, должно быть, стало неловко под взглядами начальства, взиравшего с крыльца, да и стоять не под силу, и сесть снова на ступеньку уже не смел, потому, вяло поправив шапку, повернулся и побрел, с натугой волоча тяжелые валенки, налегая на клюку.

Иван Иванович, расслабленно повиснув на костылях, глядел вслед старику — горбом топорщащийся потертый кожушок, мотная штанов, нависающая над коленками.

Чистых и дюжий Леха Шаблов недоуменно переглядывались друг с другом — чтой это с Иваном Ивановичем, эк диковинку узрел?..

Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. Для Чистых, для Шаблова, почти для всех в селе Пожары первый и единственный пророк — Лыков Евлампий, тот, кто сейчас лежит за стеной. Но самым-то первым колхозным пророком был не Лыков, а дед Матвей. Это помнили немногие. Помнил бухгалтер Иван Слегов.

## МАТВЕЙ СТУДЕНКИН — РОДОНАЧАЛЬНИК

Привычно для России: шел солдат с фронта... Шел неспешно и споро, куличьим шагом.

Наверно, он был последний в округе солдат с войны — как-никак стояла осень 1925-го! Все остальные или давно вернулись, или сложили кости в чужих краях. Добирался издалека, с берегов Тихого океана. Сейчас последние шаги — хилые ели да голые березки, и впереди поворот, а там покажутся знакомые крыши... Дома давно устала ждать жена — помнил, как звать, да забыл, как выглядит, — и еще сынишка, родившийся в тот год, когда ушел воевать.

Сзади слышался звон бубенцов. Оглянулся, пришлось поосторониться — на рысях шла серая пара. Лошади — что близнецы, шеи дугой, крупы в яблоках — лебеди, а не кони! — сбруя с кистями и медными бляхами, спицы и ступицы легкой ковровки крашены ясным суриком. Прошли мимо, обдало конским потным теплом, сверху на помятого, отощавшего за долгий путь солдата глянули серые глаза с румяного лица. И вдруг руки натянули вожжи, осадили коней:

— Тпр-ру-у!.. Эй! Никак Матвей Студенкин?..

Матвей подошел куличьим шагом, отставил в сторону ногу в тугой обмотке, сощурился, как прицелился:

— Не ошибся... А вот ты из каких-таких бар? Что-то не припомню.

— Ивана Слегова помнишь?

— Ваньку-то... Считай, соседи.

— Так я сын его, тоже Иван.

— В гимназиях который?..

— Вот-вот. Садись, подвезу.

А в пролетке сидит молодая бабенка, черные брови из-под цветастой шали, расфуфырена и одеколоном пахнет.

— Женка, что ли?

— Ее тоже знать должен — Антипа Рыжова дочь... Подвинься, Марусь, дай сесть человеку.

— Н-да-а... — Оглядел с откровенной недобротой обоих, но влез, не смущаясь, что может помять городскую юбку у бабы, удобно устроился.

— Что поздно?

— Дела держали, очищал землю от контры.

— Как — очистил?

— Там, где был, — без меня доскребут. В Охотске генерала Пепеляева застукали. Из генералов-то последний... Сюда бы раньше, да болел вот шибко в дороге, по лазаретам валялся.

Длгая дорога получилась — два года ехал. Теперь — все, приплыл.

— Чем займешься?

— Тем же самым, буду контру стричь.

— Генералов в наших краях не водится.

— Зато вижу: мелкой сволочи наплодилось.

Иван Слегов-младший усмехнулся, поднялся, крутанул над лошадиными крупами вожжами:

— И-эх! Серы кролики! Над-дай!.. Еще одного судью в село везем!

И когда кони наддали, Иван снова обернулся, оскалив крепкие зубы:

— Судей теперь у нас много, вот хлеборобов настоящих крутая недостача.

Прогнал по селу, не дал даже учуять святой момент, когда заносишь ногу в родные палестины, осадил перед крепким домом с белыми наличниками, на задах которого громоздилось еще новое, не обдутое ветрами строение — конюшня не конюшня, коровник не коровник, — сказал:

— Слезай, ваша честь... Тут я живу. В гости особо не зову, уж извини. Что поп, что судья — гость скушный, любят проповеди.

— Обожди, может, приду гостем, — пообещал на прощание Матвей.

Дал повисеть на себе жене — баба она и есть баба, пусть на радостях слезу пустит.

Через ее плечо увидел: возле лавки стоит он — длинная грязная рубаха, короткие холщовые порточки, сизые босые ноги, похож на маленького старичка, отошавшего от долгих постов.

Отстранил жену, шагнул тяжело навстречу. Из-под нестриженных косм — замирающий от робости взгляд. И через прозрачные, с нерасплесканной детской тревогой глаза словно бы сам увидел себя со стороны — грязен, мят, устрашающе щетинист, от такого отца шарахнешься в сторону. Но сынишка только всем телом вздрогнул, когда отец положил на его плечи руки.

— Сенька-а...

Сквозь рубаху — легкая связь тонких косточек, хрупкая плоть.

— Сенька-а... Сы-ын...

Знал, что ему должно исполниться скоро десять, знал, что не люлечный, но как-то не представлял — человек уже, со своим страданием, и не шуточным, считайся. Запершило в горле, глаза зажгло едкой слезой, но плакать, видать, разучился.

Тут бы подарок вынуть, но где уж -- после Красноярска и вещевой мешок загнал, налегке ехал, пытался по бумажке, выбивал харч у несердобольного начальства. Вздохнул, опустил плечи:

— Ты того...

Хотел сказать, что не тужи о подарке, я тебе, парень, жизнь новую привез, да постеснялся — поймет ли?..

Жена ахала:

— Ну-тка, как снег на голову. В доме-то одна квашеная капуста. Хоть щей бы сварила.

И верно, дом большой, отцовский, со старой копотью по бревнам — в нем голо и пусто, только на божнице старорежимные (тоже под густой копотью) иконы, которые надо будет, не откладывая надолго, снять и выбросить. На холодном шестке голодная кошка лазает по порожним корчажкам. И вид у жены под стать — высока, широка в кости, доброго мужика из нее можно выкроить, но эта широкая, как у старого, с запалом мерина, кость слишком наглядно выпирает из-под ветхой до прозрачности кофтенки, и плоское лицо в нездоровую зелень. Ясно, обстановочка не мелкобуржуазная.

— Сойдет, — успокоил он жену, — не жиреть приехал. Капуста так капуста — тащи и сама садись, буду задавать наводящие вопросы.

Жена собрала на стол, как приказано, села напротив — в глазах счастливо-слезливый блеск, даже румянец прокрался на увядшие щеки. Сын в сторонке, смотрит диковато и заворужено, привыкает к незнакомому отцу. А тот ел хлеб, который покалывал небо мякиной, выуживал из миски капусту с запашком, косил глазом на сына, разузнавал об Иване Слегове.

— Он ведь чудно разбогател, — докладывала жена. — Он лошадь на поросенка сменял, с того и пошла у него прибыль...

— Как это — лошадь на поросенка? — Матвей многое повидал, удивляться разучился, а тут удивился. Даже ему, оторвавшемуся от села, была известна немудреная мужицкая заповедь: ценней лошади только твоя жизнь и не всегда-то жены, — при доброй лошади новую жену найдешь.

— Уж народ-то смеялся, уж все-то тогда потешались... Ну-ко, хряка молоденького выменял. И поди ж ты, не прогадал. Сказывают, книги такие есть... А сам знаешь, Ванька Слегов к книгам сызмала привык. Отец потакал, со старухой на картошке да на квасе сидел, а сына единственного в гимназию сунул. Сказывают, по книгам Ванька и дошел, что ежели разыскать какого-то там английского хряка да свести с нашей свиньей, то приплод получится на отличку.

— Англицкий, не наш?.. Так-то, поди, мировая буржуазия и подсовывает нам свинью — хочет заново расплодить богатеев в пролетарской стране.

— Уж, право, не знаю, кто там... Но у Ваньки ловко получилось: за два года стадо набрал, а свиньи-то — что тебе чувалы,

вот-вот лопнут, каждая брюхом землю гладит. Все-то на продажу везли, кто рожь, кто овес, а Ванюха — мясо. За мясо-то погуще платят, так что быстро перьями оброс: свилярник сколотил, хоть сам живи, а коней каких купил...

— Коней его видел. Агент империализма этот ваш Ванька.

— А ведь смеялись-то как люди. То-то смешки...

— Им бы плакать надо — буржуй под боком, как поганый гриб, растет.

— Ты на него зря серчаешь, он ничего, обходительный и в помощи не откажет.

— В молодости-то и волк молочко пьет.

За дверями раздались шаркающие шаги и стук тяжелой палки.

Жена Матвея встрепенулась:

— Ох, господи! Афанас Саввич идет! А что ему подать, не капусты же жмению...

Дверь распахнулась, на пороге вырос плоский, как сама дверь, старик с холщовой сумой на плече и сквозной апостольской бородой, рассыпанной по груди. Переложив из правой руки в левую суковатую палку, он степенно перекрестился в угол на еще не снятые иконы, суровым голосом потребовал:

— На пропитание, Христа ради.

Матвей проворно вскочил, выставив обтянутую обмоткой ногу, тонкую, как голень болотной птицы, сощурил глаз. В степенном старике с нищенской сумой он признал Афанасия Тулупова, самого богатого мужика не только по селу, но и в округе. Когда Матвей уходил в армию, Тулупов имел больше ста десятин земли, маслобойку, мельницу, широко торговал кожами. В сапогах из тулуповской кожи люди топтали дороги к Вятке, к Вологде, к Архангельску.

— Тэк, тэк... К пролетариату пришел?

— На пропитание, Христа ради.

— Тэк, тэк, Христа ради... Обличье-то новое, а песни у тебя, Афанас, старые. Нет, ты повинись передо мной: я, мол, бывший мироед и эксплуататор, прошу кусок хлеба у своего батрака Матвея Васильевича Студенкина. Тогда я, может, тобой не побрезгую, за стол посажу.

Старик, как в стенку, глянул мутными глазами в Матвея, стоявшего перед ним фертом, еще раз не спеша перекрестился:

— Бог тебя простит.

Взыграло ли прежнее, спесивое, или разглядел, что после Матвея за стол садиться нечего — хлеб с мякиной щедрый хозяин сам умял, осталась-то капустака... Повернулся и, согнувшись в низких дверях, вышел.

— Эвон, как обернулось, — вздохнула жена, — он и перед нами христарадничает. Светопреставление.

— Дура ты несознательная. Богатого с сумой по миру пусти-ли. Радуйся.

Давно уже в селе Пожары разделили тулуповскую землю. А земля не хлеб, ее трудно делить поровну — тебе кус, мне кус. Тебе попался черноземный клин на вылоге, мне — чистый песочек на припеке, ты доволен, а я — нет!

С революции в Пожарах тянулась глухая война, подзатихла было с подразверсткой, да опять вспыхнула. Большая семья Тулуповых давно распозлась, остался лишь сам старик Афана-сий, ходил под окнами:

— Христа ради, на пропитание.

И вот в спорах да дразгах раздался трезвый голос вернув-шегося Матвея:

— Ставлю два вопроса, и оба ребром. Первый: запретить по-минать Христа как имя старорежимное. Всех кусошников, какие сейчас Христовым именем под окнами просят, предлагаю гнать в шею. Во-вторых, заявляю вам: несознательная стихия вы! Ту-лупова распотрошили, а сами?.. Каждый из вас в нутре мироед Тулупов, только кишкой потоньше. Вот лично я, как осознавший и презревший всю гнусную суть частной собственности, не хочу для себя тулуповской земли! Я за то, чтоб не делить ее вовсе, чтоб сообща ее пахать, сеять, урожаи сымать. Чтоб одной се-мьей — коммунией! Да здравствует, дорогие товарищи, братство да равенство!..

Мужики, поносившие друг друга, тут дружно ухмылялись — блажит Мотья, мало ли в последнее время с ума сходят.

Но должны бы знать эти мужики — коль один петух вскинет-ся, то и другие отзовутся. Скажем, кому-то отрежут от тулупов-ского каравая жирный ломоть, а укусить его нечем — нет ни ло-шади, ни плуга, ни обрати, ни семян. Таких беззубых по селу оказалось немало. Беззубые, но не безголосые:

— Не жела-им своей земли! Артельно чтоб!

Ишь ты — «не желаим», тоже гордые — смех и грех.

Мотья Студенкин в свободное от митингов время занимал-ся безобидным баловством, сидел на крылечке, строгал ножиком из досок ружья. Вся пожарская ребятня, как пчелы у ведра с патокой, кружились возле него. Он им и сопли утирал, и судил, если поссорятся, снабжал всех без отлички деревянными ружья-ми и свистульками.

— Эх, мокроносовые, счастье вам — в самое время родились. Пока доспеете, глядишь, последнего буржуя в мире, как вошь, придавим. Богатство поровну всем, чтоб ни один человек на све-те с голой задницей не ходил — у всех штаны одинаковые. Ни зависти в мире, ни злобы, ни забот тебе, чтоб деньгу зашибить, — красота, а не жизнь у вас впереди, ребятки. Может, и мы на старости лет успеем того хлебнуть.

А изба у него кособочилась, прясла изгороди попадали, жена одна, как прежде, убивалась по хозяйству.

Мотыка баловался с детишками, а вокруг его имени собиралась бедняцкая голосистая вольница, для них все — трын-трава, терять нечего. Степенные мужики продолжали посмеиваться:

— Не разберешь, где стар, где мал. Кам-па-ния!..

Но вдруг пожарский мир притих от удивления. На сторону Мотыкиной вольницы встал Ванюха Слегов.

Шло обычное собрание в тулуповском доме, давно уже ставшем сельсоветом. Обычное собрание, где крикливые ораторы дубасили себя кулаками в грудь, с визгливыми бабьими криками из задворок людной горницы, с солеными шуточками парней, с густым угаром от самосада.

Тут-то и вышел Иван Слегов. Он вышел к столу, и все притихли, знали — этот пустое брехать не будет. Из молодых, да ранний, на сажень под землю видит.

Иван Слегов начал с байки:

— Бежит свора собак за зайцем. Какая быстрее да сноровистей — хватает, а другие чужой удачи не терпят, на счастливую да на удачливую скопом наваливаются. Зайца — в клочья, никто не сыт, зато все покусаны... Не напоминают ли, мужики, эти собачьи порядки нашу жизнь? Каждый старается урвать для себя, покусать другого. Не пора ли жить иначе, не по-собачьи — по-человечьи, с умом, сообщая, чтоб не было обиженных...

Он говорил, а его разглядывали: полушубочек, стянутый в талии, брюки добротного сукна вправлены в бурки с отворотами, желтой кожей обшитые. Таких бурок ни у кого не отыщешь — не деревенской выделки. «Не было обиженных...» А сам-то не обижен ни богом, ни людьми, сам-то из тех быстрых да сноровистых, какие первыми зайца хватают да еще примеряются, чтобы пожирней какой. Слушали его в немом недоверии, когда зазывал объединять все хозяйства в одно единое.

Может, слова Ванюхи Слегова не понравились какому-нибудь Петру Гнилову, у кого на дворе тоже пара коней, овцы, свиньи, три молочные коровы, — не расчет ему брататься. Петру Гнилову не понравилось, но еще больше пришлось не по душе Матвею Студенкину, — неспроста кулак рвется в коммунию, держи на мушке, зри сквозь прорезь.

Матвей кривить душой не любил, решил выяснить напрямую:

— Ну-ка, по совести, чего тебя к нам потянуло?

— Масштабы, — ответил Слегов.

— Это чтой за штуковина? — Матвей книг не читал, слов мудреных не знал.

— Простор, чтоб развернуться.

— Эво-он что! Развернуться тебе нужно?.. А дадим ли?

Иван Слегов отступил на шаг, расправил плечи:

— А ну, Матвей, погляди...

— Гляжу.

— На меня повнимательней погляди, не стесняйся, с ног до головы обозрей.

И Матвей долго и хмуро разглядывал Ивана: красив сукин сын, рожа румяная, глаз серый с блеском, из-под мерлушковой шапки с кожаным верхом русая прядь на гладком лбу, из-под ладного полушубка брюки тонкого сукна, и эти бурки — генералу надеть не совестно. Сам Матвей, в неизносимой короткой шинелишке, обдутой ветрами Тихого океана, в старых, с чужих ног валенках, сменивших разбитые армейские ботинки с обмотками, с небритым, изрезанным морщинами лицом, почувствовал себя таким жалким, хоть возьми да запой голосом Афанаса Тулупова: «На пропитание, Христа ради!»

Матвей сглотнул комок в горле, пошевелил скрюченными пальцами:

— Картинка. Жалею — трехлинейки не захватил.

— Тебя жизнь одному научила — из трехлинейки стрелять. А пулей, Матвей, жизнь не построишь.

— Значит, сложи оружие?

— Значит, жизнь устраивай. Пора! Я себя устроил, хочу устроить других, да так, чтоб все выглядели, как я, даже лучше. Все, и ты тоже.

Матвей криво усмехнулся небритой физиономией:

— Валяй. Нам до поры до времени попутчики нужны. Но помни, Ванька, я палец-то на крючке держу.

— Попутчиком под твоей трехлинейкой?

— А то как же.

— Выходит, воевал ты, воевал, да так ничего и не изменил.

— А по-моему, переменялось. Иль не замечаешь?

— Да ведь о прежнем мечтаешь: один с трехлинейкой, другой с сохой, один барин-господин, другой раб. Шубу изнанкой вывернуть — она лучше не станет.

— Ты-то чего бы хотел?

— Одного — чтоб ты в сторонку отошел. А то поведешь вперед да заблудишься, на старое место попадешь.

— В сторонку?.. Не выгорит!

— Поживем — увидим.

— Поживем — увидим, — согласился Матвей.

Иван Слегов сказал слово и продолжал жить, как и жил, — тянул с женой свое большое хозяйство, выезжал на серой паре, вечерами жег керосин, читал книги.

А Мотыка Студенкин отложил нож, которым строгал балясины для забавы пожарной ребятни, натянул фронтовую шинелишку и своим куличьим шагом двинулся в город Вохрово. Без робости он вваливался в кабинеты районного начальства, наседал напористо, чуть не брал за грудки:

— Вы что это, так вашу перетак, не чешетесь? Беднякам в Пожарах продыху нет!.. Мировой революции задержка на нашем участке!..

Не Иван Слегов, а Матвей Студенкин выколол из властей бумагу:

«Земельные угодья старорежимного кулака-эксплуататора Тулупова с этого года и навсегда подушному разделу не принадлежат, а цедиком и полностью отдаются в руки беднейших крестьян села Пожары, которые объединяются в сельскую коммуны и начинают на практике коммунизм, предсказанный великим вождем мирового пролетариата Карлом Марксом».

Землю делили раз в четыре года, подошел срок. И вот, бумага по всем правилам — с лиловой печатью и подписями. Умойся, кто ждал себе тулуповской землицы. Повоевали, и хватит — ничья, неделима.

Не Иван Слегов, а Матвей созвал голытьбу на первое собрание коммунаров, сел на председательское место, заявил: «Выбирай, народ, народного вожака!»

Выбирать?.. Да ясно же — Матвей заводила. Матвей достал бумагу, он уже сидит за столом, чего там долго тень на плетень наводить, поднять руки, и шабаш.

Но и на ясном солнышке бывают пятна, а в любом стаде коза с норовом.

— Сомненьице есть!

Одна-единственная рука над шапками и бабьими платками.

— Кто там еще?.. Э-э, Пийко... Ну что ж, давай.

Пробился к столу Пийко Лыков, один из заговевших в холостяжничестве парней — лет под тридцать, невысок, крепко сбит, голова затылком растет из широких плеч, голубые глазки ласково жмурятся, как у кошки, которую гладят. Пийко — из невозможных, живет у брата, ходит по деревням, «растирает» бревна на тес, кой-какой заработок имеет, даже старшего брата с выводком подкармливает, а в коммуны принести — только пару рабочих рук, не больше того.

И еще на одно Пийко мастак — может против шерстки погладить, что и не заметишь. Сейчас в его голосе медок:

— Матвей Васильевич — человек заслуженный. Кто Колчака бил? Матвей Студенкин! Кто с японцами воевал? Матвей Студенкин! Спросите меня, кого я больше всех уважаю, — Матвея Студенкина! По моему-то разумению, мы, может, тебе, Матвей Васильевич, памятник должны поставить. Ты же что сделал?

На новый путь нас толкнул! Не-ет! Памятник для внуков — вот, мол, с кого началось... Но уж не будь в обиде, Матвей Васильевич, за неуважение не сочти, а распоряжаться хозяйством я бы пригласил Ивана Слегова. Заслуг у него ровно никаких, до памятника не дорос, а вот хозяйская хватка есть. Сметлив и удачлив — все видим... Служил он себе, а теперь пусть людям послужит... под нашим доглядом, не иначе. А в первую очередь, само собой, станет за ним доглядывать Матвей Васильевич. Уж старому боевому орлу с высоты будет видней — верный ли курс берет Слегов или неверный...

Высказался, развел с улыбочкой короткие руки — мол, не судите строго, ежели что не так, — и Матвею Студенкину покивал вросшей в плечи головой: не изволь гневаться.

Матвей, однако, не клюнул на обещание Пийко Лыкова поставить памятник. Он сам себе объявил слово:

— Эх вы, простаки, простаки! Легко же таких Пийко на кривой объехать. Чутья классового не на понюшку! Как нынче ты живешь, Пийко? Слегов-то наверху, ты где-то у него под коленками. И не дивно ли тебе, Пийко Лыков, что Ванька Слегов к тебе вниз полез? Почему бы это ему, богатенькому, братства да равенства захотелось? А потому, проста душа, чтоб крепче тебя оседлать, снова наверх выскочить — работай, я покомандую! Братство!.. По селу головы ломают: мол, коней, свиней, коров своих — все отдает. Задаром, от доброго сердца? Ой нет, ставка-то не мала, но и выигрыш велик. За коней и свиней он силу получить хочет над нами, над деревенскими пролетариями.

Матвей помахивал сухим кулаком, с каждым словом словно гвоздь вбивал, а в толпе слышались одобрительные вздохи. Кто про себя не гадал да не носил подозрение: «Неспроста отдает хозяйство...» Теперь ясно: «Ох и ловок! Но шалишь, поплела петли лисичка, да нарвалась-таки...»

Иван Слегов сидел тут же, в первом ряду, на видном месте — полушубок распахнут, полотняная рубашка перехвачена шелковым пояском, нога перекинута на ногу, лицо спокойное, слушает, не сводит глаз с Матвея, словно речь идет не о нем.

А Матвей продолжал:

— Идет к нам — иди! Любой иди! Запрету нет, но иди на равных, не цель оседлать нас. Сдай коней, свиней, будь таким, как все, пролетарием. Только вот беда, захочешь ли? Хитрость-то твою раскусили. У меня все, граждане-товарищи. Выложил. А вы судите.

И с ходу поднялись судить:

- Пусть-ко теперь Слегов скажет!
- Вер-на! Поделись-ка, Ванька, мыслей!
- Перед миром-то не отвертись!
- Валяй лучше начистую!

Иван встал, все смолкли. Ждали — скажет сейчас: «Да ну вас к чертям собачьим! Велика ли мне корысть с вас!» Поди, и прав будет. Но он, повернувшись спиной к столу, к Матвею Студенкину, лицом к людям, снял шапку, помял в руках кожаный верх, глядя поверх голов, сказал твердым голосом:

— Ежели скажу: верьте — поверите? Нет, не надеюсь. Так и уверять да клясться не буду. Думайте как хотите, пока делом не докажу. Все!

Сел, перекинул ногу на ногу.

Собрание больше против Слегова не кричало, но выбрали председателем коммуны Матвея Студенкина — единогласно, и Пийко Лыков не посмел поднять руку против.

После собрания Матвей при всех подошел к Ивану:

— Ну как? Поживем — увидим?

— Так ведь жить-то еще не начали, — ответил Иван.

Бывший тулуповский приказчик Левка Ухо, один из самых наигорьких пьяниц по селу, по грамотей, собственноручно намалявал вывеску: «ШТАБ КОММУНЫ „ВЛАСТЬ ТРУДА“». А в штабе — Матвей Студенкин за столом. А на столе — чугунный письменный прибор (тулуповское наследство), над дырой для чернил младенец с крылышками грозит пальцем. Об этого крылатого младенца Матвей давил махорочные окурки.

И еще сбоку стоял стол — для счетовода. Туда посадили Левку Ухо. Сидел примерно, даже когда был совсем пьян, только в те моменты делами не занимался, а, подперев голову ладонями, капая слезы на коммунарские бумаги, тянул «Лучинушку»:

И-извела меня-а кручина,  
По-одко-олодная змея-а...

Матвей терпел его нытье — другого верного грамотея на приеме не было. Слава богу, что ныняым Левка не буянил — чело-век тихий, мухи не обидит.

Дело Матвея — быть председателем, держать марку и распоряжаться. А для того чтобы распоряжения передавались куда надо, без задержки, назначил заместителя попроворней да по-смекалистей. Под него по всем статьям подошел Пийко Лыков.

Он родился шестым в семье, а потому в десять лет отец выдал ему двадцать пять копеек на дорогу, мать повесила на плечи мешок с сухарями. В подпаски по соседству никто не брал, издавна повелось ходить под Ярославль, а путь туда не близкий — верст триста от деревни к деревне. Триста верст пехом с котомкою, а лет тебе десять, в других семьях в такие годы мамка чуть ли не с ложки кормит. Ночевка в попутной избе стоит две копейки — место на полу и кипяток хозяйкини.

Помяла Пийко жизнь и потеряла, умел ладить со всяким: голубые глазки глядят в зрачки с готовностью, порывисто быстро, только кивни — обернется на живой ноге: «Сделано!» Удобный человек, потом самого бедняцкого рода.

Весна, а в коммуне — шесть лошадей, из них четыре еле себя посят, и три плуга.

Председатель Матвей Васильевич Студенкин сидит за столом, признает:

— Да-а, туговато придется...

Но на то он и председатель, чтоб, не раскисая, давать установку:

— Мужики! Себя не жалеть — работать! Так-то!

И мужики соглашаются, не перечат.

Матвей сидит за столом, давит окурки под чугуниным младенцем, подымать мужиков на работу — обязанность Пийко Лыкова.

Собралась в кучу деревенская голь. Каждый мечтал о своей земле. На вот землю — твоя!

Моя?.. Ан нет, маленькая поправочка — наша.

Земля общая, все на ней равны. Все равны, и ты снижаешь усердие, равняешься на того, кто тебе не равен. Но и тот не из последних, и он оглядывается на тех, кто силой поуже, подравнивает себя, подравниваешься и ты. День за днем идет равнение друг на друга — до нуля, до полного покоя!

На Березовский клин наряжены пахать Федька Самоха и Гришка Кочкин. Кони брошены в борозде, Федька с Гришкой греют животы на солнышке. Попробуй на них прикрикнуть — пошлют по матушке самого Матвея-председателя, а уж Пийко-то и совсем не постесняются.

Пийко не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков:

— Жирок пагуливаете, ребятушки? Ну лежите, лежите, а я поработаю.

«Ребятюшки» не успеют поднять очумевшие от дремы головы, а уж Пийко идет за плугом, отваливает пласт... Посидят, похлопают глазами, станет неловко:

— Эй, Пийко! Катись по своим делам!.. Мы ведь на минутку, мы — так...

— Вижу — как. На Тулупова ломали по-другому.

— Да ладно тебе.

И Пийко бежит рысцой дальше. И когда, обожав всех, является в правление, пыльный, потный, пахнувший землей, навозом, лошадьми, Матвей Студенкин встречает его вопросом:

— Ну, как там?

— Порядочек! — Физиономия в красной парноте, голубые глазки в усмешке.

Порядочек? Ой нет!

Пахали и сеяли — мучились, засеяли половину земли.

Косили — мучились: ни «живой» телеги, чтоб вывезти сено, ни целого хомута.

Мучились, убирая тощий урожай.

Сник веселый Пийко Лыков, рад бы оставить руководящую должность, — пила-растируха кормила лучше.

А зимой пали три лошади.

Левка Ухо, сжимая голову руками, лил пьяные слезы на свои счетоводческие бумаги:

Извела меня кручина,  
Подколотная змея...

Он уже никогда не бывал трезв.

Коммуна гибла от бедности.

Один только Матвей Студенкин не терял головы. Он читал. Читать-то умел, а вот писать — только свою фамилию под бумагами.

Матвей читал газеты. Газеты же призывали к наступлению на кулака, но по-разному — одни требовали крайних мер, другие остерегали от перегибчиков.

Матвей откладывал газеты в сторону, просил заложить рессорную пролетку, принадлежавшую не так давно Ивану Слегову; лошадь обряжалась в сбрую с бубенцами, с медными бляшками — тоже слеговскую, — и председатель отправлялся в район, к начальству, утрясать вопросы.

В районе ясных указаний не давали, кидали скупое:

— Ждем решений.

— До кой поры ждать? Нас мироеды с костями слопают.

— Скоро съезд партии...

Пятнадцатый съезд ВКП(б) собрался в декабре. С отчетным докладом выступал генсек Сталин, он сказал: «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основе революционной законности. А революционная законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны замещать мероприятий экономического порядка».

Взять Петра Гнилова «экономическим порядком», а как тут возьмешь, когда он, Гнилов, едва ли не богаче всей коммуны. И есть еще Ефим Добряков, есть Митька Елькин — та компа-

ния. Да если они возьмутся, то «экономическим порядком» все село свяжут, никто и не брыкнется.

Матвей угрюмо давил окурки о крылатого младенца, но в район ездить не перестал. Ездил от нечего делать, не надеясь сговориться.

Однако Сталин, видать, знал, как действовать,— слова словам, а дело делом. После одной поездки Матвей привез плакат, повесил у себя над головой. На плакате нарисован жирный, бородатый, звериного вида кулак с обрезом, стояла надпись: «Ликвидируем кулачество как класс!»

Матвей вызвал своего заместителя Пийко:

— Собери всех по селу с мала до велика. Говорить буду.

Собрались стар и млад — тревожное в воздухе, каждому хотелось узнать: что это привез Матвей Студенкин? В тулуповской горнице, что там яблоко, луценое семечко упади — до полу не долетит.

Матвей выступал часто, ни одного собрания не проходило без того, чтобы не толкал речугу, не призывал до хрипоты к сознательности. Но эта его речь не походила на обычные.

В те дни он простыл, до прокуренных усов туго обмотан бабьим платком, голос сиплый, лицо темное, глаза сухо и зло поблескивают под изборужденным морщинами лбом.

— Хреновы наши дела в коммуне! — сипел он. — Хуже надо, да некуда. Тонем, братцы, скоро на дно сядем...

И в набитой горнице наступила погребная, бросающая в озноб тишина, даже скамьями скрипеть перестали. Шутка ли, сам начал с того — коммуна тонет, садится на дно. Сам председатель Студенкин!

А Матвей рвал эту тишину простуженным голосом:

— Нам — хреново, не на чем пахать, нечем сеять, а вокруг коммуны?.. А?.. Со сторонки на нас смотрите да похихикиваете, что вам, лошади у вас гладкие, справа добрая, семена в закромах! Кто вы в сравнении с нами, коммунарами? Богачи! А для чего революцию делали?.. А?.. Мы потопнем, пузыри пустим, а вы дальше поплывете?.. Нет, землячки, не пройдет такой номер! Мы вот что вам скажем: революция-то не кончена! Эй! Слышишь меня, Петр Гнилов? А ты, Елькин Митрий, слышишь? А Добряков Ефим здесь ли?.. Слышите вы, справиные хозяева?..

После этого собрания Матвея пытались убить.

Он приказал жепе истопить баню:

— Простыл шибко. Ужо толком поварюсь, может, полечает.

Жена ушла управлять, а он прилег и заснул.

Он спал так крепко, что не слышал, как со всего села с гвалтом сбегался к его дому народ.

— Мам-ка-то! Мам-ка!..

Вскинулся:

— Ты чего?

Сынишка у изголовья, в полутьме на бледном лице виден лишь раскрытый рот, хватает воздух, цепляется руками за рубаху:

— Ма-ам-ка!.. В бане!..

За темным окном — накаленный, словно из тусклой красной меди, ствол березки. Матвея ошпарило, сорвался с койки...

Вдавленная в землю черная банька пряталась в ольховом овраге, в который упирался двор Матвея. На селе поздно увидели зарево, сбежались, когда не подступись.

Бабы ахали, кричали на мужиков:

— Чего вы, охломоны, топчетесь? Живая ж душа там!

— Гос-поди! Да крючья несите!

Кто-то бегал и суетился без толку:

— Ве-едра! Где ве-едра?! К ручью ценью надоты!

Кто-то стоял заворуженно: банька с нижних венцов до верхних — золотисто-сквозная, крыша в чадных лохмотьях пламени. Где уж...

Кто-то судил да гадал:

— Добрались-таки до Мотьки.

— Царствие ему небесное.

— Ой, не похвалят за душегубство!

— Авдотья будто слышала: из бани-то вроде бабьих голос кричал.

— Тут не по-бабьи, по-пороссячьи заверещишь, колья поджарит.

И вдруг шарахнулись на две стороны — ворвался Матвей, босой, по залежавшемуся апрельскому снежку, без шапки, в исподней рубахе, воскресший для всех из огня. Он ворвался и словно наткнулся на стенку, встал на шаг от весело постреливающих, зло раскаленных бревен, дико уставился слепыми запавшими глазами.

За его штаны цеплялся сынишка, трясся худеньким телом.

Какая-то баба не выдержала, взвыла позади.

— Горе-емыч-ные! Да что же теперь с вами станется!..

В это время крыша баньки прогнулась, с хрустом и шорохом обвалилась внутрь. Вспухла тугая розовая волна, осыпала искрами Матвея, его всклокоченные волосы, его полыхающую отсветами рубаху. Матвей вздрогнул, оторвал взгляд от огня, повернулся к людям, замершим от робости, от горестного сочувствия, — лицо накаленно-горячее, вместо глаз темные ямины.

А к отцу жался сынишка. Матвей заметил его, нагнулся, поднял, прижал к себе, ступая босыми ногами по расквашенному снегу, понес от огня. Люди, тесня друг друга, торопливо расступались.

Шагов через десять Матвей остановился, снова повернул безглазое лицо к бане, и лицо скривилось судорогой.

— Нет, Сенька! Нет, гляди, сын! — хрипло закричал Матвей. — Гляди, Сенька, и впитывай! Кулачье на всю жизнь запомни! Их рук дело!..

В тревожно плещущих отсветах пламени теснился народ. А Матвей хрипло кричал:

— Гляди, Сенька! Чтоб жалости потом не знал! Чтоб давил гадов и жег! Гляди, сынок, любуйся!..

Люди поживались, молчали. Баня догорала, багрово высветивая Матвея, растрепанного, в длинной выпущенной рубахе, прижимавшего к груди сына.

Неизносная армейская шинелишка, единственный наряд председателя, его шапка из псинного меха попутали охотничков. Их на себя надела жена. Ее приняли за Матвея — баба была рослая, корпусом походила на мужика, — выследили, приперли дверь колом. Баня-то сгорела, а кол остался, только обуглился с одного конца. Этот кол Матвей поставил на видном месте в конторе.

— Разбираться лишка не стану, — говорил он каждому, кто приходил, — кто тут виноват, кто нет — дело судейское. Для меня все богатеи виноваты. Пусть все они загодя богу молятся.

Он почернел лицом, страшно исхудал, сквозь небритые щеки выпирали челюсти, глаза провалились. Прежде вроде бы жену ласковым словом не баловал, а теперь всяк видел — сохнет. Сыну он сам стирал рубахи, вместе с бабами не стеснялся полоскать нищенское белье на вымостках, сам латки ставил, сам варил варево, обиходил, как мог, и учил:

— Помни, мать, Сенька, от кулацкой руки лютую смерть приняла, держи это под сердцем. А пока ты силу не наберешь, я буду стараться... Уж буду!..

Но прошел год, прежде чем Матвей Студенкин развернулся.

В начале мая, сразу после праздников, он диктовал опухшему, вечно похмельному Левке Ухо:

— Пиши: Гнилов Петр Емельянович — две лошади, три молочные коровы... Написал?.. Теперь ставь Добрякова Ефима — тоже две лошади — кобыла да стригунок, две коровы. Елькин Митрий Осипович...

Список был длинный, в него входили все, кто жил в достатке. Последним стоял Аптип Рыжов, тесть Ивана Слегова. Против его фамилии Матвей указал проставить: «Не шибко богат — лошадь да корова, зато язык длинный, пускает вражеские разговоры по селу». Жаль, что Ваньку Слегова теперь не зацепишь — ни лошадей у него, ни коров, ни даже курицы своей во дворе не держит, и разговоры вражеские не прикленшь, молчун, хотя кому не ясно — думает не по-нашему.

Самих убийц найти не смогли, да Матвей тут особо и не усердствовал: так ли уж важно открыть голько убийц, война-то идет классовая — все, кто не с нами, тот наш враг.

Реквизированные у раскулаченных богатеев шубы, поневы, зипуны, сапоги раздавались по списку самым беднейшим. В беднейших числился и сам Матвей Студенкин, что у него — пара горшков щербатых, обгрызанные деревянные ложки да из живности тараканы в стенах. Он мог бы взять много — своя рука владыка, — но взял лишь полушубок с плеча Ефима Добрякова. Шинель-то сгорела вместе с женой, жену, что уж, не вернешь, а шинель законно и возместить. Пригреть себе кулацкое Матвей не хотел, — за идею воюем, не за барахло, пусть знают.

В освободившиеся дома вселяли тех, кто не имел крыши. На тридцать первом году своей жизни Пийко Лыков въехал в собственный дом — пятистенник Петра Гнилова. Въехал?.. Да нет, просто вошел, неся с собой фанерный чемоданчик и узел, где лежали суконные штаны и яловые сапоги.

А по селу опять ходила молва о бесовской сметливости Ваниухи Слегова. Загодя знал, к чему причалить, ехал бы теперь в компании Гниловых да Елькиных. Ан нет, цел, при деле, живет тихо и мирно, еще и наверх выбьется. Ох, ловок нечеловечески!

В доме Слеговых лила слезы Маруська, жена Ивана, дочь Антипа Рыжова. Она оплакивала отца, мать, трех братьев, высланных Матвеем Студенкиным в дальние края.

Матвей прежде читал газеты да давил окурки о чугунного младенца. Пришло время — нашлось занятие по характеру: обходил дом за домом. Дверь открывал пинком ноги, не ломал шапку, не бросал «здравствуйте», спрашивал у оробевшего хозяина в лоб:

— Заявление подал?

И если отвечали: «Нет», цедил сквозь зубы:

— Мотри у меня.

Матвей выполнял сто процентов. Ни одного человека не должно быть в селе, кто не подал бы заявление в колхоз. Охват на сто процентов, и никак не меньше.

Левка Ухо разрисовал новую вывеску — пошире и покрасней: «ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА „ВЛАСТЬ ТРУДА“». Уже не «штаб», а «правление» и не «коммуна», а «колхоз» — такова установка сверху, хотя сердцу Матвея старые слова милей.

Эта вывеска была последним, что сотворил в своей жизни Левка Ухо, грустного характера человек, которого даже не веселило злое вино.

Он в последнее время пил без просветов, являлся утром в контору, уже держась за стенку, до своего стула все-таки добирался, обхватывая руками голову и начинал «Лучинушку». Дошло до того, что не выдержал и Матвей. Выбрал момент, когда Левка был чуток «попрозрачней», заявил со всей прямоотой:

— Хотя ты и не кулацкого роду, но работать с тобой трудно, даже совсем невозможно. Ежели бы ты революционные песни пел, а то тянешь какую-то нуду — душу воротит. Сымаю тебя с должности.

Снять просто, расчета не требовалось. Левка лучше других знал, что колхозная касса не то чтобы пуста, просто ее не существовало. Матвей же не мог дать ему из своих и щербатого гривенника на опохмелку — какие у него деньги. Левка встал и тихо ушел.

Вечером все слышали, как он нудил свою «Лучинушку» на крыльце Секлетии Клювишны. А утром исчез, говорят — тихо скончался в районной больнице.

Стараниями Матвея в Пожарах не осталось ни одного единоличника.

Матвей Студенкин — сила, Матвей Студенкин — власть. Когда он шагает по улице своей куличьей походкой, разговоры смолкают, мужики невесело расступаются, на бабьих лицах появляется невинно-постное выражение. Только дети не боялись Матвея, увязывались за ним:

— Дяденька Матвей, ты коня на колесах сделать сулил!

Матвей в жизни ни одного мальчишку не шуганул сердито, всегда сбавит шаг, пообещает:

— Обожди, милой, недосуг теперь.

А то и остановится, нагнется:

— Эх, пролетарий, нос-то у тебя... Ну-тка.

Утрет, шлепнет по заду:

— Иди, воюй!

Мальчишке и горя мало, что дяденька Матвей марширует к его отцу. Того при виде Матвея бросает в холодный пот.

— Мотри у меня...

Не дай бог, ежели прибавит — «подкулачник», недолго и зашагать из села под доглядом милиционера.

Кто теперь против Матвея Студенкина? Никого.

Ой ли?.. В колхоз вошел крепкий середняк — хозяйственные мужики, они принесли заботу и тревогу — жить-то надо, а как? В колхозе касса пуста, но бедным теперь его не назовешь — тягло, скот, инвентарь раскулаченных и высланных перешли в колхоз. Надо жить и, поди, можно жить. Но на житье-бытье студенкинской коммуны все досыта нагляделись.

Против Матвея открыто — никто, но за спиной, шепотком — все: «Пропадать нам с таким председателем, по миру с котомками пойдем».

Матвея же — как жить? — не волнует. Для него это вопрос ясный. Во-первых, новую колхозную жизнь надо начать с общего собрания, где его законно выберут председателем. Во-вторых, на этом собрании следует твердо заявить: кто не работает, тот не ест! В третьих, если его слово собрало в колхоз все сто процентов работоспособного пожарского населения, то оно заставит собирать и стопроцентные урожаи. Матвею ясно, у Матвея — твердая линия.

На общем собрании он, как всегда, восседал в центре стола — острые плечи разведены, хрящеватый нос с сухого лица нацелен «на массы», лоб изборозжен суровыми морщинами. Даже первые скамьи люди занимали неохотно — приятно ли сидеть под прицелом председателя, за спинами вольготней.

Взял слово Иван Слегов. Укатали сивку крутые горки — не тот Иван, ладный полшубочек потерт, на ногах уж не бурки городской выделки, а подшитые валенки, и в осаночке нет прежней вальяжности. Попробовал бы теперь сказать Матвею Студенкину: «Погляди на меня, хорош ли?»

Выступать Ивану против Матвея опасней, чем кому-либо: сразу помянет старые замашки — из кулаков чудом выскочил. Никто и не ждал от Ивана храбрости.

Но Иван повернулся к Матвею и заговорил:

— Ты, Матвей, большой мастер. Вытряхнуть из кого-то там потроха умеешь. И спасибо тебе, натряс — есть лошади в колхозе, есть все, чтоб работать. Но трясти-то больше некого, вот беда. Не пригодится твое мастерство. Что же тебе дальше делать? Опять газетки читать, покуривать?.. От этого, сам знаешь, жизнь не наладится. Мой совет тебе — уходи, пока колхоз не развалил. Чем быстрее ты на это решишься, тем лучше. Все хотят! — Круто повернулся к людям: — Иль неправда?

И Матвей только успел налиться кирпичным цветом, открыть рот, но выдать слово ему уж не дали. Взорвалось в воздухе единым дыханием:

— Пра-ав-да-а!

И загромыhalo:

— Не хотим Студенкина!

— Какой ты хозяин!

— Сами выберем!

— Газетки-то читать многие умеют!

— Братцы, кричи другого!

— А вот Лыкова, что ли? ..

— Обходительный!

— Пийко, бери власть!

И никто не обмолвился об Иване Слегове. О нем как-то все забыли. Иван постоял, постоял перед шумящим народом и незаметно сел на свое место.

\* \* \*

Тащит с натугой валенки старый Матвей Студенкин. Растянулось село Пожары, длинна до дому дорога. Не верится, что доберется до теплой лежанки,—считай, пять лет от нее не уходил.

Встречаются люди. Кто помоложе, даже не оглядываются,—совсем незнаком. Кто постарше, скучновато дивятся: «Эва, Альки Студенкиной свекор вылез, износу ему нет». Он — Алькин свекор, и только-то, забыли люди напрочь, что когда-то боялись его взгляда, слову его перечить не могли.

Тащит Матвей груз долгих лет, налегает на клюку...

После того собрания он махнул в район за помощью: «Добро же! Кулацкого слова послушались. Думалось, подкулачников-то — раз-два и обчелся, ан нет, все село подкулачники! Будет работка...»

В Ворхове недавно появился новый секретарь райкома — Чистых Николай Карпович, из молодых выдвиженцев, про него уважительно говорили: «Застегнут на все пуговицы».

Застегнут-то, положим, но на шее галстук, никак не рабочекрестьянский — интеллигентская висюлька.

— Народ против вас. Так что ж это, товарищ Студенкин, вы нас с народом поссорить хотите?..

Попробовал было Матвей прижать его по-фронтовому:

— Ты кровь проливал за революцию? Нет... То-то, вижу, тебе наша революция не дорогá, перед подкулачниками потрухиваешь!

Чистых вежливенько отчесал его за партизанские ухваточки, указал на дверь:

— Идите!

И Матвей пошел бродить из кабинета в кабинет, искать правду. Кой-кто из старых работников ему сочувствовал, но грудью прикрывать не собирался.

А потом бродил с места на место: развозил мешки с почтой, подался на лесозаготовки, но там даже на самом низком руководстве требовалась грамота, а иначе бери в руки топор да пилу.

Наконец осел на маслозаводе учетчиком, хоть туго, да считал литры сданного молока, килограммы масла и просчитался — открылась недостача, чуть не попал под суд, хотя ни сном ни духом не виноват. Пришлось завернуть лыжи в колхоз:

— Прими, Пийко.

Ан нет, уж не Пийко, а Евлампий Никитич.

— Приму. Иди кошухом.

А сам же когда-то говорил: Матвею Студенкину поставить в селе памятник.

— Не хочешь — дело хозяйское. Вот бог, вот порог — неволить не будем.

Он, можно сказать, вытащил Пийко из грязи в князи, — кто б заметил его, если б Студенкин не пригрел в заместителях.

Он много лет работал конюхом. Не Евлампий, нет — тот и не замечал, — а любой бригадиршка из молодых да голосистых мог накричать:

— Поч-чему чересседельники на полу валяются? Почему обрати перепутаны? Рук нет, чтоб прибрать!

В войну бригадирствовали бабы, тоже командовали Матвеем:

— Эй, дед, закладывай лошадь — сено возить! Да мотню подтяни, не то запутаешься.

И сын Сенька забыл, как отец показывал ему горящую баню. Забыл? Да нет, такое не забывается. Только отцовские наказы не держал у сердца. Убийцы-то Сенькиной матери, скорей всего, сосланы, давно затерялся их след. Сенька рос смирным парнем, к отцу относился с почтением, в колхозе работал с охотой, был призван в армию, в финскую ранен, вернулся домой, успел жениться, и новая война... А вскоре и похоронная...

Матвей после этого чуть не отдал богу душу, пошел к конюшне да вспомнил, как увидел Сеньку в первый раз — в длинной рубаше, в холщовых порточках, похожего на отощавшего старичка, и не выдержал, упал, подобрали добрые люди... Горевала и Алька, видать, это-то и свело их накрепко. Грех жаловаться на сноху — кормила, обиходила, с печи не гоняла. Вот ежели б еще внук остался, нянчил бы, совсем, считай, тогда счастливый. Но внука нет, а нынешние ребятишки не ведают, что дедко Матвей когда-то умел затейливо вырезать ружья из досок...

Плетется Матвей по улице села, даже собаки на него не лают.

Пийко-то... А?..

Он вот жив.

Нет, не старые обиды, не торжество со злобой сорвало Матвея с печи, заставило добраться до крыльца умирающего Евлампия. Давно разучился обижаться и злобиться — выгорело. Вспомнились лучшие деньки в жизни, когда сам Пийко Лыков по его кивку на живой ноге: «Поряdochek!»

Пийко умирает... Приполз с ним проститься, с ним и со своим прошлым. Но не пустили, прогнали с крыльца... Что ж...

Палка ощупывает неверную землю, норовящую ускользнуть из-под ног. Шагает старый Матвей к печи... Даже Пийко... А он-то моложе лет на пятнадцать добрых, коль не больше...

Палка ощупывает неверную землю.

Крашенные полы, почти больничной белизны подоконники, стол, несуетно стоящий посредине, над столом свисает электрическая лампочка, голая, ничем не затененная. От комнаты ощущение пустоты и простоты казенного места — жилье прославленного по области человека, который ворочал миллионами и не любил отказывать себе в чем-либо. Жилье?.. Председатель дома лишь ночевал, да и то далеко не каждую ночь. Он в пять утра уходил, возвращался затемно. Он здесь гостевал, а жил в стороне.

Сейчас дом пропах насквозь нечистым, почти звериным запахом, как медвежья берлога.

Иван Иванович стоял на своих костылях, громоздкий, приземистый, беспомощно неуклюжий, словно большой черный краб, морское чудо, вытащенный из воды на сушу, изнемогающий от собственной тяжести.

Он почувствовал на себе взгляд Чистых. Давно привык, что на него глядят с сожалением — калека горемычный, — но за готовной услужливостью в круглых прилипчивых глазах лыковского зама уловил тоскливую зависть. Ему, оказывается, еще могут завидовать...

Из-за перегородки вышла жена Лыкова, подавленно поздоровалась с бухгалтером, высохшая, морщинистая, в белом платочке, несвежем фартуке, под которым прятала свои корявые, патруженные бабьи руки. На унылом остроносом лице не видно большого горя, вски, нет, не красны, глаза потухшие, вылинявшие, углубленные в себя, а в фигуре неловкая связанность, как у человека, попавшего в чужой дом. Такая же, как всегда, а муж-то умирает...

Иван Иванович кивнул ей в ответ шапкой, бросил нетерпеливый кивок в сторону Чистых: «Веди».

— Сюда. В боковушке он, Иван Иванович.

Костыли глухо стукнули, валенки подмели крашенный пол.

Из открытой двери сильней ударил застоявшийся запах. Иван Иванович не удержался, поморщился. Навстречу поднялась сестра-сиделка в халате, с вязанием в руках. Она поспешно пододвинула свой стул, цемо пригласила: «Садитесь».

Но Иван Иванович остался висеть на костылях, утопив глубоко в плечах голову. На лбу под шапкой собрались жирные суровые складки.

Вот он, прославленный Лыков: на подушке выделяется бескровно серый, бородавчато неровный цвет кожи, все рыхлое лицо оттянуто на одну сторону, потончавшие бледные губы, казалось, выражают предельную брезгливость, левый глаз прикрыт

вском, в правом проглядывает мутноватая студенистость глазного яблока, в запавших висках копятя тени.

У Ивана Ивановича не было в жизни друзей. Кроме женов Евлампий Лыков — самый близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал. Висит над ним на костылях верный Иван.

— Больше тридцати лет... — произнес он невинно, — почитаю каждый божий день виделся...

— Да-а, друзья, — сокрушенно вздохнул Чистых. — Нище такое редкость.

— Тридцать лет каждый день, а сказать все друг дружке так и не успели... Кой-что осталось...

Чистых снова вздохнул с почтительным сокрушением. И снова Иван Иванович уловил на себе его тоскливо-завистливый взгляд.

Ему завидовали, а у него давно уже не было будущего, в свое же прошлое он оглядываться не любил.

\* \* \*

Жил когда-то в селе Пожары учитель Семиреченский — из обедневших поповичей, — носил косоворотку и лапти, как пророка, почитал поэта Некрасова, днем и ночью, в будни и праздники мог без усталости рассуждать о великой душе русского мужика. Ванюшка Слегов на одном из его первых уроков без натуги решил задачу: «Летело стадо гусей...» И Семиреченский поверил:

— Быть тебе новым Ломоносовым!

Он заставил верить и Ванюхиного отца — «быть ему, отдай в гимназию!» — взялся хлопотать, нашел опекунов, добился-таки, что Ванька Слегов надел тужурку со светлыми пуговицами.

Семиреченский про Ванюхиного отца говорил: «Мудр в своем хозяйстве, как Соломон в государстве». А хозяйство Ивана Слегова-старшего было невелико, и мудрость его уместилась в одной заповеди: «Латай портки вовремя, тогда сносу не будет». Обвалялось прясло изгороди, видел, да рукой махнул: «А-а, потом!» А тут соседская коза влезла, обгрызла всю капусту, зимой без капусты, значит, картошки больше уйдет, значит, поило корове пониже, значит, молока меньше, а без достатка в картошке, без молока, без масла на хлеб расход, того и гляди, до нового урожая не достанет. Малую дырку не залатал, и разрослась прореха в хозяйстве — «латай портки вовремя».

Невелико слеговское хозяйство, земли не больше других, но крепко, опрятно, как молодой грибок боровичок: стожки на пожне огорожены — лось не подступится, лошадь одна, зато гладкая, корова обильно молочная, свиней, овец не густо, но все в теле, и над повестью всегда крыша чинена. Все потому, что латал вовремя, без дела ни минуты не сидел. Правда, после неуро-

и айных лет поджимались, но опять же семья невелика — не семеро по лавкам, сын единственный. Зато сынок лаптей не нашивал — по ноге сапожки и рубашонки из покупного ситчика.

А уж тут совсем замахнулся — в гимназию!.. Из села Пожары в гимназиях-то одни тулуповские дети учились, тому что — доходы тысячные, сравнить в округе не с кем.

Чужим и неприветливым показался город Ванюхе — земля на улицах забита камнем, дома друг к дружке вплотную, в домах людей полно, а чем люди живы — неизвестно, не пашут, не сеют, а ситный едят, на день по пять раз чай с сахаром гоняют.

Жил у одинокой Пелагее Клюквиной. Пелагею девкой вывез из Пожар бывший офеня, от короба с бусами да сережками протянувший до собственной торговли льном и холстами. Задолго до приезда Ванюхи он умер, вдова жила в просторном доме, к новому жильцу была ласкова.

Первое время сильно тосковал, вспоминая: съезд с повети бревенчатый, между бревнышек трава сочится, весною черемуха цветет, по утрам под петушиный крик колодезный журавель начинает кланяться...

К учебе в гимназии он подошел с отцовской заповедью: латай вовремя, не откладывай, что наказывали выучить, помни, что ешь хлеб Пелагеи не задаром, отец ей платит, на квасе сидит. Учился хорошо, стал книги читать, удивился тургеневскому Базарову, который гордился: «Мой дед землю пахал». «Эва, дед, а у меня отец и до сих пор пашет!» Сошелся с товарищами, те тоже читали Тургенева, уважали Ванюху. «От земли человек». А домой тянуло: «Меж бревнышек травка сочится...»

И в первый же приезд в Пожары сначала порадовался, потом оглянулся, и разочаровало родное село. Сам город, где он учился, был тих, горбатился сорными булыжными мостовыми, а уж в Пожарах-то и совсем обычен вятичей и родимичей (узнал о них в гимназии): ребятишки бегают без штанов, в одних-посконных рубашках, землю ковыряют прадедовской сохой, мужики, сходясь на завалинках; тянут одну постылую песню: «Ох плоха наша земля, никудышна — силушку жрет, а не родит».

Местные земли и на самом деле считались незавидными — подзол да суглинок, кой-где пополам с песком.

И все-таки с наслаждением сбрасывал куртку со светлыми пуговицами, косил, метал стога, помогал отцу поднимать паровище. Соседи завидовали: «Всем парень взял, и умом, и крестьянской сноровкой». Отец раздувался от похвал, но одергивал сына:

— Не лезь, без тебя управимся. Не для того учим, чтоб руки навозом пачкал.

Увозил Ванюха в город отцовское бесхитростное понятие о счастье — трудись, чтоб прорех не было, делай вечером то, что

мог бы отложить на утро. И вот тогда-то каждое утро будет тебя встречать: все налажено, все на месте. Капуста на огороде топорщится — матовые, хрящевато негибкие листья чуток за ночь подросли. Подсвинок в закутке довольно похрюкивает — сыт стервец, за ночь нагулял золотник жирка. Корова мычит со стоном — вымя тяжело... Утро, слава тебе господи! Жизнь идет, и жизнь без прорех, с подарочками, которые не сразу-то и заметишь. Покой — дорогóй, душа поет, умытому солнышку радуется.

Только в самом селе нет покою и ладу, кругом жите-бытие серенькое, дерганое, толки и перетолки только о прорехах: то дождь обошел — хлеба сохнут, то дождь подвалил — сено погнило, то овцы паршивеют, то корова брюхо проколола, а то и прямо беда — лошадь пала, кормилица, вой в доме, как по покойнику. А чаще всего о земле: «Ох плоха! Ох никудышна!..»

В городе Ивану попалась книга Лекутэ «Основы улучшающего землю хозяйства», в переводе Энгельгардта.

«Плоха земля, не родит...» Ой ли?.. Ежели она питает могучие леса, то уж человека пропитать как-нибудь сможет, сумей из нее взять.

Иван штудировал Лекутэ.

Ему исполнилось семнадцать лет, когда загремело по стране:

Это есть наш последний и решительный бой!

Село жило как в осаде. Мир, вставший дыбом, обложил со всех сторон Пожары. Голодный, тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал продотряды — небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганами.

— Показывай, где хлеб!

И откидывались крышки погребов, выворачивались полсвицы, разметывались укладки сена и прошлогодней соломы.

Село робко пряталось по избам, с тоской молило: «Пронеси, господи, лихую напасть!»

Иван сразу же после революции бросил гимназию. До же ли — потянуло домой, к земле.

«К земле!» — звало Ивана воспоминание об отцовском покойном счастье. «К земле!» — звал читанный и перечитанный Лекутэ. «К земле!» — звало и гордое:

Это есть наш последний и решительный бой!

«Последний и решительный...» Но последний ли? Разве не придется воевать с пожарной землей? С винтовкой на эту клычтую землю не пойдешь. Не всем стрелять, кто-то и пахать должен. До сих пор те, кто читал Лекутэ, сами не пахали и не сеяли. А кто надрывался на пахоте — не только Лекутэ, календарей не читал.

Будь жив учитель Семиреченский, он бы понял Ивана, а отец встретил его с вожжами в руках:

— Пахать-то и без гимназий можно! Для того я, дурак, на квасе сидел?..

Иван отобрал у отца вожжи, отец заплакал.

У старого Слегова все шло вкривь и вкось: мобилизовали лошадей, оставили кобыленку-педоростка, забрали хлеб по разверстке. «Латай портки вовремя...» Где уж... И на вот — сын, последняя надежда, отказывается учиться, вернулся на насест, значит, будет, как все, мужиком, быдлом, косолапой деревенщиной. А думалось — не отцовская доля, выбьется в люди: «Не пачкайся навозом, сокол ясный, береги себя, тебе высоко летать».

Прилетел, кукарекает:

— Хочу пахать землю!

От сплошных огорчений отец как то круто свернулся, три месяца поболел и умер, а за ним и мать слегла на печь, тихо угасала...

Зимними вечерами село вымирало. Мужики ненавидели все — и новые песни, и новые речи, и новых людей в трепаных шинелях и кожушках, перепоясанных наганами, ненавидели разоренного богатея Тулупова, ненавидели друг друга, прятались по избам от злой выюги, от чужого лиха. Эх-ма, от prodразверстки бы спрятаться!

Будь жив учитель Семиреченский, он бы объяснил. Теперь Ивану приходилось дозревать один на один.

На лавке торчком круглое полено. В него вбит нехитрый железный светец, в огне корчится лучина, роняет угли в щербатый горшок с водой. По бревенчатым стенам бесшумная, натужная война — свет лучины воюет с мраком, шевелятся конопаченные пазы, и кажется, что потолок то подымается, то опускается до макушки.

В городе он, где мог, понахватал книг, были сборники Безобразова и разрозненные журналы «Отечественных записок», Дюма и Лажечников, «Князь Серебряный» и «Заратустра» Ницше, Чичерин «Собственность и государство» и Зибер «Рикардо и Карл Маркс». Хранил кой-какие работы Тимирязева... Но самой большой ценностью оказалась недавно приобретенная брошюра Ленина — «Государство и революция». Ее-то и листал при свете лучины, как в окно, заглядывал — в будущее.

Как в окно... На низенькие оконца слеговской избы вплотную навалился тревожный мрак, выл ветер, мел снег. И где-то в этом полуночном лешачьем вое, в бесконечной метелице кружились обезумевшие люди, стреляли друг в друга, умирали от голода, от сыпняка, от морозов. Беспросветный мрак за низенькими оконцами, не жалкой лучине пробить его. Лучина освещает раскрытую брошюру, а там ясная картина:

«...Люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, без особого аппарата для принуждения, которое называется государством».

— Неужели привыкнут?..

Иван отрывается от строчек, пляшущих вместе с неверным пламенем.

Привыкнут?..

Он знал пожарский мир, знал в нем каждого человека. Еще недавно все перегрызлись, когда делили тулуповские земли. Петр Гилов, отец пятерых сыновей, борода сивая от седины, бросился с колом на Митьку Елькина. Теперь вроде и земля особенно не нужна, что ни посеи — отберут по подразверстке, за нее не только в колья, но спорить лень. А Гилов и Елькин до сих пор готовы друг дружке клок из горла выхватить. И такпе-то привыкнут без принуждения мирно жить, честь честью блюсти вежливые правила? Что-то не верилось.

Но потому-то и раскололась страна — одни верят, другие нет, одни глядят вперед, другие назад. Ты что, Иван, назад норовишь, тебя к старому тянет?..

Гуляют беспокойные тени по бревенчатым стенам, сердитая лучина воюет с мраком, и ветер воет снаружи...

Обратно в старое, где когда-то пригревало нехитрое отцовское счастье: «Латай портки вовремя...» Что скрывать — как вспомнишь, теснит сердце: капуста топорщит хрящеватые листья, подвиннок сыто похрюкивает, корова мычит со стоном — музыка! Живи, не заглядывай далеко, трудись честно, не станет сил трудиться — лезь на печь, жди смерти. Неужели только-то и надо человеку, чтоб отбыть свой срок на белом свете? Так просто отбыть, оставить детей, чтоб и они отбыли положенное? Чем тогда человек отличается от крапивы, от куста калины под изгородью? Той калине тоже век отмерен, она тоже семя бросает, чтоб рос, отбывал срок новый калиновый куст.

Мир у отца был от задворок до калитки, Иван чувствовал — уже никак не умещается в нем.

«Люди постепенно привыкнут...» Надо верить, иначе жизнь бессмысленна. Любая человеческая жизнь, и его, Ивана, и Петра Гилова, и Митьки Елькина — всех в Пожарах, всех на всей круглой земле.

Но ведь прежде чем новая привычка росточком проклюнется, надо вырубить старый лопушник.

Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим —  
Кто был ничем, тот станет всем!

Ленин в упор указывает — частная собственность! Вот зло!

Иван и прежде где-то нутром это чуял. Мое, кровнисуе — не трожь, зубами вгрызусь! Как ни просторна Россия, но вся разгорожена — то твое, то мое, и кому-то не хватало, кто-то оставался без доли. Из века в век так было, только теперь полыхнуло против этого волчьего — мое, зубами!.. Из века в век, с глухой древности впервые — ты угадал родиться.

Ни мое, ни твое — общее. Как просто! И не хотят понимать, льется кровь из-за этого. Он, Иван Слегов, бывший гимназист, мужицкий сын, кровь свою не пролил за революцию. Он хлебороб, а хлеб наш насущный выращивается не на крови.

Свет лучины, неровный, больной, горячечный, как бред тифозного. И раскрытая брошюра на столе, и цветными радугами плывут мечты.

«Люди постепенно привыкнут...» — общая земля, общая работа! Раньше кому какое дело, что Ванька Слегов читал Лекутэ, для себя читал, для своей корысти. Теперь твоя башка в артели, твои мозги общие. Разве это не счастье — себя перед другими наизнанку вывернуть? Все, что знаю, — ваше, люди добрые! Еще школу особую заведу в Пожарах, мужицкие дети станут читать Лекутэ.

Вы все сейчас нищи, прячете друг от друга жалкие копейки в чулки, в кубышки, на дно сундуков под бабкины поневы. А рассудите: если эти копейки вынуть, сложить в один карман — уже богатство. Не на пьянку, не в кабак — купим машины, заставим их работать. Машины непременно родят новые машины, на автомобиль сиволопый пожарец усядется, коней для красоты, для уважения держать будем — тоже потянули лямку, пусть отдохнут. И есть такая вещь, как электричество, она ночь в день повернет... Молочные-то реки и кисельные берега, право, не сказка с издевочкой, не смейтесь!

Пусть не сразу, пусть не скоро, но наступит час, когда все оглянутся и признают: с Ваньки Слегова началось! В селе Пожары мир до него — тот мир, что умирает сейчас при свете лучины! — будет так же походить на мир после него, как малярийное болото на райские кущи.

Вост ветер, заносит снегом село. Каждая изба — берлога, люди прячутся друг от друга, боятся стука в дверь, а не ведают, что уже стучится, да, сейчас, да, в лихую темень, ко всем стучится их счастье.

В Пожарах только он, Иван, слышит этот стук. Жаль, учитель Семиреченский не дожил — слушали бы вместе, было бы теплей, не так одиноко.

Лежит на столе раскрытая брошюра, обещающая: вот забросят винтовки, сделавшие свое дело. И тогда «люди постепенно привыкнут...».

Пляшущий свет лучины освещает стол, свет лучины, одной из последних в России.  
Молочные реки — не сказка, не смейтесь, люди!

По продразверстке у него, как и у других, отобрали хлеб, оставили только на семена. Тянул к весне на картошке. Мать до весны не дотянула, схоронил на погосте, поставил, как просила, крест. И тут спохватился — нельзя жить только мечтаниями.

В ростепельный мартовский вечер Иван пришел к Антипу Рыжову с бутылкой первача в кармане:

— Породнимся? Отдай за меня Маруську.

А чего бы Антипу не породниться, чем Ванька Слегов плох — не богат, но собой виден, в работе сноровист и даже в гимназиях сидел.

Антип, рослый мужик, на широком лице черти горох молотили, опрокинул стакан первача, крякнул, понюхал корочку.

— Эй, Манька!

И она вышла на обманчиво веселый огонек светца: по белой кофте сполохи неверного света, заплетенные туго косы под матицей, мрак бровей под чистым лбом, да пьяной влагой блестят глаза. Пригнула голову, спрятала лицо...

Антип ухмыльнулся:

— Ишь, кобылка, тут как тут.

В приданое Маруська получила годовалого жеребенка. В хозяйстве Ивана оказалось две лошади. А на что две, когда и с одной пока справляется, как справлялся отец: «Латай портки вовремя...»

Раскрыл ей, кто он такой — поводырь в сказку, к молочным рекам.

Она покорно поверила, раз верил он.

Она-то поверила, но должны верить и люди. Докажи делом! Не просто, — на это, пожалуй, уйдет не один год.

Земля еще пресно пахла талой водой. По стерне монахами гуляли грачи, ждали первой борозды.

Первая весна в новой семье.

Он взялся за ручки плуга, сказал озабоченно:

— Ну, лиха беда начало.

Из-под лемеха отваливались сытые куски. Грачи выстроились растянутым цугом. Спину его провожали счастливые глаза Маруси.

Первая борозда. Обоим верилось, что она уведет далеко-далеко, и не только их.

В эту весну он совершил дерзость — кто б из мужиков на такое осмелился! — лошадь сменял на поросенка. А расчет оказался верным. С тех пор начал богатеть.

Матвей Студенкин привык смотреть на белый свет сквозь прорезь винтовки.

Он, Иван, по-своему уважал Матвея, голосовал бы обеими руками за памятник ему, но Матвей лег бревном на пути...

Верил: не твое дело толкать это бревно, люди сами спихнут, а он, Иван, не спешит, он молод, ждать может, жизнь-то только началась. Он верил и ждал...

Любил и берег коней — эх, серы кролики! — по отвел их в коммуну. Коней, корову, свиней. Что еще? Рубаху с плеч? Готов! Его даже не особо огорчило, что Матвея Студенкина выбрали в руководители.

Поживем — увидим.

Его назначили заведовать живностью коммуну. А вся живность, считай, в его бывшей свиноферме. За какой-нибудь год-два он так развернет свое дело, что все кругом ахнут от удивления.

Поживем — увидим!

Но с первых же дней неприятность. Пригнали обобществленных бедняцких свиней, хребтисто тощих, в коростах от неведомых болячек, в свежих ранах от недавних драк — лютое, визжащее зверье.

Приказ:

— Размещай!

— Куда?

— Как — куда? К твоим.

— Рядом с породистыми-то?

— Эва, твоим курорт, а наши, бедняцкие, — в канаве. Своих отличаешь! Кулацкое нутро взыграло?.. Мотри!

И попробуй докажи, что этих коростяных, чесоточных нельзя и на версту допускать до породистых. Дешевле их выгнать в лес подальше.

У Ивана на год вперед, до нового урожая, было заготовлено и муки, и картошки, овса и круп с избытком, чтоб стадо жирело и плодилось. Но нагнанная свора оказалась прожорливой. В них, как в прорву, — жрут, гадят, а глаже не становятся.

Весной приказ от Матвея, обухом по голове:

— Передать излишки кормов со свинофермы конюхам.

— Излишки? Где они?

— Не рассуждать! Передавай что есть.

Все в коммуне одобряли Матвея: на лошадях-то пахать, а на пустое брюхо они плуги не потянут, эка беда, ежели свиньи и потощают чуток.

В тесном свиноводнике — голодный вой, страшно войти, породистые и те стали бешеными.

А от Матвея новый приказ:

— Выделить трех свиней на убой!

Опять верно, надо кормить не только лошадей на пахоте, но и самих пахарей.

Иван наметил на убой не трех, а пять свиней — не из породистых, из сброда. Туда им и дорога, несколько не жаль — меньше ртов, легче прокормить.

Но как только стало об этом известно, поднялся вопль:

— Это что же, трудящемуся человеку — кусок пожестче, мягкий жадуешь?

— Свое добро бережет!

— Нутро-то кулацкое!

— Не финти, Ванька, режь тех, что пожирней.

Иван пробовал втолковывать, обещал — лошадей новых купим, плуги, машины, дайте только сохранить свиней, только они дадут доход в звонкой копеечке, помимо них коммуне рассчитывать не на что.

Сули орла в небе... Когда-то этот доход будет, а мясом полакомиться и сейчас можно. Прежде слеговская свининка уплывала на сторону, теперь — шалишь, наша, «обчая», чего цацкаться.

Поживем — увидим.

Трезво оглянуться — это грабеж, дикий, необузданный.

Земля наша — не твоя, потому не усердствуй особо. Свињи — наши, не твои, — чего их жалеть, режь! Не твои лошади, не твои коровы, не твой инвентарь. И ты, как в крепком хмелю, — зачем думать о завтрашнем дне, живи минутой!

Матвей Студенкин сидел в окопах, валялся в тифу, лил кровь, он не жалел себя, чтоб отвоевать новую жизнь. И отвоевал! А теперь не жалел отвоеванного.

Иван заговорил было во весь голос:

— Куда катимся? Опомнитесь! Революцию в павоз втаптываем! Жизнь это или издевательство?

Кой-кто с опаской его слушал и, должно, соглашался. А кто-то сразу затыкал ему рот:

— Эва! Это ты-то революцию спасаешь. Помним — каких коней имел. Тебе назад любо.

Коней ему припоминают, тех, что добыл своими руками, а потом сам отвел, не пожалел. Стыдись их, они на тебе канновой печатью.

Никто его не поддержал — молчали. Замолчал и он.

По утрам он разносил жидкое пойло, свињи встречали его голодным ревом.

Он продал свои фетровые бурки, чтоб купить пять мешков мякины для свиней. Фетровые бурки — ложкой море не вычерпаешь.

От жены он ждал попреков. Должна бы попрекать — обманул же: расписывал себя пророком, попал к свиному корыту.

Маруся — ни слова, молча билась вместе с ним, лазала с пестерем и серпом по чужим огородам, жала для голодных свиней крапиву, запаривала, нянчилась с сосунками, выносила ехидную бабью жалость: «Болезная ты, мужик-то у тебя умом тронутый... Какое хозяйство ну-тка на распыл отдал...» Руки ее были жесткие и корявые, сама похудела и почернела, от глаз потянулись морщины. И старых нарядов она уже не надевала, шелковая шаль, в которой когда-то выезжала на серой паре, лежала на дне сундука.

Однажды в масленицу, в морозный ясный день, когда солнце освещало пышное кружево заиндеветших берез, она увидела вышедшего на крыльцо Ивана в подшитых валенках, в старом заскорузлом кожаном плаще и заплакала. Вспомнила недавно проданные нарядные бурки, обшитые желтой кожей, вспомнила, как в такие дни, празднуя масленицу, они катались по селу на серой паре: «Э-эх! Серы кролики!»

Иван стоял пришибленный, не знал, чем успокоить, не находил слов. И вдруг — диво! — вместо того чтобы от него ждать успокоения, она сквозь слезы стала успокаивать сама, нашла слова:

— Ничего, Ванечка, жизнь-то — она ровно не идет. Перетерпим, масленицы дождемся.

Сквозь слезы, виновато улыбаясь дрожащими губами.

А в голубой путанице закуржавевших ветвей застряло желтое переспелое солнце, по подрумяненному снегу тянулись длинные тени.

Иван сжал зубы, чтоб самому не расплакаться, приказал:

— Иди, надень шаль... Ту... шелковую... Ради праздника.

Матвей Студенкин — колода на пути. Даже ребятишкам в селе ясно — Федот, да не тот. Но что ни день, то крепче его власть — получил право указывать перстом: этого раскулачить и выслать, этого, этого!.. На Ивана не ткнул, но задеть задел. Маруся рыдала, билась головой о стену, лежала разбитая. Иван боялся — подымется ли Маруся на ноги, ездил в Вохрово за врачами. Она поднялась, пошла жать крапиву для свиней.

После того Иван пришел к Матвею, положил на стол заявление:

— Вот, Ухожу из колхоза.

Матвей ухмыльнулся:

— Уж так просто — ухожу. От раскулачивания увильнул, за коммуну спрятался, теперь — хвост трубой да на сторону. Шалишь, Ванька!

Тогда-то Иван решил: все молчат, а он скажет.

Сказал...

Эхом откликнулись люди.

Откликнулись... Казалось, тут-то и должны бы вспомнить все, что он сделал. Доверьтесь, силу и душу отдам без остатка!

Вспомнили об Евлампии Лыкове, ему доверились — он понятней, он свой, ты — белая ворона.

Мальчонка, один из лыковских племянников, в первый раз привез с маслозавода сыворотку для свиней.

— Принимай, дядя Иван.

Об этой сыворотке шла долгая переписка с районом, извели пуды бумаги — улита едет, не скоро будет. И вот улита приехала.

Лошадь у паренька была крупная, грязная, под линиялой шкурой туго выпирали ребра, голову держит понуро. Иван подошел, чтоб помочь парнишке, и вдруг лошадь подняла голову, обдала влажным взглядом и тонко-тонко, с тоской заржала. Он-то не узнал, а она узнала... Один из двух серых лебедей — копыта разбиты, бабки вздуты, брюхо в коросте грязи, и влажный взгляд. и тоскующий плач по прошлой жизни, по теплому стойлу, по ласковой руке хозяина, сующей в бархатные губы куски сахара.

Он любил своих лошадей, гордился ими... Он никогда не заглядывал в общественную конюшню; если видел серых коней на дороге — отворачивался, боялся разбередить душу.

И вот нос к морде, глаза в глаза столкнулся... Конь первым признал его...

Ночью не спал, лежал с горячей головой, видел перед собой влажный, преданный, тоскливый глаз, а в ушах — тихое, пропикновенное, призывно-жалобное ржание. Копыта разбиты, бабки вздуты, ребра что обручи: проведи палкой — загремят.

Довели... Так-то, Иван, и тебя изъездят...

А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?

Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.

Иван с женой разносил пойло свиньям.

Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносились резанный крик пьяной бабы и выверевшие от самогона голося.

Они вдвоем сидели за столом. Маруся старательно причесанная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось,—отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.

Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавтра, и на третий день, без конца—в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.

— Иван...— У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты... Разыскал деда Бляху, что ли...

Он внутренне содрогнулся от ее голоса:

— Зачем?

— Все гость у нас будет.

Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И занятие у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния.

— Маруся, ты в своем уме?

— А что тут плохого?

— Выходит, нам вдвоем плохо?

— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится... Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.

Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении...

Окна изб были по-праздничному освещены, в них качались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.

Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадью — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруся за гостем послала, за Бляхой... Сломалась!

А кругом пьют, веселятся, дерут мехи гармошек — что он для них.

Любил их, себя предлагал и оптом, и в розницу — берите, не стесняйтесь. Один Магвей Студенкин — колода?.. Ой нет, каждый! Весь путь из непролазных колод, не мечтай пройти — ноги сломаешь.

Он шел, прижимаясь к изгородям, чтоб не ступать по грязи. лез в сырую темноту, заполненную звуками чужого праздника. Стояла перед глазами лошадь с понурой мордой, с тоскливо любящим влажным взглядом. А дома под лампой сидит сейчас Маруся — причесанная на пробор, в выглаженной кофте, с желтым, усталым лицом. Он не только собой, но и ею бросался — берите, жертвую, ничего не жалею. Маруся! Маруся!.. Ради кого?..

Выгнанный из дому, Иван вдруг почувствовал буйный приступ отчаяния — вот-вот рухнет на землю, начнет вопить и корчиться в грязи. Не-на-ви-дит! Себя! Всех! Весь свет, кроме одной жены, чью жизнь он пустил на размен! Ненавидит! Обворовали, сволочи, выхолостили, горло бы рвать каждому!..

Из проулка, веющего колодезным мраком и сыростью, заревела гармонь, стала надвигаться. Темный воздух сотряс сильный голос:

Я на Дуньке верхом —  
Ножками качаю.  
При колхозе можно жить,  
Сталина не хаю!

Промесили грязь плотной кучей, пахнувшей избяным теплом и сивухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:

Заграницу обгоняем,  
Хлещем, выпучив глаза:  
Пропадай моя телега,  
Все чот-тыре колеса!

«Вот они, на кого разменял себя и Марусю! Им плевать, как пойдет жизнь, плевать, будут ли сыты, плевать, как после них станут жить дети, даже в этих пьяных песнях они издеваются над собой. А на тебя им и подавно наплевать. Только юродивые в ответ на плевки утрутся и с поклоном благодарят. Ты — юродивый для них!»

В истощенный ненавистью мозг пришла простенькая мысль. Пьяное ночное село навело на нее, визгливые вопли бабы, на которые никто не обращал внимания. Ежели в такой вечер кого убить — кто удивится? В такой вечер все возможно.

В другое время эта случайная мысль мелькнула бы и исчезла, как тысячи других нелепиц. Сейчас засела занозой, стал

отгонять ее, продирался вдоль изгородей вперед, к окраине села, где стояла на отшибе, задом к полям, маленькая, как банька, изба горького бобыля Бляхи.

Он позовет Бляху, он усадит его за стол. Может, Маруся права, в ней бабья мудрость — в таком вот сиротливом бобыле Бляхе и живет человечье. Пусть завтра все село начнет издеваться: вот, мол, сошлись Ванька Слегов и золотарь Бляха — два сапога пара, ха!

Вышел за село. В лицо с невидимых, спрятанных в ночи полей ударил густой и влажный ветер. Там, за толщей ночи, стоит колхозная конюшня, сооруженная из старого овина. Наверняка возле этой конюшни никого нет. Конюхи пьянствуют в селе.

Случайная мысль не давала покоя. Она росла в голове, как ряска в теплой луже.

Убить или поджечь — кто удивится! Все возможно. Конюшню поджечь, перед самой посевной. Пийко Лыкова возьмут за жабры, а в колхозе новая карусель. Ненавидит! За оплеванную жизнь, за рев голодных свиней, за Марусю, сидящую сейчас под лампой с желтым лицом, — за все!

Дул тугой, влажный ветер навстречу, за спиной гуляло село, забывшее о его существовании, там затерянная, одинокая Маруся. Она-то, может, готова простить, но он уже прощать не хочет. А ночь все покроем... А завтра он снова положит на стол заявление: не могу с вами, сплошные непорядки, и зачем я вам, я, читавший в гимназии Лекутэ, выписывавший журнал «Сам себе агроном», создавший в округе лучшую свиноферму... Как знать, спохватятся, да поздно! Перегорел!..

Искрились картины, одна другой злорадней. Иван впервые за последние годы снова почувствовал себя сильным, дерзким, способным на отмщение. Долго страдал от своей доброты, не хватает ли?..

Он только тут ощутил, насколько тяжела его ненависть. Не под силу носить ее, жить с ней изо дня в день, притворяться покорным, разносить свиньям пойло. Рано или поздно прорвется, это может случиться среди бела дня, без его воли, без его желания. Так не лучше ли сейчас, пьяной ночью, когда все возможно? Другой такой случай не скоро представится.

Руки сами стали шарить по карманам, искать спички.

Если б под рукой не оказалась коробка спичек... Наверно, он бы повернул домой, наверно, потом сам испугался бы дикой минуты, с годами пережил свою ненависть, и жизнь пошла бы иначе. Коробок спичек... Он отыскался: часа два назад Иван в свинарнике зажигал фонарь.

Сжимая в кулаке коробок, Иван ощупью по бровке грязной дороги зашагал в поле, испытывая зябкое, обессиливающее томление — за все! Сами постарались, чтоб стал врагом...

Он уходил в ночь от села, переборы гармошек становились все глуше и глуше.

Тьма и полевая тишь. Сыплет дождичек, да налетает ветер, ночь похоронила пьяное село. В черном, как сама земля, небе не увидел, а скорее почувствовал вознесшуюся крышу. Сквозь дощатые ворота слышался мирный стук — то лошадь ударяла копытами о настил. Там и его кони.

И опять вспомнилось — уроненная морда, влажный взгляд в душу, нечеловечья жалоба... И их вместе со всеми?.. Подавил жалость, — им-то и подавно смерть избавление, самому хозяину жить невмоготу...

На всякий случай окликнул сколовшимся от волнения голосом:

— Эй, кто тут живой?

Молчание, вздох рабочей коняги.

— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степан! Кто нынче дежурит?

Ворота не закрыты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.

Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.

На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли к чертям затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай, да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.

Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кисловато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой каши, сохранившимися с лета.

Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет нагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревно овина старые, выстоявшиеся.

Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом...

И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежилось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.

За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги.. Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдавила коробок...

Хотел вскочить... Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое...

Сено колюче встретило лицо...

Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя: Максим и Степан отцов родных на смертном одре кобросают, коль учуют, что спиртным пахнет.

Евламий их отпустил — гуляйте, — сам устроился спать на сене в яслях.

Его разбудил окрик:

— Эй, кто тут живой?

Не ответил, стал осторожно выползать из ясель. Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.

У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хранящую тяжелую влажность живого дерева, Евламий и опустил на спину Ивана.

Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, обрать, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ошупкой запряг ее, завалил в телегу размякшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.

Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:

— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!

— Заткнись, контра!

— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-олочи!!

Вопли и проклятия разносились по темным, сырым, неуютным полям. Евламий Лыков нахлестывал лошадь.

Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.

Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.

Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченный. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.

Просил врачей и сиделок:

— Жену пустите.

Просил каждый день:

— Жену...

Другого желания не было.

А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились.

над койкой по несколько человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Станный, однако, парод — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.

От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх, не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона...» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы...

— Жену пустите.

Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?

Дали...

Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.

— Ванечка, кровинка моя...

И, словно в яму, стал валиться, потемнел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:

— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут? Где доктор-то?..

Но он уже пришел в себя:

— Не надо, не зови никого.

И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:

— Думал, не увижу никогда.

— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!

Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке:

— Связаны не на счастье, выходит.

— И не смей, не смей! Какие слова говоришь!.. Как только язык повернулся!

Он прижимал к щеке ее руку и глядел в глаза. Глаза тревожные, сухие, опаляющие страданием.

Знает ли? Как не знать. Поди, по селу давно звон стоит, на все пальцами тычут — сучка каторжная... И прощает, как всегда.

Но нет, она ничего не знала, осторожно, чтоб не разбередить, спросила:

— Кто же это тебя, Ванечка? Какая зверина?

— Кто?.. А разве не известно?

— Евлампий Никитич рассказывает: за Пашутиным домом на задах тебя нашел. И как это тебя туда занесло?.. Клянусь себя, распроклятую, что толкнула из дому.

— За Пашутиным?.. На задах?.. Чего он комедию ломает?.. Не знает она, не знает и село, иначе бы донесли, уж не постеснялись. От новой тайны заметался в гипсовых оковах:

— Чего он молчит?.. Чего ему, подлецу, еще от меня надо?..

— Кто, Ванечка? Гос-поди! Кто?!

— Не спрашивай! Потом! Только не сейчас! Потом все узнаешь! Сама!.. Только теперь не спрашивай!..

— Молчу, молчу. Ради Христа, утихни. Не казись, и так сердце разрывается.

Он не сразу успокоился:

— Что ему? Не пойму, что еще?..

Глаза ее потемнели, взгляд стал тяжелый, сильно, видать, хотела знать, но не допытывалась, только гладила черствой ладонью его лицо. Ему же в эту минуту не хотелось ворошить прошлое. Минута-то счастливая.

Но из головы не выходило: все-таки, что надо Пийко? К чему эта игра в прятки?

Скоро выяснилось. Евлампий Лыков явился собственной персоной — широкий костяк черепа проступает сквозь тугую, обветренную кожу, белесые волосы поредели, под шишкастым лбом в сумрачных яминах голубые глазки, неожиданно ласковые, с тихой улыбочкой. И пахнет от него вкусно — то ли черемухой, то ли горечью клейких листьев, обидным для закованного в тяжелый гипс человека. А в руке у Евлампия узелок — цветочками линялый ленок. От узелка тянет домашним уютом, покоем обретенной семьи. Евлампий, считай, молодожен, не столь давно, в этот мясоед, праздновал свадьбу, взял в жены Ольгу Редькину. Ей — восемнадцать, ему — за тридцать перевалило. Узелок в голубых цветочках, голубые глазки в доброй улыбочке — ну ни дать ни взять пришел брат, родная душа.

— Вот... — Узелок положил к подушке, возле уха Ивана. — Тут курочку жинка сварила. Сам подбирал — молодая, тельная...

— Тебе чего, сукин сын? — спросил Иван в потолок. — Сам видишь, я калека, одной ногой в могиле. От меня уже не покорствуешься.

— Выживешь. Узнавал — выживешь. Плясать — вряд ли и ходить вряд ли, а жить будешь.

— Чего тебе от меня? — сурово повторил Иван.

Он лежал на особицу в операционной палате — тесной комнатушке на одно окно, с одной койкой. И хотя кругом никого не было, но Евлампий все-таки шагнул к окну, за которым в близком и недоступном Ивану солнечном мире скандалили воробьи, хлопнул его, снова сел напротив — короткая шея, массивные салазки, крепкий череп под шершавой шкуркой, бронзовый лоб,

хоронящий под собой голубые глазки. Уже без улыбки, уже деловит.

— Ты, Ванюха, жить будешь — за это лекаря скопом ручаются. Жить будешь, но сидючи. Вот я и подумал: а зачем мне тебя в тюрьму упрятывать, бог с тобой...

— Одолжил. Может, ждешь — спасибо скажу?

— Может, и скажешь. Пока я всем говорю: стукнули тебя по пьяному делу, а кто — не знаю. Конечно, и ты ведать не ведаешь. Ясно? Припутывать кого-то там не след. Мало ли в праздники чего не бывает.

— Жалостлив или боишься, что тебе самоуправство приклеят?

— Мое самоуправство законное. На разбое тебя прихватил, так что — чист и свят, даже благодарность могу заслужить.

— Все корысть, чего отказываться-то.

— С тебя корысть поболее.

— С меня?.. Я же калека без ног.

Евламий помолчал, ошупывая голубым глазом. В его взгляде — не насмешка, не холод, а, похоже, жалость. И это поразило Ивана: застал на разбое, оглушил оглоблей и... жалеет. Притворство? Хитрость? Издевка или совесть възграла? С чего бы?..

— Эх, Ванька, Ванька! Ведь я ждал, ждал... — произнес Евламий.

— Чего?

— Что озлобишься. Я за тобой не один год со стороны слежу. Я, может, один только и понимал тебя: и как ты показать себя хотел, и как сорвалось, как в своем корыте надежду утопил...

— Потому и приложил?

— Все-таки не думалось, что до такого дозреешь. Враг среди ночи — ударил, прощенья за то не прошу, хотя жалею.

— Хватит ерничать-то. Я же в жалость давно не верю — ни в твою, ни в чью-то.

— Может, мне надо было свое место тебе уступить — пограмотней да и поумней меня, поди, лучше смог бы колхоз поднять. По у меня тоже душа по большому делу зудит. И с народом я лучше тебя столкнуться могу. Ни народ тебя не понимал, ни ты его. Так что баш на баш менять — только время терять.

— Чего хочешь, Пийко?

— Иль не ясно еще? Тебя к себе приспособить. Ты мне советик — я его в дело вобью. Накормим, оденем, обуем людей, такое, может, завернем, что никому и не снилось. Может, дома белокаменные вместо изб поставим, в них у каждого столы со скатертями, полки с умными книгами. Не жизнь, а масленница.

Будет! Будет! Верю! Ради такого кровь по капельке выцедить не жаль!

И под надвинутым черепом вспыхнувшие синевой глаза — верит, не врет. Невдомек Евлампий Лыкову, что он сейчас этой верой бьет Ивана больней, чем оглоблей. Старая, безнадежно потерянная сказка о счастливом селе Пожары, где молочные реки и кисельные берега. Евлампий выкрал ее, присвоил себе и ждет, чтоб помогал. Иван дернул головой:

— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.

Евлампий сразу поскущел, отвел глаза, сказал:

— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилюют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.

— А ты спроси: хочу ли я... жить-то?

— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.

— Мне за это перед гобой на лапках служи?

— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.

— Все равно не захочу!

— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного. — Евлампий лениво встал: — Поправляйся скорей... Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем... А курочку съешь, не брезгуй. Когда варила, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины...

В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.

Бабы остаивались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка разнесчастный, господи!

Иван палегал на новенькие, недавно выстроганные костыли, перекидывал чужие, словцо привязанные, ноги, потел с непривычки.

Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.

## ИВАН СЛЕГОВ (продолжение)

Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.

Висит над койкой грузный Иван Иванович.

Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил

против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больных почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит палящего кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загривок, ртуть-мужик, для всех нежданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил...

Вот оно... Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.

Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.

Охватила неожиданная жалость к Евлампии, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампии, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежащему безразлично.

Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, валоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть... Зачем?

Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.

Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой nedovязанный носок.

\* \* \*

В минуты откровения Евлампий Лыков признавался: «Ты, Иван, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.

Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться — нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее: сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдабривали навозом, почаше ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:

Жила, живоват,  
Тошой ухват,  
Морквой разговелся,  
Брюхом истрадался...

«Бей, братцы, жилу, круши их!»

Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:

— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.

— Чай, я квасу хлябанул — шатае...

Навряд ли справедливо, потому что «Бей жплу!» раздавалось не с квасу.

В Петраковской не было коммуны, как не было коммуны в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.

Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.

Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.

Да, Пийко Лыков пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего успевал сам, а в молодости и подавно не знал покоя — не откажешь, вез воз на совесть.

Но с тех забыто древних времен, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею, — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повернул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни приткость Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, оказался он на месте Пийко, вышла бы осечка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.

Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммуны Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она насторожила даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».

Приткость Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея рубаку, который сердито жал «на процент», сами не ученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным допухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы...

Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.

Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»

Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выруч-

ку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымался со стула, не ездил по полям, но хозяйство знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по несколько раз. Советуй... Что ж, изволь.

— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.

— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком. — Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит...

— Раз так, не паши, — роняет Иван.

У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».

— А хлеб нам с неба упадет, что ли?

В ответ спокойный вопрос:

— А много ли сымешь за рекой хлеба?

Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-то из нее выжать. «Не паши...» — Евлампий сопит.

— Сена в эту зиму не хватило... — подсказывает Иван.

Евлампий сопит.

— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем... Нам даже суходолы — дар божий.

Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.

— А что, ежели... — говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.

Иван усмехается:

— Ну, ну, рожай.

Казалось бы, дикость — забросить земли, с которых нестари сымали хлеб. Но не хватает рук, не хватает навозу, не хватает и корму для скота. Как выкарабкаться? Просто — не паши, запусти часть земли под луга и... бросай тягло и руки на другие поля; на эти же поля можно вывезти больше навозу, значит, жди с них погуще и урожай, а колхоз со временем получит новые покосы. Попробуй поступить иначе — разбросаешь силы, останешься и без хлеба и без сена, поползет хозяйство, как прелея онуча.

Евлампий хлопает себя по ляжкам:

— Дело!

Мысль родилась в председательской голове, не первая и не последняя мысль, с помощью «бабки-повитухи» — безногого Ивана Слегова.

— Дело! Кой-кто на дыбки встанет. Уломаем!

Вот уламывать Евлампий умеет мастерски: и лаской, и таской, и слезливой бумажкой в район, и хлопотливым беганьем из кабинета в кабинет по нужным начальникам.

В Петраковской, по соседству, падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из даяния. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.

В районном городе Вохрове, в пристанционном скверике, умирали выслаанные с Украины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привычку, приезжала телега, больничных конюх Абрам наваливал трупы.

Умирали не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтоб получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.

Тридцать третий год...

А в селе Пожары, где всегда жили по пословице «Наша горница с богом не спорится», первыми оставались без урожая в засуху, терпели первыми от проливных дождей, от градобития, от конского сапа, от ящура,— в этот год собрали приличный урожай.

Евлампий Лыков потирал ладони:

— Порядочек!

Пел соловьем перед сидящим в полутемной комнатенке счетоводом:

— Излишечки имеем. Ха! В такой-то год! Навар добрый. Только им любоваться нам долго нельзя. Районное начальство живо наш навар снимет. У них, сам знаешь, положение крутое, со всех сторон руки тянутся. Ты быстренько разбросай все, что есть, по работникам, и пусть не мешкают, пусть развозят. А уж развезут — шалишь, по избам районные охотники не пойдут шарить, ежели и вздумают, то следов не отыщут. Кругом-то травку жрут! Да на нас народ молиться будет!

Иван Слегов сидел, слушал, прятал под столом валенки — и летом их приходилось таскать на мертвых ногах,— наконец обдал холодом:

— С молитв шубу не сошьешь.

Евлампий Лыков раздвинул плечи, выпятил грудь, надулся индюком:

— Я с народных доходов себе шуб шить не собираюсь!

— Себе не шей, а колхоз обряди. Твой колхоз в обносках ходит: конюшня из старого овина...

— Не сразу Москва строилась. Все в свое время.  
— А время-то настало. Не кажется?..  
— Сейчас — время строить?! Да сейчас за бешеные деньги гвоздя ржавого не раздобудешь.

— За деньги — да. А за хлеб?..

Евлампий подобрался, уставился на небритого, пасмурного, как осеннее окно, счетовода — бабка-повитуха приказывает родить мысль.

— За хме-еб?.. Менять, что ли?.. У нас не частная лавочка. Я тебе на базаре за хлеб хромовые сапоги выменяю. А кирпич, а гвозди...

— Слышал о Лелюшенском кирпичном заводе?

— Ну, слышал краем уха.

— Прикинь — ты там директором. Люди у тебя в столовке гоняют пустую баланду, а им глину тяжелую ворочать, какие они работники — с ног падают. И план, значит, ты не вытягиваешь, и нагоняи от начальства огребаешь, и сам рабочий с голодного брюха на тебя волком смотрит. А теперь прикинь — картошки предлагают. Картошка все заботы сымет, с сытого можешь потребовать — выполняй план, сытый рабочий тебе поверит, на сверхурочную работу встанет, лишний кирпич выгонит, чтоб эту картошку оплатить. Пошел бы ты навстречу такому предложению?..

— Пойти-то пошел...

— Так в чем дело?

— В малом. За морем телушка — полушка... Ты, может, на Америку укажешь, там тоже кирпичные заводы есть. Лелюшино-то не под боком.

— К Лелюшино железная дорога проложена.

— У меня там родня не работает.

— Работают опять такие же рабочие, которые не калачи с маслом едят. Пообещай картошки и муки — перекинут твой кирпич, найдут способ.

— М-да-а... А не нагорит нам за такой шахер-махер?

— Я тебя не на взятку толкаю. Не начальнику мешок, не снабженцу подачку — предприятию, учреждению, с документами по всей форме, чтоб комар носу не подточил.

— Соб-ла-азн!

И вправду соблазн, да еще какой. Все колхозы кругом — еле-еле душа в теле, а тут дорога в рай — новая конюшня, коровник, свиарник, о таком и в добрые времена мечтать погоди.

Но вот ведь странно: в добрые времена не мечтай, а сейчас, когда кругом худо, — делай мечту былью, куй железо, пока горячо.

Со станции потянулись подводы — везли кирпич, стекло, кровельное железо, олифу в огромных бутылках, упрятанных в плетеные корзины... Никакого шахера-махера, не сам Евлампий, а начальство с кирпичного, начальство со строек выискивало нужный пункт, чтоб по нему составить законную бумагу: вы — нам, мы — вам, квиты. Кто сомневается — просим. Не слишком разговорчивый Иван Слегов брался за костыли, ковыляя к шкафу, вынимал нужную папку: «Читайте. Продокументировано».

Евлампий только намеки: вон висит спелое яблоко, а как через забор перелезть, как сорвать — не сидячему Ивану указывать.

Пийко Лыков перерождался у всех на глазах. Давно ли к каждому подкатывал: «Лежишь, добрый молодец? Жирок нагуливаешь?.. Лежи, лежи, а я поработаю». Золотой характер, штаны носил с заплатами. Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают, а встречаться приходилось с директорами заводов, с начальниками строителей, могут принять за несерьезного человека: по-крупному ворочаешь, у самого же на неприличном месте заплаты. Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах.

Конюх Степан Зобов, вывозя по распутице мешки с цементом, стер до мяса холку лошади. В другое бы время Евлампий его журил: «Себе вредишь. Безобразно огносишься». Теперь печатал:

— За то время, пока лошадь лечится, высчитать убытки!

Степан по старинке лягаться начал:

— Эт-то как?! Да я за вожжи больше не возьмусь! По распутице тяжесть вез, клятое дело!

— Вожжей в руки не возьмешь?.. Что ж, снять с конюхов. Поставить на рытье фундаментов, где глина покруче.

Не прежние времена.

А счетовод Иван Слегов сидел в своем закутке. С ним никаких перемен — небрит, порывевший пиджачок на плечах, белые ноги спрятаны в теплые валенки.

К нему Евлампий Никитич с почтением, даже сердечно: «Иван — мой посох». Евлампий опирается на Ивана, Иван на костыли, которые подарил Евлампий, — квиты, выходит.

Подводы кирпича и железа быстро слизнули излишки из колхозных амбаров, тем более что Лыков в этом усердствовал. Как и ожидал Иван — не хватило, аппетит приходит во время еды. Нужны арматура, трубы, какие-то решетки на сточные колодцы, вещи, о которых и слыхом не слыхивали в Пожарах.

— Как быть? — Евлампий Никитич сивкой-буркой встает перед столом своего счетовода.

— Покупать.  
— На какие шиши?  
— Я попридержал окончательный расчет по трудовням. Пускай в оборот.

Евламий Лыков дыхнул растерянно:

— Как же, брат, это?

Иван смиренхонько согласился:

— Считаешь — нельзя, не покупай.

— До будущего года отложить ежели?..

— На будущий год такой вольготности может и не случиться. Все окажутся с урожаем, хлеб упадет в цене. А у нас, как знать, вдруг да назло в урожай осечка. Вот и откладывай.

Лыков дышит в лицо Ивану:

— На трудодень законный посягаем. На то, что твердо обещали... Мужика, выходит, своего обворовываем.

— Уж так и обворовываем? Чем наш мужик питается?.. Чистым хлебом. А в других деревнях что сейчас жрут?..

— На совесть народ работал, и расчет должен быть по совести.

— По чьей? — Вопрос с ледком.

— Как это — по чьей? — удивляется Евламий. — Разве у народа совесть одна, у меня — другая?

— А разве ты во всем согласен, скажем, с Пашкой Жоровым?

— Ну нет, не во всем.

— То-то и оно. По Пашкиной совести — не сули орла в небе, дай синицу в руки, плевать на новую конюшню, отвали лишнюю жменю ржи. Можешь ты, председатель, жить Пашкиной совестью? Если — да, то грош тебе цена.

— О совести ли мы говорим? — сомневался Евламий. — Может, о взглядах? Они того... у Пашки — недоразвитые.

— А разве совесть не на взглядах замешена? Ворюга-прохвост, когда в карман лезет, тоже, поди, подходящими взглядами на всякий случай запасается. Свои взглядики, своя карманная совесть, так-то!

— М-да...

— Как видишь, греха нет, ежели мы у совестливого Пашки ремешок на брюхе стянем.

Евламий долго-долго ощупывает взглядом своего счетовода. На вид ничего особого: густая копна волос, пухловато-небритое, скучное лицо, прячет неживые ноги под столом, казалось бы, такой мухи не обидит.

— До чего ты, брат, зол, однако.

— Не ты ли в компании с Пашками во мне доброту повыжег? — ответил сухо Иван и добавил: — А потом, я свой хлеб не хочу зря есть...

Евламний поступал по-сеговски, не мог иначе. Иван ощутил свою силу: вот как оно оборачивается — слушай не слушай, да ослушаться не смей.

А он сам мог и ослушаться.

Посреди села, у крыльца бывшего тулуповского дома, ныне колхозной конторы, открылась ежедневная «ярмарка». Из Петраковской, где когда-то презирали пожарцев, из других окрестных деревень стали сходитьсь мужики и бабы, то в одиночку, то целыми семьями с детишками, держащимися за подолы. Они предлагали: возьмите нас, недорого просим — кусок хлеба для детей и для себя, на любую работу готовы.

Нет, они не падали с ног, не выглядели истощенными, правда, в глазах тоскливая сухость да движения вялые.

Все хотели видеть Евлампия Никитича, палкой не сгонишь с крыльца, пока не появится председатель хлебного колхоза.

И он появлялся, крепко сколоченный, широкий, с загривочком, уже начавшим наливаться багрецом, настоящий бог сытости, только огорченный и растерянный бог, отводящий глаза от ищущих взглядов. Он разводил короткими руками, отказывал:

— Куда мне вас, посудите сами. В селе — добрая тыща ртов, как прокормить, не знаю.

А слава о новоявленной житнице росла. Из города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не соседские мужики, хоть травкой, но кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей пенкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползал, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клекотом, сквозь дыры зашивевших лохмотьев — расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирнели, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали: куда таких, одного возьми из жалости — от других отбою не будет. А председатель еще грудодни обрезал, самим бы концы с концами свести.

Евламний Лыков ловчил, старался не попадаться на глаза, отдал приказ: закладывать лошадей, усаживать незваных гостей на подводы и увозить обратно в Вохрово.

Словчить удавалось не всегда.

Так наскочил на одного: лицо подушкой, из водянистой в затхлую зелень мякоти — совинный нос, подушками и ноги, грязные пальцы пристрочены снизу, как пуговицы. Лежит в лохмотьях на крыльце, увидел председателя, поднял нечесаную голову.

— Возьми,— просипел.— Каменщик я. В Орле работал, подряды брал. Свое дело имел. Сам дюжиной работников заворачивал...

Евламий Лыков хотел обойти стороной и, не сдерживая прыть в ногах, удалиться от греха, но следом на костылях выползал Иван Слегов — неудобно бросить калеку, гость-то полерек крыльца лежит, путь загораживает.

Иван навис над кучей тряпья, а из нее в упор чудовищно раздутая, со смытыми чертами, затекшими глазками физиономия, нос крючком из студенистой мякоти. И по лицу Ивана прошла судорога.

— Возьмите. Каменщик я.

Иван поперхнулся и выдавил:

— Возьми.

Евламий, отвернувшись, зло всаживал в землю каблук сапога:

— Почему этому одолжение?.. Рад бы в рай... Всех не приглубишь.

— Кирпичи-то для строительства берешь?

— Ну, беру.

— Возьми и каменщика.

— Как звать? — повернулся тугим телом Евламий.

— Чередник Михайло.

— Э, ребята! Отведите его... К Секлетии Ключишне. Пусть накормит да в бане пропарит.

Двое зевак-парней подхватили бродягу. Иван перевел дыхание, стал с привычной осторожностью спускаться со ступенек.

— Иван... — Евламий задержал его за костыль, глаза прячет к земле, но голос решительный. — Вот что... Кому-то надо разбираться, может, и в самом деле в этих вороньих пугалах нужные нам люди есть.

— Как не быть, — настороженно согласился Иван.

— Так вот, тебе поручаю — вникай, расспрашивай, кого нужно — пригреем. На твою совесть рассчитываю.

Иван уставился на председателя, а тот — глаза в землю, но в скулах каменность, нетрудно прочитать: «Прошу пока добром, но особо не перечь — прижму». Хорош: неудобно нырять с головой в людскую беду, ковыряться в ней, быть жестоким — «на твою совесть рассчитываю», — ты отказывай. Принимать-то нельзя, это каждому ясно, колхоз не богадельня. Отказывай, будь ты жестоким, а я в сторонке, без тревог, не пачкаюсь. Не многого ли хочешь, Евламий Никитич? Не только за тебя мозгами шевели, но и еще грязь за тебя вылизывай, оберегай боженьку.

Иван сухо ответил:

— Не смогу, не справлюсь.

— Поч-чему? — поднял сузившиеся глаза Евлампий.

— Потому что каждого буду принимать, а ты мне сам этого не позволишь.

И, освободив костыль из лыковской руки, Иван заковылял к дому.

Евлампий стоял, расставив ноги, глядел в спину. Иван ощущал этот взгляд до тех пор, пока не завернул за угол.

И все-таки Евлампий не стал настаивать, проглотил отказ. Самому приходилось разбираться с просителями.

А Михайло Чередник, принятый по счастливой оказии, стал потом в колхозе бригадиром знаменитой строительной бригады. Его наградили орденом, о нем не раз писали газеты...

### ЧИСТЫХ-СТАРШИЙ, ПРОХОДЯЩИЙ СТОРОНОЙ ПО ИСТОРИИ

У самого входа, у дверей, на табуретке сидел скромно и тихо, как ученый цирковой слон, шофер Лыкова Леха Шаблов. Руки — клешни, красные, пугающе крупные, отдыхают на коленях вместе с шапкой, в лице — лепной сдобе — прячутся маленькие глазки, выражение пшеничного каравая, но сами глазки в тревожной готовности. При появлении старого бухгалтера громадные валенки шевельнулись, попытались без успеха втиснуться под табурет, — парень хотел съжаться, стать меньше.

Иван Иванович остановился, стал хмуро разглядывать: покатые плечищи, колени округло тупые, твердые, каждое что дно чугуночного казана, руки на коленях, ломающие подковы, — сила позднего Лыкова.

— Леха...

И Леха Шаблов с радостной надеждой вздрогнул — к нему обращались, он нужен.

Голос Ивана Ивановича скучен:

— Стоит ли тебе глаза добрым людям мозолить? Шел бы... Сам понимаешь, кой-кому неприятно смотреть на тебя.

Обширное сдобное Лехино лицо стало деревянным:

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я при Евлампии Никитиче до последней минуты.

Этот парень с мускулами матерого медведя надеется, что собачья верность старому хозяину будет поставлена в заслугу.

— Молодые Лыковы вот вернутся с работы... Теперь тебе скандал ни к чему.

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Бухгалтер недовольно повел плечом, бросил взгляд на Чистых, словно говоря: «Ну что тут поделаешь? Не толкать же в шею быка».

Чистых этот взгляд повял как приказ, выпрямился — рот сжат, щеки надуты, круглые глаза строго выкачены. Приблизился к Лехе скуповатой чинной походочкой, выдержал паузу.

— Иль не ясно сказано? — спросил он.

Леха молчал, уныло отводил глаза.

— Ну?! — тенорком прикрикнул Чистых.

— Чего — ну?

— А того, разлюбезный... Шапку надевай и — вот бог, вот порог. Быстренько!

Леха сидел в столбняке.

— Хочешь, чтоб я к телефону подошел?

— Я от Евлампия Никитича...

— Слышали! Не ломай, браток, комедию. Хватит! Ежели сию минуту не встанешь, звоню. От имени вот Ивана Ивановича, от имени всего колхозного правления попрошу участкового вывести тебя под пистолетом.

Леха минуту тупо глядел в пуговицу пальто на животе Чистых, наконец зашевелился, разогнулся, сразу вырос под потолок, чуть ли не на голову поднялся над долговязым лыковским замком, шире его втрое, страшный деревянным выражением своего лица. Кто знает, что может прийти такому в голову, махнет клешней лапой — в стенку влипнет худосочный зам.

— Не заставляй упрасивать, — уж не столь напористо повторил Чистых. — По-доброму...

По пшеничной Лехиной роже медленно разливалась краска, маленькие глаза становились колючими.

— Сволочи вы все! — зарекотал он глухим басом. — Чем я хуже?..

— И-но! Но! — Чистых подался назад.

— Чем хуже тебя, гнида?.. Не самовольствовал, исполнял что приказывали. Ослушаться-то никто не смел. И ты тоже. Теперь съесть готовы, кры-ысы! Под пистолетом еще...

— Но! Но! По-доброму просим.

— Ляпнуть бы тебе по-доброму, чтоб копыта откинул. Иль, чистый! Ух бы, махнул! Да дерьмо тронешь — вонь пойдет.

Леха рывком натянул шапку, согнулся под приложей, толкнул дверь.

Чистых облегченно перевел дыхание, постоял, глядя на захлопнувшуюся дверь, и с виноватой неловкостью — «за скандалчик извините» — повернулся к бухгалтеру.

На жирном, желтом лице Ивана Ивановича ничего нельзя прочесть — покойно, словно и не было скандала.

— Не понимаю, — поспешно заговорил Чистых, — Евлампия Никитича не понимаю. Из-за такого Лехи в глазах людей себя ронял.

Иван Иванович из-под заплывшего века, из глубокой шелки остро взглянул на лыковского зама, ухмыльнулся:

— Осуждаешь?

— Ну, мне ли судить... А все-таки.

— Гм... Ты не Леха, не-ет.

— Иван Иванович! Какое может быть сравнение! Обидно слышать, право.

— Он — просто заяц, а ты, вижу, заяц отважный, из тех, какие помирающего льва лягают.

Чистых, к удивлению Ивана Ивановича, побледнел, взгляд стал совиный, стеклянно-непроницаемый, и в голосе прорезалась востолкованная сипотца:

— Несправедливо же!.. А впрочем, думайте как угодно. Тут не убедишь. Но заявить уж разрешите: я Евлампия Никитича и сейчас не лягаю и лягать не стану, даже к стенке поставьте. Евлампий Никитич мне вместо отца родного.

— Поди, и Леха сейчас так же думает.

— Леха хозяина теряет. Только-то...

— Ты — отца?

— Не верьте, неволить не могу. Только папомню: из меня, может, бандюга-уголовник вырос, если б не Евлампий Никитич.

— У тебя ж отец родной жив. Его по боку?

— А что он для меня сделал? Только родил. На том и спасибо. Все знают: он ко мне, я к нему — с прохладцей. А свято место в душе пусто не бывает. У меня это место — вот тут! — стукнул в грудь желтым кулаком, — Евлампий Никитич занял.

Заглядывая в округлившиеся, потемневшие глаза Чистых, Иван Иванович подумал: «Похоже, правду говорит. Не для всех Шийко — казенный человек».

Родной отец Чистых живет сейчас в Вохрове. Он старый враг Евлампия Лыкова.

\* \* \*

Чем успешнее шли дела в колхозе, тем усерднее Евлампий Никитич мел пыль вокруг районного начальства, пуше всего боялся, как бы не приказали: делись с отстающими — пустят по ветру, долго ль. Помогали не ласковые слова, не улыбочки, а знакомства с директорами заводов, с начальниками строителъств, которые снабжали колхоз стройматериалами.

В районном клубе, переоборудованном из старой церкви, протекала крыша, по этому поводу собирались совещания, принимались решения, посылались в область запросы, а крыша текла себе и текла, даже на макушку выступавшего с очередным докладом секретаря вохровского райкома Николая Карповича Чистых. И вот тут-то Евлампий Лыков выступал в роли спасителя:

через влиятельных знакомых доставал кровельное железо, создавал вокруг себя мнение — полезный человек. До поры до времени район не вмешивался в жизнь села: строятся — похвально, так держать!

Но вот начали вылезать из голодного года, подсчитывали ресурсы — к весне не хватало семян. В село Пожары приехал сам секретарь Чистых.

Среднего возраста, среднего роста, средней наружности, одет средне — поношенный пиджак, галстук, тщательно расчесанные негустые волосы, лицо млажавое, но было в нем что-то оособое, «останавливающее». Умел глянуть сквозь, сказать, не повышая голоса, чтоб собеседник ответил октавой ниже, обронить слово «товарищ» так, чтоб всякий почувствовал: держи дистанцию. Он имел за спиной не обширную, зато ничем не запятнанную биографию — не участвовал в оппозициях, не примыкал к группировкам, не имел отклонений, не получал ни выговоров, ни на вид, — этим гордился, при случае разрешал себе напомнить: «Я перед народом чист как слеза».

С ним одним Евлампий Лыков не сошелся на короткой ноге, хотя и старался вовсю: не только крышу на районный клуб, даже для усиления агитации кумач раздобыл — революционные-то лозунги по сельсоветам писали на старых обоях и газетах.

Чистых, не посоветовавшись заранее с Лыковым, собрал в колхозе узкий актив, выступил с предложением: выручить район, сдать сверх плана на семена столько-то пудов.

Сдать?.. Лыков еще осенью перегнал на цемент и стекло все хлебные излишки. Поздненько спохватился товарищ Чистых — мы теперь оконным стеклом богаты, не семенами, самим бы посеяться. Попробовал осторожненько убедить в этом.

Ну нет, не на того напал.

— Новую конюшню заканчиваете? — спросил Чистых.

— Заканчиваем.

— Новый коровник заложили?

— Заложили.

— Свинарник новый собираетесь строить?

— Да, собираемся.

— Так что же вы беднячками незаможными прикидываетесь? Сдать!..

— Сдадим, а в новом свинарнике свиней будем кормить чистым воздухом?

— Товарищ Лыков! У нас людей кормить нечем, а вы — свиней!

— Но свиней-то растим не для господ бога, для тех же людей!

Евлампий Лыков до сих пор никогда круто не возражал районным властям — бог миловал, а тут понял: отступать нельзя.

накупил горы кирпича, цемента, хозяйство висит на струнке, легкий толчок... и ухнет вниз, сиди тогда среди штабелей драгоценного кирпича и кукарекай. Сдай! Нет, каждая горсть зерна наперед учтена. Сдай! Невозможно! Нашла коса на камень. Активисты, глядя на своего председателя, тоже уперлись.

Чистых поиграл желваками, со стеклянным блеском в глазах пообещал:

— Ну, тов-варищ Лыков, придется в отношении вас пойти на крайние меры.

Крайняя мера — долой с председателей! Лыков прикинул: сам Чистых без народа, без общего собрания колхозников снять его не посмеет. Ну а на собрании посмотрим, народ-то должен тучей подняться за Евлампия Никитича, который блюдет его интересы, кормит не травкой-муравкой, а хлебом без мякины.

Наступление началось издалека, с глубокого тыла, из района. Чистых нетрудно было разделить с теми, кто в районных организациях за старые заслуги выгораживал пожарского председателя. Вынырнул на свет божий некий Семен Семенович Никодимов, кому суждено замесить не оправдавшего надежд Лыкова. Осталось одно — провести через общее собрание колхозников, заручиться поддержкой народа.

А в народ-то Евлампий Лыков верил, народ понимает свои интересы, стеной встанет, Никодимов какой-то, слухом не слышали, в глаза не видывали. Ну, дорогой товарищ Чистых, держись, дадим бой! Вспомни-ка: с активом не справился, а тут — массы, силища!

Евлампий Лыков верил и... чуть промахнулся.

Он малого не учел — обиженных, вроде бывшего конюха Степана Зобова. Их за последний год поднабралось — не дал лошадей пахать усадьбу, задержал на потраве хлебов коров, просто обошелся резко — мало ли чего не случалось, всем мил не будешь. Нет, их не большинство, двух рук хватит, чтоб по пальцам перечесть, не масса, но обижены.

Довольному достаточно сохранить то, что имеет. На то он и довольный, чтоб не рисковать. Обиженному терять нечего, он даже может и выиграть, если полезет на рожон.

Приехал сам Чистых проводить собрание. Довольные в присутствии высокого начальства молчали. Степаны зобовы, уловив, куда ветер дует, старались вовсю, кричали с надрывом, только их голоса и были слышны:

— Своевольничает! Жизни нет! Ишь, загривок-то отрастил!

И товарищ Чистых с охотой их голоса принимал за глас народный.

Кричат единицы, остальные молчат — вот тебе и в массах сила.

Собрание кончилось. Чистых бросил Лыкову:

— На днях получите окончательное решение. Сдадите дела. Придется рядовым колхозником завоевывать авторитет. Это трудней.

Лыков смотрел в пол.

Народ поспешно расходился, все старались не глядеть на развенчанного председателя.

В пустом зале у дверей, пригорюнившись, стояла Секлетия Ключишна, бабка-уборщица, ждала терпеливо, когда очнется председатель, чтоб закрыть на замок контору.

Евламий поднялся с натугой, устало побрел к выходу.

— Ох-хо-хо! — вздохнула Секлетия.

Он, переступая порог, пьяно ударился плечом о косяк.

— Охо-хо! Господи!

На темной дороге кто-то широкий и приземистый месил грязь. Евламий Никитич нагнал — Иван Слегов на костылях, последний с собрания, все остальные уже разбежались по домам.

— Иван... — Тот, работая костылями, оглянулся — под шапкой глаз не видно. — Иван, слышал?.. Молчали!.. Что ж это? А?.. Что такое?!

— Жизнь. — Короткое слово, как клок бархата, ровным басом.

Евламий закричал тонким от горя голосом:

— Не жизнь это — бл.....! Жизнь-то покатится, что бочка с горки! Никодимов какой-то! Он вас не пожалеет, на распыл пустит.

— Может быть.

— И ты спокоен?

— А я волноваться-то отучился.

— Все молчали! Бараны! Их под обушок ведут!.. Ты-то умней других! Ты-то лучше меня знаешь, чем все это пахнет! Тоже молчал!!

Крепкая, накаченная костылями рука Ивана взяла за локоть, повернула Евлампия лицом к себе. Глаз не видно под шапкой, только рот да упрямый подбородок.

— Ты много от меня хочешь, Пийко. Совет в делах — готов, спасать тебя — уволь.

Евламий Никитич стоял посреди улицы, смутно различал, как борется в темноте со своей немощью Иван Слегов.

«На днях получите окончательное решение...» Но с решением пришлось повременить. В области собиралось крупное колхозное совещание, оттуда запросили — командировать Лыкова как участника. В последнее время фамилия Евлампия Никитича уже постоянно мелькала в отчетах, — сверху знали: есть такой.

Сообщил: не может выехать, потому что снят, значит, и объяс-

ни — почему. Значит, не исключено, налетишь на упрек — разбрасываетесь кадрами, не занимаетесь воспитанием. Там, глядишь, заставят пересмотреть решение, потребуют ограничиться выговором. Пусть прокатится, а как только вернется — решение о снятии будет уже ждать. Обречен.

И Лыков это понимал, надеждами себя не убаюкивал. Однако — терять-то нечего — готовился дать бой, выступить с высокой трибуны: видите, мол, дорогие товарищи, председателя на издыхании, снимают!..

Впервые он присутствовал на таких больших совещаниях — людей без малого тысяча, его затерли где-то в задних рядах, самый неприметный, таким счет ведут даже не на дюжины, а на круглые сотни. В кармане — заветная бумажка, на зубок ее выучил, со сна спроси — не запнется. Бумажка с жалобой, стон и вопль души.

Но шло совещание, и час от часу все сильнее он впадал в уныние. Что его жалоба!.. Область вылезала из тяжких голодных лет. Чего только не рассказывали с трибуны: в таком-то районе заставляли сеять созревшей рожью, а в таком-то и вовсе не засеивали, в отчетах пером выводили цифру — засеяно.

Конца нет жалобам, каждый норовит выставить свою нуждишку, надеется на помощь. У него, Евлампия Лыкова, сравнить с другими, беда не так уж горька.

Бумажка жжет карман, она выучена на зубок. Грош цена этой бумажке!

И тут-то Лыков смекнул: не след слезу пускать, без нее — море разлитое. Он начал про себя сочинять другую речь.

С далекого красного стола на сцене председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Лыкову, председателю колхоза из Вохровского района.

Пора... Лыков, наступая на ноги, выбрался к проходу, зашагал по длинному ковру, продолжая сочинять речь.

— Товарищи!..

Тысяча голов, тысячи глаз, только что сидел неприметный в заднем ряду, никто и не подозревал о твоём существовании, пробил час — к тебе внимание.

— Товарищи! Тут я слышу — все больше жалуются на жизнь. А у нас нет охоты жаловаться и слезы лить...

Тишина. Внимание.

— Да разве можно нам жаловаться, товарищи, когда в прошлом году мы получили по сто пудов с гектара, в этом поболее...

Аплодисменты смяли тишину. Они прокатились от передних рядов к задним — и снова тишина, снова внимание. Заметил: у тех, кто сидит поближе, широкие улыбки на лицах. Эх, люди, люди, осточертели вам жалобы, черно от них, как вас не понять.

Наверно, у каждого сейчас в голове вертится нехитрая мыслишка: раз где-то люди уже хорошо живут, значит, и мы жить будем.

И Евлампий Никитич не давал опомниться, хлестал фактами: строим то, строим это, собираемся строить... Тишина. Слушают!

— Мы, товарищи, твердо взяли курс на индустриализацию села!..

И тут-то зал грохнул. «Индустриализация» — святое слово, святее нет, оно в каждой газетной статье, в каждом докладе, в каждом лозунге на стене. Но ведь это-то слово всегда связано с городом, с заводскими трубами, с прокатными станами, а тут село, бывшие лапотники, такие же, как все. Взяли курс, а мы что, лыком шиты, нам тонать по той же дорожке. Зал грохал аплодисментами.

Где-то в зале Чистых, интересно — аплодирует он или сидит сложа ручки?

И Евлампий Никитич ни слова не обронил, что его снимают с работы. Зачем? Пусть теперь попробуют.

Ему не дали спуститься в зал, к своему месту. Секретарь обкома, с революции прославленный человек, встречавшийся с Лениным, член ЦК, поднялся, аплодируя подошел к трибуне, взял Евлампия Никитича за локоток, повел к столу президиума. Какой-то военный с ромбами на петлицах уступил свой стул — честь тебе и место, товарищ Лыков, ты наша краса, наша гордость.

Через год Лыкова от области выдвинули делегатом в Москву на первый съезд колхозников-ударников.

Этот съезд был праздничным. Как давний сон вспоминались первые годы коллективизации — скот, сгоняемый со дворов, кулацкие семьи с сидорами, идущие на высылку, угрозы и слезы, проклятия и жалобы, «головокружение от успехов». Позади пираги из куглины, детские вздутые животы, заброшенные поля, заколоченные деревни. Позади и угрюмое, упрямое мужицкое недоверие к колхозам: «Рази можно? В семье свары, а в артели-то в общей куче и вовсе друг дружке горло перегрызем». Оказывается, можно — не перегрызлись, живы, справились с недородами, снова стали есть досыта, на базары повезли... И город ожил, забыл карточки, в магазинах и сыры, и колбасы, и конфеты на выбор. Наверное, по всей стране великой, от Балтики до Тихого океана, не было ни одной самой маленькой деревни, которая бы не поднялась, не воспрянула. Можно артельно!..

До коллективизации трактор считался диковинкой, появлялся не столько для работы, сколько для показа — стар и мал высыпали, чтоб поглазеть: «Ох страховиден! Ох керосином воняет!

Сошка-то к земле привычной». А теперь никто и головы не повернет на ползущий по полю трактор. Даже комбайн не диво, а скажи раньше мужику, что есть такая машина — сама жнет, сама молотит, сама солому копнит, — махнул бы рукой: «Бабы сказки!»

И бабы нынче полезли на эти трактора, на эти комбайны. Бабы, которым покои веков мужик доверял только три «механизма» — печь, прялку и серп, коса уже считалась не к бабыным рукам. Гремят по стране имена Марии Демченко, Паша Ангелиной, Полины Виноградовой...

Праздничный съезд колхозников. Всем казалось — трудности позади, впереди лишь победы, ведущие в сказочные времена, к молочным рекам и кисельным берегам.

Лыков не сробел, выступил с той же трибуны, с какой говорил свое слово сам Сталин. Правда, шуму особого не надскал — не областной масштаб. Да навряд ли Евлампий Никитич смог теперь удивить кого и в области, — многое изменилось за один год, появились колхозы, догонявшие лыковский.

Однако, кой-кого потесня плечом, Евлампий сумел пролезть, снялся на фотографии вместе с вождем. На одной фотографии со Сталиным!

На этот раз на станции его встречала целая делегация во главе с товарищем Чистых. Чистых жал руку, поздравлял, но глаза отводил. Не любили они друг друга, жили по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры». С районными уполномоченными Лыков теперь обходился суровенько. «Сами с усами».

Дома же, в конторе, сидел, прислонив к креслу костыли, угрюмый, буднично небритый, начавший уже наживать бухгалтерские мешочки под глазами, Иван Слегов. Вместо поздравлений он известил:

— Пахнет дракой, Евлампий.

— Какой дракой? С кем?

На самом деле, кто в Вохровском районе осмелится сейчас поднять руку на него, председателя Лыкова, увековеченного для истории на одной фотографии с самим Сталиным?

— Как бы Чистых тебе синяков не наставил.

— Синяков?... Хм... Только что под локоток провожал.

— Мало ли что. Похоже, слабую жилу у нас нашел.

— Какую?

— Приусадебные участки.

Сталин заявил на съезде, что колхозник имеет право на личное приусадебное пользование землей, им была даже произнесена цифра — двадцать пять соток.

Не кто иной, как Иван Слегов, год назад посоветовал урезать приусадебные участки колхозников «Власть труда» до пяти-шести соток. С ним согласился Евлампий Лыков.

Во время сева дорог каждый час, каждая пара рабочих рук, а колхозникам приходится копаться па своих огородах — раз нарежали землю, то должна же она быть обработана. Большой участок лопатой не вскопаешь, требуется лошадь, а отрывать лошадь в разгар сева от колхозной пахоты — совсем не дело. И велика ли нужда в больших личных огородах? Колхозник засеет их картошкой, но такую же картошку он получает и на трудодень, как и зерно, как и овощи. Для чего колхознику разрываться надвое между колхозной работой и своей усадьбой, не лучше ли оставить ему под домом клочок земли на несколько грядок, чтоб был лук под рукой, морковь, свекла, капуста свежая в щи? Несколько грядок много времени и сил не отымут, обрабатывая их вечерами, на досуге, по-семейному, и лошадь не проси. Колхозники особо не возражали: участки и для них бремя, вечный раздор с бригадиром за лошадь. Зачем возиться со своей картошкой, ежели ее можно получить из колхоза?

Но сам Сталин...

Э-э, нет, дорогой товарищ Чистых, нас этой дубинкой не пришибешь — подкованы, отлягнемся.

Евлампий Лыков стал ждать, когда Чистых нагрянет в колхоз.

Чистых не нагрянул, он вызвал к себе Евлампия Лыкова, на бюро.

— Вам — что, слово вождя не указ? Не желаете шагать в ногу со страной? В славе купаетесь? Слава-то глаза застит, смотреть трезво мешает! Вы думаете, что уж так высоко взлетели, что вас никто рукой не достанет? Ошибаетесь! Кто вас поднял из низов на высоту? Мы подняли! Мы — народ и партия! Нужно будет, мы и стряхнем с облаков на землю!

Лыков пробовал показать зубы:

— Словом-то товарища Сталина не прикрывайтесь. Вы это слово неверно понимаете. А потом, разве вы, товарищ Чистых, — народ? Разве партия — вы один? Я тоже в партии и уж никак не по вашему желанию из народа-то вырос...

Но Чистых прятал тяжелый козырь. Им-то он и пошел:

— Лыков не согласен с товарищем Сталиным, готов его поправить. Что это — чванство или самовлюбленность? А может, что-то похуже?.. Оглянемся назад, вспомним, с чьей помощью прославленный Лыков начал свое хваленое строительство? У кого он брал, скажем, кирпич? Не припомните, дорогой Лыков, у кого именно?

— Помшо и в документах представил, — ответил ничего не подозревающий Евлампий. — На Леляшинском кирпичном заводе.

— А кто им тогда руководил, этим Леляшинским заводом, не вспомните?

— Почему же, помню: товарищ Шаповалов.

— Ага! Память хорошая... Так вот, этот ваш старый товарищ на днях...— Чистых с суровым торжеством оглядел всех,— на днях арестован! Да! Как троцкист! Отсюда вывод: не следует ли нам повнимательней прошупать вас, Лыков? Ведь рука руку моет...

И даже те из районных работников, что сочувствовали Евлампию Лыкову, шарахнулись в сторону.

Чистых выдвигал нешуточное обвинение, надо было срочно принимать меры.

Какие?

Обком! Только там могли обуздать Чистых. Первый секретарь обкома, тот самый, кто после памятного выступления усадил Евлампия Лыкова рядом с собой за стол президиума, в обиду не даст — пожалеет Чистых, да поздно будет.

Евламий сел за письмо: разберитесь, поддержите, оградите от незаслуженных обвинений — крик о помощи!

Письмо он кончил писать поздним вечером, а утром добежал до почтового отделения и сунул в ящик возле дверей.

— Газетки возьмите! — голос Лизки-почтарки, только что выскочившей из дверей почты с нагруженной сумкой.

Взял свежие газеты, пошел в контору, отдал газеты Ивану Слегову, сам было рванул к дверям — в поля, на ветер, где легче дышится, где обступают привычные заботы.

Но удивленный возглас Слегова остановил его на пороге:

— Вот так та-ак!

— Что?!

— Веселые дела: косой по шее — и головы нет.

— Что там?

— В нашей области открыта вражеская группировка. Арестованы...— И Слегов начал читать фамилии.

Евламий бросился к столу, вырвал газету.

Нет, не ослышался — первой в списке стояла фамилия того, на чью помощь он рассчитывал.

Весь в поту, он побежал снова на почту, сунулся в окошечко, стал объяснять:

— Клаша, дорогуша, я тут письмо опустить поторопился... Деловое. Оказалось, нужно там кой-какие уточнения сделать... Очень важные... Открой ящик, пожалуйста, выуди оттуда...

Письмо врагу народа. Письмо, просящее у врага помощи. Этим письмом интересуются, автора письма возьмут на прицел. А этот автор уже на крючке.

Заведующая Пожарским почтовым отделением Клашка Коробова, соседка Лыковых, рада была услужить, но...

— Мы отправили почту, Евламий Никитич. Только что. Ну, десять минут назад подвода отошла.

— А ежели я на лошади, верхом... Ведь нагоню же?  
— Нагнать-то их и пешком не трудно. Кони у нас, сам знаешь, развеселые.

— Вот и добро, вот и слава богу... Я сейчас на конюшню и быстренько...

— Не утруждайся зря.. Письмо-то в общей почте, а почта опечатана. Никто ее до места вскрыть не имеет права...

— Что же делать?

— Новое письмецо напиши, с поправочками.

— А ежели я в Вохрово сейчас, на почту-то, раньше ваших прискачу?

— Тогда другое дело. Заявление напишешь — отдадут.

— За-аяв-ление!..

Письмо-то на имя врага, письмо-то, просящее у врага помощи. Писать заявление, вызывать к письму интерес. Ну нет, авось пронесет.

И Евлампий Лыков стал ждать, успокаивая себя: как-никак, он человек заслуженный, на одной фотографии снят с товарищем Сталиным... И сам понимал, сколь зыбки эти утешения.

Евлампий ждал, бегал по полям, по фермам, старался как можно больше бывать на народе. Среди людей легче, среди людей и под солнышком, под светом белого дня. Зато ночами лежал и вслушивался в каждый звук за окном, не смыкал глаз.

А давно ли встречали его из Москвы, жали руки, произносили речи?.. Давно ли?.. Скажи кто-нибудь в те дни, что Чистых так оседлает, посмеялся бы — у мужичкой лошадки, мол, тоже копыто твердое... Ночами не спалось.

Не ночью, а ясным днем пришло известие. Лизка-почтарка принесла ему шершавую, в голубизну, бумажку, опечатана в типографии, только его фамилия проставлена от руки, фамилия, день, час — вызов в районный комиссариат внутренних дел с остережением: «В случае неявки в указанный срок...»

Запряг лошадь, поехал. В начале дороги знобило, потом словно окаменел, а когда входил в комнату начальника, чувствовал себя даже спокойным: «Была не была, какой да ни на есть, но конец. Все лучше заячьей жизни».

Начальника Бориса Марковича Осокоря он знал, как и всякого из районного побочного начальства, приходилось здороваться за руку, сидеть за одним столом. Борис Маркович Осокорь был тихий, какой-то печальный человек, глаза застойные, как у замученной лошади, до синевы выскобленный подбородок и большой, вечно сомкнутый рот. Даже военная форма со скрипящими ремнями не придавала ему внушительности — спина сутулится, гимнастерка на груди висит мешком. На заседаниях он

обычно молчал, был чем-то вечно озабочен, может, семейными делами — ходят слухи, жена у него погуливает с учителем физкультуры.

И кабинет у Осокоря обычен: стол с пресс-папье и дешевым чернильным прибором, стулья вдоль стены, окно, о которое зудяще бьется залетевшая оса, над столом портрет — сухощавенькое личико подростка, недавно объявившийся «железный нарком» Ежов. За столом — чисто выбритый, устало печальный хозяин. Евлампий Лыков подумал: «И в такой-то скуке прячется твоя беда... Была не была...»

Осокорь протянул из-за стола руку, пригласил:

— Садитесь, прошу. — Извинился с ходу: — Простите, что в горячую пору отнимаю время.

Ишь ты — «простите», а в бумажке-то, что лежит в кармане, сказано: «В случае неявки в указанный срок...» — без всяких «простите».

Усаживаясь, старался глядеть как можно невиннее, производил впечатление.

— Что вы можете сказать нам о Чистых Николае Карповиче?

— Как — что? То, что все знают.

— Не кажется ли вам, что этот... гм... Чистых не очень, и весьма даже, расположен к вам лично?

— Борис Маркович! Я уважаю товарища Чистых, принципиальный, честный... И характер у него... ну, непреклонный, что ли... И конечно, он бдителен... Но...

— Но с вами он поступал возмутительно! Вы ведь гордость нашего района.

— Возмутительно?... Я этого не говорю... Просто мне казалось, возможно, я ошибаюсь, если не так, вы уж, пожалуйста, поправьте...

— Ну-ну, проще, по душам.

— Ежели по душам, то товарищ Чистых кой в чем передергивает...

— Евлампий Никитич, вот вам лист бумаги, присядьте сюда, вот чернила, вот ручка... Прошу... Напишите, в чем передергивает Чистых, какие выпады он по вашему адресу совершал, как он порочил ваше громкое имя...

— Но...

— Никаких «но»! Не стесняйтесь... Скажу по секрету: они пытались на нас оказать давление, и даже весьма сильное. Наши органы не клюнули на эту удочку. Так что никаких «но». Пишите.

За твоей рукой, из-за твоего плеча следят чужие глаза. В другое бы время путались мысли, выпадало перо, и при полном-то покое Евлампий Никитич был не мастер сочинять, но сей-

час он собрал себя в кулак, а потом недавно писал письмо в обком, к тому... Памятью бог не обидел — письмо он помнил слово в слово.

— Не миндальничайте. Смелее!

Странно. Может, это ловкий ход самого Чистых? Гаданием делу не поможешь. Была не была! Сказал «господи» — скажи и «помилуй».

Товарищ Осокорь прочитал написанное и в общем-то одобрил:

— Мягковато местами. Не то чтоб весьма, но мягковато. И величать его товарищем, в общем, необязательно... Подпись поставили? Ну и прекрасно... Спасибо за помощь, Евлампий Никитич. Весьма вам обязан.— Протянул вялую, влажную руку: — Маленькая просьба: ни один человек до поры до времени не должен знать о существовании нашего разговора.

— Ясно, Борис Маркович.

Ни черта не ясно.

Светило солнце, голубело небо над головой, ветерок гнал волны по полям начавшей белеть ржи, лошадь везла его домой.

Навстречу пылила легковая машина, крытая брезентовым верхом, единственная легковая машина на весь район. Она проскочила мимо, обволокла лошадь и Евлампия пылью, мелькнула физиономия Чистых с упрямыми, крепкими щеками. Чистых, конечно, узнал Лыкова,— нельзя было не узнать,— но машины не остановил, не скосил глаз в его сторону, не удостоил внимания...

Чистых и Осокорь в сговоре, они-то друг к другу ближе, рука руку мост, нетрудно договориться, как утопить колхозного председателя с нашумевшим именем. Но что-то есть необъяснимое — как, например, понимать брошенные вскользь слова: «И величать его товарищем необязательно»? Что бы все это могло значить? Ни черта не ясно! И весьма даже!

Ясно стало через пару дней — Чистых арестовали. Чистых, а не Лыкова!

В районе, как всегда, созывались совещания, пленумы, партконференции, везде клеймили Чистых — подлый выродок, продажный наймит, запутался в связях, проводил вредительскую политику, и вот вам пример — намеревался опорочить одного из лучших по области председателей, развалить лучший колхоз...

Лыков родился в рубашке. Новое начальство трусливо заискивало. Еще бы, имя Лыкова приобрело такую угрожающую силу, что он и сам его боялся.

Спустя полгода арестовали Бориса Марковича Осокоря. А Лыкова — нет! Никто даже не ведал, что он когда-то послал письмо на имя уже обезвреженного врага, у врага просил помощи. Где-то это письмо счастливо затерялось.

В рубашке родился Евлампий Лыков!

Старый Чистых отбыл в дальних краях почти двадцать лет — начисто облысел, сморщился, потерял зубы. После реабилитации вернулся в Вохрово сразу, получил партбилет, пенсию, комнату, — руководящей должности уже не предложили. Николай Карпович любил с важностью повторять: «Я перед своим народом чист как слеза». Этой чистоты он требует и от других, посвятил себя искоренению недостатков, во все инстанции пишет жалобы: в парикмахерских очереди, при коммунальной бане не торгуют мылом, продавщицы в магазинах хамски ведут себя с покупателями, такой-то ответственный работник пьет горькую... Имя одного человека он никогда не упоминал ни устно, ни письменно — Лыкова. Зато о сыне своем он отзывался кратко: «Лизоблюд!» К сыну в гости никогда не приезжал, даже внуков, неизвестно, видел ли в глаза. Молодой Чистых отца все-таки навещал, навряд ли часто и навряд ли охотно.

Евлампий Никитич вместо отца родного... Что ж...

### ЧИСТЫХ-МЛАДШИЙ

Примерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пешары произошел маленький случай.

Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли — не любил слушать гишину в доме.

Раз он ташил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.

В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-генеральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.

— Что за митинг?

Бабы, издали заметившие ковылявшего бухгалтера, все как одна прорвались хором:

— Гостюшки ночные объявились!

— На запашок прискакали!

— А ведь молоденькие, мо-лодеиькие!

— Не стыдно небось зенками-то лупить...

— Цыц! Закудахтали, бесхвостые! — стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальяжной картинностью отступил. — Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.

На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вы-

рван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синий под глазом.

— При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление...

— Оно и видно, жизнь подвергал опасности.

— Ну не то чтобы уж жизнь, — заскромничал Трифон. — Это, значит, марширую я мимо старой кузни, по уху держу востро, службу помню...

Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в копильню. Коптили свиные окорока и грудинку — дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотничка, сломав замок.

Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.

Тот, у кого фонарь под глазом, длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светлые, круглые — совенки.

— Как фамилия? — спросил его Лыков.

— Чистых.

Лыков долго молчал, посапывая.

Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной станции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался! Выходит, промышлял.

— Хочешь стать человеком?

Парнишка заплакал.

Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал.

— Хлипкок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь щупать замки. Ты сколько классов кончал?

— Восемь.

— Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.

Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудовых в месяц, угол в доме одинокой Ключишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище — Приблудный.

С первых же дней он стлился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки — подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе — там за это лишней трудовой не платили.

вают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди — назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга — ты в колхозном стаде яловая корова. Избач — самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.

И надо же, Валерка Приблудный обратил...

Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идейку — никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.

Своя история... Всем это понравилось, а больше всех Евлампия Лыкову.

И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет, конечно, но все-таки... Не зря же вспомнили: полтрудодня на сутки получает, не густо, у ночного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудодень, — можно уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить денег на новые сапоги.

Решением правления Валерке выделили даже особый фонд — конечно, копеечный — «на восстановление утраченных материалов по истории колхоза». Впрочем, Валерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет — те, что до его прихода были раскурены из читалки, — искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.

Конечно, Валерка сообразил, что Евлампия Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.

По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.

Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова: он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.

Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каж-

дую его удачу — в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой, — Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов — уже не простой счетовод, подымай выше — главный бухгалтер. У него целый штат — счетовод-помощник, делопроизводитель, кассир. Все они ютились в одной комнатухе, вытеснив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея, шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не штаб процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.

Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное — милости просу.

У Ивана Ивановича Слегова — отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира — тяжелый нескраемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.

У Слегова — апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова — районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета озики — персональный, другой под кумачом — заседайте с удобствами.

На столе Лыкова — чернильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно, в музей пойдет; на красном столе — графины с водой, не один — несколько, захотел пить — изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так поигрались, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.

Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежде. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки: верхняя — для толстых книг — «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя — пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую — фикус, самим Лыковым у жены реанимированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, убожище строго-настрого наказано поливать его каждый день.

Выше самого председателя — вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки.

И попасть в эти с любовью оформленные покои можно было только через маленькую проходную комнатку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы — ты уже у председателя, а нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.

У таких дверей положено сидеть специальному человеку — личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.

Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.

У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей нуждишкой — э-э, нет, не спеши.

— В чем дело? — Круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.

Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!

Валерка женился, не с разбегу — с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.

Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собиравшуюся родить.

\* \* \*

Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснять родственные чувства Валерия Чистых — кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? — желания не было. Пора восвояси.

— Иван Иванович! — У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.

Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:

— Ну что тебе, голубчик? Что-то ты от меня хочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.

— Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчаса. Не думал, что мы тут так быстро...

— Вот как. Вроде бы в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?

— Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Разговор се-

рвезный. И по душам хотелось бы... Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.

— Что ж, раз машину спровадил... Давай.

— Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда...

Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.

За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.

— Сюда... Осторожненько, тут порожек.

Узкая комнатуха с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.

— Ольга Максимовна, уж извини...

Ольга покорно поднялась.

— Извини, у нас важный разговор.

Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо — словно вымоченное, выжатое, да так и высохло — в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе — вяжут корзины, чинят сбрую, — и уж никак не Евлампии Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик — только-только перевалило за пятьдесят, — и трудилась не больше других, и родами не измучена — выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочалила?

— Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся, — сказал Иван Иванович.

— А мне все одно где, — равнодушно отозвалась она.

— Странная ты баба — скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?

— Разучена, — бесцветно обронила Ольга.

— Что — разучена?

— Да все... Горевать, радоваться...

— Ну и ну!

— Устала я! О господи!

Она вышла, тихо прикрыв дверь.

— Не обращайтесь на нее внимания, — успокоил Чистых. — Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я — на стул, он хроменький.

В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленницы. В этом доме как-то не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыковских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко не-веселые».

Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то он догадывался, о чем пойдет разговор.

За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются. По селу в каждой избе откровенно гадают — кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды — какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.

Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.

Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного...

Иван Иванович ждал, что разговор начнется издалека, с ошупкой, с пристрелкой — наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:

— Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.

— И у тебя, наверно, план есть?

— Да, есть.

— Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, слушаю.

— В прежние-то годы жизнь наша шла как часы — снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду, на примете, время по нему узнавали. А пружина... пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!

— Хм...

— Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто...

Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия.

— Ясно! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.

— Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.

— Хочешь сказать: дедушка Иван, есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калекке, удобно, и молодец не останется внакладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?

— Ну и что? — смиренно признался Чистых. — Ловил бы ваше слово, считался с ним.

— Так сказать, починить подержанную пружинку.

— Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.

— Спасибо! Ой спасибо большое, что уважил! Ведь в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в но-

гах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой как не хочется! Когда-то метил — уж что скрывать! — в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь повробо-вать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и си-дючи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчишка найти не тугого на ухо. Я ему — шепотком, он — эдаким дискан-тиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!

Чистых, отвернувшись, спросил тихо:

— Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?

Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опух-шими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчли-во, с горечью:

— А что мне еще остается?

— Как что? — горячо вскинулся Чистых. — Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который ста-нет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь — ло-мать, теперь — по-новому! Не-ет, добром не кончится.

— Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.

— Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, ко-торый бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово — вас по-слушают. Одно только слово! Назовите нужного человека — вам нужного! — поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе-то тоже знают — Иван Иванович Слеглов слов на ветер не бросает.

— «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паиньку председателя...

— Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лы-кова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.

— Тогда назови-ка — чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?

Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтера, твердо ответил:

— Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не соби-рался.

— Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чу-ток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех ум-ных собачек — хозяин только свистнуть собирается, а они уже на задних лапках здравия ему желают. Лучшего, брат, не найду.

Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи молодежа-вой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, мел-чал, помаргивал птичьими глазами.

— За что?.. — наконец выдавил.

Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.

— Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друга друга накормим.

— Ненавидите! За что? Все меня ненавидят... За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..

— Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.

— По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы хра-абренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..

Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.

Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой,— старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.

В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.

Он «сообразил» посылку из Германии — не барахлишко, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм, а... хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит — сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куса, и в нем-то, сгирая, нашла золотые часы.

Валерий почевал со своим командиром взвода в покоях улепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок — кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовины, у которых, кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался — отобрали. Валерий схитрил — посылочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыствовался.

На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те годы стоила двести.

А по дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.

На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился — костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозглой корове, тоже подарки — ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.

Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.

Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на складе не мечтай — занято тыловиками.

Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение — защитник Родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампию Никитичу, чтоб не забывал — вот он, нужный человек.

Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди, придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали схотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу — будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась: «Иди пока в бригаду». — «Молчи, дура!» Молчала, знала — крупно виновата, беды б не ведали, если б не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.

Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.

Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали на трудодень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампию Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места па «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие — особо бывшие фронтовики — крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой,

что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионными рублями, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барин» или же: «Сердце у тебя, сатана, ссохлось камушком!» Кто-то, а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы переживать неприятности. Он от природы человек щедрый — душа нараспашку. Все должны это видеть.

Но как сделать, чтоб зайку съест и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.

Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.

Тут-то подвернулся Валерий Чистых.

С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».

Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде: входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков — душа нараспашку!

— Так, так, верно. Положение твое того... Надо бы хуже... А заявление где? — Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.

Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, ног не чуя летит с бумагой.

Лететь недалеко, в конец коридора. Там комната-конурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова — едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова — Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кисло-вато объявляет:

— Не можем.

— Как-как?! Сам Евлампий Никитич!..

— Не можем.

— Но тут же написано!..

— Тут написано: «по возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.

— Как это он не знает?!

— Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.

Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:

— Не можем.

Тряси кулаками, надрывайся, стращай.

— Не можем!

С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..

Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь:

— Вы уже были.

— На минутку... Тут безобразие сплошное!..

— Вас много, а Евлампий Никитич один. Глядите, какая очередь.

Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, исстрадавшиеся, как от Христа-спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся:

— Эй ты! Проваливай! Не маячь!

— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!

— Гнать его в шею!

Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:

— Не можем.

Лыковский заместитель Чистых и на самом деле не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лыкова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случилось.

Для всех мил не будешь... Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты — пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтоб отыскать такого, кто, не тяготясь, согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.

Чистых хорошо платили и трудовыми и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, до-

верчиво дивились: «Эвон, чудеса в решетке. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампиию перечит, с самим не считается».

Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.

— Нельзя! Не можем!

К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, то област, и тронуть не смей».

Но в праздники, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.

\* \* \*

И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:

— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Молю! Уж кто-кто мог указать Евлампиию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!

Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.

Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова. Один раз всего...

## ПАШКА ЖОРОВ И ДРУГИЕ

Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.

«Сначала было слово, слово было бог...» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немым припевом.

Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.

У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый

сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.

«Сначала было слово...» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.

Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..

Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.

А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие дранки нашивал латки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.

— Наше вам почтеньице... Объясни ты мне, друг сердешный, по каким-таким правам мне жить под латаной крышей, а комолой Пеструхе под модной?

Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано вполшепота, — своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».

Иван нехотя ответил ему:

— Ежели на корову сверху не будет капать, то в общий подейник погуще капнет. Не хитро, сам бы мог догадаться.

— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдастся мне, корова — барыня.

Пашка поскреб затылок, побряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.

Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.

И стоял жаркий день, и тени, съезжившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, и сияли в небе солнечные стропила, и в синеве, чуть ли не под обжигающим солнышком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.

Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают...

И себя неожиданно жаль...

Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке...

Иван костылял обратно к колхозной конторе по солищепеску.

Поросята в изнеможении прятались в ненадежную тень под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. День как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.

Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..

Шпарит солнце, затянулось ведро. Да, завтра день такой же.

День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.

Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня...

Иван торопливо костылял к конторе.

Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа приходно-расходные книги прошлых лет, уселся... Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.

В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году... Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят. А цифры — вещь острая, на нее, как на рога тину, не лезь — наколешься!

Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.

— Иван! Я с ума схожу, а он на-ко — дня не хватило, сидит себе и караули выводит.

Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подболевшись, покрикивал на лошадей: «Э-эх! Серы кролики!»

Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.

— Марусь... — выдавил с сипотцой, с горячим придыханием. — Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно, на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тывкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо исписанному листку.

— Чего еще? — Голос ее был поникший от испуга.

— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закорючки черпильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От та-

кого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается...

— Сказочник ты у меня. Не обломали еще сивку крутые горки... Идем домой, голубь.

— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, копим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться. Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, досыта!

— Идем домой, Иванушка...

— Скушная ты стала, Марусь.

— Не скушная, Иван, толченная да ученая, а тебе наука все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.

— Э-эх! — Иван с досадой стал прибирать па столе бумаги, исписанный листок бережно положил в карман. — И вода плотины рвет. А тут годами текло, как не прорваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!

— Дай-кось я тебе помогу встать... Вот и ладненько, утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь, я-то бестолковая.

Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала будничный, древний мусорок на пыльной дороге — клочья сена и соломы, конский навоз. Он пружинисто перекидывал себя на костылях, топтал свою тень и говорил, говорил, упиваясь силой своего голоса.

А она молчала, скуповато вышагивала, напряженно прямая, иссушенно плоская, как монашенка.

Ее неверие не охлаждало. Он верил, верил — жизнь не прожита, впереди еще добрый кусище, неожиданной гостьей с черного крыльца постучала молодость.

А утром, чувствуя непривычную крепость в теле, как всегда, добирался к конторе. В кармане вчетверо сложенный листок. То-то сейчас оглушит им друга Евлампия.

У конторского крыльца случилось маленькое несчастье: один из костылей, верно служивший Ивану с больничной койки, треснул и надломился. Иван чуть не упал на цементные ступени. Поддержал его бригадир Черепнов, оказавшийся рядом:

— Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыли-то придется выстрогать поматерей.

Евлампий Никитич за столом, в тесном креслице, как свежий пенек на пригорке, — не думай выкорчевать. Над плоской повытертой макушкой нависают сапожки вождя, по обширной физиономии разлита парная краснота — под полевым солнышком уже погулял и, видать, пропустил стопочку за завтраком, поэтому благодушен и в голубых, льняными цветочками глазках сонливость.

Иван положил перед ним листок.

Он положил перед ним листок с цифрами и долго-долго смотрел на склоненную крупную голову, на вытертую плешинку на макушке. Евлампий Лыков изучал, лица не было видно.

Наконец председатель поднял взгляд, нет, не сердитый, нет, не удивленный — настороженный и задумчиво ошупывающий.

Какое-то время молчали. Иван не рассчитывал, что дорогой друг Евлампий сразу же раскроет ему объятия.

Евлампий Лыков, не спуская ошупывающего взгляда, спросил:

— Значит, Ванька Слегов горой за народ?

— Если б я только... Сама жизнь поворот указывает.

— Ты — за! Ты — в ногу с жизнью! Я, выходит, поперек?

— Не советую.

Голубой холодный взгляд.

— Сколько лет тебя знаю, Иван. И ведь плотно... А спроси — что ты за человек? — убей, не пойму. Опасный, должно. Вроде медведя-шатуна. Не угадаешь — стороной обойдет или бросится кожу драть. Давно ли ты, Иван, на меня жал: стягивай ремешок — мужикам польза...

— Тогда-то ты не говорил — опасен, — заметил Иван.

— М-да-а. Ни с того ни с сего — коленце: коровы-де баре, мужик в опале. То стягивай, то распусти, как тебя понять? Против же себя выступаешь.

— Да, против себя.

Пристальный, пристальный взгляд голубых глазок.

— М-да. Опасен... Ну ладно, давай по существу. — Евлампий подвинул к себе листок: — Дома рушатся, надо новые... Крыши перекрыть чуть ли по всему селу. Подсчитано — полмиллиона вынь да положь. А я возражу тебе — мало! Из каких расценок ты шиферу столько закупить собираешься? Я ведь особо-то не распространялся, что на коровник мы шифер достали как выбраковочный, уцененный. На такую удачу не рассчитывай, трясина мошной...

Евлампий Лыков начал считать, загибая короткие пальцы. Иван сам научил его хитрой хозяйственной арифметике.

— Видишь: к круглому миллиону подбираемся. Подари его мужикам. А коровник, что заквасили, оборудовать надо или нет? Забросить прикажешь? А птичник?.. Лес на него уже привезен. А картошка гниет, убытки терпим. Надо нам овощехранилище или нет?..

Сам учил Евлампия Лыкова, теперь пришло время признать:

— Способный ты ученик, Пийко.

— Спасибо на добром слове, — ответил Лыков. — Но уж коль это смекнул, то сообрази и дальше: нужен ли мне теперь в упрядке конь с норовом?

Голубые глаза в упор, каменные скулы, подозрительная недоверчивость в жестких губах. Знал, что сразу не раскроет объятия, готов был к этому, теперь почувствовал — бессилён. Возражай сколько угодно, но ведь цифрам не хочет верить, а словом уж и подавно не расколешь. «Сначала было слово, слово было бог...»

Но друг Евлампий всегда удивлял Ивана крутыми поворотами — неожиданно налился пьяным багрянцем, спросил бешеным срывающимся голосом:

— Глядишь: зачерствел Лыков, людей не жалеет?

— Чтоб жалеть, сила нужна, — уклончиво ответил Иван.

— Верно! Откуда у Пийко Лыкова сила, он же ее бережет, никому не показывает. Пашка Жоров простак, всю силушку в колхоз вкладывает. Он раньше меня встает, позже ложится. И страдает Пашка больше моего... Как бы он в моей шкуре запел? У него, видишь ли, крыша худая, а у меня?.. Старый кулацкий пятистенник обжиг — углы проседают, в щели дует. У моей бабы наряды богатые, я каждый день разносолы жру? Пашку жаль, меня не стоит жалеть. Я таковский! Да почему бы тебе на свой зад не поглядеть — штаны-то у тебя, бухгалтер, не лучше Пашкиных. Так что пусть Пашки не обижаются — квиты с ними!

Иван молча потянулся к костылям и вспомнил — один-то сломан. «Грузнеть стал, Иван Иваныч. Костылики-то придется выстрогать поматерей».

Вечерами в доме Слеговых уютно: горит лампа под выцветшим абажуром, рваная тень от бахромы мирно лежит на стареньких обоях, топится печь, стреляют поленья. Печь летом протапливают по вечерам, так как Мария рано утром уходит на работу, тогда уж некогда возиться с горшками.

И в этот вечер, как всегда, только сама Мария ласковее, говорит, как поет колыбельную — хошь дремли, хошь слушай:

— Чего, голубь мой, расстраиваться-то — радоваться надо. Сам же толковал — жизнь вроде хороводы водит. И уж не дай бог, чтоб она по-старому закружила, чтоб снова тебе спину перебили. Спина-то у тебя, сокол, одна. Слава богу, что не закружилось, слава богу, что так быстренько оборвалось. Живы — и ладно...

У нее и на самом деле была тихая праздничность на лице — рада, что все идет, как шло, ничего нового не случилось.

Иван слушал, угрюмо смотрел в стол.

В доме — уют, трещит огонь в печи, пахнет щами. И жена ласкова, она всегда ласкова с ним — не продаст, не озлобится, редкий человек. Уютно в доме.

Живы — и ладно... Как-никак, и это счастье.

Должно быть, разговор с бухгалтером все-таки не на шутку растревожил Лыкова. Спустя неделю он с напористой настойчивостью доказывал на правлении:

— Людей не ценим, дорогие товарищи. Колхоз-то наш растет и, так сказать, крепнет. А растет ли жизнь людей? У нас один-единственный главный бухгалтер. Чтим мы его? Скажете — да, чтим! Ой ли? Старые штаны наш бухгалтер донашивает третий год. Не замечали?..

Он тут же потребовал увеличить оплату Ивану Слегову. Ни себе, ни людям — Пеструхе комолой... Так нет же, чувствуй заботу, скидывай залатанные штаны, покупай новые.

Иван равнодушно принял подачку.

Война!

Она показала, как много Евлампий Лыков научился у Ивана Слегова и как притих, огрузнел сам Слегов.

Лыкову дали броню — нужнейший специалист, не посылать же такого в окопы. Но самому колхозу — никаких поблажек. Ушли на фронт все мужчины, мобилизовали самых здоровых лошадей, увеличили поставки — сдавай, что положено с гектара, сдавай в фонд обороны, жертвуй на танковые колонны...

Лошадей-то мобилизовали, а на МТС теперь не надейся. Там остались только изношенные машины, опытные трактористы на фронте, их заменили девчонки и сопливые мальчишки.

В Петраковской снова принялись печь колобашки из куглины. По району уже разъезжали не одинокие толкачи-заготовители, а целые бригады их, но и эти сплоченные бригады не могли достать не только сверхплановые поставки, но и законные, плановые.

В Вохровском районе насчитывалось сорок колхозов, из них добрая половина совсем «не тянула», а сам район кое-как «тянул», с натугой выполнял обязательства. За чей счет? Да за счет наиболее крепких колхозов, и в первую очередь за счет лыковского.

В предвоенные годы догоняли Лыкова молодые председатели — Кузьма Соколов, Василий Злобин, Василий Красавин — с дипломами агрономов, ученых-зоотехников, с напором, с хваткой. Правда, Лыкова на прямой не обскачешь, — хозяйство поразмашистей, связей побольше и авторитет покрепче.

Кузьму Соколова мобилизовали сразу, на второй день войны, — лейтенант запаса с нужной военной специальностью. Колхоз без него захирел сразу. Злобин, перед тем как уйти в армию, рекомендовал в председатели свою жену, бабу самостоятельную, изворотливую, которая не хуже мужа тянула хозяйст-

во. А вот Красавин на фронт не ушел — астма, — но колхоз не удержал, только сам сломался. Многие падали...

Отдай за петраковцев, отдай за доровищенцев, отдай за того, о ком знаешь понаслышке. С каждым годом «тянуших» колхозов становилось все меньше и меньше — надрывались. Казалось бы, должны надорваться и пожарцы.

Но нет.

Во всю силу заработала «лыковская паперть».

У села Пожары давняя слава — хлебный остров. Раньше сюда тянулись из соседних деревень, из города Вохрова, дальние не доходили. Теперь же к «лыковской паперти» пролегли дороги от Москвы, от заблокированного Ленинграда, от захваченных врагом Киева и Минска, даже от Одессы и Севастополя. Каждый эвакуированный сразу же узнавал: не столь далеко есть заветный хлебный остров. Такого паломничества к Лыкову не было и раньше.

Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.

— Кто таков?

— Извините, я доктор филологии, преподавал в Киевском университете...

— У нас этой... как ее... нет. У нас в земле и навозе ковыряются. Работа не докторская.

— Я мог бы быть вам полезен по части культурного воспитания. Потом, войдите в мое положение, здесь я оказался с больной женой, с маленьким ребенком...

— А ты кто?.. Ага, просто жена военного. Так... Муж, говоришь, пропал без вести... Так... И дети погибли... Сколько тебе лет?.. Что ж, молода, поди, вилы в руках держать сможешь... Пройдешь испытательный срок — месяц. Не покажешь себя — вот бог, вот порог.

Людей, как добрый барышник лошадей, он оценивал сразу на глазок. Лыков имеет право выбора, остальными пусть занимаются собес и прочие.

Иван Слегов понимал: попади он сам в такое положение, его отмели бы в первую очередь — угасай с богом, калека! Тот, кто больше недоедал, кто сильнее других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью, — не рассчитывай на Лыкова.

Иван понимал: ни он, ни кто-либо другой не может упрекать председателя. У Лыкова колхоз без мужских рук, без крепких лошадей, без надежной помощи МТС, и такой-то колхоз должен кормить солдат в окнах, рабочих на заводах, сдавать за соседей справа, за соседей слева, за те колхозы, что захвачены сейчас немцами. Лыков, быть может, жесток, но попробуй быть добрым в войну.

Навряд ли самому Лыкову нравилось играть роль бога-кормильца: не усыхал в теле, не тошал загривочком, но глаза запали, глядел жестко, часто срывался, кричал без нужды. И вдвое против прежнего расторопен.

Руки эвакуированных женщин заменяли не только мужские руки взятых на фронт пожарцев, но даже лошадей, даже ненадежные эмтэсовские машины. На этом держится лыковская экономика.

За две машины картошки можно достать угловое железо, еще две машины — получай стекло. Ни за какие деньги не найдешь мастеров-рабочих. За деньги — нет, а за муку, за масло — пожалуйста. Рабочие ставят теплицу. В этой теплице среди зимы вызревают помидоры и огурцы. Их не нужно сдавать, они не предусмотрены планом госпоставок. Огурцы, помидоры — это теперь такая редчайшая диковина, что никто о них и не мечтает. Выкинь их на рынок — вози деньги возами. Но что деньги — они военные, хлам бумажный. Гораздо ценнее крепкие связи. В столовой одной воинской части для высшего комсостава в буфете появляются салаты из свежих огурцов, а на складе колхоза «Власть труда» — кабель нужного сечения. Если облысполкому понадобился бы такой кабель — бились бы год, тревожили бы Москву, а достать — вряд ли... Кабель нужного сечения такая же редкость, как зеленые огурцы среди военной зимы.

Теплица рождает электрооборудованный паточный завод.

У кого есть померзший картофель, настолько померзший, что нельзя есть? У кого? Сообщите. Купим и вывезем. Померзший картофель скупается за бесценок, иногда просто вывозится бесплатно. Из него гонится патока, а патока — товар ходкий. Лыков доволен. Лыков посмеивается: «Из дерьма — конфетка!»

Колхоз «Власть труда», и без того раньше богатый, раздобыл уже сказочно — новые фермы, теплицы, электростанции, мастерские, подсобные заводики, — вкупе миллионные доходы!

Сам же Лыков от этих миллионов богаче не стал. Правда, снова к залатанным штанам уже не вернулся, но щеголял в старой кожанке, обнов не покупал ни себе, ни жене, ни детям. Хоть и хвалился он в свое время Ивану Слегову, что живет в старом пятистенке Петра Гиилова, где углы крошатся и промерзают, но запасец, оказывается, на сберкнижке имел — на новый дом, конечно, с размахом — знай наших! И этот личный запас Евлам-

пий Никитич в разгар войны выбросил широким жестом — на новый танк для победы, все до последней копейки. Потребовал от других — выкладывай, кто может, не жмитесь. Одна только просьба: пусть грозный танк называется «Пожарец». Знай наших!

В конце войны экипаж написал в колхоз, что их танк «Пожарец» дошел до Берлина.

Новый дом не очень-то печалил Лыкова — успеется. И Пашка Жоров, вернувшийся с фронта только чуть попорченным — разбило осколком локтевой сустав, — тоже латал свою старую крышу.

Вот и кончилась война,  
И осталась я одна...

Евлампий Лыков носил в петлице пиджака боевой орден Отечественной войны первой степени.

### ЛЫКОВ-МЛАДШИЙ

Чистых утомился, сбавил голос, но еще выкрикивал. Иван Иванович его перебил:

— Эх, парень, Америку мне открываешь.

— Не Америку — глаза открываю, Иван Иванович. Каждый небожь в чужом-то зрачку...

— Зря стараешься — все о себе знаю. Давно, как в страшном суде, взвесил: чаша-то с добрыми делами, признаю, у меня чистенькая, словно вылизанная, а грехи были...

— А вот этого я не говорю, Иван Иванович. Я за вами и добрые дела признаю.

— Как и за собой, конечно?

Чистых уже выкричался, сидел возбужденно-помятый, с бегающими глазами, как школяр после драки, захваченный учителем.

— Я же ломовая лошадка. Неужели на мой воз только дурное клали?

— Ну хватит нам считаться. Выскочи, погляди на машину, не пришла ли?

Чистых не особенно охотно встал, замаялся у дверей:

— Иван Иванович...

— Чего еще?

— Простите, вгорячах-то чего не скажешь.

— Эх ты, человеком же стал на минуту, а теперь испугался. Не на ту сторону поклоны бьешь.

И все-таки Чистых вышел неуспокоенный.

Молчал тяжело весь дом. За перегородкой что-то робко шуршало — то ли мыши возились в подпечке, то ли в соседстве, за стенкой, по-мышиному жила лыковская жена Ольга.

Молчал дом. В затянутой густыми сумерками комнатухе, прислонившись седой головой к костылям, сидел старый Иван Слегов, многотерпеливый помощник Лыкова, привыкший к непослушным ногам, к болям в спине перед дождливой погодой.

Молчит дом, и умирает за стеной хозяин Ивана, всеильный человек, почти бог.

Бог?.. Всеильный?.. Ой ли?..

Рассудить трезво: навернсе, сам бы хотел, чтоб над Пашкой не протекала крыша. Хотел, да не делал. Не всемогущ.

Лыков только главный в приходе, а приход-то из Пашек. Самая большая мудрость, какую Пашка получил от дедов и прадедов: «Латай портки вовремя», и то не всегда-то ею пользовался. Новые свинарники, новые коровники, новое хозяйство и стародадовское покорное «латай» еще остается в крови. Латай и плыви, куда несет, не барахтайся. Лыков — главный в приходе, его ведь тоже несло, как и Пашек. Иван Слегов попробовал барахтаться — берегись, еретик! Осадил Лыков, сам же он и не пытался: еретиком стать столь же трудно, как и святым.

Жизнь Лыкова прошла под «ура». Сейчас тишина, тишина вокруг. Иван Слегов слушает тишину, его черед пока не пришел.

Лыков использовал его. Сейчас вот пытался использовать Чистых. Кто следующий на очереди?.. Кто-то должен заменить Лыкова.

Тишина, тишина...

Легкие шажки за стеной, скрипнула дверь, бочком влез в сумеречную комнату Чистых.

— Чего в темноте-то?..

Щелкнул выключателем, свет больно хлестнул по глазам, заставил зажмуриться.

— Машина скоро будет. Леху Шаблова послал — рванул на полусогнутых.

Иван Иванович недовольно жмурился, а Чистых, свеженький, будто успевший умыться за эти минуты, приобретший привычную ласковость и в лице и в голосе, забывший, что недавно истерически кричал на старого бухгалтера, присел снова на хромой стул.

— Идет теперь по селу гадание... Свет во всех окнах, как на праздники.

— Ладно, что уж подплывать издалека, — проворчал бухгалтер. — Пытай прямо: за кого я голос подам?

— Ежели не желательно, ежели до поры в секрете держать для вас лучше, то я — боже упаси...

— Зачем мне скрывать?

Чистых замер почти в страдальческом изгибе, словно сел на гвоздь.

— Догадываешься?

- Нет, Иван Иванович.
- Опять врешь. Мы тут кучу всякой всячины наговорили, а о нем не вспомним. Почему бы это?..
- Не о младшем ли речь?..— выдавил Чистых.
- Да.
- Иван Иваныч!..
- Что? Не нравится?
- Себя хороните, Иван Иваныч! Вот уж кто с вами перемониться не будет, вот уж кто в вашу сторону ухом не поведет...
- Опять—ухом!.. Пусть пенёк вместо головы, лишь бы на нем уши большие росли.
- Себя хороните, Иван Иваныч! Как этого не понять!
- Может быть, может быть, хороню...
- Чистых кривовато восседал на стуле, глядя страдальчески.

\* \* \*

Тот человек, о котором шел разговор, тоже носил фамилию — Лыков.

Он был из зеленой поросли, из тех, что когда-то босоногими стайками бегали за грозным Матвеем Студенкиным, теребили его за штаны:

— Дядь Моть, сделай ружжо!

Сам Евлампий носил его на руках, катал на «закукорках». Его носил, а своих детей нет,— к тому времени, когда те родились, бывший Пийко Лыков стал Евлампием Никитичем, загруженным заботами председателем.

Он подросток, пошел в школу, и уже тогда его отец был в годах, занимал не копотное место колхозного пасечника, а все старшие братья, считай, встали на ноги. Один заведовал складами — все колхозные запасы под его доглядом, второй руководил самой большой молочной фермой в колхозе, третий учился в военном училище, а четвертый кончал на инженера-лесозаготовителя. Всем покровительствовал их знатный родственник Евлампий Лыков, помнивший то время, когда зарабатывал себе хлеб пилой-растирухой, жил под крышей своего старшего брата.

Сергей был самым младшим племянником Евлампия Никитича. Соломенные волосы, крупная голова, уже в ребячестве плечи с разворотом, невысок, но плотен — лыковская порода без подмесу.

Детство как детство, счастливей вряд ли бывает: купался в речке до синевы, ловил на удочку красноглазых сорожин, имел врага в школе — долговязого, цепкого Веньку Ярцева, часто дрался с ним, случалось, до крови. Венька был из Петраковской (школа-то семилетка на окружающие деревни одна — в Пожарах). Не замечал Сережка у Веньки голодного выражения на

лице, и откуда ему было знать, что рваные сапоги на Венкиных ногах — одни на пару с матерью. Вряд ли во всей округе можно было найти семью более сытую, в какой рос Сережка. Сыновья самого председателя и ели не так жирно, и ходили необхоженные, — Ольга, жена дяди Евлампия, хозяйка не слишком тароватая, вечно в дрёме.

Ясный, как вешний день, мир окружал Сережку. Самый большой человек в этом мире — дядя Евлампий.

— Как учишься, Серега?

— Хорошо.

— Учись, учись. В министры тебя не пушу, а фигурой сделаю.

А есть еще бухгалтер Слегов — калека на костылях, черствая горбушка, слова никогда от него не услышишь, ни доброго, ни худого.

А вот конюх Матвей Студенкин — свойский мужик, он тебе и свистульку вырежет, и на лошадях разрешит прокатиться, и поговорить с ним чин чином можно.

Из ребят — Лешка Шаблов на отличку. Он даже моложе чуток Сереги, но задевать не мечтай. Мужики удивляются, когда этот Лешка гирию-двухпудовку одной рукой выжимает:

— Ядреный парнишка.

Он стал тем, кем хотел, — кончил сокращенные по военному времени курсы летного состава, сел на истребитель.

Небо — извечная противоположность постылой земли. Небо — недостижимая мечта о прекрасном, мечта о незапятнанной чистоте, мечта о бессмертии! Ложь! Красивая, благостная, тем более оскорбляющая. В небе, как и на земле, жила смерть, и облака, когда их касаешься, — просто липкий туман, нет, не белые, нет, не сияющие — мутные и серые.

Сергею случалось попадать в переплеты не раз, нагляделся, как плещут в упор жгутовидно дымные полотнища трассирующих очередей, как взбухают тугие и лобастые взрывы зенитных снарядов, слышал, как небо кругом рвется в лохмотьях. Не ласковое, не мирное небо детства, когда-то так сильно звавшее к себе.

Не раз он еле дотягивал до своего аэродрома, вслушиваясь в перебой мотора, потом на земле считал пробоины и тревожно радовался: «Пронесло».

Но однажды неспешной размашистой каруселью начала расти навстречу затянута голубой дымкой земля. Он успел выброситься, повис между небом и землей под белым куполом... Это случилось над самой линией фронта. Повезло, что ветер дул в сторону своих, повезло, что ни одна пуля не задела его, когда он, доверчиво открытый и беспомощный, висел над землей...

Дул счастливый, услужливый ветер. Он отнес его в свой тыл, опустил на поле, истерзанное гусеницами танков, исхлестанное временными дорогами, измятое, в корявых оспинах воронок, с щетинисто-пепельными зализами обгоревших мест. Сергей опустился на неубранный хлеб, на хлеб, сожженный, потоптанный.

Отстегнул лямки парашюта и сорвал колос. Земля радушно встречала упавшего с неба гостя. Искалеченная, изорванная, она одарила тишиной и частичкой своего еще не уничтоженного богатства — колоском пшеницы.

Лежал колос на ладони, странный колос. В родных местах Сергея земля лучше рожала лес, чем хлеб. Колос был незнакомаго сорта. Зерно крупное, туго налитое янтарем, сам колос украшен длинными, парадно черными усами, они, жесткие, шероховато цеплялись за кожу...

Лежал колос на ладони, стояла тишина над головой, только далеко-далеко, словно спросонья, перекатывались пулеметные очереди, погромыхивали вялые взрывы. А сердце продолжало судорожно гнать раскипяченную кровь, она туго билась в висках. Только что из-под облаков, только что нырял под дымчатую лавину трассирующих пуль, сливался в одно целое с трясущимся в судорожной ненависти пулеметом, и отравленная кровь не может еще успокоиться. А кругом тишина, а небо вновь изливает на тебя ласковую синеву. Ласковую и лживую. И колос на ладони.

Только что казалось самым важным — важней всех великих проблем мироздания, важней собственной жизни — сбить! Изрешетить! Уничтожить! Только это, ничто другое!

И вот — колос на ладони, тишина... И ясная, покойная мысль: «Сбить, изрешетить?.. Нет! Важна ведь жизнь, а не смерть, колос, а не пепел».

Он не успел до конца удивиться простоте своего открытия. Прямо по измятому полю уже катил к нему приземистый, как лягушка, «виллис». К нему спешили, его хотели выручить.

— Жив, браток? Повезло тебе... Садись!

Он сел, он покорно покинул тихое, изувеченное поле и покатил туда, где люди продолжали жить знакомой ему ненавистью — убить! Изрешетить! Уничтожить! Покатил навстречу сонным перекатам пулеметных очередей, глухим погромыхиваниям артиллерии...

Сорванный колос он долго хранил, завернув в бумажку. Потом тот высох, выкрошился, измялся, потерялся по частям.

«Тот человек, который может вырастить два колоса, где рос один, заслужил бы благодарность всего человечества...» Ничто не ново в этом мире, великий англичанин за сотни лет до появ-

ления Сергея на свет красиво высказал его желание. Только великий англичанин, пожалуй, крупно ошибался насчет благодарности, ему ли не знать, что памятники охотнее ставятся воинам, чем землеробам. Даже сам Сергей был не обойден похвалой как воин — набор орденов украшал его грудь.

Колосок выкрошился, потерялся, но память о нем осталась. Только память, не больше того. Он все еще думал, что и после войны останется военным летчиком.

По чужой земле, по разгромленной Германии шла весна, и ручьи в кюветах вдоль асфальтовых шоссе пели на той нежно-высокой, радостной ноте, какой они поют по оврагам вблизи села Пожары, и так же, как в Пожарах, пахла сладко и призывно подсыхающая земля на вспаханных полях.

Их авиачасть базировалась в Восточной Пруссии, в стороне от разбитых городов, среди фермерских хозяйств, укоризненно добротных, с водонапорными и силосными башнями, с черепичными крышами над просторными коровниками, с игрушечно чистенькими домиками, никак не похожими на русские избы, в них кафельные печи и даже печные дверки из начищенной меди.

Солдаты дивились:

— И чего они, сволочи, от такой жизни к нам полезли!

Солдат из аэродромной obsługi больше всего поражали автопоилки: у каждой коровы своя чашка, нажми носом — течет вода, пей от пуза. Эти парни попали из вятских, вологодских, ярославских деревень, а в ту пору большинство северных колхозов этой нехитрой техники еще не имело.

Солдаты удивлялись, а Сергей Лыков удивлялся им — нашли диковинку, его дядя за несколько лет до войны поставил точно такие автопоилки. Эх, Пожары, Пожары! Родное место, село в петле мелководной речушки, с колокольной белой церкви над тесовыми крышами, с извечными штабелями бревен, кирпича, со свежими неоконченными срубами на окраине. Село с громкой славой, и не зря — кой в чем немцу нос утрет.

По-пожарски звенели ручьи, по-пожарски пахли распаренные поля. Там, возле дома, скоро, должно быть, зацветет черемуха, блески опавшего цвета усеют траву... И тошно было слышать рев разогреваемых моторов, днем и ночью несущийся с аэродрома.

Он тосковал по родному селу, как молодой призывник.

После войны часть их перебросили на родину.

На родину ли?..

В Германии хоть весна походила на весну, ручьи шумели по-

пожарски. За Каспием, за пыльным, сожженным солнцем Красноводском, среди песков ни в какое время года не увидишь живого ручья. Воду привозят в цистернах, вода теплая, парная, с привкусом железа, песок проникает сквозь плотно закрытые окна, хрустит на зубах. Утречком бы пораньше, по росе, обжигающей босые ноги, — к речке да с берега вниз головой в омут, поплавать, пока не заломит кости от холода! А из окна — пустыня до неба, шары колючек скачут по песку. Под самым окном валяются местные собаки, рослые, косматые, желтые, как песок, ленивые, как сама пустыня.

В штабах шла работа, напряженная и деликатная. Война кончилась, армии уже не нужно такое количество летчиков. Почти все они готовились в военной спешке, кто-то успел дозреть на практике, набрал достаточное число боевых вылетов, кто-то — нет. Большинство молодежь, бывшие школьники, другой профессии не знали — лишь управлять штурвалами, припадать к гашеткам пулеметов. Товарищи Сергея жили в тревоге: демобилизуют, а дальше куда? В гражданскую авиацию? Там охотников хоть отбавляй. Учись на шофера или тракториста. Повальная мечта — попасть на переподготовку в высшее летное училище, получить новую звездочку на погоны, назначение в часть, которая расположена не в таком проклятом богом месте.

Сергей мог рассчитывать на удачу. На его счету достаточно боевых вылетов, есть сбитые самолеты, есть ордена — вряд ли обойдут. Но подал прошение о демобилизации.

Он сыт авиацией. Небо пахло для него бензином, облака — сыростью, а подымаясь над землей, разглядывая ее сверху, постоянно думал с завистью: там, внизу, люди живут не только скучными гарнизонными буднями.

Он совсем не знал, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Пойти на переподготовку — значит навеки оторваться от земли. Большим выбором его не побалуют, а вот в селе Пожары — полный выбор: хочешь — на инженера учись, хочешь — на агронома, а не захочешь — и в колхозе найдут работу по плечу, уж не обидят. И будешь утром по росе бегать к речке, весной слушать ручьи, дышать запахом цветущей черемухи.

И вспоминался колос на ладони, колос пшеницы, неизвестной в Пожарах.

Просьбу о демобилизации удовлетворили.

За тесовыми и драночными крышами, тронутыми бархатными заплатами мха, выглядывали новые крыши — шиферные и железные. С лица село, похоже, даже постарело — ниже теперь казались знакомые избы, мельче и уже родная речушка, костлявей березы, но с тылу по окраинам село неузнаваемо — среди иска-

леченных тракторами и грузовиками дорог целый поселок с незнакомыми службами. Маленький руческ, сбегавший в реку по овражку, забран земляной плотиной, разлилось мутное, с истоптанными коровами и овцами берегами озерцо. На нем плавают утки и гуси, птичьим пухом покрыта вода.

Перемены — да, большие. Построены новые коровники и свинарники, новые доходные заводики, а вот бревно, оброненное когда-то отцом Сергея посреди дороги, до сих пор лежит непо тревоженное, потемнело, зацвело. Трактористу, шоферу, конюху легче каждый раз объезжать его, чем остановиться, слезть, оттащить навсегда в сторону. Мешает, конечно, но не особо, потому — пусть себе, лежит едва ли не восьмой год. Ревнитель порядка, сам дядя Евлампий, наверняка по несколько раз на день его огибает. Загадочная русская натура — немцы бы прибрали.

Перемены — да. Валерка Приблудный, оказывается, стал замом дяди Евлампия, правая рука, ходит торопливой, подпрыгивающей походочкой очень занятого человека, таит на лице строжинку, с ним здороваются издалека, величают по имени-отчеству. Но при встрече с Сергеем расплылся, как старому знакомому:

— Сергей Николаич! Со счастливым прибытием в родные края! Поздненько вы, поздненько, мы, фронтовички, все уже слетелись. В гости заходи — чем богаты, тем и рады...

Но многое не изменилось. По-прежнему по утрам, болтаясь на костылях, волоча ноги, обутые в подшитые валенки, пробирается к конторе бухгалтер Слегов. Он изрядно поседел, заметно огрузнел, но такой же нелюдим — увидел, кивнул крупной головой, проковылял мимо, словно вчера виделись.

И старик Студенкин — жив курилка!

— Это ты ли, сокол? Вернулся...

Раздавил слезу под красным веком.

— Сеньку-то моего... А?..

Он усох, сваялся, хрящеватый нос из ржавой бороденки потоньшал, стал острей.

— При конях покуда все, но слабоват, в рейсы на сторону уж не пускают, по селу на двуколке болтаюсь, жмыха ли привезти, обрату ли. А Сеньку-то моего... А?.. Сенька того... еще в первый год...

Сергей почти не был знаком с молодым Студенкиным, не парнишествовали вместе, — Семен-то постарше.

Нисколько не изменился и дядя Евлампий — налит багрецом загривочек, властная речь, порывист. На встрече служивого он подвыпил, хватал за плечи, кричал в ухо знакомые слова:

— В министры тебя не пушу, не-ет, а фигурой сделаю!

Как ни скромничай, а все же льстит, что твой приезд — со-

бытие для села, хотя уже и привыкли встречать вернувшихся фронтовиков. Офицерские погоны, просторные и донельзя суженные у колен бриджи, хромовые сапожки, набор орденов, слава летчика — заметен! И по селу передают из уст в уста:

- Остаться решил...
- Не останется — улетит.
- А чего ему лететь, тут, поди, не прохладней будет.
- И то, Евлампий-то Никитич сразу нацелился: в министры, говорит, не пушу!..
- Парень не тюфяк, не в двоюродных братцев.

Ему исполнилось двадцать три года, жизнь ничем его не обездолила — ни умом, ни здоровьем, ни почетом. Поэтому считал — взрослый, самостоятельный, давно хозяин сам себе.

Но самостоятельным он никогда по-настоящему не был. До сих пор за него думали, им распоряжались другие. В армию ушел мальчишкой, едва исполнилось семнадцать, не сам, а военкомат счастливо распорядился им, послав успешно окончившего десятилетку, с безупречным здоровьем парня в летную школу, где вставал по команде, учился по команде, маршировал в столовую по команде, ложился по команде спать. В части старшие начальники отдавали ему приказы о вылете, диспетчер по радио — разрешение приземлиться. Даже тогда, когда он вел воздушный бой, не был полностью самостоятелен — за него прежде подумали, напищали полезными инструкциями, советами, опытом: так-то заходи к «юнкерсу», так-то к «мессершмитту». Нет, конечно, не всегда он действовал только по указке, порой соображал сам, и, наверно, не плохо уже потому, что остался жив. Но соображать самому за себя приходилось в крайних случаях, быть под чьей-то опекой — постоянно.

И он считал в порядке вещей, что дядя Евлампий, старший над ним, взял его под свою опеку.

Он появился в Пожарах как раз в тот момент, когда Евлампий Никитич с придиричивой гордостью оглядывал свое заматеревшее хозяйство: «А чего у нас нет?» Все было, не придумаешь — чего? Но Лыков открыл-таки — не ночевало в колхозе науки! Агрономы и зоотехники засылались со стороны — скороспелые, сопливые девчонки с курсов. Да бог с ними, что невелика корысть, сам Лыков и его бригадиры не хуже дипломированных агрономов знают, на чем хлеб растет, справлялись и справятся без тех, кто штаны да юбки просидел над книгами. Но шутка ли, если начнут говорить: «У Лыкова в колхозе работает свой кандидат наук!» Обязательно кандидат, не меньше — ученый по всей форме, с утвержденным ученым чином. На добрый дом не грешно посадить и резного конька на крышу.

А тут — Серега, школу с отличием кончил, фронтовик с заслугами, имеет намерение учиться. На агронома — да, пожалуй-ста! И с той и с другой стороны все сошлось впритирочку.

Евламий Никитич быстро решил, что для этого нужно.

Персональную стипендию от колхоза помимо той, студенческой, что будет давать государство. Знай наших, не нищие!

За это взять твердое слово — по окончании института мест высоких не искать, в сторону не глядеть, а вернуться в родной колхоз на постоянные времена.

И еще оговорочка: простой диплом хорош только для начала, но на этом остановиться не разрешим — получи кандидата, а дальше видно будет, может, и повыше огребем, да хоть профессорский чин. Стирание грани между городом и деревней, так сказать, — политика!

Евлампииу Лыкову легче всего было пристроить Сергея в областной сельхозинститут — сними только телефонную трубку. Но областной институт — не тот сорт, в колхозе у Лыкова все должно быть наивысшей марки. Тимирязевская академия в Москве пусть распахнет двери! Для этого Валерке Чистых было поручено сочинить письмо, да посольней, с достоинством: «Наш колхоз издавна считается передовым... Наш колхоз в настоящее время крайне нуждается в высококвалифицированных научных кадрах...» И о стирании граней как бы невзначай, мимоходом... Колхоз профессорам академии наверняка известен — народ грамотный, газеты читают. Правление подпишется, а на самом верху будет стоять подпись Евлампия Лыкова. Послать письмо нужно загодя, чтоб успели его прочувствовать, чтоб ждали посланца из Пожар, честь по чести встретили.

Сергей искренне считал — взрослый же, самостоятельный! — то, что предлагает Евламий Никитич, хочет он и сам. Даже больше, сам-то вряд ли бы решился на Тимирязевку, скорей всего осел бы в областном институте. Или же — кандидат наук... Об этом, признаться, не мечтал, и напрасно: уж если думаешь приступом брать гору, то целься до самой вершины. Свободный размах дяди Евлампия вызывал восхищение.

Взрослый, самостоятельный... И в голову не приходило, что в этой напористой опеке есть что-то не совсем нормальное. Он не задумывался, почему таким же парням-фронтовикам из других сел, из других деревень нужно пробиваться к учебе своим горбом, преодолевать вступительные экзамены — фронт-то поыветрил школьные знания! — без рекомендательных писем с коллективными подписями, рассчитывать только на не слишком-то щедрые институтские стипендии и медные деньги престарелых родителей... В голову не приходило задуматься.

Бухгалтер Иван Иванович Слегов, рыхлой копной восседая

за столом, выдал оформленные к отъезду в Москву документы, объяснил, не подымая пепельной от седины головы:

— Деньги на проезд, суточные на две недели, пока будешь сдавать экзамены. Стипендию станем переводить ежемесячно со дня учебы...

И вдруг поднял широкое лицо, из-под оплывших век — пыльные, льдисто-синие глаза, спросил:

— За всю войну не ранен?

— Нет.

— С наградами?

— Да. А в чем дело?

— Ни в чем. В рубашке ты, парень, родился.

Бухгалтер снова опустил к столу шевелюру, густую и сивую, как загривок старого волка, давая знать — разговор окончен.

Сергей вышел уязвленный.

Калека, судьбой обиженный, вот и завидует — в рубашке. На что он намекал? Мол, добрый дядя устраивает... И верно, не он один так думает — многие. В рубашке... А почему этот добрый дядя своего старшего сына не тянет за уши в учебу, тот даже школу бросил? Не в родственности дело — колхоз посылает. Оп, Сергей, не просто кандидат в студенты, он официальный представитель передового колхоза. Повезло на войне — не сгорел в самолете, повезло — родился в знаменитом колхозе, повезло — десятилетку кончил с отличием, как ни шарь по селу, а не найдешь более достойного. И за это глаза колоть?..

Но бумаги на деньги, врученные бухгалтером, все-таки жгли руки.

Тихая окраина Москвы, статуи легконогих коней перед фасадом ветеринарного корпуса, запорошенный снегом городок Тимирязевской академии.

Ты полпред лыковской державы в науке. Вряд ли на курсе можно отыскать более добросовестного студента. Сергей не только посещал и записывал каждую лекцию, не только придерживался программы — хотел знать больше того, что дают профессора. Все свободное время он просиживал в библиотеках.

И опять послушно следовал указаниям: читай Докучаева и Вильямса, особое внимание обрати на работы Трофима Денисовича Лысенко, опасайся проявлять интерес к трудам Менделя и Моргана: их учение — диверсия враждебной идеологии. Монах Мендель колдовал над горохом, не урожаи его интересовали, нет — цветочки! Его последователи совсем сняли с ума — разводили мух!

Однажды объявили: первый академик, первый ученый, гигант отечественной агрономии сам изъявил желание читать лекции!

Профессора вместе со студентами встречали его машину на улице.

Он прошел по коридорам, напористо стремительный, сухонький, кажущийся подростком по сравнению с дородными профессорами, с суетливой услужливостью едва поспевающими за летящим шагом первого академика. Никакой академической важности в фигуре, лицо знакомо по бесчисленным портретам, лицо, где мужицкий аскетизм и мужицкая деловитость сливались воедино.

Зал ломился от народа. Сергею удалось занять место во втором ряду. Высокого лектора встретили бурей аплодисментов, все ждали чуда.

Чуда не случилось. Если сам лектор не походил по облику на привычный тип академика, то его лекция была весьма суха и академична — пространные рассуждения о влиянии среды на рост растений.

Но он все-таки оставил после себя чудо. Его показали в более узкой аудитории несколько дней спустя. По рядам передали пучок ветвистой пшеницы.

Никогда не забыть Сергею, как кто-то протянул ему этот драгоценный пучок. Он принял... Принял, как принимают обычный соломенный пук, который легко ложится в горсть. Но рука невольно качнулась от благодатной тяжести. Первое же прикосновение чуть не заставило крикнуть от изумления. Нет, не соломенная легкость, не колосковая невесомость в руке. Сергей держал увесистый кистень! Каждый колос вблизи чудовищен, нет в нем изящности, он безобразен своей толщиной, колючей бугристостью, зернам тесно, их распирает в стороны. Несколько таких колосьев — и пригоршня зерна! Сергея теребили за плечо, требовали — передавай дальше! — а он смотрел, смотрел, не мог оторваться.

«Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...» Вот оно — свершилось! Сергей живет в одно время с таким человеком, которого будет с благодарностью помнить из века в век все человечество. Он видел его воочию! Он слушал его! И такие-то хлебные кистени закачаются на полях! Это вам не дрозofiла — муха-цокотуха, забавляющая досужие умы! Хлебные кистени... Один урожайный год на такую пшеницу будет кормить десять лет! Забудется голод, страх перед недородами уйдет в прошлое.

Сергей был бы плохим полпредом своего колхоза, если б не попытался добыть семян ветвистой пшеницы — ну один коло-

сок, ну хоть несколько зерен всего! Никто этого пообещать не мог, пообещали только свести Сергея с самим создателем.

Их встреча произошла перед очередной лекцией. Вблизи знаменитый ученый не напоминал подростка: ростом несколько не ниже Сергея, да и сухопарость его обманчивая — под неновым и немодным пиджаком слегка проступал животик. Он выслушал сбивчивую от волнения речь студента с суровым доброжелательством, но в ответ спросил резко:

— Какие урожаи у вас пшеницы?

Пришлось признаться: не всегда-то пшеничка балует урожаями. Рожь и ячмень — вот их беспроегрышные культуры.

— Начинать освоение такой культуры с ваших мест — штаны через голову примерять.

И отвернулся, считая аудиенцию законченной.

Просто, крепко, по-мужички грубо — вспомнишь и почешешься. Удивительный человек.

И странно, именно в эти дни Сергей сошелся с другим человеком, который довольно-таки прохладно отзывался о селекционере номер один страны.

Светлана Вартанова училась в аспирантуре, была старше Сергея года на три, профессорская дочка, видевшая изнанку жизни только во время войны, в эвакуации. Они познакомились в библиотеке, Сергей стал провожать ее сначала до метро, а потом и до дому в Скатерном переулке. У Светланы — нездоровой белизны лицо, кроткое выражение на нем, красивые ровные брови, темные глаза с восточной печалинкой — в ней текла армянская кровь, дед ее носил фамилию Вартамян.

Нет, резкость суждений не была в ее характере, ни резкость, ни категоричность, но это не мешало ей ко всему относиться с мягким скепсисом. С мягким, почти виноватым, но попробуй сбить ее с этого извиняющегося неверия.

— Сереженька, — упрекала она своим шелковым голосом, — я давно заметила — людям от земли, из кондовой деревни свойственно прекраснотушние. Просто умилительно, что ты так прекраснодушно веришь — новый сорт пшеницы станет панацеей всего человечества.

— Я держал пшеницу в руках своих! Я своими глазами видел, что это такое!

— Ее держали в руках еще хлеборобы Древнего Египта, Сережа.

— Может быть, может быть! Но случайную, как исключительное уродство природы, не выведенную! Эта же выведена! Эта — уже не случайность, а норма.

— Он не в первый раз что-то выводит, и всегда с шумом. Но вот ведь удивительно — выведенное как-то бесплотно пропадает

потом, а шум живет, шум — материален! Великое искусство, Сереженька.

Голос Светланы обволакивающий, как паутина, отмахиваешься, а он все больше липнет.

Сергей сердился не на нее — на себя, на свою бесхарактерность.

Ехал домой на свои первые летние каникулы с ощущением — все идет как нужно, мир кристально ясен: монах Мендель с цветочками и мужицкий сын — академик с образцами ветвистой пшеницы, есть псевдонаука и наука истинная, тьма и свет. Придет время, и он будет гореть вместе с другими в сияющем факеле науки. Пусть тогда нелюдимый бухгалтер Слегов попробует попрекнуть: мол, добрый дядя... У Сергея в зачетке за две сессии кругом «отлично»: не прожигал время, перечитал кучу книг, изучал гербарии — кто смог бы лучше его выполнить долг перед колхозом?

А дядя Евлампий встретил Сергея сюрпризом.

В стороне от села, за молочными фермами, за только что заложенным яблоневым садом, — тоже новинка в этих елово-березовых местах! — стояла столярка-временка, где прежде сколачивались ульи для пасеки. По приказу Евлампия Никитича эту временку перебрали, расширили, утеплили, обшили тесом, выкрасили в салатный цвет, обнесли палисадником, над низеньким крылечком повесили строгую, под стеклом, вывеску:

### СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА»

Евлампий Лыков сам привез племянника к этому новоиспеченному научному учреждению.

— Твое хозяйство. На правлении тебя утвердили в должности заведующего. Так что зимой, в Москве, набирайся уму-разуму, летом — здесь орудуй.

Из трех пахнувших краской комнат одна была уже оборудована под кабинет — письменный стол с новым чернильным прибором, стул, полумягкий диванчик для посетителей.

Но и этого мало. За окном тянулось в свежей зелени ровное поле.

— Твоя земля — три га! Я пока здесь вико-овсяную смесь посеял, но если что нужно посадить для опытов, только мигни — скосим, освободим. Для науки мы — как для мамы родной: чувствуй не гостьей — хозяйкой!

Сергею было неловко от таких поспешных забот.

— Пожалуй, рановато, пока все это лишнее, — сказал он.

Сажай для опытов. А что?.. Знания — не картошка, съездил да привез мешками. Я всего-навсего студент-первокурсник.

Евламий Никитич обиделся:

— Лишнее?.. Тебе видней. Мой — подойник, твое — молоко. Я свое для науки сделал, а ты думай.

У знатного председателя был свой упрямый расчет, которого еще не улавливал Сергей. Ремонт бывшей столярки для колхоза — смешно считать — расход копеечный, зато в приход можно записать: основан опытный участок, заложена научная база! И три га земли — пусть! С этих трех га большого хлеба не сымешь, а ученая степень вызреть может. Да и не рассчитывал Лыков, что Сергей использует эту землю, а потому заблаговременно, чтоб не пустовала зря, засеял ее под зеленую подкормку. Председатель даже выделил для Сергея штатную единицу — девятиклассницу Ксюшу Щеглову, дочь одинокой Матрены Щегловой, муж которой убит на фронте и приходился родственником лыковской секретарше Альке Студенкиной. Тут тоже двойной расчет: во-первых, помог семье погибшего фронтовика, во-вторых, взрослый колхозник потребует полный трудодень, Ксюшка еще девчонка, довольна будет, сколько ни назначат. Сергей от своей новой должности не получал лишней копейки — отработывай стипендиальные, которые идут не только зимой, но и летом. Ксюшке выделили втрое меньше, чем зарабатывала любая баба на полевых работах. Но на поле-то гни спину, а что делать на опытном участке — не знала ни сама Ксюшка, ни Евламий Никитич Лыков, даже новоявленный заведующий Сергей представлял смутно. Одно ясно всем: работа, должно, не бей лежачего, Ксюшке она в школе учиться не помешает.

Словом, наука не так уж и дорого обходилась для Евлампия Лыкова.

В прославленном колхозе дядя Евламий всюду установил строгий порядок — на фермах, на складах, в мастерских, но только не в сортовом хозяйстве. Сеяли что попроще, что не сулит чудес, зато растет наверняка. И среди хлебов росло много «иванов, не помнящих родства». Наверное, и надо начинать пожарскую науку с того, что с пристрастием допрашивать этих «иванов»: «Кто вы такие? Кто ваши родители?»

И тут вовсе не обязательно иметь контору с вывеской, с письменным столом, чернильным прибором, с диванчиком для посетителей. И целых три гектара опытной земли пока ни к чему.

Сергей замкнул на замок дверь новоиспеченного научного заведения, предоставил на опытной земле расти незатейливой вико-овсяной смеси, связал веревочкой самодельные картонные

папки для растений, вооружился широким кухонным ножом, натянул на голову старую кепку, двинулся в поля, прихватив с собой узаконенный решением колхозного правления «научный штат».

«Штату», Ксюше Щегловой, еще не исполнилось и шестнадцати лет — долговязая девчонка, две косы по узкой спине, шелушащийся нос, посаженный среди крепких скул, широко поставленные глаза, непорочно чистенькие, словно ручейковая водица над песчаным дном, в упор доверчивые, не тронутые угарным хмельком первой бабьей весны, да мальчишеские исцарапанные колени над слишком просторными голенищами стоптанных сапог.

— Сергей Николаевич, а я раз тоже нашла два колоска из одной соломинки...

Сергей учил свой, ниспосланный Лыковым «штат» и уже успел произнести назидательные слова: «Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...», успел и рассказать о чудесной пшенице, что видел в Москве, держал в своих руках. Что может быть чудесней сказки, чем сказка о сказочном хлебе, для подростка, выросшего в крестьянской семье?

— Право, право, Сергей Николаич, нисколько не вру. Два колоска, как есть...

И в глазах наивное ожидание: «Да что ты говоришь?! Да где же они?! Да куда ты их дела?!»

— Два?.. А ты знаешь, что бывает, когда охотник гонится за двумя зайцами?

— Но ведь!..

— Запомни одно: мы с тобой охотники за обычными колосками, за самыми обычными. Чудес искать не станем.

Пожарские поля отрезвили Сергея: таблицы сортов, засушенные гербарии, которые он разглядывал в Москве, упрямо не хотели сливаться воедино с теми хлебами, по каким они ходили, не объясняли друг друга. Единственное, что Сергей способен был сделать, это собирать все подряд. Собирать, записывать, запоминать, а уж потом в академии разбираться. Там он узнает — продуктивны ли собранные им сорта, что можно сделать, чтоб стали более продуктивными, какими сортами выгоднее заменить? Возможно, он раздобудет элитные семена, а уж тогда — долой с опытного поля вико-овсяную смесь!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Он лазал по полям, кухонным ножом бережно выковыривал корешки кустиков ржи, ячменя, пшеницы, а вечерами заседал на бригадиров, заставлял вспоминать:

— А чем удобряли поле за Оськиным оврагом?.. А сколько навозу? Сколько суперфосфату?.. Делали ли по колхозу анализы почв? Где можно раздобыть данные?..

Ксюша Щеглова честно зарабатывала свои трудодни — в особые тетрадки переносила записи Сергея, засушивала по всем правилам растения, писала и клеила ярлычки и уже говорить стала учеными фразами, не иначе:

— Рожь у нас в сортовом отношении — не разбери чего. Ежели покопаться, то, поди, и «муравьевку» найдешь. Черт те что — древность! И это в самом передовом колхозе!

Даже бывшая столярка пригодилась — не та комната, где стоял письменный стол и диван для посетителей, а две пустые. В них складывали собранные образцы.

Евлампий Лыков больше не интересовался Сергеем, — его председательское дело сделано. О том, что пожарский колхоз обзавелся своим научно-опытным участком, узнали и в районе, и в области. В местных газетах появились краткие, но внушительные сообщения. Подойник поставлен, и в него уже капало молоко.

Пожарские земли, поросшие лесом, врезались клином в земли двух колхозов — Доровищенского и Петраковского. Там тоже находились поля-прогалины, «чертовы куличики», как звали их в селе. С них возвращался Сергей с Ксюшей. Дорога вела через деревню Петраковскую.

Разбросанная по плоскому холму, сама плоская, придавленная необъятным небом, в которое лишь врезались шесты колодезных журавлей да скворечники, Петраковская поражала своей покорной унылостью. Пожары — село скученное, зеленое, облагоустроенное и речкой и приветливой колоколенкой. Здесь тишина и пустыньность. Громадные избы, сложенные из матерого кондача, — память о былой зажиточности, — глядят на широкие улицы заколоченными окнами. Деревня год от году все больше слеpla — люди из нее уходили на сторону.

Сергей и Ксюша за целый день не присели ни разу, грыз голод. И хоть до села оставалось каких-нибудь четыре километра, Сергей предложил:

— Давай-ка купим здесь молока да перекусим.

У них был с собой хлеб и вареные яйца. Хлебом-то вряд ли в Петраковской разживешься.

Постучали в первую же избу, из которой доносился захлебывающийся плач ребенка, — значит, есть живая душа.

Показалась простоволосая, растрепанная баба, из-за ее домотканой, бурой от старости юбки выглянули сопливые, измазанные ребячьи рожицы.

— Молока не продашь ли, хозяйюшка?

Плач раздавался из распахнутых дверей, женщина с сонным недоумением разглядывала и молчала.

— Молока, говорю, не продашь ли?

— Молока?.. Эва. Да в нашей деревне и всего-то три коровы уцелело. Каждая на три семьи, для детишек держат, по очереди доят — седни одна, завтра друга. А мои... Вишь, ораву, — баба тряхнула юбкой. — Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...

— Пойдемте, Сергей Николаич, — испуганно потянула за рукав Ксюша.

Плач доносился из избы. Детские глаза, глаза женщины в упор, сонно-равнодушные, усталые. И нечесанные жидкие волосы, и тусклое лицо, и жилистая шея, и ключица, обтянутая коричневой кожей из утерявшего пуговицы ворота серой кофты. За спиной плач надрывающегося младенца. Сергей, уставший, пыльный, в тяжелых сапогах, в выгоревшей кепке блином, вдруг почувствовал себя до неприличия буйно здоровым и нарядным — грудаст, плечист, часы из-под рукава нагло поблескивают на запястье.

— Сергей Николаич, пойдемте. Дом же близко.

— Прости, право... — сказал Сергей хозяйке.

И та, видать, купилась его кротостью, сочувственно посоветовала:

— Ты к соседке стукнись. Та богато живет — одна-одинешенька, а козу держит. Поди, как-нибудь продаст молока.

— Лучше идemте, Сергей Николаич. Идемте скорей...

Надрывный детский плач не умолкал.

— Гру-ня! Гру-ня-а! — завопила вдруг баба, покрывая плач. — Э-эй! Выглянь-ко! Тута нужда до тебя!

Дом богатой соседки был громаден и одноглаз — пятистенник, нагромождение истлевших бревен, покрытых прогнувшейся, рыхлой, как чернозем, драночной крышей с ядовито-зелеными лишаями мха. Все окна, кроме одного, забиты досками, зато в этом одном белели занавесочки и багрянцем горел цветок герани. Из нескладного, ненадежного сочленения бревен вынырнула маленькая, опрятная, проворная старушка — веселый, в цветочках платок на голове, лицо приятно скуластое, расплывшийся от улыбочки нос.

— Аюшки?.. Кто такие будете? Чтой-то вроде знаком по обличью. Уж не родня ли самому Евлампию Лыкову?

— Вроде бы.

— Уж не Серегой ли тебя кличут?

— Сергей, — удивился Сергей.

— Гос-по-ди! — Старушка всплеснула рукавами. — Так ты сына моего знаешь. Веньку-то!.. Забыл, поди, в училище вместе бегали.

— Веньку? Ярцева?

— Его, касатик, его. Вспомнил, родимый!

Венька Ярцев, школьный недруг Сергея, с которым так часто схлестывались на переменах. После седьмого класса с ним расстались, а потом...

— Где он?

— О-ох! — Старушка засморкалась в конец платка. — О-ох, да где уж... На войне, будь трижды проклята, анафема! Один и был у меня, один-единственный, кроме него, никого чисто... Кукую вот век одна. Почто и жить-то... Да что я, нужда-то какая, рассказывайте.

Ни есть, ни пить уже не хотелось, но пришлось сесть тут же на дворе.

— Уж неколи в дом войти, то туточка, туточка, на живой ноге.

Крынка густого козьего молока встала на травку перед Сергеем.

— Пейте на доброе здоровье. Гос-по-ди!.. Я хоть на тебя, любой, со стороны погляжу. Ну-тка, сыну моему кореш. Хоть чужому счастьем порадуюсь... Пейте, пейте, не гнушайтесь — уж чем богата... А чем? Какое ныне богатство. Жить-то у нас...

Сергей выложил полбуханки пшеничного хлеба, десяток помывшихся в сумке яиц, пригласил:

— Без тебя не ядем, мать.

— Ой, сынок, да я сыта, я еще себя содержу. Грех жаловаться, у многих хуже... Христа ради, ешьте, пейте... А широко вы живете, широко. У нас яйца и ребятишкам не показывают, не-ет, только ими и откупаемся — налоги шибко большие. И хлеб у вас, гляди-ко, чистый. Ну да, одно слово — пожарцы.

— Сергей Николаич! — почти со стоном протянула Ксюша.

У изгороди выстроились в ряд детишки соседки — лет восьми самый старший, с выгоревшими, сухими кудельными космами, сквозь рваные штаны просвечивает острое, смуглое колено, с ним еще трое, друг друга меньше, самый маленький — тугой барабан живота на кривых тонких ножках, рубашка не рубашка, распашонка не распашонка, ветхая тряпка на нем. Остановившимися светлыми глазами глядят на хлеб, на яйца на мятой газете, нет, не с жадностью, с изумлением. Изумление даже у малыша.

Сергей рывком сгреб в газету хлеб, яйца, встал, шагнул к старшему:

— Возьми! — И потому, что тот сторопел, прикрикнул: — Да бери же, черт! Меньших не обдели.

Грязные зверушечьи лапки робко потянулись к свертку. Венькина мать прятала глаза, вздыхала:

— Господи, господи... Не сироты, а вроде этого. Отец-то жив, да забыл, видно, — на стороне да на стороне, и голосу не подает. Настругал бабе кучу... Меньших-то я подкармливаю, а

всех — где мне. Господи, господи, сердце кровью обливается. Молоко-то хоть выпейте...

— Извини, мать. Не могу.

— Оно, конечно, с непривычки-то... Да и привыкай — не привыкнешь, все одно расстройство. Господи, господи...

Уже уходя, они за спиной слышали голос старухи:

— Васька! Сенька! Идите, пострелята, сюда! Молоко-то осталось!

Сергей заскрипел зубами. Ксюша шла, словно кралась, как прибитая.

Сколько раз он пересекал знакомую дорожку, разделяющую пожарские поля от петраковских? Десятки раз, если не сотни.

Узкая дорожка в два шага в ширину — среди густой аптечной ромашки и жестких стрел подорожника вытоптанные проплешины. Тут лишь изредка проезжала телега да время от времени катит «газик», на котором сам Евлампий Никитич Лыков объезжает свои владения. «Газик» не умещается на дороге, одним колесом мнет соседский хлеб. Все лето держится промятая им колея.

Проходя здесь, Сергей всегда испытывал горделивое чувство.

Дорога, не проселок и не тропа, что-то между — граница колхозов. С одной стороны ее — хлеба, зеленеющие той благодатной утробной зеленью, которая говорит, что земля под ними жирна и плодovита. Хлеба густы, взгляд тонет в них, путается, не достигает до корней, и не увидишь ни единого цветочка, не синее ни один василек. С другой стороны — вымоченно-белые, редкие колоски в траве. Не хлеба, а посевы мышиного гороха, сурепки, сволочного бурьяна.

Сколько раз проходил здесь и всегда гордился: наглядная картина, вот какой наш колхоз! Считал — так должно быть, так нормально! Два мира через узкую дорожку, под одним небом, под одним солнцем, на одной земле, граница в два шага — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян!

Так должно быть?..

«Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...»

Так должно?

Изумленные глаза детишек, даже маленький по-взрослому изумляется. А какой живот у этого клопа! Изумлялись — хлеб, яйца кучей, кринка козьего молока!

Так должно?

Тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян...

Но почему?..

До чего простой вопрос: почему на одной земле, под одним небом?.. Настолько прост, что на него бы должен наткнуться каждый. А проходил мимо, не замечал, только гордился: какая разница, какая наглядность — здесь колос, там бурьян. Так и

должно быть?.. И не он один, все кругом считают — так должно, даже сами петраковцы: «Одно слово, пожарцы вы».

Почему??

Рядом шла притихшая Ксюша — девчонка же! Но Сергей был так потрясен свалившимся открытием, что не выдержал и спросил ее: почему, черт возьми?!

— У нас же — Евлампий Никитич, — с ходу, не задумываясь, ответила Ксюша.

У нас — Евлампий Никитич, у петраковцев такого Евлампия Никитича нет. Наверно, и все так отвечают — просто и ясно: Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде.

Но разве нужна гениальность, чтобы выращивать хлеб? Если так, то люди давно бы померли с голоду. Гении — редкость на земле, хлеб же нужен каждому каждый день.

Почему??

Петраковцы — лодыри... Но петраковцы когда-то жили не хуже пожарцев — значит, умеют работать.

Почему??

Сергей с ужасом понял: не знает ответа.

До сих пор ему кто-то задавал кем-то найденные вопросы, требовал, чтоб он ответил кем-то подсказанные, заученные ответы. Сейчас сам наткнулся на вопрос — до чего же он прост, очевиден, до чего же на него трудно ответить! Сам нашел вопрос — сам ищи и ответ. Сергей еще не догадывался, насколько это трудно — отвечать не по-заученному, шагать не по-протоптанному.

А Ксюша успокоилась, повеселела, потому что впереди приветливо замаячила колоколенка пожарной церквушки. Счастливая родина, сытое село Пожары, где в каждой избе молока вдоволь, где детишкам дают варенные в самоваре яйца всмятку, — была рядом.

Ксюша успокоилась и заговорила:

— У них все мужики разбежались. Работать некому, потому и бедность.

Сергей не отвечал ей: глупая девчонка путала местами причину со следствием — мужиков-то из Петраковской повывудило не случайным ветром...

В бывшей столярке под замком хранились собранные с пожарских полей засушенные кустики зерновых, образцов почв. Дома в полевой сумке лежали записи, сделанные в течение лета. Начало его научной деятельности, самое начало, первые шаги в далекое. А туда ли ты шагаешь, Сергей Лыков?..

Росла тревога в душе, простой вопрос не давал покоя. И глаза детишек, глядящих на хлеб...

С папками засушенных растений, с исписанной вкривь и вкось тетрадкой и с новым, непривычным недоумением в душе приехал Сергей в Москву.

А в Москве все по-старому. Выпущен парадно цветной фильм, в котором сам великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин среди цветущих садов гневно громил и без того заклеянных менделистов-морганнистов.

Как-то без шума, исподволь просочилось: с ветвистой пшеницей крупные неудачи, не растет, вырождается. Но зато шумно пропагандировалась новая теория, которая предусматривала закономерность вырождения: ветвистая пшеница способна вырождаться в простую, простая — в рожь, овес — в овсюг, ель — в сосну.

— А человек в обезьяну, — кротко добавляла Светлана.

Сергей с ней теперь встречался чуть ли не каждый день.

Неожиданно для себя он встретил неудачу с ветвистой пшеницей довольно равнодушно. Жаль, конечно, но это чудо из чудес хлеборобства вряд ли сделает петраковцев сытыми, скорей всего наоборот — поля, разделенные знакомой дорожкой, станут еще более несхожими. Ветвистую пшеницу наверняка вырастить куда труднее, чем простую, а петраковцы не только пшеницы, кондовой ржи не получают, сволочной бурьян растет.

Еще недавно казалось: все просто и ясно — наука осчастливит страждущее человечество. Пойми секреты хлорофилловых зерен, деятельность анаэробных бактерий — и на полях закачаются тяжелые, как кистени древних разбойников, колосья.

Хлорофилловые зерна... Где-то возле родного села делит землю дорожка — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян. В институте не учат, как спасти петраковцев от голода и бурьяна, — не предусмотрено программой.

Светлана удивлялась:

— Сереженька, в твоем лице появилось что-то мученическое. Не рождается ли интеллект? Если так, то поздравляю, ты на верном пути.

— Светка! Ты куда собираешься податься после аспирантуры?

— Не знаю. Наверно, туда, куда не ведет ступенчатая теория стадийного развития. Не люблю лестниц, особенно парадных.

— Едем к нам, в наши места!

— Сереженька, я хочу стать настоящим ученым.

— А я тебя не в доярки зову.

— Ученый потому и называется у-че-ным, что перенимает знания и опыт других. Чтоб стать ученым — нужны ученые учителя. Докажи мне, что твой почтенный дядя — светило в науке, причем не ложное, что у него можно многое отобрать, поеду.

— У моего дяди образование — три класса, да и то, поди, он округляет для солидности.

— Очень жаль. Сам понимаешь — этого недостаточно. Мне придется искать другого опекуна, который не живет на твоей благословенной родине.

Нескладная зима в жизни Сергея. В эту зиму все крошилось, все расплозлось — ветвистая пшеница, такая осязательная, лежавшая уже в руках, превратилась в бесплотную теорию, гордость за свой колхоз уступила место тревоге за колхоз чужой, святая вера в силу науки дала трещину, так как вся академия с ее лекторами и библиотеками не может ответить на простой вопрос: почему петраковцы живут плохо, пшарцы — хорошо на одной земле, под одним небом?.. Ничего прочного на свете, даже в отношениях со Свекланой. Черт возьми, не станет же он менять ее на все село, на доверие дяди, доверие колхоза, даже на ту незадачливую, богом проклятую Петраковскую, о которой так часто теперь думает.

Нескладная зима, смутное время в жизни Сергея. Но и этой зиме пришел конец. Он сдал летнюю сессию и выехал в Пожары.

И там оказалось беспокойно. Всесильный дядя Евлампий изнемогал от непосильной борьбы.

## СЕРГЕЙ ЛЫКОВ

(продолжение)

В фигуре Чистых, восседающей на стуле, страдальческий изгиб. Ночь спрянула за окном угрюмые полденьицы. Снова на минуту замолчал крепко сколоченный лыковский дом — молчал угрожаяще.

Вдруг Чистых вздрогнул, поднял голову и Слеглов — за дверью в гробовом молчании раздались легкие, торопливые шаги. Короткий стук в дверь, ни Чистых, ни старый бухгалтер не успели бросить «да», дверь распахнулась. Стояла сестра, под марлевой косынкой красное от волнения лицо, мягкие губы вздрагивают.

Чистых поднялся со стула, надломленно навесил вытянутую голову.

— Все? — хрипло выдавил он.

— Нет! Нет! — возбужденно, до неприличия громко заговорила сестра. — Кажется, лучше... Просто чудо.

Чистых медленно распрямился.

— Я укол кордиамина сделала. Прежде и не реагировал. А тут... Глаза открыл... Один глаз... На меня поглядел. Что-то сказал... Да, да, совсем непонятное. Два слова: «Мертвый мязень...»

Даже явственно. Ну да, «мертвый князь», как сейчас слышу. К чему — не пойму, но, значит, лучше...

— Врача! — засуетился Чистых.— Скорее врача вызывать. Вдруг да... О господи! Всякое бывает. И профессора ошибаются. Вдруг да...

В суете Чистых чувствовалась судорожная радость, на круглом лице проступили пятна. Невероятное сбывалось, утерянное находилось, вдруг да снова станет на ноги старый председатель, пойдет все по-старому. Вдруг да...

— Иван Иванович, я выскочу.

Иван Иванович только кивнул головой, сам он в эту минуту — должно, от волнения — испытывал непосильную тяжесть своего располневшего тела.

Чистых плотно прикрыл за собой дверь. Молчание дома кончилось, доносились шорохи, глухой стук дверей, торопливые шаги, наконец, возбужденно придушенный голос Чистых, говорящего по телефону.

На самом деле — вдруг да...

А ведь он, Иван Слегов, пожалуй, хочет этого. Вернется старое, привычное, будет по утрам ковылять в контору, не надо гадать, каким окажется завтрашний день. Как это, оказывается, покойно, когда завтра точь-в-точь походит на сегодня. И на самом деле — вдруг да... Жизнь, в которую вгянулся. Ему, старику, от перемен хорошего ждать нечего. Каким бы ни был Пийко Лыков, но сросся с ним, одна плоть.

«Себя хороните...» Пийко Лыков как-никак ценил, Сергей Лыков в лучшем случае будет терпеть. В лучшем случае...

Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно. Но поздно он, Иван Слегов, разглядел со своей вышки этого парня. Видел в нем только счастливчика, кому влиятельный дядя устилает дорожку мягкой соломкой. «В министры не пушу, а фигурой сделаю». Оказалось, не та лошадка, на какую можно делать ставку. Ошибся Евлампий Лыков, он, Иван Слегов, не разобрался вовремя, тоже ошибся.

А если б и разобрался, что от этого изменилось бы?..

\* \* \*

Евлампий Лыков изнемогал от непосильной борьбы.

В кабинете председателя вохровского райисполкома уже несколько раз снимали со стены план района, вывешивали новый, с новыми границами колхозов. Шла перегряска: сливались земли, закрывались на замок колхозные конторы, бывшие председатели колхозов становились или бригадирами, или номенклатурно безработными, таскались по районным учреждениям, выпрашивали место с подходящим окладом. В районном Доме

культуры перед танцами читались лекции: «Экономические преимущества крупных хозяйств перед мелкими».

И только Лыков огсиживался в Пожарах, как в крепости, даже пытался отшучиваться: «Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим!» Однако крепость ненадежная, ее обложили со всех сторон.

И наконец появилось специальное решение: слить в одно хозяйство село Пожары, деревню Петраковскую, деревню Доровищи, из трех небольших колхозов создать один крупный под руководством Евлампия Никитича Лыкова.

Наверно, петраковцам радость — шутка ли, пристроиться к жирному лыковскому пирогу! А лыковцы, а сам Лыков?..

Сам Евлампий Никитич знал, что лучшие работники из той же Петраковской давно правдами и неправдами переселились в село Пожары. В Петраковской остались многодетные бабы, старухи, старики и подростки. Да и те отвыкли работать, так как много лет за свою работу ничего не получали от колхоза. Нагрянет орда неспособных к работе.

А запущенные земли!..

А скот, который привязывают под брюхо веревками к по толку!..

А общая бесхозяйственность — дуги же целой во всей Петраковской не отыщешь!..

Нет, Лыков не хотел объединяться, пугал: подам в отставку!

Но если б перетряска шла от районных властей, пусть даже от областных. С областными он умел улаживать подобру-поздорову, районное начальство не раз скручивал в бараний рог. Москва требовала укрупнений, а с Москвой не повоюешь — тут уж и у всесильного Лыкова руки коротки.

И все-таки он упрямо боролся, но уже видел — не победить.

Неприятности не отразились на дядиной внешности — только упрямей блестел лоб, только решительней выдвинута нижняя челюсть и в голосе нескрываемое обильное раздражение:

— Петраковцы!.. Да как-кое нам дело до них! Сваты, братья, родия кровная? Мы четверть века кирпичик по кирпичику, щепочка по щепочке хозяйство складывали, себе во всем отказывали. Я в первые годы в дырявых штанах голым задом блестел — все для колхоза, все в общий котел. И колхозников своих не баловал, не-ет, не давал им животы распускать. И на вот, вешают: мол, судьбой обижены. На готовенькое-то кто не рад. У тебя густой навар, Евлампий Никитич, а как этот навар нам достался — никому не интересно.

С детства Сергей намертво усвоил: дядя Евлампий не простой человек, не чета всем, кто попадает на твоём пути. Он

не просто по-мужицки умен, нет — по-государственному, всей стране на удивление!

И вот упрямо поблескивающий лоб, угрожающе выдвинутая нижняя челюсть, раздражение в голосе. Угроза и раздражение — да против кого? Против старухи Ярцевой, Венькиной матери, против той бабы, сонно-равнодушной от нищеты, от обилия голодных детишек, которые забыли уже, какого цвета молоко. Что-то слишком мелкое в этой гневной угрозе государственного человека, в его раздражении. Ошетинился медведь на муравья.

— Ты хоть раз заезжал в эти годы в Петраковскую? — спросил Сергей.

— А чего я там не видел? Их житья пакостного? Так я и не видючи а-атлично представляю — надо бы хуже, да некуда. Над каждым нищим не наплачешься. Ишь ты, дядя чужой виноват, что плохо живут.

— Но могут жить хорошо?

— А чего не мочь. Чем у них условия хуже нашего? Земли у них, ежели разобраться, даже получше чуток. Нам бы их луга заливные, что по волоку лежат.

— Значит, могут жить лучше? — упрямо повторил Сергей.

Евламий Никитич подозрительно уколол племянника не остывшим от вражды взглядом:

— И что дальше скажешь?.. Могут, братец, могут, да не живут! И пестовать их я не хочу. Слышал! Не хо-чу!

— То-то и удивляет. Человек ослаб, подняться не может — не хочу руку подать. Нечего сказать, красиво.

— А если он, доходяга, руку-то с голодухи до локтя отхватит? Не кра-си-во! Мне интересно целым быть, а уж красавцем писаным — бог с ним.

— Иным словом, боюсь, как бы не обкусали.

— Вот именно.

Государственный ум... Сергей глядел на знакомый насупленный лоб. Держит мысль на узде, боится выпустить за околицу села. Масштабногосударственный, всей стране на удивление?.. Если Петраковскую ни умом, ни сердцем охватить не может, то всю-то страну — где уж. И ошетинился — как бы не обкусали. И не стыдится, скрывать не считает нужным: «Вот именно».

Вглядываясь в смутный блеск глаз, скрытых сумрачным председательским подлобьем, Сергей жестко обронил:

— Жирный всегда тощего боится.

И даже тут дядя Евламий не оскорбился, только лицо посто отвердело, ответил сдержанно:

— И то верно, тощий зол, образ человеческий куда как легко теряет.

— А жирный не теряет? Издавна замечено: чем мягче жирок, тем черствей сердце.

У дяди Евлампия откуда-то от плеч через короткую шею на физиономию пополз гневный, потный багрянец.

— Молокосос! Суслик! Да тебе ли судить о нашем жирке! Ты, что ли, нас вспаивал, вскармливал до нужной кондиции? Ты пока на нашу колхозную землю и капельки пота своего не обро- нил. Ты пока сам за счет нашего колхозного жирка живешь. По- ка ты пиявка только, а туды же...

— Может, одумаешься, дядя,— холодно произнес Сергей,— возьмешь свои слова обратно?

— Ах, неприятны!.. Само собой, верю. Кому охота слушать правду в глаза. Ну я-то, какжись, заработал себе право таких щелкоперов по мозгам бить!

— Бей, но справедливо!

— Иль докажешь, что твоего поту — ручьи в нашем озере?

— Ручьи не ручьи, не мерял, а пот есть, холодный пот, тот, каким я обливался, когда над Курском, над Харьковом, над Эльбой в лоб на немецкие «мессера» шел. Без этого пота жирок с твоего колхоза немцы бы освеживали. У меня — что, только пот холодный по счастью, а ты знаешь Веньку Ярцева?.. Нет. Он не пот, а всю кровь выпустил, до последней капли. Венька- то из Петраковской, его мать-старуха по двести граммов сорного ячменя на трудовень получает. Перед ней тебе не совестно за свой жирок?

— Таких Венек много и у нас, петраковцам нечем хва- литься.

— У нас, в Петраковской, в других деревнях да городах — всюду гибли за общее. А теперь Лыков Евлампий это общее на свой вкус делит — себе жирок, петраковской бабе сухую кость. Справедливо, дальше некуда.

Евлампий Никитич презрительно скривил губу:

— Грамотен. И то, на колхозные денежки в академии сидел, как не научиться политбеседы вести.

— А ты знаешь, зачем я пришел?

— Пришел разжалобить петраковской бедой.

— Пришел тебе сказать — откладываю академию пока в сто- рону.

Голова Евлампия Никитича стала клониться к плечу, недоб- рожелательно-мутненький голубой глаз сверлил в душу.

— Да, откладываю. До лучших времен, если они случатся. И хочу просить правление колхоза назначить меня бригадиром в петраковскую бригаду. Даю, если хотите, обещание — справ- ляюсь, вытяну и так далее. Какие там слова говорят в этих слу- чаях?

— У нас нет петраковской бригады!

— Но будет.

— Как сказать. Есть еще порох в пороховнице.

— Ой ли? Всем уже видно, а тебе лучше всех — нет пороху, весь выстрелял.

Голубой глаз сверлил в зрачок Сергею. Евлампий Никитич процедил с презрением:

— А я-то еще думал: будет Серега с ученой степенью.

Сергей пожал плечами, ничего не ответил. И дядя Евлампий опустил глаза. Он сам понял, сколь неуместно вспоминать эту ученую степень, — резного конька на крышу не ставят, когда дом валится. Опустил глаза только на секунду, встряхнулся, сказал уже другим тоном, суровато, по-председательски:

— Сам напрашиваешься? Что же, отметь себе — я не неволил. Сам! А мне, не скрою, дар божий получить такое предложенье. От Петраковской любой и каждый из порядочных людей шарахнется в сторону.

— Видать, я не из тех порядочных. Иду в Петраковскую.

— Смотри, Серега! Слово — олово, отказа не приму. Одумайся, пока не поздно.

— Иду.

— Ну что ж... Запишем для памяти. Пока для памяти, на всяк пожарный случай. Кой-какой запасец пороха есть. Небольшой, правда. Буду отстреливаться до последнего. Ну коль руки вверх поднять придется — что ж, ты слово сказал. Только не жди поблажек. Не-ет, Серега, поблажек тебе не будет. Тут тебе не наука, на волчий путь вступаешь. Слышишь меня?

— Слышу.

— Поворота не даешь?

— Нет.

На этом и расстались.

Лыков отстреливаться уже не отстреливался, а тянул, отсиживался, выжидал — вдруг да наверху поворот означится, прикроют кампанию на укрупнение.

Не удалось отсидеться, собрал правление.

Он сидел за своим столом под сапожками вождя напротив чугунного младенца, деловито суровый, кряжистый, Евлампий Лыков — лучших времен.

— Начнем, что ли? — объявил он.

За красным столом, напротив расставленных графинов с водой, — цвет лыковского колхоза, знатные бригадиры, не менее знатные заведующие фермами, орденоноска доярка, орденоноска свинарка, в конце, поближе к дверям, не знатный, не прославленный, не орденоносный, но поболее других уважаемый бухгалтер Слегов со своими костылями. Тут же и Чистых, бывший Валерка Приблудный. Он, как и Слегов, и не знатный, и не прославленный, и не орденоносец, но не откажешь — тоже ведь

уважаемый не меньше других. Попробуй-ка только не уважь — Евлампий Никитич быстренько заставит. В самом углу сидит Петр Никодимыч Гушин — секретарь колхозной парторганизации — человек среднего уважения потому, что его средние опекает Евлампий Никитич. Секретари меняются чуть ли не каждый год, всех их рекомендует райком, а значит, по мнению Евлампия Лыкова, пусть райком и блюдет их.

С тех давних пор, как он, Лыков, неожиданно-негаданно одержал победу над Чистых-старшим, секретарем райкома, человеком твердых принципов, «застегнутым на все пуговицы», пошла расти трещина между лыковским колхозом и районным руководством. «Мы сами с усами, голыми руками нас не хватай — ожгешься». Петр Гушин обязан во всем слушаться райкома, отчитываться перед райкомом, от лица райкома контролировать строптивного Лыкова, одергивать, если тот зарывается. А попробуй это сделать, когда само райкомовское начальство остерегается «длинной руки» прославленного председателя — куда как легко достаёт до области. Поэтому секретарь парторганизации Гушин старается не мозолить глаза, тихо сидит в углу, не собирается активно поддакивать и активно возражать, готов слушать и принимать к сведению.

Сергей Лыков среди всех, гвоздь сегодняшнего совещания, именинник, так сказать, — будничная кепочка брошена на красную скатерть, приглашенный зализ соломенных волос над крутым лыковским лбом, спокойнешенек. На него со всех сторон косятся, ощупывают — еще бы не интересен, из Москвы, из академии, куда никто и добраться не мечтает, в Петраковскую, надо же, добровольно, бывают же чудачки на свете.

— Значит, так, — с важностью начал свое вступительное слово Евлампий Никитич, — ученые люди говорят: крупное хозяйство производительнее мелких. Азбука экономики, словом. А уж раз ученые так говорят, то не нам, серым, с ними не соглашаться...

На всех лицах, как по команде, — смутный след суетной ухмылочки: куда как понятна издевочка Евлампия Никитича — «не нам, серым», — серые-то и рады бы не согласиться, но сила солову ломит.

— Значит, так, линия на укрупнение — правильная. Нам, как наиболее передовым и сознательным, — Евлампий Никитич с особой расстановочкой произнес последнее слово, — не пристало быть в стороне от этой линии. Значит, так, мы за объединение с Петраковской.

Помолчал, сурово оглядывая всех. О Доровищах он не упомянул, на Петраковскую — куда ни шло, а Доровищи — погоди, от них авось теперь можно и отлягаться.

— Мы за объединение с Петраковской, — повторил председатель и не удержался, съязвил: — За союз, так сказать, горшка каши со шербатой корчажкой.

Прошелестел положенный смешок, смолк. Вступительное слово окончилось, Евлампий Никитич повернул в тугом вороте рубахи толстую шею, заговорил в сторону нового петраковского бригадира:

— Даем тебе трактора и трактористов, пашем, что попросишь и когда попросишь. Пашем, учти, на совесть, на нашей земле эмтээсовцы не шалят. Это раз! Берешь у нас семена, какие хочешь и сколько хочешь. Это два! И еще сверх всего — хлеб на прокорм голодного петраковского люда, чтоб до осени, до урожая, который ты обещаешь, у них во время работы штаны не спадали. Вот — три!

Молчание. Спокойный голос Сергея:

— Ну и добро. Больше ничего не потребуется.

— Согласен. Ишь ты! Но погоди, это только одна половинка уговора. Слушай другую. За работу тракторов кто-то должен оплачивать. Кто? Мы? Вы? Или Пушкин?..

— Мы платим из урожая, как же иначе, — согласился Сергей.

— Вот именно, по расценкам мягкой пахоты, как положено. И семена ты нам тоже возвратишь из нового урожая. Ну, а хлеб на прокорм... Хлеб этот можешь не возвращать — так сказать, наша бескорыстная помощь. И еще мы решили дать вам полную самостоятельность. Вы сами рассчитываетесь с государством, излишки берете себе. Будет много излишков...

Кто-то фыркнул за столом, но Евлампий Никитич гневно повел светлой бровью.

— Будет много излишков — ваше счастье, мы на них не позаримся. Мало — с нас уж потом милостину не тяните. Не выгорит. Вот и все наши условия. Принимаешь ли?

Молчание, вздохи украдкой, прищуренные глаза на Сергея. Сергей качнул головой, усмехнулся:

— Ты меня словно председателем другого колхоза ставишь, а не бригадиром.

Евлампий Никитич ждал этих слов, приосанился, без того строговато выглядел, теперь совсем не подступись.

— Мы решили все бригады поставить на хозрасчет. Все! Вы не исключение, тоже на хозрасчете.

— То есть под вашей вывсской, но на особицу?

— Вот именно! Мы — сами, вы — сами. А помощь вам от нас полная.

Сергей снова закачал обкатанной головой, засмеялся:

— Ну и хитер же ты, однако.

У Евлампия Никитича мягкие скулы тронулись в усмешеч-

ке, заулыбались все: еще бы не хитер, казалось бы, совсем к стенке прижат, а вывернулся. Вроде объединяется, не придерешься, а на деле — глухой заборчик между старыми лыковцами и новыми. Вы сами, мы сами — одна лишь вывеска.

У Лыкова-старшего обмякло лицо — снова добрый дядя, — все сказано, пронесло, а потому можно раскрыть и остальные карты. Он воркующе заговорил:

— Чего там скрывать, все мы боимся, как бы петраковские козы не обглодали наш огород. Будем помогать по-свойски, по дружбе, но помните — дружба-то дружбой, а табачок врозь. Для этого и существует слово «хоз-рас-чет»! Да еще лозунг: «Кто не работает, тот не ест!» А потом поглядим: может, козы подхарчатся, молоко станут давать, тогда и в общее стадо примем.

— Ладно, не умасливай, — ответил Сергей. — Хозрасчет так хозрасчет. Не надеюсь особо из нищеты выползть на хребте пожарцев. Помогайте как можете. А мне с хозрасчетом даже посвободнее. Лезть со стороны с советами меньше будете.

Евламий Никитич не выдержал, легонько крикнул:

— Конечно, сам себе во князях.

И правление не выдержало, грохнуло, но смеялись незлобиво, с облегчением. Каждый был рад, что, слава тебе господи, сам не стал стольным князем петраковским. Хоть и учен парень, в академиях штаны просиживал, а в жизни не смыслит. Из сыновей в пасынки идет добровольно. Чуть сплехуй, Евламий Никитич решением этого правления прикроется — помогал, условия посильные ставил, сам согласие давал, силой не неволили. Князь пресветлый, попадешь в стрелочники — любая вина твоя.

Евламий Никитич пресек:

— Эй, эй! Смешочки не к месту!

Но не слишком строго.

Он, Лыков Евламий, не считал глупость в людях уж очень большим пороком. Пусть глуп, да покладист, ума всегда вложить можно.

Через несколько дней в районной газете появилась статья: «Новаторство! В передовом колхозе «Власть труда» бригады поставлены на хозрасчет!» В те годы по деревням это слово еще не вошло в широкий обиход.

Под осень прибыли два огромных грузовика, на каждом горой тугие мешки — хлеб петраковцам. Но не просто хлеб, а с лозунгами. По бортам машин кумачовые плакаты: «Пламенный привет новым колхозникам колхоза „Власть труда“!» И тут же назидательное: «Кто не работает, тот не ест!» Хлеб привезли, но и лозунги не забыли.

Вокруг грузовиков собралось все население полузаколоченной деревни Петраковской. Босые бабы с черными ногами и спечеными лицами, за их подолы цепляются белоголовые ребятишки. Мужиков в деревне, считай, нст, а поди ж ты, плодятся... Сгорбленные старухи с жилистыми шеями, старики с седыми щетинистыми подбородками. Несколько подростков, безусых, опаленных солнцем, из тех, кто еще не доспел в армию. (Из армии уж, шалишь, в Петраковскую калачом не заманишь.) Негусто молодок, по одежке смахивающих на старух... Выцветшая, вылинявшая, иссушенная толпа, мослы, да глаза, да нестриженные космы, и общее у всех выражение недоверия.

Тугие мешки навалом, в их сытой наглядности какое-то неправдоподобие. Даровой хлеб, да еще с лозунгами: «Пламенный привет!..»

Евламий Никитич сам привез этот хлеб, закатил речугу и тоже, как водится, с лозунгами: «Добьемся высоких урожаев! Берите, ешьте и помните: „Кто не работает...”»

Евламий Никитич — широкая физиономия словно смазана маслом, костюмчик уже тесноват — пуговицы еле сдерживают налитое брюшко. До чего же он не похож на тех, кто его слушает, — с другой планеты.

«Даем! Берите!» — широкий жест в сторону мешков. Пусть все видят, кто дает.

В стороне стоит новый бригадир — кепка надвинута на глаза, упрямый, как у дяди Евлампия, подбородок, пыльные сапоги, руки глубоко в карманах. Он обязан позаботиться, чтоб хлеб не был съеден задаром.

Он знал, что коней в Петраковской среди зимы привязывают к потолку веревками, знал, что коровник без крыши...

Одно — знать понаслышке, другое — видеть.

Впервые вошел в дверь скотного к коровам, увязнувшим в жидком навозе. К коровам?.. Нет! Таких коров еще не встречал — деревянные кóзлы, обтянутые косматыми, ржавыми шубами, не похоже, что может внутри теплиться жизнь. Живы только глаза, большие, слезящиеся, истекающие такой влажной тоской, что коченеешь, сам становишься деревянным. И вот в такую-то минуту одревенения почувствовал на своем лице мокроту, не теплые слезы, холодная, липкая мокрота — дождь. Поднял голову и увидел над собой небо, серенькое, обычное, только перекрещенное стропилами. Обвалилось сердце, не помнил, как оказался на воле. В дверь вышел. Дверь-то была, а крыши нет.

Всего четыре километра в сторону — село Пожары. Там среди побеленных стен, под светом электрических ламп, в густом

тепле, слитом из запахов парного молока, навоза и ядовито щекоущего силоса, — лоснящиеся, атласные, упругие, широкие спины рядами. Там другие животные, несколько не похожие на этих деревянно-шерстистых, там буйная плоть, звуки ленивой жвачки, чугунные чаши автопоилок, бетонированные дорожки со стесками, брандспойты, сгоняющие упругой струей нечистоты.

Всего четыре километра, где-то на середине — узкая дорога среди полей. Четыре километра? Нет, дорога пролегает не по земле, а по времени. Там — двадцатый век, как и положено, здесь черт те какой — средневековые! Прыгай через столетия, Сергей Лыков!

Были лекции и библиотеки, книги и профессора, микроскопы и цветные таблицы, таинства внутри зеленого листа, откровения из загадочной жизни микробов, гнездящихся у корней растений. Это все было, а ожидалось большее — опытный участок, научная станция, своя лаборатория с пробирками и микроскопом, грядки с табличками, извещающими, что на планете появляются неизвестные людям сорта, ученая степень, почет... И был бы птицей свободного полета, ни с тебя выполнения плана, ни отчетов, ни проработок на совещаниях — твори!

Бригадир в Петраковской! Бригадир в самой безнадежной бригаде, ты заведомо — мальчик для битья.

Соседку Венькиной матери, Груни Ярцевой, звали Анной — Анна Филиппьевна Кошкарева. Дети ее: погодки Петька и Ленка — один восьми, другая семи лет, погодки Сенька и Васька — пяти и четырех — да еще люлечный Юрка, тот, что тогда плакал с надрывом в избе.

Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву — щавель, крапиву и еще одну, называвшуюся почему-то неприличным словом, — детишки сами заготавливали летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки напоминали по цвету, по виду свежие лепехи коровьего навоза — черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.

Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб — ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены — сухо ли, — закрыл на замок.

Хлеб на замок! Это значит — опять голод, это значит — лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.

Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше — нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец

со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.

Пожарский опричник.

— Хлебец-то для показа с председателем привез.

— А вы что, бабы, пожировать хотели?

— Облизнись да забудь.

И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой за-  
таенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал,  
пожалуй, даже в войну, где случалось наткнуться в небе одному  
на трех «мессеров».

Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом — не пожар-  
ская контора с колоннами и широким крыльцом, — обычная изба,  
ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Со-  
брались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно  
дышать — платки, платки, полущалки, кой-где лохматая стари-  
ковская шапка. Большинство населения — бабы, у многих дети,  
все просят есть, а хлеб под замком.

Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вме-  
сто речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол:

— Вот он... От хлеба.

Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы простор-  
ной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза,  
много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.

— Ваш... Я его в руки больше не возьму. Кто хочет, может  
его взять, открыть амбар, раздать хлеб. Милицию не позову, жа-  
ловаться никуда не буду.

Тишина, вздохи, сопение. Недружелюбные глаза.

— Ну, кто хочет взять ключ?

Из-за спин, из-за платков бабий голос:

— Любой возьмет, не петушися.

— Только этого любого я спрошу: сколько месяцев ты, лю-  
бой, собираешься жить на свете? Три месяца, четыре или  
больше?

Нелюдимое молчание, нелюдимое, но и озадаченное.

— Съедем сейчас хлеб, весной снова будем голодны.

— Не привыкаты!

— То-то и оно, а я хочу, чтоб отвыкли. Для этого и пришел.  
Хочу хранить хлеб до весны, чтоб работать не на траве, чтоб  
посеять новый хлеб, чтоб собрать его, чтоб быть сытым вечно.  
Не согласные, собираетесь весной по привычке в кулак дудеть,  
травкой закусывать — берите ключ, вот он.

И Сергей сел.

Молчание, тяжкие бабы вздохи, шевеление.

Секунда, еще секунда, еще... Секунды решали будущее дерев-  
ни Петраковской. Секунды решали судьбу Сергея. Если кто-то  
с отчаяния надумает, подымет сейчас среди платков, подойдет,

возьмет ключ — будет несколько сытых месяцев, снова голодная весна, снова сволочной бурьян на петраковских полях, а от Сергея отвернутся все — сама деревня, пожарцы, Евлампий Никитич. Он-то отвернется с издевочкой: «Что, лихач, на первом повороте вывернуло?»

И голодные дети, с изумлением глядящие на хлеб, на яйца, на молоко...

Шли секунды, тянулось молчание.

— Решайте, бабы,— угрюмо напомнил Сергей.

Никто не решался. Молчали.

— Анна Кошкарева! — позвал Сергей. — Ты здесь?

— Тута. А что? — из глубины, от стены.

— Выйди сюда.

— А чего?

— Выйди сюда.

— Да иди, иди, не съест! — зашипели со стороны.

Зашевелились, стали тесниться, уступая дорогу.

Вышла, встала перед столом. Глаза в пол, на растоптанные валенки, грубый, словно из дерюги, платок закрывает лицо, мужская телогрея с клочьями ваты на локтях, ветхая юбка... Даже по-петраковски — бедна.

— Анна, возьми ключ.

— А чего это я?

— Возьми и храни у себя...

— Не робей, бери уж, коль так. Чего тебе сделают, ежели в руках поддержишь.

Не подымая головы, Анна взяла ключ.

— Вы видели — у кого он? Хлеб не мой, хлеб ваш. В любое время можете его взять и разделить... Если захотите.

Сергей встал:

— Все, дорогие товарищи! Собрание окончено.

Хлеб под замком. Ненавидеть за это надо того, у кого от замка ключ в кармане. А ключ этот положила себе в карман Анна Кошкарева. Ее ненавидеть?.. У нее пятеро голодных детей, они сыты не стали от того, что мать держит ключ от хлеба, которым можно накормить всю деревню.

Сергей жил у Груни Ярцевой. С оклесной старыми газетами стены из рамки на него теперь глядел с вызовом недруг мальчишеской поры Венька — просторная пилотка на растопыренных ушах, шея тонкая, с кадычком, что петушиная нога. Как и все, Сергей питался картошкой, не навез из Пожар для себя харчей. Ключ лежал у Анны, запасы хлеба не трогались, но Сергей изворачивался...

Евлампий Лыков давал семена — какие хочешь, сколько хочешь, отбирай сам. И Сергей отбирал. Семенной фонд лыковского колхоза он знал лучше всех — не зря же целое лето толкался по

полям, совал нос в закрома, — лучше самого Евлампия Лыкова, лучше кладовщиков, лучше любого из бригадиров. И он отбирал горстку по горстке наилучшее зерно, сам проверял на всхожесть, помогала проверять Ксюша Щеглова. Бывшая столярка — опытный участок — вся была уставлена блюдами, заложенными мокрой марлей и промокашками из школьных тетрадей, на них прорастали семена. Опытный участок работал, но не на село Пожары, на деревню Петраковскую.

А в Петраковской хранился свой семенной фонд, замусоренное зерно ржи, ячменя, тощей, как мышиный помет, пшеницы. Фонд — одно название. Его Сергей пустил на помол, выдавал, по с расчетом. Покрой крышу над скотным — получи, привез сено — получи, вычисти навоз, приведи в порядок коров... Но иногда выписывал и без работы — на детишек, многодетным матерям.

Шла выюжная зима, на редкость снежная. Лошади, срывающиеся с дороги, тонули в снегу по уши, вытаскивать приходилось на всеревках. В эту зиму в Петраковской мало ели травы, хотя и не без того: нет-нет да в морозное утро потянет сладковатым дымком из какой-нибудь трубы — значит, кто-то печет лепешки из щавеля. Даже Сергею приходилось их пробовать, первое время выскакивал на крыльцо, перегибался через перильца, отдавал травку на снег.

Не очень стеснялся челобитничать перед дядей:

— Удели возиков пять сена... Подкинь овса. Помогать обещал? Исполняй обещание — самое время.

Евлампий Никитич скорбно вздыхал:

— Ох уж вы, мои союзники — второй фронт до гробовой доски.

Но все-таки помогал.

Коней в эту зиму не привязывали к притолокам веревками — сами держались, хотя и выглядели не для парада.

Так дотянули до марта.

Через Петраковскую прошли десятки председателей — были среди них и прохвосты, с нищей деревни сумевшие вырастить в районном городе далеко не нищенские по виду дома, были и честные люди, не присвоившие себе лишней горсти зерна. Всех их постигало одно: исчезали без следа — что были, что не были, бог ведает.

На Петраковской висело два миллиона долгу в счет кредитов, выданных государством в разные годы. «Колхоз-миллионер», — в районе еще и пошучивали, а что оставалось делать?

Евлампий Лыков добился — долги списали.

Евлампий Лыков помогал. Мог бы щедрей, но и на том спасибо.

Евламий Лыков — председатель колхоза, а в лыковский колхоз районные уполномоченные не суются. А это тоже немаловажно. Уполномоченные — чума для тех, кто встает на ноги.

Ни у кого из бывших председателей деревни Петраковской не было за спиной Евлампия Лыкова.

У Сергея — крепкий тыл, он мог наступать не оглядываясь, действовать с напором.

Нищая Петраковская была богата одним — навозом. Десятки лет копился он в скотных дворах, в конюшнях, в сараях самих колхозников, пропадал, перегорая до жирного чернозема, снова копился. Даже те, кто сбежал из Петраковской, оставили после себя около заколоченных изб кучи навоза. В стойлах часто коровы доставали тощими хребтами потолочные балки — утрамбованный, каменно слежавшийся навоз выпирал. От навоза подпревали нижние венцы хлебов, хозяева бросали эти хлеба, строили новые. Нищая Петраковская сидела на богатстве.

Богатство, если только вывезешь все подчистую на поля, а иначе — навоз есть навоз, обычная нечисть.

Вывезти, а всего одиннадцать лошадей могло ходить в упряжке.

Трактора на помощь?.. Это пожалуйста. Но за работу тракторов нужно платить. Вырастет урожай или нет — бабка надвое гадала, трудодень же трактористу отдай, и трудодень такой, какого ни разу не получал нетраковский колхозник.

Учебная программа академии не предусматривала, как на одиннадцати клячах вывезти горы навоза.

Как?

Решить этот вопрос — значит получить урожай, значит дать на трудодень, значит накормить петраковцев. А быть сытым — счастье, петраковцы пока о большем и не мечтали.

На одиннадцати клячах!.. Кажется, невозможно.

— Что ж, бабы, попросим Евлампия Никитича, пусть трактора подсылает.

— Так ведь, Сергей Николаич, голубчик, обдерет нас Евламий Никитич, со своими тракторами как липку.

Пришло время заставить Анну-хранительницу выложить ключ от хлеба на общественный стол. Большой, тронутый ржавчиной ключ от амбарного замка. Сергей стоял над ним, глядел на сидевших баб, на свою «божью рать», как с издевочкой называли их в Пожарах. «Божья рать» взирала на Сергея уже не с прежней недоверчивостью, уже как на своего.

— Кому этот хлеб — трактористам или себе?

Вопрос дикий, вопрос крамольный. Этот хлеб перестал быть дареным, его хранили, отказывали голодным детям. Да решишь сейчас Сергей отдать его на сторону, хотя бы и трактористам из МТС, — вся вера в него лопнет, лопнут надежды, ни одна

рука не подымется на работу, не жди никакого урожая. Хлеб, который так долго лежал нетронутым, — священен.

Трактористам или себе?.. Вопрос дикий, вопрос крамольный и для любого уполномоченного из райцентра. Как можно спрашивать? От механизации отказываться, МТС игнорировать, технику подменять горбом — в прошлое тянешь, бригадир, наше развитие на том и основано, что грубая физическая сила подменяется силой машины. Через МТС государство получает от колхозов крупный куш, за игнорирование МТС в районе били беспощадно, часто не ограничивались строгачами, просили выложить на стол партбилет. Но уполномоченные обходили стороной лыковский колхоз, а Петраковская жила теперь под лыковской вывеской.

— Се-бе-е! — единым вздохом откликалось собрание.

— Се-бе-е хлеб!

— Как вы думаете, если за тонна-километр вывозки навоза — пуд хлеба? Хорошая цена?

— Цена-то хорошая, только на чем повезем?

— Вот этого не знаю, бабы. Знаю одно — хлеб за навоз. Хлеб сразу, на руки, не авансом.

— Согласимся, что ль?

— Но как же, бабоньки, на чем?

— Да уж одно тягло — на карачках.

— Ежели б было на чем, не платили так.

— И хлебушко-то сразу, нас ведь всегда авансом кормили!

— Авансами мы сыты!

— Эй, бригадир! А без обману?

— Без обману.

— Вывезем! На себе! Не отдавать же хлебушко!

И повезли навоз.

Другого выхода не было. По несколько баб впрягались в волокуши, тащили по глубокому снегу километрами. За хлеб, за настоящий, не за авансовый, не за обещанный! За хлеб, которого давно не видели вдоволь в Петраковской. Там, где лошади падали, бабы вывозили...

Варварство? Да! Бывший слушатель Тимирязевской академии пошел на это! Но в варварстве и жила Петраковская — зимой коней привязывала к потолку, коров держала под открытым небом, растила сорняки, копила навоз, ела траву. Из варварства без варварских усилий можно ли вылезти? «Тимирязевка» не предусматривала в своих программах, приходилось действовать на свой страх и риск.

Он метался от одного поля к другому, командовал: здесь больше подкиньте — песочек, там хватит — без того земля добрая.

Знакомая дорога, разграничивающая пожарские земли от петраковских, была закрыта снегом, по ней не ездили зимой. Сейчас ее вновь пробили, набросали вдоль щедрые кучи навоза.

А на бригадном складе уже лежало отборное зерно для семян.

А Сергей находил время, чтобы водить дружбу с трактористами, с той бригадой, которой предстояло подымать петраковские поля.

— Ребята, хочу одного — чтоб вы стали похоронной командой... Что ржете?.. Поля наши в сплошном сорняке. Семена этих сурепок, осота хоронить, хоронить, да глубже. Без глубокой вспашки, без оборота пласта работу принимать не стану. Учтите это заранее. А за качественные похороны сочтемся, обещаю.

Трактористы смеялись, пили водку, выставленную Сергеем.

Навоз выгребался подчистую. По деревне Петраковской вкусно пахло свежеспеченным хлебом.

Дорога, разделяющая поля, — там колос, здесь бурьян. Еще посмотрим — у кого как.

И вот в эти-то мартовские дни впервые с удивлением стал вглядываться в Сергея не встающий со стула бухгалтер Слегов. К нему на стол ложились сводки. В сводках из Петраковской — вывезено столько-то тонн навозу. Гм... Цифры красивые, хоть вешай на стенку вместо плаката.

В неподкупном бухгалтерском деле что слишком красиво, то с запашком. Иван Иванович полистал, выудил — вот точная цифра конского поголовья в Петраковской (гм... ну и цифра!), а вот и другая — количество работоспособных... Тракторов не брали... Гм... Одни цифры отрицали другие. Как это понимать, Сергей Лыков? Кто ты — рано созревший мошенник или чудотворец? Чудотворцы, как известно, давно повывелись на земле, зато мошенники теперь не в диковинку и среди молодых.

Слегов следил со своего бухгалтерского стула. Стул — что пожарная вышка, не рассчитывай обмануть. Поживем — увидим.

Весна после снежной зимы выдалась недружная. Сугробы то прели, то каменели под морозами — казалось, конца не будет таянию. Евлампий Лыков испугался затяжной весны, послал тракторы в первую очередь на пожарские поля, — петраковцы обожгут.

И прогадал. На непросохших полях тракторы застревали, часто ломались, по мокрому и вспашка плоха — грязные мочажины заплывали, подсыхая, запекались коростами, а уж сквозь них, не жди, скоро не проклюнется зерно. Не всегда-то права

пословица «Весенний день год кормит», на нее есть иная: «По-спешишь — людей насмешишь».

Сергей не спешил и выгадал, тракторы дружнее работали на петраковских полях. Ходили слухи, что бригадир незаконно задабривает трактористов, в бухгалтерию, разумеется, обличающих бумаг не поступало. Если так, то парень в своего дядю Евлампия, тот при нужде никогда не упускал случая обойти по кривой закон.

Уже в середине июня заговорили о какой-то дороге, на которой стыкались поля петраковцев и пожарцев:

— А по ту сторону ныне всходы-то того, не нашим чета.

Кто ты, Сергей Лыков, мошенник или чудотворец? Всходы-то мошенников обычно растут не из земли, из воздуха.

Сам Евлампий Никитич из конца в конец прокатил по петраковским полям на своем «газике», подтвердил:

— Ай да Серега! Видать лыковскую породу!

Чудотворец?.. Нет, дудки! Давным-давно ушла вера в чудо-творство.

Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахrome зелени — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливого, спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб вступает в пору юности.

Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и взглядишь — серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер, — по зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе — не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминание старости.

Желтизна, соломенное золото — вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.

Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это созрело рас-

тение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.

Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.

Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.

Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди...

Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивилась своим полям. Изумлялись до страха, до оторопи...

— Гос-поди! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас... Гос-поди!

Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье. Сергей не исключение, от этого счастья-отчаянья он почернел, ссохся, лицо стало глинистым, губы спеклись.

Он ждал разговора с дядей Евлампием, ждал, что тот первый начнет. И не ошибся, тот сам приехал к нему, как всегда, кипуче весел, лицо в парной красноте, загривочек гнет вперед лысеющую со лба голову. Хлопнул с размаху племянника по спине:

— Ну академик! Потолкуем!

Сели толковать.

— Куш большой, Серега, сам вижу, — втолковывал дядя Евлампий. — Но на хрому лошадь не ставь — проиграешь.

— Это петраковцы — хромая лешадь?

— Аль у них уже все ноги выросли? Тебе-то, верно, лучше меня видно — пока хромоваты, одни с урожаем не справятся. А чтоб сотка хлеба под снег ушла — не допущу! Такой оказии с нашим колхозом еще не случалось.

— О чем разговор, — невинно ответил Сергей, — урожай общий, вместе спленим, ровные трудодни получим.

— Хе-хе, твоёй «божьей рати», как пожарцам, одинаковый трудодень? Не рановато ли?

— Иль «божья рать» — люди хуже других?

— Доказательство, что ровня, маловато. Пожарец свой трудодень не одним десятком лет достигал, твои божьи люди хотят годом достичь. Не выйдет, парень. Хозрасчетик я покуда не нарушу. Давай полюбовно: мы поможем, а за помощь возьмем что положено.

— А петраковцам с их же собственного урожая остаточки?

— Разве не хватит? Привыкли как сыр в масле кататься?

— Чудеса в решете, дядя Евлампий. То ты боялся, что петраковцы пристроятся к твоему пирогу, то теперь сам норовишь откусить от горбушки петраковцев. Или равные права петраковцам, или уж хозрасчет до конца!

— Н-ну, н-ну, — произнес Евлампий Никитич с угрозой. — А знаешь, чем для тебя пахнет, ежели хоть один га под снег упустишь?

— Знаю.

— Нет, видно, плохо знаешь. Сам я тобой заниматься не стану, а районным властям сдам — растреплют в пух чижики.

— Идет.

— Н-ну и н-ну...

Евлампий Никитич уехал с убеждением: поклонится, куда ему деваться, хозрасчет хозрасчетом, автономная республика, а самостоятельности — шиш! Даже с МТС договора заключить не имеет права, трактор и комбайн получи из его, лыковских, рук.

Сергей заставил всех баб написать мужьям и сыновьям письма, тем, кто давно отбыл из своей деревни, работал на стороне, — берите отпуска, приезжайте на время уборки, внакладе не останетесь. А эти беглые мужички не все жили в дальних краях, многие работали рядом — на сплавах, на лесопунктах, — наезжали гостевать чуть ли не каждую субботу, обновленные поля видели своими глазами и уж, конечно, задумывались об урожае.

Хлеб поспевает не в один день. На местах повыше и попесчаней — зрел, а в низинах, на мокроте, — с молочком, а то и вовсе зелен, как лук. «Бабы! У каждой из вас не чугуны, а крестьянская башка на плечах! Не ждите бригадирского указа, соображайте, ловите момент, бросайтесь с серпами!..»

У Евлампия Никитича колхозник не мог колдобину на дороге засыпать без приказа, для этого, скажем, лошадь нужна, чтоб песок привезти, а уж тут спросись председателя. В бригаде Сергея, если сам сообразил, сам без подсказки сделал, — похвала, и честь, и награда к законному труду.

Нельзя предугадать, нельзя наперед запланировать ту силу, которая появляется с надеждой. «Неуж жить начнем?» Разумом предугадать нельзя, а учуять можно. «Божья рать» петраковская с начала августа до глубокой осени воевала с хлебами. «Жить начинаем, не дай-то бог, чтоб сорвалось!» Воевали за жизнь, не шуточки.

И вот — чудо в Петраковской! По всему району шум. Еще весной эта деревня считалась одной из самых захудалых, бывший безнадежный «колхоз-миллионер». А урожай-то ныне выше пожарского! Кто мог ждать?

В докладах начальства, в районной газете склонялось имя бригадира Лыкова — нет, нет, не того, не Евлампия, второй Лыков объявился...

Промыленный «газик» мял колесами до звона прокаленную стерню.

Сжатые поля всегда кажутся слишком просторными, даже небо над ними велико и безжизненно. На окраине грустного стерневого моря, под высокими выбеленными небесами копошилась куча баб — подоткнутые подола, открывающие исподние белые юбки, задубеневшие черные ноги, цветные платочки. Они серпами добирали остатки хлеба, уже полегшего, перепутанного, который не возьмет комбайн, в котором увязнут ножи жаток.

Иван Иванович Слегов впервые за много лет решил оторваться от просиженного стула, вблизи всмотреться в странного человека, который высылал ему в сводках пляшущие цифры. Если расставить все отчеты по порядку, получится сумасшедший бег с галопцем, с коленцами, с остановочками. Цифры не купишь, рано или поздно они вскрывают нутро того, кто их посылает. Вскрывают? Не всегда-то, оказывается.

Реденькая россыпь баб, и море стерни за их спинами. Нельзя поверить, что эти бабы освободили столько земли от хлеба. И опять в голову ползут цифры, цифры: столько-то га под яровыми, столько-то рабочих рук. Неподкупные бухгалтерские цифры — и кучка баб против них.

Сергея Слегов увидел поздно вечером. Тот, на ночь глядя, проводил с бабами бригадное собрание. Пришлось терпеливо сидеть, слушать бабий гвалт, пока-то уgomонились, пока-то не разошлись по домам.

Наконец они вдвоем выбрались на крыльцо. Иван Иванович пристроился на ступеньке в обнимочку с костылями.

Ночь стояла безлунная. В воздухе растворены призрачные осенние запахи увядающих на корню трав. Небо накатно-черное, трубы над крышами можно угадать лишь по пустоте — нет в тех местах звезд, а должны бы быть. На накатном небе мутная рваная дорога Млечного Пути видна отчетливо.

Петраковский бригадир, как нахохлившаяся курица на яйцах, — весь внутри, словно забыл, что рядом с ним живая душа.

— Кхм!.. — кашлянул Иван Иванович. — Я к тебе не от колхоза, право, не с ревизией — не сиди, ради бога, клушей. Растревожил ты меня.

— Чем?

— А я и сам толком не знаю. Лихими прыжочками. Я сам когда-то прыгал, да вот спину сломал.

— Зачем тревожиться, Иван Иванович, ты лучше порадуйся вместе с нами.

— Готов радоваться, парень,— почти сурово ответил Иван Иванович,— если докажешь — прочно, не на час твоя удача.

— Пока на год, до нового урожая. За новый кто может поручиться наперед? Но на год-то петраковцы теперь сыты.

— Но ты, верно, хотел бы, чтоб сытость не на год — навсегда.

— Хочу.

— И должно, соображения на этот счет имеешь.

— Имею. Пахать, сеять, урожаем собирать, этот год перепрыгнуть.

— И в силы веришь?

— В чьи?

— Ну в свои хотя бы.

— О моих силах говорить не стоит. Велика ли сила в одном человеке.

— Но без тебя бы Петраковская не взбурлила.

— Я — спусковой крючок в ружье, а ружье-то было заряжено.

— Чем? Какой заряд в бабах?

— Вот как-то в войну, — заговорил негромко, с ленцой Сергей, — недалеко от Волчанска какого-то прохвоста поймали. Полиция, что ли?.. Вешал наших при немцах. Одну женщину привели, чтоб опознала. У нее двух сыновей повесили, один, кажется, совсем мальчонка... Увидела она того и стала рваться... Да-а... Трое солдат держали, раскидала, как щенят. А ребятки — лбы здоровые, и баба-то уж не молода, с сырцой. Вот и ответь: откуда у нее сила взялась? Откуда у петраковских баб сил хватало на себе по снегу навоз на поля вытащить? Теперь оглядываются — сами не верят.

— И на будущий год на этот заряд рассчитываешь?

— Ну нет. Встать на ноги трудно, а раз встали — зашагаем, пожарцев-то нагоним.

— Все в это верят?

— Все.

— Хоть бы открыл, как заставил?

— Я? Нет, я не заставлял. Поля заставили, они вместо бурьяна довольно наглядно хлебом обросли. А разве можно сказать, что эти поля изменил я? Не я на них навоз натаскал, не я их выпестовал.

— Ну да, ты же крючок под скобочкой, заряд в бабах, они стреляли. Крючочка, видишь, им не хватало. А крючочка ли?

— Иван Иванович, право, удивляюсь тебе.

— А ну-кошь?

— До седых волос все героя ищешь. Героя, вождя великого, который один на блюдечке может жирное счастье принести.

— А что, нет таких?

— Один для всех?.. В одиночку?.. Думается, что нет и быть не может.

— А ведь, парень, эта пеоня тоже не свежая — братство да равенство до такого конца, что признавай — у всех под шапкой от бога наложено одинаково.

— Но даже если под шапкой мозги гения, то лучшее, что можно этими мозгами сделать, — указать, где оно, а брать-то все равно придется сообща, компанией. Нет такого героя, чтоб в одиночку от начала до конца счастье довести. Ильи Муромцы только в сказках бывают.

Иван Иванович долго молчал. Тихая ночь глядела звездами на чужую для бухгалтера деревню.

— Указать — где?.. — повторил он. — А у тебя не случилось такого, когда ты сам видишь ясно, пальцем указываешь, а другие слепы?.. Даже на удивление слепы!

Сергей подумал, ответил решительно:

— Нет, не бывало.

— У меня было.

Сергей в темноте пожал плечами:

— Наверно, у меня под шапкой не больше других лежит, слишком далеко не просматриваю, вижу то, что и обычный человек разглядит.

— Счастливый ты, — вздохнул Иван Иванович.

Сергей вдруг засмеялся:

— Вот это, Иван Иванович, я уже от тебя слышал. Помнишь, ты попрекал, когда в академию меня направляли: мол, в рубашке родился.

— М-да... Винюсь, попрекал... А впрочем, чего виниться, я и тогда прав был. Ты — в рубашке, а я, похоже, в тенетах, всю жизнь в них путаюсь до сего дня... Ну, будь здоров. Ничего, ничего, сам подымусь. Ты иди шофера толкни, он в машине спит...

Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз — семья, один за всех — все за одного. Еще не успела опуститься оглобля на спину Ивана, но уже хрустнула пополам вера в колхоз.

Тысячи лет попы втолковывали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тысячу лет, а проку ничуть. Человек так уж создан — больше всего любит себя, никак не соседа. Некрасиво, но что поделаешь — такова жизнь. Природа не барышня, сантиментов не признает.

Иван Слегов служил колхозу, но в душе не верил в него. И увесистые миллионные доходы, которые собственноручно запи-

сывал в бухгалтерские книги, не убеждали. Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то нет и семьи, есть казенная организация.

Вера треснула до того, как опустилась оглобля, но временами находило: а вдруг да... Смолоду пришиблен — болеть до старости.

А что, собственно, показал Серега?.. Волокушу с навозом вывезти вместе с соседом легче, чем в одиночку. Так это и сам давно знал. Но ведь если с соседом легче, то, значит, к соседу и уважение — без тебя, друг, никак! Уважение не от сладенького «возлюби», нужда заставляет.

Евламий Лыков приказывает: делай, не то круто накажу, бойся! Что ж, приходится... Страшновато за себя, никак не за соседа. «Бойся»-то, выходит, вроде глухой стенки — людей разъединяет.

На друга Пийко киваешь, а сам?.. Считаешь доходы, прячешь их под замок в шкафы. Самое главное, самое интересное под замок — какова польза от труда? Зачем тебе знать, верь на слово, покорно слушайся. Ты — скотинка, над тобой — пастух с кнутиком. Разве тоже не строишь стенку, разве не разъединяешь? А после этого неверие: дружной семьей — да быть не может! Противно естеству!

Иван Иванович ворочался грузно на сиденье рядом с шофером, кряхтел.

Всю жизнь был убежден — выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос, где разглядеть высокого. И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет. Все как-то скрашивало костыльное житье-бытье — не признан, да не другим чета. Серега-молокосос открыл знакомое. Он открыл, ты отмахнулся — обидно! Уважение к себе он у тебя из души вырвал. Ох-хо-хо!..

Иван Иванович кряхтел.

Сергей Лыков стал районной знаменитостью, тащили в президиумы, усаживали бок о бок со старшим Лыковым, требовали — выступай, встречали аплодисментами, не дав раскрыть рот.

Чудо в Петраковской... Всем еще нравилось, что чудотворец держится скромно, от своей святости отмахивается:

— Такие чудеса творить нетрудно, когда из богатого колхоза ветер в спину дует...

Его речи не могли обидеть Евлампия Никитича, настораживало другое: районные руководители слишком уж часто, слыш-

ком уж настойчиво повторяли: «Старшему Лыкову выросла достойная смена!»

«Смена... Гм!»

Евламий Лыков не допускал, чтоб районное начальство гладило его против шерсти. Только попробуй, Евламий Никитич сделает кругом марш из кабинета. К себе в село он, скажем, не уезжает, а оседает поблизости — в квартире, которая специально снята в городе, чтоб знатный председатель мог отдохнуть от заседаний. В этой квартире — телефон, уж он-то непременно зазвонит:

— Евламий Никитич, что уж так-то... Зайди, обсудим без горячки. Евламий Никитич, я жду...

И Евламий Никитич по тому же телефону вызывает:

— Машину мне!

Шофер спешно с окраины города — он не с Лыковым квартирует, у своей родни — гонит машину, чтоб Лыков мог проехать триста метров до крыльца райкома. Не пешочком, не щелкопер какой-нибудь — солидный хозяин. Подкатит, выйдет перед райкомовскими окнами, в дорогой шубе, важный, насупленный, подыметса вверх, не снимая высокой шапки ввалится в кабинет, усядется — величавый и оскорбленный, готов выслушать извинения.

Кому-то он не по нутру, кто-то его смены ждет...

И маленькое, никем не замеченное событие, но сам Евламий Никитич его особо отметил. Главный бухгалтер Слегов сорвался со стула, самолично ездил в петраковскую бригаду. Такого никогда не бывало! Ванька Слегов, поседевший советчик, правая рука, спасенный от тюрьмы! Ванька Слегов никогда не ошибается, неужели и он верит, что песенка старого председателя спета?..

Алька Студенкина, секретарша, не смела задерживать у порога лыковского кабинета лучшего в колхозе бригадира:

— Пожалуйста, Сергей Николаич, Евламий Никитич у себя.

И Лыков принимает Сергея.

— Трактор на недельку?.. Гм... Вроде бы все заняты, но... — Размашистым почерком выводит привычную записку: «Удовлетворить по возможности!» — К Чистых стукнись.

В кабинете Чистых нет даже второго стула, Сергей Лыков должен стоя выслушивать, как лыковский зам бросает через губу:

— Не можем.

«Старшему Лыкову выросла достойная смена!» Эт-то мы еще посмотрим. В деле Сереги — пусть не гордится! — львиная доля его, Лыкова-старшего. Что бы тот делал без лыковских тракторов, без лыковских семян, без лыковской мучки? И еще без того, что он, Евламий Лыков, своей фигурой заслонял Серегу от

районных толкачей! Сам признавал: «Из богатого колхоза ветер в спину...» Смена?.. Гм! Посмотрим!

Чистых бросает через губу:

— Не можем.

— Слушай, друг, я эти шуточки знаю. Со мной детское шулерство не пройдет.

— Ну, раз знаете, тогда чего ж вы в мою дверь попали? За этой дверью всегда разговор короткий.

Ждали скандала, и он случился. За двойными дверями лыковского кабинета. Перед дверями сидела только секретарша Алька, человек верный, но ни двери, ни верность Альки не помешали — по селу Пожары стали шепотком передавать: «Неприличные слова говорил младший Лыков старшему: ты, мол, особый сорт паразитов — не ты для народа, народ для тебя! Ты — о господи, как язык повернулся! — жирная вошь на общей макушке!»

Зам Лыкова Чистых вряд ли знал больше других (с ним Евлампий Никитич не откровенничал), но делал вид, что знает, осуждал с обидой:

— Не-ет, разговорчики ведет не наши. Разговорчики-то крайне оскорбительные. Стоило бы углубиться. Евлампий Никитич уж так, но доброте спускает.

Между дядей и племянником кончились встречи. «Автономная республика» Петраковская продолжала жить своей независимой жизнью, готовилась к весеннему севу. Но все чуяли — так просто Сереге не пройдет, добр-то добр Евлампий Никитич, но спускать не любит.

И вот весна, вот сев...

Тут даже Евлампий Никитич не может отказать в тракторах петраковцам. Иван Иванович, как положено, оформляет расчетные документы: за столько-то га мягкой пахоты петраковцы должны перечислить в колхозную кассу столько-то деньгами, столько-то натурой... Казалось бы, все в порядке, тракторы выезжают на поля, пахота начинается. Но, стоп!..

С железнодорожной станции в районные организации поступает сердитое напоминание: «Вами не вывезено пятьсот пятьдесят тонн суперфосфата... Категорически требуем вывезти, в случае промедления...»

Не сумели вывезти эти пятьсот тонн дальние колхозы, пока собирались да почесывались — развезло дороги. А ждать нельзя, за каждые сутки железная дорога бьет рублем. Отдается приказ: вывози кто может! И уж конечно, Евлампий Лыков не прозеваает — зачем упускать лишние удобрения.

Но разливом сорвало мост через реку. Грузовые машины не

ходят, можно вывозить только на тракторных санях в объезд по проселкам. Но трактора-то на пахоте, ни одного свободного...

Евламий Никитич не колеблется: снять трактора с петраковской бригады! Это почему так?.. Да потому, эй, Иван Иванович, оформи документы трактористам на вывозку удобрений!

Без подписи главного бухгалтера ни один трактор не сойдет с борозды — трактористы не станут возить удобрение бесплатно. Стоит только не поставить подпись...

Нельзя сказать, что Сергей уж сильно правился Ивану Ивановичу. Последнее отнял, что скрашивало жизнь, такое помнится, но топить парня, топить вместе с бригадой — Иван Слегов еще не утерял совести. Стоит только не поставить свою подпись...

Но тогда разгневанный друг Евламий скажет: «Слазь со стула!» Наймет более покладистого бухгалтера, и ты с перебитой спиной, с костылями окажешься на улице. А уж другой то бухгалтер не откажет, вместо тебя поставит подпись.

Вспомни, Иван, себя в молодости, вспомни — к святому рвался, а люди отворачивались. Они-то от неведения, ты же ведаешь, чем пахнет твоя подпись. Готов бы, всей душой!.. С костылями на улицу — цена высокая, выше некуда, а пользы от нее ни на ломаный грош.

Иван Иванович подписал бумаги. Единственное утешение — не он один молчаливо предал Сергея.

## АЛЬКА СТУДЕНКИНА И ДРУГИЕ

Иван Иванович сидел забытый и думал. Он не заметил, что суетливый шумок в лыковском доме утих, рассосался. Уже не слышно было торопливых шагов за стенкой, хлопающих дверей, бубнящего в телефон голоса Чистых.

С той минуты, как Евламий Лыков упал на подтаявший снег возле скотного, подпрыгнула сила молодого Лыкова. Все сразу стали оглядываться — кто? Оказывается — пусто. Ни одного подходящего в председатели не оставил после себя знатный Лыков.

Евламий еще уважал старого бухгалтера, Сергей — ой, навряд ли. «Себя хороните...»

Крадущиеся шаги за дверью, дверь скрипнула, вошел Чистых.

Иван Иванович с первого же взгляда понял: надежды не сбылись. Обычно круглое, моложавое лицо лыковского зама опало, вытянулось, на нем проступили рытвины и вмятины, сразу стало видно — человеку перевалило на пятый десяток, отец четверых детей, драчливых, горластых, через отца перенявших уличное прозвище «приблудки».

Чистых вяло опустился на стул, помолчал пришибленно, произнес устало:

— Нет, еще хуже... Совсем плох. Пятна дурные пошли... — Вздыхнул: — И врача на месте нет. Послал, чтоб отыскали, а когда-то разыщут... Э-эх! Никакой ответственности!

Встрепенулся, с мольбой заглянул в глаза бухгалтеру:

— Но ведь говорил! Два слова сказал! Нашел же в себе силы! Наверно, можно как-то спасти!

— А ты знаешь, что он хотел сказать? — глуховато спросил Иван Иванович. — Он хотел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Не раз эту поговорочку от него слышал.

Чистых с ужасом помаргивал увлажнившимися глазами.

— Значит... — начал он шепотом.

— Значит, хошь не хошь, а уважай. Не каждый-то перед смертью шутить может.

— Хороши шуточки.

Замолчали. Молчал и дом.

Иван Иванович взялся было за костыли, хотел решительно подняться, как вдруг по могильно молчащему дому разнеслось надрывно визгливое:

— Сводня! Сучка!! Чего тебе здесь-а?.. Сгинь с глаз долой!

Чистых даже подпрыгнул от неожиданности. Иван Иванович, навалившись на костыли, двинулся к дверям.

Кричала жена умирающего Лыкова, Ольга, — на тощей шее тугими жгутами палившися вены, лицо перекошено, с просинью.

— Потерпела я от твоего бесстыдства, потаскушка проклятая! Теперь-то молчать не буду! Жы-ызнъ мне отравила! Жы-ызнъ!!

Это было столь же странно, как если б в соседней комнате раздался веселый смех Евлампия Лыкова. До сих пор ни одна душа в селе не слыхала, чтоб Ольга когда-либо повысила голос, даже беседовала всегда устало, даже сердитой ее никто никогда не видел.

Чистых кособочил к плечу голову, хлопал ресницами. Иван Иванович застрял в дверях.

— Тебе бы, охальнице, скрозь землю провалиться от срама! А нет — здрасте с улыбочкой... Зен-ки твои бесстыжие!..

У порога стояла секретарша Евлампия Лыкова Алька Студенкина — короткая шубейка распахнута, из шубейки рвутся наружу обтянутые кофтой груди, на мучнисто-бледном лице багровеют густо подведенные губы да стынут кошачьи, с прозеленью, глаза. К ней бесновато тянулась своим костлявым телом Ольга:

— Чего сиськи коровьи выпятила?! Чего ждешь? Чтоб в рожу плюнула?..

Чистых проскользнул мимо бухгалтера и мелко-мелко заплясал казачка:

— Ольга... Ольга Максимовна...

— Нету у тебя заступничка! Был да паром исходит! Нажалуйся-ко! На-ко, нажалуйся теперы! Полизала кошка чужую сметану—хватит!

— Ольга Максимовна! Боже ж мой! Приди в себя, Ольга Максимовна! Срам-то какой! Бож-же ж мой, срам. У смертного одра, так сказать... Алька! Чего торчишь столбом? Марш отсюда!

— Сво-о-одня! Сука-а нечистая!

Посреди комнаты—тощая баба с синевой бешенства на лице. В одних дверях висит на костылях Иван Иванович, собрав на желтом лбу жирные складки. В других—сестра в халате. У порога—целясь грудями из распахнутой шубейки, не молодая, но молодящаяся бабенка, на мучнистом лице—кровоточащая рана губ. Мелко выплясывает растерянный Чистых.

За стеной лежит Евлампий Лыков—не встанет, не наведет порядок грозным окриком. Жизнь, которую он заквасил, продолжается.

\* \* \*

Девки в молодости не баловали Евлампия. И за что? За то, что не крив, не кособок, здоров и чист телом, за синь глаз из-под соломенных ресниц, за веселость характера или за то, что мог и зубы заговаривать, не лез за словом в карман? Это все, конечно, хорошо, да маловато. Нужны и сапоги в гармошку, и штаны «без очей» на зад, изба и лошадь, земелька да инструмент к ней—вот только тогда тебе полная цена, тогда и можно рискнуть... Ведь у девки-то товар один—раз прогадаешь, потом на всю жизнь внакладе.

Евлампий ходил необласканный.

В тридцать один год он получил дом-пятистенок, вполне пригодный для семьи—горницы с полатями, печь с горшками, даже тараканы в щелях откормлены, даже люлька свисает с потолка, даже закопченная икона на божнице—все для того, чтобы выполнить божеское: «Плодитесь и размножайтесь!»

Сваха и сводня, лекарка и ворожея, всему селу кума да свояченица Секлетия Губанова, за большой нос—не за свой!—за большой нос давно умершего отца прозванная Клювишной, взяла на себя хлопоты, набегала в дом Максима Редькина:

— И прослышали мы, сударики, что у вас красный товар водится...

Чего-чего у Редькина Максимки, выпивохи, неудачливого барышника в прошлом, а красного товару хватало—пять девок, бери—не хочу.

Не было в жизни Евлампия Лыкова соловьиных вечеров.

У Ольги их тоже не было.

Первый сын появился довольно скоро — что пустовать готовой люльке. В тот год все кругом еще смиренхонько переживали голод, а у Евлампия Лыкова — приплод в колхозе, приплод и дома... Сына называли Климом. Клим — имя боевое, сам Ворошилов его носит. Имя придумал Евлампий, на этом и кончил отцовские обязанности, ни разу не держал на руках сына — не до того, руки-то заняты, на них колхоз, который прет в гору.

В самом начале войны родился второй сын, а так как тогда у Евлампия уж совсем не хватало времени на отцовство, то назвала его мать как умела — Васькой, на большее выдумки не достало.

В то время Евлампию перевалило за сорок, уже тучнел телом, багровый загар уже гнул вперед крупную голову, выставляя всем напоказ чуть плешивевший упрямый лоб, но по-прежнему был молодо порывист, легок в движениях. Ему за сорок, а Ольге едва исполнилось тридцать, однако уже усыхла телом, увядала лицом.

Девки же в селе не считались с войной — зрели, наливались соком, свое постылое девичество глушили минутным озорством:

Эх, на юбке замок,  
Да под юбкой ларек!  
Приходите, лейтенанты,  
Отovarить паск!

Лейтенанты проезжали в пятнадцати километрах от села Пожары, мимо и торопливо, не задерживаясь на станции, — спешили на фронт.

Гармонист Генка Шорэхов без одной ноги, Иван Слегов без обеих ног и сам Евлампий Никитич Лыков с двумя руками, с двумя ногами, целенький, без изъяна — вот и весь мужской состав села Пожары, если не считать совсем заплесневелых стариков и совсем незрелых юнцов.

Часто на току, когда бабы и девки в куче, Евлампию приходилось туго. Какая-нибудь Алька или Катька, разомлев плечиками, покачивая бедрами, глядя с зовущей дремой сквозь припудренные пылью ресницы, обращалась невинно:

— Евлампий Никитич, где справедливость?

— В чем дело, бабоньки?

— Кому густо, кому пусто — непорядок сплошной.

— Да кто тебя обидел, лапушка?

— Твоя жена, Евлампий Никитич. Ей — цельный мужик, а нам на всех хоть бы кусочек. Иль она краше нас, иль перед державой в больших заслугах?

— Рад бы, девоньки, разделить себя...

И тут вступал хор, глушил его готовую сорваться скоромную остроту:

— Так в чем дело-то?

— Може, жеребьевку кинем?

— Ты, председатель, премнальные установи!

— И то, какая злей на работе — той ночку.

— Все рекорды побьем по труду!

И Евлампий бежал отмахиваясь:

— У-у, сбесились, кобылки!..

А потом не давал покою дремотный зазыв из-под пыльных ресниц, и вид жены выводил из себя:

— И чего бы это, не на казенной пайке живешь, а тоща, как ухват? Не в коня корм, видно.

Не знал соловьиных вечеров.

Ехал как-то в пролетке полем (тогда еще не было персональной машины). Ехал шагом. Плавилась в пыльном золоте утонувшего солнца вздыбленные облака, земля томилась в лиловом, предсумеречном покое. Впереди на дороге — одинокая фигурка в алеющей косыночке. Он ее медленно нагонял, а когда подъехал близко — оглянулась, над плечом полыхнуло от заката лезвие косы. Алька!

Одна из тех, что первыми нападали на Евлампия из бабьей толпы. Алька, невестка старика Матвея Студенкина, — в двадцать один год осталась вдовой.

Не высока, но «рюмчата» — талия узка, а бедра просторны, тяжелы и плечи. Щедрое Алькино тело нельзя было скрыть никаким платьем, оно шевелилось, гуляло, жадно зазывало к себе из-под вылинявшего ситчика.

— Чего одиночкой-то? Садись, подвезу.

Охотно согласилась. Из-под юбки вынырнуло колено, белое, кованное, задела плечом его плечо, чуть-чуть, но обожгло так, что потемнело в глазах. Она чинно оправила юбку, выпрямилась картинно, наглядно означилась весь бабий рельеф.

Шевельнул вожжами, чувствуя сухость во рту, с хрипотой признался:

— Жаром от тебя... Каменка каленая.

— Поди, прозяб с женой-то? Пришел бы — погрела.

— А вот возьму да приду.

— Напужал.

— Только ведь ты со свекром под одной крышей...

— Ну и что?

— Мне перед простым конюхом стеснение чувствовать — навроде унижительно.

— Эк задачка. Да ставь его, козла старого, хоть каждую ночь на дежурство в конюшне.

На другой день Евлампий определил дежурство по конюшне: получалось, старик Студепкин дежурит через ночь. Кажись, свободашка, но темным вечером, когда крался к Алькину дому, робел: не простой ты человек, на виду, при почете, даже от фронта освободили, а тут — разговорчики, репутация засалится, еще моральное разложение пришьют, долго ли... Робел и так задумывался на глухой короткой тропе за огородами, что перед дверью Алькиной избы почувствовал — похоже, и не рад. Но и отступать не солоно хлебавши — не его манера. Постучал...

А она встретила в белой кофточке, под тонким шелком гуляют груди, сдобные руки оголены. Окна занавешены, стол накрыт, на столе бутылка и закуска не очень мудрящая. И кровать у стены — пухлая, как сама хозяйка, без морщинки.

Евлампий смущенно вынул нагретую в кармане поллитровку: — Вот и я принес к столу...

Она усмехнулась свежими губами:

— Зачем?.. Ныне такое время — бабы угощение ставят со спасибо большим.

Альку Студепкину определил своей секретаршей, чтоб была под рукой. Спасибо Альке, она не только подарила то, что как-то заменило соловьиные вечера, но и открыла глаза на самого себя... К себе аршин приставлял, каким всех меряют. Забывал: где другие вплавь барахтаются — тебе по колено. Уж ежели тебя от фронта освобождают, то грешок-то как-нибудь простят.

Спасибо Альке — стал еще тверже стоять на ногах!

Альке спасибо, а уж сама-то Алька должна вдсятеро его благодарить: не постыжничает, как все бабы, чистая работа с карандашиком, и будь осторожен — силой стала. Даже потом, намного позднее, когда ее силы поубыло, все равно с ней считались — сам заместитель Лыкова Чистых к Восьмому марта с улыбочкой духи подносил.

Жена в самом начале пыталась даже попрекнуть:

— Срамотник ты...

Но Евлампий с ходу обрезал:

— Ты давно в зеркало гляделась?.. Нет?.. Так погляди!

И раньше-то в семье он гость не гость — жилец, не более: весь день-деньской на стороне, только ночь под крышей, теперь и этого нет. Жена покорилась. Старший сын Клишко — ни в мать, ни в отца — золотушного здоровья и обидчивого характера, смотрел волчонком. Ребятишки, его сверстники, не стеснялись, доводили до того, что исходил бешеной слюной, бросался в драку, а так как был слабенец, то били. Евлампий на это

внимания не обращал, — еще тут тратиться, когда на важные дела тебя не хватает.

Бабы и девки люто завидовали Альке, ждали — не на век же она Евлампия обратала. Евлампий-то — конь норовистый, рано или поздно узду порвет, а уж тогда: «Поласкали кобылу — хвата, теперь кнута попробуй». Не будет житья Альке.

Алька сама пошла навстречу беде, чтоб та не застала ее врасплох.

Евлампий стал косить глазом на Соньку Понюшину. Алька — к ней. Серьги Соньке подарила, чулки, кофточку и кучу похвал: мол, молода, кровь с молоком, где мне... Сонька-то — не овечка-ярочка, тоже телеса распирают, без парней бесится. А возле Альки — грех заветный живет. Сонька без Альки — как без рук. И Евлампий Никитич — тоже. Нужный человек Алька.

Алька как сидела, так осталась сидеть у дверей лыковского кабинета: «Евлампий Никитич сею минуту занят, повремените чуток». Уж коль все счастье не удержишь, то хоть часть приберечь.

Бабам и девкам оставалось одно — еще пуще поносить Альку. На здоровье. Алька незлобива, обид не вымещала.

Евлампий Никитич — конь норовистый. Что там у них случилось с Сонькой, Алька не интересовалась: ссоры да разлуки не ее дело. А вот помочь — пожалуйста. Настя Кучерова льнет к Альке. Неспроста...

Как-то Евлампий Никитич шагал со скотного двора домой. Стоял теплый августовский вечер, круглая луна держалась сбоку, перешагивала с крыши на крышу. Где-то в глубине села у клуба — не всерьез, понарошку — тосковала гармонь: «Летят перелетные птицы...»

Нет, вечер не соловьиный, со смутным запашком осени. Но вот в такие-то вечера человеку на возрасте приятно оглянуться назад. Был Пийко Лыков, полубатрак, полурабочий, резал бревна на тес, ходил в залатанных штанах, а нынче войди в любой дом — охи, ахи, суета, звон посуды: «Эй, баба! Что есть в печи, на стол мечи! Гость особый!» Каждый здесь счастлив тем, что живет в одно время, под одной луной с Евлампием Никитичем Лыковым.

Соловьиных вечеров он так и не узнал, но разве они могут сравниться с минутами, когда до ноздрей захлебываешься полнотой жизни? Чего не хватает? Пусть любой попробует отгадать. Не сумеет. Все есть у Евлампия Лыкова, все, о чем только может мечтать человек.

Евлампий Никитич шагал и отдыхал. Навстречу двигалась рослая фигура. Кто бы он ни был, обязательно первым отобьет

поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич!» Кто бы ты ни был — согни голову.

Луна выпуталась из верхушки березы, осветила улицу и человека посреди нее: бескозырка, узенький бушлатик, плескают широкие штанины над пыльной дорогой. Приезжий, из отпусковников... И вдруг Евлампий Никитич признал — Мишка Чередник, приемный сын бригадира строителей Михайлы Чередника, того самого, что когда-то в голодный год, опухший от водянки, приполз под крыльцо конторы. Парень у Чередника вымахал на удивление, косая сажень в плечах, и в фигуре сейчас что-то настораживающее, никак не «доброго здоровья». А кругом ни души, а путь-то перекрывает...

Евлампий Никитич помнил, что еще месяц назад он прислонялся к Гальке Чащиной. Мишка до призыва с ней погуливал, писал письма. Раз приехал — обстановочку, видать, выяснил.

Плечи у него широкие, кругом пусто...

И не стал дожидаться, когда Мишка-матросик отобьет узаконенный поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич», круто свернул, поднялся на первое крыльцо, постучал.

Оказывается, верно сделал, что свернул. Мишка-матросик, рассказывают, перед отъездом жалел: «Не пришлось вырвать клок с мясом, а надо бы».

Он же — Евлампий Лыков! Кой-кто это запомнил. Ему ли с опаской ходить по своей земле, ему ли нырять в подворотни, оглядываться по сторонам?..

На крытом току произошла драка. Схватились за грудки Леха Шаблов, механик с молотилки, и шофер с грузовой машины Гришка Фролов. Они вечно сцеплялись, и всегда на людях, не из-за старых обид, не девку делили — никак не могли решить: кто сильнее?

Леха — рожа что пшеничный каравай, во всем громаден, плечи покаты и объемисты, кулак — шапку надеть впору. Гришка на полголовы ниже, подбористее, плечи прямые, с размахом, грудь круто сужается к сухим бедрам, руки длинные, кулаки вроде небольшие, но каждый — камешком. Как-то парни стоворились и впятером налетели на Гришку, все пятеро — лбы здоровые. Трое легли, двое сбежали.

Вдвоем с глазу на глаз Леха и Гришка могли беседовать, как все добрые люди, без гонору. Но лишь встреча при народе — любое слово затравка.

— Поди, Леха-то полегче тебя мешок на спину кидает.

— С мешком, верно, сноровист.

— Словно я на себе твою сноровку видел когда.

— Иль за ремешки подержаться хочешь?

— Ужли боюсь?..

Слово за слово, брались за ремешки, начиналось слоное топанье, пыхтение, спор:

— Ты чего на коленку берешь?

— Возьми и ты.

— Возьму — окосеешь.

— Ух!

— Опять коленкой! Сверну шапку назад.

— М-мотри, шустрый.

— Опять... Да я тебя, гниду!..

— Ах, гнида!

Трещит Лехина скула, голова рвется с шеи.

— Н-ну-у!..

От Лехиного разворота с плеча Гришка Фролов пятится задом, давит визжащих баб:

— Ой, маменьки!

У Гришки руки длинные, достает кулаком — раз, раз, еще, еще! Мотается Лехина голова, но не собьешь — тяжел, прет прямо на кулаки, пытается нащупать Гришкин загривок, мнет его так, что и у быка шкура бы лопнула. Гришка вырывается. Раз! Раз!..

Валится кладка снопов, падает труба с грохотом, визжат бабы.

— Сторонись, кому жизнь дорога!

— Эй-эй, не суйся! Заденут лешие — не очнешься!

Какая уж тут работа. И жуть берет, и весело.

Во время такой потехи появился Евлампий Никитич, никто его не заметил — увлеклись. Евлампий постоял, посмотрел и не сразу-то окликнул:

— Эй, жеребцы породистые!

Опустили руки, отшатнулись, как два барана, уставились в землю. У Лехи под глазом набирал силу синяк.

— Озверели! Аннки-воины! Встаньте-ка честь честью. Да не ко мне, не ко мне — друг к дружке... Быстро! Быстро!.. Теперь — руки, ну! Чтоб мир... Ну, кому говорят?

И Леха первый протянул лапищу:

— Мир, что ли?..

Но Гришка, изрядно помятый, еще не остывший, сверкнул на Леху горячим глазом, отвернулся.

Евлампий Лыков с ухмылкой заметил:

— Ишь, с характером. Не кисель, как Леха. Потому он тебе, парень, и не поддается, хотя, поди, силенкой-то уступает.

Леха держал на весу руку и пунцовел от стыда.

Евлампий Никитич прикрикнул на Гришку:

— Кому сказано? Быс-тра!

Но Гришка сердито повернулся, пошел прочь, покачивая угловатыми, просторными плечищами.

Председатель проследил за ним с прищурочкой, напомнил:  
— Ой, Гришка, передо мной занозистость показывать опасно. Я не Леха, вязы скручу быстренько.

А Лехе кивнул:

— Зайдешь ко мне сегодня вечером в кабинет.

На той же неделе Леха Шаблов был с почетом уволен из механиков при молотилке, срочно отправлен на курсы шоферов, а через несколько месяцев стал личным шофером Евлампия Никитича.

Лыков давно забросил пролетку, дома в гараже у него стояла новенькая «Победа», своя, личная, купленная на сбережения. На ней делались выезды только в торжественных случаях — в район, на широкие совещания. По полям Евлампий Никитич раскатывал на колхозном «газике», сам за рулем. Шофер Леха Шаблов сидел, как праздничный сноп, на хозяйском месте: не он возил председателя — председатель его.

Лехе платили выше других шоферов, своей машиной он обычно не занимался, рук мотором не пачкал, ремонт и профилактику делали за него «братья-водители», тот же Гришка Фролов. У Лехи одна забота — подать машину, отогнать машину, чтоб в любое время дня и ночи: «Эй, Леха!» — «Я тут, Евлампий Никитич!»

По селу гадали: почему председатель не взял к себе Гришку, тот уже был шофером, ему и курсы бы проходить не надо? И одно объяснение: «На норовистой лошадке трудней ездить. Помните, Гришка-то руку пожать не захотел, спиной к хозяину повернулся...»

Клим, старший из сыновей Лыкова, напился пьян.

Парню тогда стукнуло восемнадцать. В школе он никак не мог перелезть за седьмой класс, отец устроил его на курсы трактористов: «Сам не прыгает, так за уши высоко не подымай». Но и тракторист из него получился ненадежный, машину на полную ответственность ему не доверили, «припрягали» к опытным парням. Те жаловались: «Какой, к лешему, помощник, на плуг посадить боязно — заснет да свалится». Кой-кто из старших объяснял даже на кулаках: «Иди жалуйся. Кто видел?» Клим жаловаться не жаловался, а примерней не становился.

Он напился пьян, шагал по селу — жердисто длинный, мутноглазый, прыщеватый, — размахивал руками, заносило от плетня к плетню, орал во все горло:

— Вы все — так-перетак! — пятки моему бате лижете! Вы все на лапках перед ним! А я пливал! Не боюсь! Он с бл..... водится! Кобелина колхозный, общий! Я от него с детства в

стыде! Пли-ивал! А я пить буду, позорить буду, потому совестью мучусь. Из-за него! Из-за кобеля!..

Всем было совестно, все качали головами, осуждали, но никто не хотел остановить, слушали, и, поди, не без тайного интереса.

И тут вдруг завизжали тормоза председательского «газика». Евлампий Никитич, как всегда, сидел за рулем, он не тронулся с места. Выскочил Леха Шаблов, не спеша снял с себя ремень, согнул парня, как лозинку, зажал ему голову коленями, сорвал при народе штаны и, нахлестывая ремнем по тощей заднице, приговаривал громко:

— Не позорь отца! Не позорь! Не тебе судить! Не тебе, щенок! Отец твой — великий человек! Не позорь!

А великий человек, Евлампий Никитич, сидел в машине, пасмурно поглядывал из кабинки, терпеливо помалкивал. Ясно — Леха учит не от своего ума.

Поучил всенародно, сгреб в охапку, засунул в машину. Машина тронулась к председательскому дому.

Той весной, когда дядя Евлампий снял трактора с петраковских полей, Сергей в отчаянии метался по городу Вохрову из кабинета в кабинет, пытался доказать: «Знатный председатель разбойничает! Спасайте бригаду!» Районное начальство выслушивало сочувственно, обещало уклончиво: «Выясним». И наверное, пытались выяснить. После того как Сергей закрывал дверь, наверное, снимали телефонную трубку, звонили Евлампиию Никитичу, журили по-отечески. Но Евлампий Лыков есть Евлампий Лыков — не тот масштаб, чтоб на него можно было без опаски давить.

И Сергей ходил по непросохшему, зеленеющему весеннему райцентру, носил в себе недоуменную ненависть к дяде.

Был же человеком. Был! Помнит, как дядя частенько набегал к ним в дом: «Богатей-родственнички, одолжите картошки, у меня хоть шаром покати!» Он уже тогда работал председателем, хранил в амбарах колхозный хлеб, сам сидел на картошке, которую давал отец Сергея, «богателей-родственничек», еле-еле сводивший концы с концами.

Отец Сергея, братья Сергея гордились им. Всю жизнь гордился дядей и Сергей.

Был человеком! Когда же перестал им быть?

А от нагретой земли жидким стеклом изливался вверх воздух, и лужи на топких задворках вскипали от лягушечьих перебранок, и над просохшими крышами тихого городишки — звон птичьих голосов, и черными сполохами мелькали в глазах скворцы, и даже поезда со станции кричали бодрыми тенорами.

Прекрасна бы жизнь, если б люди сами не портили ее друг другу.

В такой-то день он, оглушенный весной и своей недоуменной ненавистью к дяде, и встретил ее. На площади возле чайной, откуда обычно начинали свой трудный путь по непролазным весенним дорогам все грузовые машины и где кончали его. Площадь перед чайной — место отдохновения всех шоферов Вохровского района, их кратковременная нирвана.

— Сергей Николаич! — Знакомый голос вывел из забытья.

— Ксюша! Ты!

Он года полтора не видел ее — позапрошлой осенью помогала ему, только что ставшему бригадиром петраковцев, отбирать семена. Полтора года, но каких! Пережиты лепешки из травы, эпопея с вывозкой навоза, пережита шумная слава по всему району. А уж то время, когда за ним по пятам ходила девочка в растоптанных сапогах, с мальчишескими исцарапанными коленками, кажется совсем далеким.

Сапоги, исцарапанные коленки... У тугих туфельек на земле — маленький чемоданчик с никелированными замками, пальто перекинута через руку, вдумчиво уложенные на голове косы открывают просторный чистый лоб, лицо лишь отдаленно напоминает прежнее, скуластенькое, широкое, свежее сейчас, тянущее к себе, как открытая книга. И вся она занимает больше места над землей, больше настолько, что уже никак нельзя не заметить, мимо не пройдешь, оглянешься вслед. Он глядел и чувствовал, как вызревшая тяжесть заполняет ее от щиколоток над тугими туфельками до белой шеи, до мочек ушей. Эта напористая тяжесть, рвущаяся сквозь легкое платье, немного стесняет ее самоё — движения чуточку связанные, и щеки опалены румянцем, и ускользящий взгляд, и глаза отливают призывной весенней зеленью. В ее глаза так же трудно смотреть, как на искрящиеся апрельские лужи, — хочется зажмуриться...

Ксюша Щеглова перед ним, в шуме голосов, в птичьем звоне, в ярком солнце. Дядя Евлампий, тракторы, непаханные поля, сев, срыв, объяснения, жалобы, сор житейский — все трын-трава, все так ли уж важно! Бьющее в глаза солнце, медный отлив Ксюшинных волос, птичьи голоса лавиной, глаза, в которые больно и страшно смотреть. Не пропусти! В стручок ссохся в Петраковской, от земли глаз не отрывал, забыл, что помимо Петраковской мир велик во все стороны.

Когда-то девочка — нос шелушится, колени поцарапаны, две косы по тощей спине... Не знал, что человек может так вспыхивать. Зажмурься!

И был случайный, неловкий разговор.

— Да, уезжаю... Нет, ненадолго... Узнать о поступлении в институт. На заочное хочу в этом году... На очное? Нет, мама

болеет, и работу тогда бросай, а не хотелось бы... Вы меня к этой работе приворожили. Совсем забыли, не заглядываете... А мне как вас забыть, когда вашим делом живу. Каждый день вспоминаю... Ой, ой! Еще на поезд опоздаю!..

Все трын-трава! Но только на минуту, только на то время, пока видел Ксюшу.

Петраковская бригада завалила сев — дядя виноват? Нет, бригадир. Снять...

Совсем не сняли — хуже, отодвинули в сторону. Если б сняли совсем, то Сергей Лыков, бывший студент Тимирязевской академии, носивший в кармане паспорт со следами московской прописки, мог, махнув рукой, отбыть на сторону: «Прощай, Евлампий Никитич, дорогой дядюшка, не тужи обо мне!» В районе его с охотой бы посадили председателем какого-нибудь отстающего колхоза — вдруг да снова сотворит чудо. Снять совсем Евлампий Никитич не снял. Для петраковской бригады была выкроена новая должность — помощник бригадира. Не учетчик, как бывает, а что-то вроде маленького зама, меньших замов, наверно, уже не встретишь по стране. Заместитель бригадира Сергей Лыков — смех и грех.

В Петраковской появился новый бригадир — Терентий Шаблов, дальний родственник Лехи-шофера. И не Леха помог подняться ему. Терентий задолго до Лехи выбился в люди, прочно числился в лыковской номенклатуре.

Полный, с коротко стриженной седеющей головой, бабьим мягким лицом, он смахивал на сивого от возраста, безобидного увальня хомячка. Никто не слышал, чтоб на собраниях, просто ли в беседах он подбросил толковый совет. Никогда он не был напорист, не умел даже красно выступать, что обычно и помогает выдвигаться. Человек тишайший и добродушнейший, он не перечил даже жене, был честен, как-то безнадежно честен, никому в голову не могло прийти, что Терентий Шаблов способен чем-либо покорыствоваться. Евлампий Лыков таких похваливал: «Полезные люди, вроде электропробки. Ставь их на всякий случай, чтоб казнии не вышло».

Терентия ставили руководить механизированным током, когда этот ток был уже полностью налажен, не нужно ничего пере-страивать и доводить. Его бросали следить за закладкой силоса, когда не предвиделось спешки. Он наблюдал за доставкой строительных материалов, когда дороги были в хорошем состоянии, а транспорт в достатке, тут уж каждый гвоздь попадал на склад.

У Терентия Шаблова не широкий, но крепко усвоенный опыт: следил в оба глаза и при первом намеке на оказию — сигнал.

А уж ежели оказии не миновать, то с примерной стойкостью сноси «кудрявую стружку», не оправдываясь, признавай: «Вино-ват. Исправимся».

Новый бригадир и вообще-то за всю свою посильно руководящую жизнь так и не научился разговаривать на начальственных басах, а уж к Сергею был просто почитителем.

Выпить он, однако, любил не меньше других, а потому охотно составлял компанию Сергею, тут он совсем размякал, убеждал со слезой:

— Я тебе, голубь, не помеха, а выручка. Меня все одно рано или поздно в другое место перебросят. Ты здесь останешься. Я ведь что, я везде человек временный. Так что давай-ко — тянем-потянем да вытянем бригаду.

— Не вытянем.

— Что так, дружок?

— Тянулку мой дядя отрезал.

— Это какую-такую?

— Надежда называется. Она здесь прежде у каждого человека была. Нынче нам, брат, зацепиться не за что.

На лицах петраковских баб снова застыло знакомое выражение: «А, чихать на все». К этому «чихать» примешивалась еще жалость, не к себе, к бывшему бригадиру: «Эх, родимый, видать, стенку-то лбом не прошибешь». Но дешева бабья жалость, не лечит.

Сергей словно проснулся, с ужасом увидел — живет в чужой деревне, в чужой избе, у чужой старухи под портретом Веньки Ярцева, который никогда не был его другом. Он не может вернуться в село Пожары, в отцовский дом, там братья, дядины друзья, все село под Евлампием Никитичем. И от Москвы, от Тимирязевки, уже оторвался, там кто-то другой учится вместо него, а Светлана, наверно, защитила диссертацию, наверно, вышла замуж. Не может вернуться и в армию. Обложен со всех сторон, как волк, вокруг ни родни, ни друзей — пустыня, только обидная бабья жалость, только Терентий Шаблов, лезущий в друзья. «Я везде человек временный», а уж друг-то и вовсе минутный, только на то время, пока не кончится поллитровка на столе.

И это открылось вдруг, без перехода, как внезапная слепота.

Жил под портретом Веньки Ярцева. И бывший враг теперь был ему всех ближе. Он хоть связан с детством, хоть заставляет чувствовать: у тебя есть прошлое. Есть прошлое, будущего никакого.

И тут-то — Ксюша Щеглова. Если б он был в прежней силе, в прежнем почете, с прежней верой в себя, то, наверно, все

равно бы не прошел мимо, все равно стояла бы перед глазами — от щиколоток до плеч, налитая вызревшей весенней тяжестью, чистый лоб, глаза в зелень, лицо широкое, открытое, зовущее. Не только же для петраковских баб жить! — пошел бы к ней, быть может, еще скорей, чем сейчас, потому что верил: не откажется, не скажет «нет».

Сейчас весь свет клином сошелся — единственная, даже жутко от мысли, что отвернется.

Он узнал — Ксюша вернулась из города. Утром снял бритвой трехдневную щетину, надел чистую сорочку, постеснялся влезть в свой праздничный «московский» костюм. Может подумать — ишь, женихаться пришел со всем старанием, того гляди, в цене упадешь. Костюм не надел, а сапоги начистил — глядеться можно, старую бригадирскую кепку-блин заменил новенькой фуражкой. Оглядел себя в тусклое настенное зеркальце, в которое, назерное, смотрелась бабка Груня, когда была лесватанной девкой: брови белые, ресницы рыжие, глаза глубоко всажены под лоб, сам лоб шишковат. Фу ты черт, как на дядю Евлампия похож! Гнусная, однако, рожа, но что-то, а это и рад бы, да не сменишь.

Опытный участок, бывшая столярка. Салатная окраска по обшивке потемнела, вывеска выцвела, в палисадничке под низенькими оконцами бесхитростные цветочки и кустики смородины. Дом с низеньким крылечком и облупившимися белыми наличниками обрел обжитую уютность. И Сергей неожиданно почувствовал, что этот приземистый домишко, который он не любил прежде, держал его под замком, сейчас родственно дорог ему. И нет, не только потому, что там Ксюша. А потому, что он чувствует: мог бы связать жизнь с этим домом. Искал бы сортовые семена, испытывал их, втайне, наверно, мечтал о невозможном, о чудесной пшенице с колосом, как кистень... Ну а в Петраковской, разве там нельзя жить? Выгонял бы урожай, завалил бы всех хлебом, отстроился бы, всю рухлядь снес, вместо старых изб поставил бы коттеджи, с водопроводом, с ванными, с электричеством! Тут ли, в Петраковской ли, где бы ни было, лишь бы под ногами — земля, а она-то всюду будет! Дядя Евлампий родные места сделал чужбиной, так почему чужбину не сделать родиной?..

Эту-то мысль он и нес сейчас Ксюше.

Внутри все как было: письменный стол с казенным пластмассовым прибором, диванчик для посетителей. Наверно, он, Сергей, и оказался первым посетителем, почтившим служебный диванчик. Ксюша рядышком, стеснительно на краю, сложила горсткой руки на коленях, опустила плечи, нагнула голову, уви-

тую косами. Лицо ее Сергею плохо видно, зато видна крепкая шея с тупой косточкой у самого ворота легкого платья. На ли- той шее под прорвавшимся в оконце солнцем — пламя выбив- шихся из прически волос, и маленькое розовое ухо напряженно слушает.

— Ксюша, будем жить как люди. А так как скорей всего попадем туда, где люди пока не красно живут, то не обещаю — будешь ли ты поначалу ходить в шелках. Потом — может быть, потом, когда мы... мы с тобой людей в шелка оденем. Я школу в Петраховской прошел, знаю, с чего начинать. В Тимирязевке мне этого сказать не могли, не знали. Знаю! Но здесь больше дядюшки Евлампия знать не положено. Что сверх, то душит. Мне надо отсюда отчаливать немедленно. Без тебя не могу. Это я совсем недавно понял. Ксюша, согласна со мной подняться?..

Ксюшино ухо розовело от напряжения, ждало — не скажет ли Сергей еще что. Сергей клонился вперед, старался заглянуть в ее лицо, опущенное к коленям:

— Ну, Ксюша?..

Она прерывисто вздохнула и разогнулась. Ее лицо пылало сухим румянцем.

— Сергей Николаич, что мне скрывать. С первого году, ко- гда еще мы по полям лазали, только и мыслей... Все годы — он, только он в голове. А он-то и бровью не ведет. Что ему девчон- ка сопливая... И знаю, письма писал к той, к московской... Нет- нет, не в упрек сейчас. Спасибо, что наконец-то заметили. А правду сказать, не надеялась. Шальные мысли бродили — не бухнуть ли замуж, все равно не дождусь.

— Ксюша... — благодарно дрогнувшим голосом сказал он. — И вспоминать незачем, теперь все...

— Нет, не все, Сергей Николаич.

— Да не величай ты меня, право!

— Не все, Сережа. Ты ехать меня зовешь...

— Здесь нет мне жизни и тебе не будет, если со мной свя- жешься.

— Ехать?.. Ты вот говорил, что один как перст. Про себя я так не скажу. У меня мать... Мать-то прихварывает. Если я ее брошу, одна надорвется... Скажешь, возьмем? Из своего дома, из своего села, из богатого колхоза в чужие люди и наверняка на бесхлебье. Хорошо ли ты первое время кормил себя одного в Петраховской? Один-то что, а если всех — надорвешься, где уж мечтать — в шелка...

— Ксюша, остаться не могу: дядя теперь ложка по ложке меня съест.

— И еще послушай, — с пылающим лицом продолжала Ксю- ша, — мне, как бабе, на стороне-то трудней придется, буду я мотаться между печью и колхозным полем. И ради тебя готова,

Сережа, но только жалко крест ставить на том, что вымечтала. А мечтаю не о малом — институт кончить...

— Вместе будем учиться.

— Там? С семьей? Нет, Сережа, ты это так... Под угаром ты сейчас, угар-то там скоро пройдет. Мы с тобой только здесь сможем учиться. Только здесь. Опытный участок, работа свободная, сама работа возле науки лежит. Вспомни, много ли ты учился, когда бригадиром петраковцев стал? Хоть одну книгу успел открыть? А на стороне, кем ты будешь? Тем же бригадиром или еще того занятее — председателем. В плохом колхозе, Сережа, в плохом, в хороший да налаженный тебя не пошлют, да ты в налаженном-то и не уживешься, тебе самому хочется налаживать. Какая учеба... Где уж.

— Но как быть нам, Ксюша?

— А вот как! — живо откликнулась Ксюша, верно, давно ждала этот вопрос. — Не уезжать! Забыть Петраковскую, вернуться сюда, вот под эту крышу.

— На опытный участок?

— Да, на опытный. И напрасно ты связался с петраковцами.

— Напрасно не напрасно — спорить не станем, у меня на этот счет свои взгляды. Сюда вернуться, а дядю Евлампия куда мы денем?..

— Тебе надо перед дядей повиниться.

— Что-о?

— А разве так уж обидно? Он все же старший. А уж ежели ты, Сережа, с повинной к нему придешь, то Евлампий Никитич только доволен будет.

— Еще бы.

— Он с легкой душой тебя простит, с охотой на прежнее место поставит, рядом со мной. Жить вместе, работать вместе, может, учиться вместе будем. Сереженька, да это ль не счастье! А на сторону... Да просто невозможно никак. Никуда мать моя не тронется. А я свою мать не брошу.

— За что мне виниться перед Евлампием? — спросил Сергей. — За что, интересно?

— За то, чтоб быть вместе. Не мало.

— Я перед ним или он передо мной виноват?

— Пусть он, но все-таки старший...

— Если б только передо мной, он же виноват перед петраковскими детишками, которых опять без молока оставил! Мне и свою обиду простить ему трудно, но последним подленью буду, если обиженных детишек прощу! Нет, Ксюша, не могу!

— Понимаю, Сережа. Но что толку в моей понятливости. Уехать-то не могу.

— Что ты просишь от меня, одумайся!

— Не больше твоего прошу, Сережа. Сам-то от меня просишь, оглянись: мать старую брось без призора, без помощи! Могу ли? Нет!

Сергей возвратился в Петраковскую. Нужен? Да нет, не настолько, чтоб без него не могла жить. И в Петраковской он теперь тоже не нужен, кроме, быть может, старой Груни. Той после одинокой жизни как не дорожить, что живая душа рядом, за сына считает. Забытая людьми старуха и ненужный людям Сергей Лыков — два сапога пара.

А есть еще минутный друг Терентий Шаблов, минутный и единственный, всегда готовый распить бутылочку. Он очень покладист, во всем поддакивает, молчит с неловкостью лишь тогда, когда Сергей ругает Евлампия Никитича.

Чаще и чаще появлялась на столе водка.

Трезвый понимал: с ее «не могу» нельзя не считаться, какое он имеет право требовать — брось мать! Да и сам задумайся, на какую жизнь зовешь ее? Мечтает об институте, а если она вместе с тобой нырнет в новую Петраковскую — какой институт? Она права.

Трезвый понимал — выхода нет, а потому пил. Выпив же, начинал верить в невозможное и тогда нетвердыми шагами шел четыре километра от Петраковской до села Пожары. И бубнил безнадежный вопрос: «Что делать, Ксюша?» И бунтовал, когда Ксюша повторяла: иди к Евлампии Никитичу с повинной.

В первое время она его мягко совестила:

— Ты сам себя топишь, не Евлампий Никитич. На водку бросился, последнее дело.

В первое время она провожала его за село, до дороги, ведущей к Петраковской.

Провожала, а хотелось, чтоб оставила у себя.

— Таким мне тебя близко не надо.

Проводы подвыпившего ухажера через все село для девки, свято берегущей честь, — пытка. Глаза встречных баб ощупывают, ухмылочки на лицах не скрываются, а уж что за спиной отпускают — лучше не думать.

Ксюша заявила:

— Сережа, не ходи. Не хочу!

Трезвым он давал себе слово не ходить.

Терентий Шаблов всегда под рукой. Терентий Шаблов без задней мысли, от души, как мог, жалел Сергея, совестился тем, что поставлен над ним, замаливал вину, а замолить мог одним — задушевно вынуть из кармана бутылочку:

— Пей!

И после этого нетвердые ноги снова несли Сергея в Пожары.

Ксюша стала прятаться от него.

Однажды утром к Сергею пришла неожиданная гостья. Представить нельзя, зачем ее принесло, — секретарша Евлампия Алька Студенкина.

Бабка Груня сердито двинула ухватами, делала вид, что не замечает гостью, — такая только к беде прилетит.

У Альки лицо белое, пухлое, пшеничная складочка под подбородком, губы сально покрашены и брови выбриты в ниточку.

— Бабушка, — сказала Алька, — выйди на минутку, мне с Сергей Николаевичем поговорить надо.

— Это как так выйди? Я здесь хозяйка, тебе могу указать на порог.

— Выйди, Груня, — попросил Сергей.

Старуха с ворчанием забрала ведро.

— Ну?

— Извиненья просим, что рано. Но поздней надежды нет — застану ли трезвым.

— Ежели пришла, чтобы глаза колоть, то вмиг пробкой вылетишь.

— Зачем колоть, просто ты мне трезвый нужен, чтоб выслушал.

— О чем? Выкладывай.

— О Ксюше.

— Не хватай ее. Испачкаешь!

— Ну, только не я. Для этого другие найдутся.

— Ангел-хранитель.

— Ксюшка мне родня, потому и хотелось бы охранить.

— От меня, конечно?

— Да нет, не от тебя... — Крашенные губы поджались, нитчатые брови сошлись на переносице.

Где-то глубоко-глубоко шевельнулось у Сергея подозрение.

— Ну!..

— Иль не ясно — от кого? Прислоняется... До других мне дела нет. На других я, может, сама наводила. С ней — не хочу!

Сухо стало во рту, осип сразу голос:

— Сволочи вы! Гнездо сволочей!

— Руганью делу не поможешь.

— Убить мне его, что ли?

— Еще не легче. С тебя, дурака, станется. Паспорт-то в кармане! Действуй, кисель. Махни в соседний район, где о тебе тоже наслышаны. Дадут место не шаткое, заманивай оттуда Ксюшку. Побежит, знаю ее. Мать пусть здесь останется, как смогу, я помогу ей поначалу. И шевелись — поздно будет.

Алька поднялась, одернула юбку, глянула свысока, бросила на прощание:

— Поди, сам догадываешься — каркать о том, что я была здесь, не стоит. Евлампию Никитичу съесть меня — что куре просинку.

Он в детстве часто лежал на этом месте. Пологий пригорок раньше всех протаявал от снега, раньше всех просыхал, тут всегда было можно всласть погреться на весеннем солнышке. Тут кусты шиповника цвели бледными, словно вымоченными, розами. Кусты такие, как прежде, как прежде, они, наверно, цветут по весне. Теперь цвет давно опал.

Сергей лежал и глядел на дорогу, вспоминал детство, далекое и неправдоподобно счастливое время, когда на свете жили иные люди, даже дядя Евлампий был иным. И тогда еще на свете не было Ксюши...

Сергей лежал, не спускал глаз с дороги, ждал... Он уже долго здесь, с самого полудня, а солнце сейчас клонится к лесу.

Наконец по дороге пропылил председательский «газик».

Сергей вскочил.

Домик с вывеской, с пожухшими стенами. Старая береза над шиферной крышей. За низеньким штaketником цветочки. Закрыв крылечко, стоит «газик». Он там! Алька не соврала.

С земли навстречу поднялся Леха Шаблов, вытянул толстую шею, приглядывается свысока, разминает плечи.

— Куд-ды?

Крепкие, заскорузлые, тронутые пылью тяжелые сапоги, широкое, как перина, тело, рожа розовая, сонная, белесые поросычки ресницы прикрывают глаза, руки покойно свисают, мослы перевиты набухшими венами.

— Пусти!

— Проваливай. — Сквозь зубы, взгляд величавый и дремлющий из-под щетинистых ресниц.

— С дороги, сволочь! — плечом вперед на Леху.

И тот наконец-то усмехнулся:

— Столкнись думаешь?

Сергей хотел рывком проскочить, но железная лапа сгребла за шиворот. Путаюсь ногами по ускользающей земле, пробежал и всем телом грохнулся на прибитую, черствую дорогу, но вскочил сразу же с кошачьей легкостью. Крупная Лехина физиономия, словно сквозь зеленую воду, — расплывчато, цветным пятном.

— Катись подобру!

И Сергей снова рванулся вперед.

Как брошенное полено, обдав ветром, кулак прошел мимо уха. Над собой увидел туго изогнутые салазки нависшей челюсти. Упруго распрямился над ней, вкладывая в удар силу ног,

поясницы, плеча, ненависть всего тела. Но Леха даже не качнулся.

— Ах так, падло!

И словно ствол березы обрушился сверху, погасло солнце, не почувствовал, как встретила земля. Но только на секунду беспамятство, очнулся уже на ногах. Дальний лес за Лехой то падал, то вздымался, а над ним солнце выделявало веселые петли в небе.

Он видел, как Леха отводил плечо, видел нацеленный тупой кулак, но увернуться, спастись был уже не способен.

Последнее, что ощутил, — живой вкус соли во рту.

Высокое-высокое небо с потеками усталого лилового света, и в нем одна-единственная, бледная, словно вымоченная, звезда. Она не мигает, а тихо дышит, разглядывает землю и лежащего на ней Сергея.

Знакомый, с сипотцой голос негромко сказал:

— Жив, чего там, очухался.

Череп казался мягким, как раздутый мех, и тупо пульсировал: «ух-ух! ух-ух!» — шла в голову натужная накачка. Но Сергей все-таки заставил себя повернуть ее.

В трех шагах знакомые сапоги, заскорузлые, громадные, спесиво довольные собой. Из них вверх растет человек, кепка где-то в поднебесье, — Леха. Лицо медное, не человеческое — падает кирпичный отсвет заката.

Где-то у Лехиной подмышки лепной лоб дяди Евлампия, тот нетерпеливо подергивает ляжкой. Их взгляды встретились, дядя перестал дергать ногой, нахмурился.

— До чего ты дожил, — сказал с проникновенным презрением. — Оглянись, вот она, водочка, — по канавам валяешься, рожа побита. Срам!

Напряженно выставив колено, подождал — не возразит ли Сергей, но тот молчал, и тогда снова начал дергать обтянутой парусиновыми брюками ляжкой.

— Срам!.. Конюха пошлю с подводой, свалит в Петраковской, сам не доберешься... Пошли, Леха.

Они зашевелились, качнувшись, исчезли из обзора.

Со стороны донеслось:

— Спился с кругу...

Издали Леха авторитетно подтвердил:

— Буен во хмелю.

А в голосе усмешечка.

Взвыл стартер, зарычал мотор. Через минуту тихо. Уехали.

Высоко-высоко дышала в одиночестве бледная звезда. Под ней покойно.

Но надо встать, нельзя дожидаться обещанной председателем подводы. Кто-то из конюхов с ухмылочкой взвалит его на телегу, а потом будет рассказывать — в канаве подобрал, красив...

В глазах кружилось, позывало на тошноту, под черепом словно работал паровой молот. Все-таки сумел утвердиться на ослабевших ногах, передохнул, двинулся к колонке за палисадничком. Лицо от воды сильно засадило, но стало легче.

Окна под шиферной крышей поблескивали жирным нефтянистым отливом. Знакомый домик, выкрашенный в линияло-салатный цвет, выглядел сейчас одичало покинутым.

А Ксюша?.. Не могла же она пройти мимо и не увидеть его. Неужели поверила, что он пьян?.. И вправду, до чего ты дожил, Серега. Мертвым найдут — никто не удивится. Может, Ксюша в машине сидела, Евлампий в угоду ей распекал его — одна шайка-лейка. Ксюша... Бог с ней, все кончено.

Ощупывая нетвердыми ногами дорогу, он двинулся в путь. Четыре километра с гаком — по его теперешнему состоянию путь не близкий.

Каждый день между десятью и одиннадцатью утра Евлампий Лыков — поднявшийся в пять, успевший уже погонять по полям — принимал у себя в кабинете Ивана Слегова. Между десятью и одиннадцатью — время бухгалтера, все это знали, никто не смел на него посягать.

Машина у крыльца, в приемной возле секретарши Альки наготове Леха Шаблов. Бухгалтер выползет из кабинета, и Евлампий Никитич снова сядет за руль «газика», опять в поля, опять на фермы — крутись, колесо председательской жизни.

Алька, быть может, сама не пустила бы Сергея — не положено. Она оторопела: в военной форме, туго перепоясанный, грудь увешана орденами и медалями, а лицо страшное, желтое, ссохшееся, с раздутыми безобразными губами, ссадина на лбу и обжигающий блеск глаз. И все-таки Алька задержала бы, если б не Леха. Он тоже опешил, но выдавил:

— Туда нельзя!

И тут-то Алька Студенкина, законная хозяйка лыковского порога, норовисто вскинулась:

— Ты чего распоряжаешься тут? Чего командуешь?!

А Сергей уже рванул дверь, шагнул в кабинет.

Будничная картина, входящая в расписание колхозной жизни. Евлампий Никитич навалился грудью на зеленый стол, слушает, навесив лобастую голову. Бухгалтер Слегов рядом на приставленном стуле, на пухлых плечах горделивый поворот седой головы, не подумаешь, что калека, костыли рядом кажутся лишними. Лыкова от бухгалтера отделяет чужунный мла-

денец, поднял вверх палец, словно вещает: внимание, внимание! В великом колхозе решаются сейчас великие дела.

Только на мгновение эта мирная картинка. Евлампий Лыков увидел обвешанную орденами грудь племянника, встретился глазами, и челюсть отвалилась. Бухгалтер Слегов, оборвав себя на полуслове, шумно развернулся своим громоздким корпусом.

А Сергей, постукивая каблуками по паркету, двинулся вдоль красного стола, не спуская сухо поблескивающих глаз с Евлампия Никитича. И тот завороченно глядел на него.

— Встать! — приказал ему Сергей.

В глазах Евлампия Никитича мельтешилась суетливая искорка, лицо каменно.

— Ком-му сказано? Встать!

— Ты с ума сошел! — прохрипел Лыков, поднимаясь за столом.

Встревоженно зазвенели на груди Сергея медали.

— В-от!!

Через стол, качнувшись вперед всем телом, Сергей вlepил пощечину. Вытер руку, сказал:

— Ничем другим... Помни.

Последнее наставление Евлампий Никитич вряд ли слышал, потому что, сбив в сторону кресло, сидел на полу за столом. Строго и укоризненно взирал на Сергея вoждь с портрета.

Не оглянувшись на застывшего бухгалтера, вреза я каблуки в паркет, Сергей прошел к двери.

Двери были двойные, обшитые клеенкой, специального устройства, чтоб внешний мир не мешал тому, что творится в глубине кабинета. Леха встретил Сергея подозрительно округлившимися глазами, но не пошевелился.

Он нагнал его на полдороге к Петраковской.

«Газик» промчался мимо, разрывая пыль, прошел юзом, застопорил. Дверка откинулась, кепкой вперед вылез Леха.

Он сделал несколько шагов навстречу, встал, широко расставив ноги. На лице деревянное выражение, глаза тяжелые, нижняя губа отвисла, плечи разведены, бугристую грудь обтягивает рубаха — вот-вот посыплются пуговицы, — руки чуть согнуты в локтях.

— Ну! — произнес он.

Сергей не спеша нагнулся, запустил пальцы за голенище, выудил нож, длинный, широкий, сточенный кусок полотна пилю-лучковки, вместо ручки обмотка изоляционной ленты. Сергей приладил его поудобней в ладони, ответил в тон:

— Ну.

Деревянное лицо пообмякло, в глазах пропала тяжесть, они забегали.

— Брось нож, стерва!

Сергей скривил в улыбке разбитые губы:

— И подставь, баран, голову.

Леха переминался, давя сапогами пыль, бегающие глаза снова и снова возвращались к руке, сжимающей нож.

— Срок получить захотел?..

— Видишь? — Сергей тряхнул медалями и орденами. — Это не за покладистый характер получил. Учти, полено, я фронтовик... Но не убийца, первый нож не подыму, а задевать не советую...

И двинулся на Леху, глаза в глаза. Леха не выдержал, шагахнулся в сторону.

— Сду-у-рел!

— Вот так-то!..

Дома он бросил на шесток нож — старая Груня щепала им лучину...

Чемодан сложен. Терентия Шаблова решил протащить по полям, в последний раз давал советы: там постарайся посеять клевер, там лен, то поле на будущий год пусти под картошку — кустарник становится первым врагом, найди время, подыми на него бригаду; если сможешь, конечно, теперь не жди от петраковцев особого усердия.

Терентий ходил молчаливой тенью, пасмурный, обрюзгший.

Уже вечерело, когда Сергей переступил порог своего петраковского дома. У Груни — гостя. Сначала подумал, что так, божья старушка, какие часто налетают со стороны к богомольной хозяйке. Ан нет, молода, платок-то на плечах старушечий, а ноги крепкие, девичьи, в туфельках. И вдруг прошибло от пят до затылка — она!

Груня скинула фартук, направилась к двери:

— Господи! Господи! Святы твои слова праведны: «Не суди, и не судимы будети»... К Валенке Степашихе пойду на час.

Из-под накинутого серого платка — лицо с лепными скулами, со сбежавшим румянцем, обжигающие глаза. Разлепила спекшиеся губы:

— Прощенья не прошу. Не за что!.. — С сипотцой, с вызовом.

Он молчал, стоял у порога, держал в руке кепку, которую не успел повесить на гвоздь.

Она закусил губу, сморщилась и затряслась, затряслась:

— Се-ережа-а! Уво-о-зи-и! Свихнусь я здесь, коль оставишь!

Платок упал на плечи, волосы растрепаны, лицо перекошено,

глаза блестят из глубоких ямин — некрасива. Вот, оказывается, когда нужен.

И шагнул к ней, притянул ее голову. Она прижалась, сотрясаясь всем телом, всхлипывая, как ребенок.

Чувствовал незнакомую теплоту, идущую от нее, слышал запах ее волос, почему-то смолистый. Неуклюже гладил волосы, замирал от новизны ощущений — впервые касался...

Она всхлипывала:

— Как выскочила от них. Гляжу — ты лежишь. Как закричу...

Вернулась Груня, поставила самовар. Сидели под лампой, пили чай, разговаривали уже деловито. В загсе расписаться — больше недели уйдет, и с партучета Сергея снимут не сразу. Ехать в соседний район?.. Нет уж, ехать так ехать, подальше от постылого места. Под Ленинградом у Сергея служил брат-майор, он хоть тоже в дружбе с дядей Евлампием, но приютить на неделю-другую не откажется. Оттуда и начнем танцевать.

Груня вздыхала:

— Эх-хе-хе! Опять одна. И зачем мне бог смерти не шлет?..

— Мы к тебе наезжать будем каждый отпуск, письма писать будем. Мой родной дом теперь здесь. Ты для меня вроде мать вторая.

— Пишите, родненькие, оно веселей, как знаешь, что кто-то о тебе на свете помнит.

Ксюша не осталась на ночь:

— Мать изведется. Я ей все сказать должна. Теперь и она поймет. Развязался узелок, а не думала, что развяжется.

На крыльце она сама обняла Сергея и поцеловала. Смолисто-еловый запах волос...

Сергей лежал и глядел в темный потолок. Не спала и Груня, возилась за переборкой, постукивала, побряхтывала, наконец задула лампу, но щель между дверью и переборкой виднелась, — значит, старуха зажгла лампадку под иконой.

Шелестящий шепот потек по ночной избе:

— Господи праведный! Один ты всю правду видишь. Не судила тебя, господи, и не сужу, что сына отнял. Не у меня одной, чем я чище других. Таких, как я, старых, видать, много тебе надоедает... Господи! О себе не прошу. Других, господи, береги. Им ведь жить да жить. А Серега, господи, парень редкий, не бросайся им зря-то. Что пить было начал, так это он зря, конечно. Кто не слаб из людей, господи. А во всем остальном, скажу тебе, чист. Сам, чай, знаешь, как он для петраков-

цев вывернулся. Ты, господи, ему добро — он тебе тем же оплатит. Он может, не сумлевайся. И Ксюша мне подходящей показалась. Хорошо сделал, что ее толкнул...

Ловил Сергей шелестящий старушечий шепоток и чувствовал — сжимается горло. Сук-кин ты сын! Знал, что бабка Груня к тебе всей душой, знал, но считал — дешева, мол, старушечья любовь. А что дороже? Ничего не потребует, а отдаст все. Не каждому-то вторая мать встречается. Сжималось горло, влажные веки.

В пропахшей щами ночи, тайком от всех, старая Груня шепотком учила бога, как лучше распорядиться людской жизнью.

Вечером обо всем договорились, а утром явился участковый Ступнин, в ремнях, при пистолете, с портфелем, с красным от избытка крови лицом и бодрый, как всегда.

— Дома застал. Тэ-эк!

Сел за стол, не снимая милицейской фуражки, положил перед собой портфель, потребовал:

— Паспорт сюда!

— Это зачем?

— Значит, надо. Я у любого гражданина в любое время любой документ, удостоверяющий личность, потребовать могу. И отказать не смей!

Сергей достал паспорт. Ступнин покрутил его перед собой, признался:

— Кто его знает, зачем он... Из районного отделения требовали. Ты уж сам с ними объясняйся.

— Евлампий новую петлю плетет.

— Мое дело сторона. Прикажут арестовать — арестую, прикажут расцеловать — расцелую. Служба!

Ступнин сунул паспорт в портфель и ушел.

В районном отделении милиции отказались вернуть паспорт: «Распоясался, руки распускаешь, еще выкинешь новое коленце да сбежишь. Вроде и невелик преступник, чтоб розыск по всей стране устраивать, но упускать из виду тебя не след. Нам проще — документы попридержать. Живи да помни себя».

Это значило — ты теперь принадлежишь Евлампию Лыкову с потрохами, уехать без его на то воли и не мечтай.

Даже тетка Груня советовала:

— Сходил бы поклонился, голова-то не отвалится.

Но хоть и посылала Груня кланяться Сергея, чтоб отпустил Евлампий Никитич, но своей радости не скрывала, когда Ксюша переехала в Петраковскую:

— Вспомнил обо мне господь, милость за милостью посы-

даст на старости лет. Горемыкой жила, как перст одна, могла ли гадать — на-тка, семья под боком, глядишь, скоро внука качать буду.

Наняли старика переложить печь, Ксюша и Груня выворотили грязь из нежилой половины, Сергей расшил заколоченные окна. И одна изба прозрела в Петраковской.

В Петраковской прозрела, а в Пожарах ослепла. Приемный сын оstarевшего Михайлы Чередника, ушедшего с бригадирства, Мишка-матросик, отслужив свое во флоте, забрал мать с отчимом, забил окна досками. А дом-то стоял в самом центре лыковской столицы, напротив конторы. До сих пор село Пожары глядело на белый свет только полными окнами.

В горнице старой Груни, рядом с фотографией Веньки — сына, появилась фотография Сергея и Ксюши, голова к голове, как и положено молодоженам.

Доволен был и Терентий Шаблов, шутка ли — Сергей остается в помощниках, да за таким помощником как за каменной стеной — в метель не продует. Он чуть не каждый вечер заглядывал в гости, охотно ругал своего родственничка Леху, поеживался и помалкивал, когда отзывались нелестно о Евлампии Никитиче, пил чаек. Водкой Сергей перестал угощать.

Все вроде устроено. Ну, положим, далеко не все. Раз стал хозяином, то знай — ты дойная коровушка, свое гнездо тебя сосет, сыто не бывает. Надо бы и крышу перекрыть, и старые, еще довоенные, газеты по стенам обоями заклеить, пол перебрать не худо бы... Но это потом, а жить вполне уже можно.

Раз можно, то надо жить, и всерьез, не по-птичьи — день прошел, да и ладно. Человек делом живет, по делам ценится.

Зрели на полях хлеба. Сергей и Ксюша не могли о них не заговорить, не вспомнить старое, как ходили по полям, как допрашивали с пристрастием: «А кто вы, Иваны, не помнящие родства? Кто ваши родители?» Дело-то оборвано, а зря, стоит продолжить.

Что им мешает снова взяться за отбор семян? Так и не выяснили до конца, какие сорта ржи самые урожайные по их местам. Евлампий Никитич мандат не выдаст на опытную работу... Евлампий Никитич замок повесил на дверь опытной станции. А нужен ли мандат, и нужна ли сама станция с кабинетным столом, с канцелярским черпильным прибором, с полумягким диванчиком для посетителей? Есть время, есть уже кой-какие знания, найдутся книги, можно найти и консультантов. Есть и земля под боком, только пожелай — вся петраковская бригада станет опытным полем.

Одним ранним августовским утром, когда вся деревня Петраковская спала, ни одна труба над просевшими крышами еще не дымилась, Сергей и Ксюша вышли из дому. У Сергея старая

кепчонка натянута на глаза, пиджачишко с латаными локтями, резиновые сапоги, самодельные гербарные папки под мышкой. Непослушные волосы Ксюши туго стянуты выгоревшей косыночкой, лицо широкое, свежее, не остывшее от нагретой подушки, жарком прихвачены щеки, и глаза возбужденно прыгают по сторонам.

Спит деревня Петраковская, в седых предрассветных сумерках величаво вздымаются нескладные избы, темные, обветшавшие, но все еще могучие — бревенчатые мужицкие крепости, покорно отживающие свой век. А над ними в пепельном небе блеклое лезвие отточенного месяца. Деревня Петраковская — новая родина, общая для них обоих.

Они собрались на первую вылазку, нет, не на ближние поля, даже не на поля своей бригады — на засеянный рожью клин за Ветошкиным оврагом. А это исконно пожарская земля, сердцевина лыковской державы.

Евламий Лыков считает: земля не смей рожать и хлеб не зрей без его указа — полный хозяин. Э-э, нет, Евламий Никитич, как ни державен ты, но придется признать: мы не меньшие хозяева, мы тобой обиженные, тобой униженные, тобой запертые в сирой Петраковской. Попробуй-ка запрети нам брать то, что дает земля, а брать будем не что-нибудь — самое ценное, оброненные в землю знания. Даже то, что ты сам обронил, — подыдем и присвоим, попробуй-ка сказать — не смей! Не выгорит. Кто кого еще сильнее, Евламий Никитич? Кто — кого?..

Они шли лугом, скошенным, но уже вновь затянутым мягкой зеленью. Шли и озабоченно рассуждали о ржи: культура не в таком почете у селекционеров, как пшеница, но старое-то присловье справедливо: «ржаной хлебушко всем хлебам дедушко». Говорили о ржи и не вспоминали Евлампия Никитича.

Два темных росяных следа тянулись за ними по траве. Следы от околицы Петраковской в глубь лыковских владений.

## СМЕРТЬ

Евламий Лыков лежит за стеной, пробил его час, не встанет, не наведет порядок, какой ему нужно. Он уходит, а жизнь, заквашенная им, продолжается.

Кричит с посиневшим лицом Ольга:

— Сво-од-ня! Съела ты меня-а! Кро-овь выпила!

Алька Студенкина ударила задом в дверь.

И Ольга сразу сникла, тихо заплакала, сморкаясь в конец платка:

— Жысть моя окаянная. Не дождусь, когда и кончится.

Чистых заботливо отвел ее к лавке, усадил.

Иван Иванович застучал костылями, вышел на середину комнаты:

— Позаботься о машине, да побыстрей.

Чистых косо вытянул шапку, озабоченно оглядел плачущую Ольгу и вышел.

Сестра, стоявшая в дверях, вернулась к постели больного, к недовязанному носку.

Кладбищенское молчание снова окутало дом. Кладбищенское молчание, прерываемое легкими всхлипами Ольги.

«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься». Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери, — его подташнивало от спертых воздуха.

Но в это время Чистых вырос в дверях:

— Пожалуйста, Иван Иванович. Машина тут.

— Слава богу, наконец-то.

Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича:

— Что?..

Иван Иванович с усилием повернулся назад.

Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.

— Что — уже?

Сестра важно кивнула:

— Минут десять назад... Пока тут...

Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых и самых любопытных. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.

Улица села мирно светила окнами, за каждым сейчас семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.

Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильнее, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:

— Помогите.

Чистых и Шаблов бросились к нему, толкая друг друга от усердия, неловко тиская, засунули на сиденье.

Он поерзал, пристроился поудобнее, обернулся... Чистых и Леха Шаблов стояли рядом на дороге: один — тонкий, жидкотело сутулящийся, второй — обширно плотный, тоже сутулящийся, но от собственной тяжести. Сейчас, в сумерках с мрачнова-

той просинью несвежих сугробов, эти два разных человека были по-братски схожи. Оба только что потеряли заступника, оба переживают сиротство.

Ивану Ивановичу близка их беда. Он ли жил по-лыковски, или Лыков по нему, но жить иначе уже не сумеет.

Два человека в сумерках, две тени — широкая и узкая, каждого из них завтра ждет людская неприязнь, опасная пустота, когда не знаешь, что делать, как поступать, к чему приспособить себя. И все-таки эти оба — счастливы по сравнению с ним. Они молоды, они переживут, перетерпят, приспособятся. Он же стар, ломать заново жизнь не в силах.

— Трогай, — со вздохом сказал Иван Иванович шоферу, совсем молодому парнишке. — Только полегоньку, а то развалюсь по кускам.

Двое — тонкий и широкий, — сутуловато нависшие над дорогой, остались позади. Счастливы...

И как это при сидячей жизни, заплыв жиром, он, Иван Слегов, перетянул своего кореша, здоровяка Пийко Лыкова, удивлявшего всех своей кипучестью и неутомимостью?

Но если оглянуться назад, то можно, пожалуй, угадать: носил в себе Пийко Лыков червячка. Был всемогущ и отказывал Пашке Жорову в новой крыше — не могу, не неволь. Хотелось быть добрым и красивым, а позвал на помощь — кого? — вовсе не красивого Валерку Приблудного: «Повесь на себя, что мне не к лицу». Хочется и не может, распирающая сила и сковывающее бессилие в одной груди — тайный червячок, разъедающий, оказывается, не только душу, но и нестерпимое тело. Никто долго не замечал его, даже он, Иван Слегов, лучше других знавший Пийко Лыкова — глыба мужик, не треснет, не завалится.

До последних дней Пийко, как и в молодости, мотался по разросшемуся колхозу, вставал в пять, ложился затемно, был крут на расправу, ежели видел непорядок. Но все чаще и чаще Иван Слегов чувствовал в нем усталость.

— Эх, Иван, — заговаривал Евлампий, — вот мы с тобой седые да плешивые, к черте подходим. Жизнь протопали вместе, ты, чуя, всю жизнь завидуешь мне...

— Нет, не завидую.

— Врешь, все завидуют — стар и млад. В силе Лыков, в славе Лыков, чего не хватает? И сам даже не придумаю — чего?..

— Блажен, кто верует.

— То-то и оно, что не блажен. Нет, Иван, вот подхожу к черте, а покоя в душе нету. Точит душу, чего-то не хватает, кажись минутой — вот-вот ухвачу, пойму. Вот-вот! И малого не добирал.

Он иногда вспоминал то, мимо чего раньше прошел отвернувшись.

— А помнишь, Иван, ты мне когда-то говорил, что коровы у нас живут под шиферными крышами, а люди под дырявыми?

— Помню.

— Дырявых-то крыш теперь у нас, похоже, нет, но этим хвалиться, сам знаю, нечего — многие еще не красно живут. А что, ежели нам замахнуться — все село, понимаешь, заново?! Чтоб с нужниками в кафеле?.. Лет бы за десять осилили? А?..

А на следующий день он забывал об этом, толковал, разогревая себя, о другом:

— Клуб у нас, как у всех. Вот то-то и плохо. Дворец культуры нужен — кресла плюшевые, картины в золотых рамах, люстры с висюльками, чтоб из города самых модных артистов — да, милости просим почаще. Да своя самодеятельность... Чтоб всего района село Пожары — центр культуры! А?

Метался Евлампий Лыков, пытался уловить — чего не хватает? Однажды специально вызвал к себе:

— Знаешь, Иван, я решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу. Сейчас он явится...

Для чего он пригласил на этот разговор в свидетели Ивана Ивановича? Может быть, потому, что бухгалтер в свое время видел, как Сергей отвесил пощечину, теперь же Евлампий хотел показать — гляди, мол, зла не помню.

\* \* \*

А старому Лыкову уже выгодней не помнить зла племяннику.

Сергей как был, так и остался — не бригадир и не рядовой колхозник, на птичьей должности. И по-прежнему в опале, сослан в Петраковскую, даже выехать не смей без спросу Евлампия Никитича — беспаспортный.

Сергея с женой видели то в одном конце пожарских земель, то в другом — копаются, что-то собирают, над чем-то колдуют.

Говорят, кочевники в пустыне считают святыми тех, кто ищет воду. Вода для них — жизнь. Для пожарца жизнь — это хлеб. И тот, кто по доброй воле изо дня в день упрямо ищет особые хлеба, — свят не свят, а доброго слова стоит. Прошло то время, когда завидовали: «Ишь нашел работку непыльную, за нее и платят, и почитают, даже учрежденьице специально выстроили». Теперь и не платят, и не почитают — завидовать нечему. Против самого Евлампия Никитича прет мужик, на свой страх и риск действует, сил и времени не жалеет, — видать, дело стоящее.

Как-то под вечер Ксюша и Сергей, набродившись по полям, уселись у дороги. Ксюша стянула платок, раскинула на траве,

Сергей высыпал из мешков собранные колоски. Склонившись голова к голове, они перебирали улов, раскладывали по кучкам, тихо беседовали:

— Дождей в налив маловато было, мелкозато зерно...

Носились ласточки над землей. Где-то за полями, в оврагах вызванивали боталами коровы, тянущиеся поближе к дому. И грустил по дороге одинокий всадник. Мир кругом и усталый покой.

Неожиданно проголосили тормоза, с железной, оскорбляющей полевую тишину истерикой. Ксюша и Сергей обернулись: вялая пыль медленно опадала на дорогу, на тусклую придорожную травку. Из председательского «газика» глядело сонно-разаренное, широкое лицо Лехи — кепчонка на глазах, взгляд из-под козырька жесткий. У Ксюши повисли руки, Сергей отвернулся с каменным лицом.

Оседала пыль, грустил не спеша всадник, смотрел молча Леха из кабинки.

— Ну, — наконец выдавил он, — крохоборничаете?

— Давай, Сережа, складываться, — глухо сказала Ксюша.

Сергей дернул скулой:

— Пусть пялится, не обращай внимания.

— Крысы полевые — по колоску таскаете. А ну, несите сюда все!

— Пошли, Сережа.

Сергей не отвечал, продолжал шевелить колосья.

— Хуже будет, коли вылезу!

На гнедой, лоснящейся от жары и сытости лошади подтрусил бригадир Черепнов — лицо опаленное, глаза запавшие, — приподнял картузик:

— Здравствуйте.

— Оне у тебя по полям шарят, а ты им здоровы отвечаешь. Хорош бригадир.

— А тебе что? — Черепнов дернул поводья, подал на машину коня.

— А ничего. Забери давай, что собрали оне, я в правление свезу. Пусть полюбуются.

— С-час. С поклончиком прикажешь тебе подать али как?

— Не кобенясь, Андрюха. Как бы Евлампий Никитич хвост не накрутил. Лучше делай, что говорю.

— Приказываешь?

— Советую.

— Ну так я обожду твоих советов слушаться. Ты покуда не Евлампий Никитич, а всего-то баранка от его машины. Крути, баранка, себе дальше, да пеньки огибай, а то налетишь — по частям собирать придется.

И Черепнов коленом въезжал в кабину.

— Ну, Андрюха, гляди!.. Слово не воробей... Зачешишься у меня! — Голос из глубины кабинки, из-под колена.

— Не пугай! Не все-то тебя боятся.

Рассерженный рев мотора, рывок вперед, пыль...

Черепнов хмуровато проводил взглядом, развернул лошадь, еще раз приподнял картузик:

— Бывайте здоровы, — прежним уважительным баском.

Иван Иванович Слегов наблюдал конец этой истории. Как обычно, в свой «бухгалтерский час» явился к Лыкову, но, оказывается, в этот святой час залезло другое дело. В кабинете стоял обиженно надутый и почтительный Леха, сидел перед Лыковым Черепнов, тоже обиженный, но сердито.

Евламий Никитич слушал с каменными скулами, по всему видать — «сдерживал кипяточек», на вошедшего бухгалтера поглядел, как кот на нежданного пса.

Говорил Черепнов:

— Как хош, Евламий Никитич, но я в шеню гнать их с полей не стану. Да и ты это не сделаешь, не скажешь же: «Сиди взаперти». Не арестанты они.

— А то, что по полям шарят, зерно воруют, — вставил Леха.

Черепнов только отмахнулся:

— Сам неумыен, так из других дураков не делай. Воруют! Кто поверит?

Евламий Никитич, насупившись в сторону, сказал:

— Кончим. Вон Иван Иванович с делами меня ждет.

Черепнов стал, скупно кивнул на Леху:

— Гнал бы ты, Никитич, холуя от себя. Со стороны срамотно.

У Евлампия Никитича по скулам пополз гневливый лыковский багрянец, тускло побледнели глаза.

— Спасибо. Твоим умом буду жить. Марш!

Черепнов вышел, Леха почтительно переминался.

— Особого приглашения ждешь? Вон!.. Еще раз нарвешься, балда, — съем и косточки выплуну... Видишь, Иван, кругом дразги. Хошь не хошь, а ковыряйся.

У друга Евлампия тоска в голосе, тоска в лице. И по всему видно, не дразги его тревожат, кой-что похуже — Черепнов! вдруг стали непослушны. Андрюшка Черепнов обязан Евлампий Никитичу — заметил его, выдвинул, жизнь устроил, как у Христа за пазухой, славу дал. Еще верный — сомненья нет. Еще предан и, поди, не собачьей Лехиной преданностью — считай, братской, временем проверенной, но вот перед строптивым Серегой-сосунком шапку ломает, хотя, конечно, наперед знает: ему, Евлампий Лыкову, это не очень-то приятно. Выходит, уже одной душой не живет. Неспроста, что-то заставило, что-то сильнее Евлампий Никитича. А что?.. Думай. Как тут не затосковать?..

И еще шли письма, на многих адрес внушительно короток: «Вохровский район, селекционеру колхоза «Власть труда» С. Н. Лыкову». Писем больше, чем председателю Лыкову, — из областного сельхозинститута, из Москвы, из-под Саратова, даже из Прибалтики... Иногда прибывала и посылочка, обшитая мешковиной: «Селекционеру колхоза...»

Газета «Известия» напечатала статью одного доктора сельскохозяйственных наук. Он писал, что у знатного полевода Терентия Мальцева есть много последователей, перечислял имена колхозных полеводов, среди них — Сергея Лыкова.

Сразу же после этой статьи Евлампий Лыкову позвонили из областной газеты — нельзя ли дать подробный очерк о местном Терентии Мальцеве, вышлем специального корреспондента. Евлампий Никитич ответил: «Такого не знаю». И в сердцах положил трубку.

Не знать, не замечать... А все кругом помнят «чудо в Петраковской», помнят, почему это «чудо» усохло на корню.

И конечно, теперь Серега не зря лазает по полям, получает посылочки: «Селекционеру колхоза...» Наверняка внутри лыковского хозяйства собирается завести свое, чтоб новые разговорчики о «чуде»...

Евлампий Никитич при случае прямо наказал Терентию Шаблову:

— Под фокусы-мокусы моего племянника земли не отводить. Ясно? И рабочих рук ему не смей выделять. Узнаю про его шахеры-махеры за моей спиной — тебе плакать. Ясно ли?

Куда как ясно, Евлампий Никитич слов на ветер не бросает.

Терентий свято исполнил приказ — земли не дал. Сергей сам ее взял — ненужную, «валявшуюся». А сколько такой «валявшейся» земли было еще в Петраковской! Ходить за ней не надо — прямо за околицей во все стороны пустыри, потоптанные скотом, поросшие можжевельником кой-где.

И рабочих рук Терентий не выделил, даже присланных в бригаду трактористов честно остерег:

— Ребятки, не обещайте Сергей Николаичу... Я бы и сам ему всей душой... Евлампий Никитич того... Остерегитесь.

Трактористы покачали головами: «Ну-у, жмет юшку!», сочувственно поворчали в пользу Сергея, но к сведению приняли — кто тот лихач, который поперек «отца колхоза» пойдет?

А лихач нашелся — Гришка Фролов.

После той драки на току, которую сам Евлампий Никитич победно развел, Леху поднял, о Гришке забыл, Гришка сам напомнил о себе. Он не только был крепок на кулаки, но и зол на язык.

— Перековочка у нас в колхозе: девок — в баб, мужиков — в холуев.

Евламий Никитич на такой мелкий лай не отзывался — себе дороже. Гришка ушел из гаража, стал трактористом, работал в самой выгодной бригаде, а доволен все равно не был.

— Как живешь, Гришка?

— Как тот полицей при немцах: материально ничего, только морально тяжело.

Он однажды заявился к Сергею:

— Тебе, может, дрова нужны — привезу, бутылочку разопьем.

Сергей и от дров и от водки отказался, но с этого момента сошлись.

Только этот Гришка и мог решиться — приехал на своем тракторе и на глазах у всей деревни стал пахать пустырь. Он пахал, а Сергей Лыков с бригадным пастухом Оськой Помиром обносил пахотный участок изгородью. Терентий Шаблов только помаргивал да гадал: попадет ему от Евлампия Никитича или пронесет нелегкая? Не ложиться же ему в борозду перед трактором. Да если и ляжет, Гришка на ручках ласково в сторонку отнесет. Что-то будет? Что-то будет?.. Пронеси, господи!

Сам Евламий Никитич зажимал Серёгу не для того, чтоб лишить его дела. Нет, приди, постучись к дяде: «Хочу снова стать колхозным опытником на законных основаниях». Да, пожалуйста, с милой душой, бывшая столярка ждет тебя, дурака строптивного, видным человеком сделаем, платить будем больше прежнего, дом поможем построить, брось партизанить, занимайся наукой под вывеской колхоза. Поклонись — зазорно. Ну раз так, то чувствуй.

У Терентия пронесло, был вызван сам Гришка Фролов.

— Под суд захотел?

— За что?

— За незаконное использование техники. Кто тебе давал наряд?!

У Гришки Фролова руки в карманах, чуб на глазах и прямые рубленые плечи широко раздвинуты.

— А я, Евламий Никитич, инициативу проявил. Разве не полагается? Думал, что зря земле пустовать, вдруг да хлеб колхозу на ней вырастет.

И усмешечка, и глаз не отводит под председательским взглядом. «Вдруг да хлеб вырастет». А вырастет — без «вдруг», это-то Евламий Никитич знал, знали все. Без «вдруг», то-то и оно.

— Марш! Выясним!

Все ждали грозы, но бухгалтер Слеглов понимал — вряд ли грянет. Признать незаконным, привлечь к суду, припаять срок — для Евлампия Лыкова все возможно. Но тихо и гладко это дело не прошло бы — зашумит весь район. Признать незаконным, а что тогда делать со вспаханным и засеянным участком? Не срыпывать же его. Такого Лыкову даже самые верные лыковы не

простят. Да и сам Евлампий Никитич — хлебобор, вытаптывать посеянный хлеб не решится. Лучше не раздувать сыр-бор.

Евлампий Лыков решил на другое — завоевать петраковцев, чтоб поверили, полюбили — выкинули Сергея из души, его, председателя, приняли. И к тому же Петраковская заставляла задумываться. Она висела на шее хомутом, портила антураж. На полях ее, как и прежде, тощенькая ржица и ячмень тонули в бурьяне. Из-за петраковцев и сводки пониже и почет пожже: «Темпики-то, Евлампий Никитич, у вас нынче не те, что были...» Темпы старые, петраковская «божья рать» круто вниз тянет.

И Евлампий Лыков до весны решил сам заняться бригадой. Собрал на собрание всех баб и голоса, упаси бог, не повышал, совсем напротив — что ни слово, то ласковое обещание:

— Покажите, бабы, себя — станете во всем равны пожарцам, такой же точно трудовень получите. Весь район па вас станет смотреть да завидовать.

Не кривил душой, готов был уравнивать петраковцев с пожарцами. Но бабы выслушали, разошлись, и все потекло по-старому, словно и не слышали слов Евлампия Никитича. «Катись под круту горку, плевать, ничему веры нет». Это что же получается — собака лает, ветер носит?..

Евлампий Лыков мылил голову бригадиру Шаблову, тот признавал: «Виноват. Исправимся». Шаблов и рад бы исправиться, да бабам ни к чему. Тяни снова на горбу постылую бригаду.

Но после весны Петраковская вдруг проснулась. На пустыре подымалась рожь. На этот раз чудо вроде небольшое — ржи-то всего каких-нибудь три неполных га. Но уж слишком крикливо этот бывший пустырь напоминал всем — какие бы хлеба могли расти, если б не подставили подножку Сергей Николаичу, если б, прости господи, не Евлампий Никитич... Петраковская проснулась, чтоб возроптать. Бабы останавливали Сергея на улице:

— А куды отсюда зерно-то пойдет? Теперь-то для кого ты стараешься?

— Пожалуй, для пожарцев, бабы. На вас, прямо скажу, надежд нет. Подари это вам, получится — ни богу свечка, ни черту кочерга. Пусть уж пожарцы золотой навар сымут.

И бабы, как прежде, подымали горячий крик:

— Не отдадим! Постоем за себя! Кивни, Сергей Николаич, — хоть сейчас в волокуши.

Петраковская просыпалась.

Что еще оставалось Евлампию Никитичу? Пожалуй, только одно — идти на мировую с племянником.

«Решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу...» И прими, Иван Иванович, участие в разговоре: зла не помню, будь свидетелем. Еще бы...

А разговор получился не из приятных. Сергей явился чистенький, жениховски отутюженный, постный, замкнутый. Настороженно огляделся в кабинете, в котором так давно не был. А в кабинете — перемены: снят большой портрет вождя в сапожках, вместо него другой портрет — товарищ Хрущев, только по грудь. Чугунный младенец по-прежнему стоит на столе, грозит пальцем.

— Садись,— широко приказал Евлампий, словно вчера расстались друзьями. Помедлил, помигал в сторону: — Давай, Сережка,— кто старое помянет, тому глаз вон.

— Поминать не буду, забыть не прикажешь.

Старший Лыков вздохнул с небывалым смирением:

— Это уж как тебе угодно... А выслушать меня придется. И выслушать, и совет дать.

— Я — тебе?.. Ты вроде не очень-то охоч был до чужих советов.

— Нужда научит собаку грибы всухомятку есть. Вот ответ: молодежь-то на сторону потянулась. Никогда такого не было. Почему это?

— А сам что думаешь?

— Эва! Раз спрашиваю, да еще и шапку ломаю, то, видать, мне мои мысли не так уж и дороги.

— Тогда не тяни, уходи. Себе накладней — сидеть в дамках да слыть пешкой.

И Евлампий не выдержал смирения, потемнел лицом:

— Эй-эй! Сам-то могу себе отходную петь, а другие пусть повремят! Язык еще откушу!

— Все по-старому, с оскалом да с рыком. Откушу! Бойся! Страшен! А не кажется ли, что и голос сдает, да и зубы у тебя уже не те?

Лыков-старший отвернул потемневшее лицо в грозном молчании.

И вот чудо — никаких последствий: Терентия перевели на другую работу, Сергея утвердили в бригадирах, на первом общеколхозном собрании ввели в члены правления.

Тревожен был в последние годы Евлампий Лыков, что-то неуловимое происходило в лыковской державе. По-прежнему — самые породистые коровы, самые высокие удои, самые тучные свиньи, надежные урожаи, крепкий трудодень. «Власть труда» по-прежнему в числе лучших из лучших. Но...

\* \* \*

Иван Иванович повернулся к парнишке-шоферу:

— Слышь-ко, звать-то тебя не знаю как?..

— Сашкой. Истомин я. Петра Истомина знаете, так я сын ему.

— Эвоц, у Петрухи какой парнище вымахал... Не замечаю я, старик, как растет молодежь. А скажи мне, Сашок, по совести — собираешься улепетнуть из колхоза?

Сашка посопел, помолчал, настороженно спросил:

— А что?

— Ничего. Загадка для меня. Ты здесь и сыт, и одет, и кино тебе привозят. Чего тебя манит на сторону?

— Чего? — Сашка хмыкнул. — Здесь кочки да ямины сбнюханные, а там — «широка страна моя родная». В одном месте не исправится — в другое махну. Волюшка.

— Волюшка... — сказал Иван Иванович и замолчал, уронив на грудь голову.

Тридцать с лишним лет назад Пийко Лыков перебил хребет, забрал навечно. Волюшка...

Но хребет человеку можно перебить не только свежееотесанной оглоблей.

В соседних деревнях — лепешки из куглины, а вам, люди добрые, чистый хлеб даю из своих рук! Спасибо тебе, Евлампий Никитич, деревки вей из нас, только от себя не гони.

Кусок хлеба при общей голодухе потяжелел оглобли.

Колхоз Лыкова и сейчас самый лучший, другие — куда ниже, сколько их, неустроенных и заваленных, не сводят копы с концами. Но даже в самых горьких колхозах теперь не на травке пасутся — хлеб едят, пусть покупной, пусть окольными путями заработанный, но чистый хлеб.

Кусок хлеба нынче — не дубинка. Не пробуй махать — не напугаешь. Кто постарше — живут, как жили, молодым — тесновато.

Когда-то Евлампий Лыков умел ловко подлаживаться:

— Жирок нагуливаете, ребяташки? Ну, лежите, лежите, а я поработаю...

На старости лет, при громкой славе, начал снова подыгрывать:

— Клуб вам, ребята, новый отгрохаю.

А клуб и старый неплох, кино и теперь почти каждый день. Кино показывает большие города, великие стройки, широк мир за околицей села Пожары, лишнее напоминание — тесновато здесь, душа на простор просится. Волюшка.

— Иван Иваныч!

— А?..

Рука осторожно трясет плечо:

— Приехали, Иван Иваныч.

— Эх-хе-хе! Помогите, дружок, выползти. Совсем что-то раскис.

Он остался перед калиткой, повиснув на костылях, долго глядел вслед машине, пока красный огонек не исчез за поворотом.

Этот желторотый, что гонит сейчас машину, не догадывается — он самая важная фигура в колхозе. Будущему председателю придется считаться с ним в первую очередь. Хлебом не прельстишь и новым клубом — навряд ли. Что нужно этому, унюхавшему волюшку парнишке? Что?..

Иван Иванович не знает, как не знал и покойный Лыков.

— Иван! — раздалось из темноты, от domu. — Да жив ли, голуба?

— Жив, Марья. Иду.

— Слава богу, а то сердце упало. Стоишь и стоишь, не стряслось ли чего, думаю.

Жена давно вышла на шум подъехавшей машины, ждала его на крыльце.

Она, услышав, что председатель скончался, молча перекрестилась, с особой бережностью спросила:

— Ужинать будешь?

— Нет, не неволь. — И устало поинтересовался: — Чего не пожалела?

Помолчала.

— Не могу.

Если и был у Лыкова тайный враг, то это она, постоянно видевшая костыли мужа.

— Тогда меня пожалей, — сказал он тихо.

— Ты что?.. — Удивление и страх в голосе.

Они не часто — чтоб не стерлось — вспоминали годы, когда молодые, здоровые, красивые проезжали по селу на серой паре. Но право, тогда они меньше любили друг друга. Без нее он не вынес бы бесконечно долгой сидячей жизни, она — единственное счастье, опора.

— Ты что?.. Себя с ним путаешь?

— Иль не схожи? Близнецы же, не отличишь. И то больно уж долго в одном горшке варились.

— Полно-ко! Полно! — заговорила она бодрим, молодым, во все не старушечьим голосом. Эта сила в голосе прорывалась у нее всегда, когда видела — ему очень тяжело. — Лыкова нет, на тебя теперь только и надежда-то. Кого ни посадят в председатели — любой без тебя как без рук.

— Нет уж, новому по-нашенски крутить нельзя. Нашенские колеса по ступицы сносились.

— Ты молодого Лыкова примечал. Вот бы славная упряжка: у старого коня — сноровка, у молодого — силушка. Укажи на него, тебя послушают.

— Уже решил — укажу... А потом в отставку подам.

— Чего мелешь? Чего мелешь, непутевый? В отставку-ку!

Она-то понимала, что такое для него отставка. Сейчас он, хоть и через силу, да вылезает из дому. Отставка, пенсия — сиди сиднем, чувствуй себя полным калекой, исподволь разваливайся. Отставка — смерть.

— Молодого Лыкова... Да-а... Молодой Лыков — сундучок с двойным донышком. Все вот в него заглянули и увидели — в хлебах разбирается. В хлебах-то, хорошо ли, плохо, любой мужик смыслит... Тебе этот Серега никого не напоминает?

— Да вроде нет, не примечала.

— А мне кажется, смахивает он на одного Ивашку-дурачка из сказочки, какая не очень счастливо кончилась.

— Пошел загадки загадывать.

— Помнишь, я ездил к нему в бригаду? Еще до этого начал смекать, что он на молодого да необщипанного Ваньку Слегова чуток похож... Да-а... Поехал... Он с бабами собрание вел, планы со своей «божьей ратью» строил. Что за народ бабы, известно, дай только им рот разинуть — ручьем глупость хлещет. Кажись, разумней заткнуть, чем время-то на глупую болтовню терять. Нет, не затыкал, времени не жалел, слушает и слушает, как одна глупость другую перехлестывает. Долго я не мог в толк взять... Позднее понял, в чем хитрость. Глупость за глупостью, глянь, крупинку дельную ухватил, всем со всех сторон показывает — любуйтесь, мол, красива. А так как времени не жалеет, то крупинка по крупинке — дело собирается. Не ахти, не мудрящее, может, сам Серега без баб в пять минут на него смог набрести. Пять минут, а тут пять часов болтали. Кажись, какой резон? Ан нет, резон есть. Бабы-то сами дошли, значит, и дело своим считают, не казенным, не бригадировым, попробуй только поперек встать — плешь проедят. Свое! Тут великий смысл. Чужое делать — неволя, свое-то — не подневольное. Вот парнишка, который меня сейчас довез, мечтает о волюшке. А почему? Не потому ли, что кругом лыковское только видит?

И жена ободрилась:

— Вот и хорошо-то! Вот и добро! А ты — в отставку!.. Подтащи этого Сергея Николаевича к себе — сам, глядишь, помолодеешь, прежним Ванюхой Слеговым обернешься.

Он невесело и ласково усмехнулся:

— Ты еще о живой воде помечтай.

— Но ведь сам же только рассказал, своими глазами видел.

— Ну да, видел, как он баб обкручивал. Кому не известно, что к бабе надо не с таской, а с лаской, баба на доверие падка. А встань-ка на место Евлампия — тут с лыковцами столкнешься. Мы с дружкой Евлампием не зря более тридцати лет трудились, оставили такую заквасочку, что раз попробуешь — навек кособоротым станешь. Мне Серегу жаль, а уж сам с ним хлебать — нет, пробовать не осмелюсь.

Она зябко передернула плечами, сказала холодно:

— Раз жаль — не указывай. Чего тебе толкать мужика в яму?

— А вдруг да...

— Что — вдруг?

— Вдруг да он погуше замешен, чем твой знакомый Ванька Слегов. Под лежащий камень вода не течет.

Они замолчали, переживая одну тревогу. Впереди — отставка, а это — конец. Неужели вот так вскорости и кончится их жизнь, пусть серенькая, не праздничная, но украшенная ласковым вниманием друг к другу.

— Ты не бойся, — виновато оборвал он молчанье. — Пенсию мне дадут хорошую.

Она в ответ лишь тихо обронила:

— Ты помрешь — мне не жить.

Она когда-то была красива — броваста, ясноглаза, — давно отцвела, но на старушечьем лице с запавшим беззубым ртом в каждой морщинке затаилась хватающая за сердце доброта. Та доброта, что не раз спасала его, заставляла жить.

Он потянулся к ней, обнял голову, начал гладить ее жидкие, сухие волосы. Гладил долго и нежно, гладил и тоскливо молчал.

За темным окном неожиданно раздался грубый топот, ошпанные пьяные голоса проревели:

— Эй! Стервы! Попылили па задних лапках — хвата!

— Сыновья Евлампия гуляют, — произнес Иван Иванович. — Видать, узнали, что отец умер, — рады.

— Жуть-то какая.

Иван Иванович мысленно представил себе лыковских сыновей. Сварливо дружные, длинный Клим и приземистый Васька бредут, обнявшись, то шарахаясь на средину дороги, то приваливаясь к плетням. Климу уже вплотную под тридцать, а все еще молодцует в парнях — ни одна девка из местных не хочет выйти за него замуж.

— Да-а... Не повезло ему с ребятами. Мелкота, пакостники.

Пьяные голоса раздались вдали. Ночь наваливалась на село.

Никто не догадывался, что началась недобрая ночь, ночь поминок по Евлампии Лыкову.

## НЕДОБРАЯ НОЧЬ

Через полчаса или менее того услышал под своими окнами голоса братьев Лыковых Валерий Николаевич Чистых, только что вернувшийся домой.

— Эй ты! Сука приبلудная! Высунься!

— Гасите скорей свет. От греха подальше, — забеспокоился Чистых.

Ребятишки были рассованы по койкам, свет погашен, сам Чистых улегся с женой. Как ни напугана была жена, но уснула

быстро. Чистых спать не мог, лежал с открытыми глазами, за-  
полненными ночью, тоской, страхом.

Если при Евлампии Никитиче у него по ночам били окна, то  
что же будет теперь?

В чем он провинился?

Он вор?.. Он мздоимец?... Он злодей, который только и ждет  
случай, чтоб кого-то сжить со свету?..

Да, украл один раз в жизни. Был глуп, был молод и очень  
хотел есть. Один раз, единственный — и то попался. Больше ни-  
когда не присвоил себе гроша ломаного.

Мздоимец?.. А как легко было им стать! «Валерий Никола-  
ич, заходи в гости, Валерий Николаич, мы вчера съели телят-  
ки, молочный еще...» Как легко было сорваться! Не по-  
прекнете — чист!

Злодей?.. А что он сделал плохого? По своему умыслу, по  
своей воле?..

Что делал бы любой и каждый, если б сел на место Валерки  
Приблудного? То же самое в точности. Да нет, хуже, со срывами  
на телятинку, на дармовую водочку. Валерка-то выстоял без  
осечки. Уважайте!

Он нормальный человек. А нынче нормальных людей мало;  
кого ни задень, тот с сумасшедшинкой. Человек порядок дол-  
жен любить — чем железней он, тем жить покойней.

Он служил Евлампии Никитичу, душу отдал порядку. Нор-  
мальный... Сумасшедшие вырвутся на свободу! Что-то будет,  
что-то будет! Пронеси, господи!..

Ночь, тишина, он, затравленный, в собственной постели...

Вдруг в темном доме гулко загрохотало. Подбросило с по-  
душки, обдало жаром, взмок лоб. Но через секунду Чистых по-  
нял: это же телефон! В душной тишине усердно натопленного  
дома раскатисто гремел телефон, властно звал к себе.

Кто?.. Зачем?.. Кому понадобился?.. Среди ночи, не дождав-  
шись утра!..

Проснулась жена:

— Что это?

— Лежи!

Полез из-под одеяла, ступил босыми ногами на холодный  
крашеный пол, от щиколоток до ушей покрылся гусиной кожей,  
слыша стук собственного сердца, двинулся к телефону, в перед-  
нюю, по пути больно врезался плечом в косяк дверей.

Долго ловил впотьмах висящую трубку, наконец поймал:

— Да... — Закашлялся. — Алло!..

Послышалось что-то лающее:

— Вал!.. Вал!.. Вал!.. — Наконец икающий лай прорвался в  
членораздельное, истощное: — Валерий Николаич!

— Это кто? — лязгнул зубами Чистых.

— Это я — Митрий!  
— Какой Митрий?  
— Да Пашенков, сторож... — И дико завыл: — У-убий-ист-во, Валерий Николаич!

— Ты что?!  
— То-по-ра-ми!.. Топорами порубили, паршивцы!  
— Кого? Что? Чего мелешь?  
— Леху-у! Леху Шаблова... Топорами!... Я только к складам вышел на ночное дежурство, слышу крик... Я еще подумал — не по-доброму кричат Голоса-то признал — сыпки Евлампия Никитича, чтоб им лихо было, пьяные вдребезинушку...

— Ойи — Леху?  
— Так с топорами ж... Я сразу-то не пошел, обождал, а потом — дай, думаю... О господи! Прямо на дороге, недалече от фуражного склада... О господи! По всей дороге раскинулся, а снег под ним черный... Топор в стороне брошен. Топорами его...  
— Откуда звонишь?  
— Тута, от телефонисток... Кажная жилочка дрожит.  
— Беги к Наталье Петровне, фельдшернице. Может, жив еще Леха.

— Не побегу... Оне, бешеные, до сих пор где-то бродют.  
— Ты — кто? Ты ночной сторож, за порядком по ночам должен следить. С ружьем иди!

— Эхма-а... С ружьем... Да мое-то ружье для красоты, кабы оно стреляло.

— Беги к фельдшернице на дом! Приказываю! Я участковому звоню.

— Валерушка-а! — застонала из соседней комнаты жена.  
— Цыц! — прикрикнул Чистых. — До тебя тут!.. Участкового мне!

Долго ждал, пока участковый раскачается со сна, подойдет к телефону. Ждал и зяб, стоя босыми ногами на холодном полу. Наконец дождался, недовольный, с сипотцой голос ответил:

— Младший лейтенант милиции Ступнин слушает!  
— Убийство, Александр Степаныч!..

Дрожа и захлебываясь, рассказал, что узнал от ночного сторожа.

— Тэк! — Голос участкового лязгнул медью. — Тэк!.. Ситуация ясна! Валерий Николаевич, ты оденься, прибуди к месту преступления, для оформления будешь нужен.

— Я срочно выезжаю в район, — соврал Чистых. — Да ты оформление потом, ты сперва преступников обезвреди, преступники-то у тебя с топорами по селу ходят. Тебе формальности нужны!..

Охота ли идти сейчас через все ночное село к складам, одному...

Дом погружен во тьму, за окнами мутно сереет снег. Где-то на дороге валяется порубленный топорами Леха Шаблов. Леха! На всех наводивший страх!..

— Валерушка-а!

— Цыц!

Лыков мертв, заместитель Чистых распутывай, влезай по уши, привлскай к себе внимание... Леху топорами... Он — не Леха, его легче...

Стучало сердце в тишине, по всей коже гулял озноб. Жена за спиной робко шевелилась, чуть слышно поскрипывала кроватью.

Он соврал участковому — едет в район. И в самом деле, куда как лучше спрятаться в городе Вохрове, хотя бы до утра, чтоб сейчас не втянули, не заставили — шевелись! К утру с этой страшной заварухи сливочки уже снимут.

Леху — топорами...

Чистых снова снял трубку. Гараж не отвечал, но Евлампий Никитич, установивший в свое время коммутатор, щедро разбросал телефоны по селу. Телефон был на дому и у механика гаража.

«Газик», возивший не столь давно и Евлампия Лыкова и Леху Шаблова, катил по прихваченной морозом дороге к Вохрову. Механик, ввиду особого случая сам севший за руль, сурово молчал, жал на газ, лишь изредка качал головой, ронял:

— Да-а, дела... Да-а, начинается без хозяина...

Свет фар скользил по окаменевшим весенним сугробам.

У Чистых прошел испуг, вернулась способность трезво взвешивать. Надо уходить из колхоза. Какое уж тут житье.

— Да-а, дела-а... Да-а, теперь заиграют без хозяина...

Подальше от такой игры. Лучше всего обратиться к директору леспромхоза Семенову. В свое время тому «клеили дело», подводили — снять с работы. Семенов жил в тесной дружбе с Лыковым. Обсуждать директора леспромхоза решили тогда, когда Евлампий Никитич утрясал колхозные дела в области. Покатился бы товарищ Семенов, если б не он, Чистых. Это он дозвонился до Лыкова, поймал поздним вечером в номере гостиницы, Евлампий Лыков в области нажал на кого нужно, спас Семенова, тот и до сих пор директорствует. Хозяйство у него большое, местечко для Чистых подыскать нетрудно. Правда, в Пожарах свой дом. Что ж, все распродаст, будут деньги на первое устройство...

— Да-а, дела-а... Теперь жди веселья...

Кто-то жди да поеживайся, а он, Чистых, — нет, увольте.

В центре Вохрова он остановил машину, сказал:

— Езжай домой. Мне придется здесь остаться.

— Дела...

«Газик» развернулся и укатил.

Городок крепко спал под черствыми заснеженными крышами — окна темпы, калитки наглухо закрыты. Городок спал, но наверняка участковый из села Пожары Ступнин уже сообщил в районное отделение милиции, наверняка дежурный уже поднял начальника милиции майора Россохина, тот сейчас тревожит первого секретаря, кого-то из врачей районной поликлиники. Городок крепко спит, но тревога уже вошла в него, мечется по телефонным проводам, срывает кого-то с теплых постелей.

Чистых чувствовал успокоение и легкость в душе. Пусть разбираются, судят и рядят, наказывают, подбирают кандидатов на место Лыкова. Утром он явится к директору леспромхоза Семенову.

Утром... Но до утра еще далеко. Город спит, город будет спать еще добрых пять часов. Где-то надо прокоротать эти долгие часы.

Здесь, в районном городе, колхоз «Власть труда» имел свою квартиру — для Лыкова, на случай, если тот задержится на заседании, если не посчитает нужным трястись ночью к себе в село. Квартира для Лыкова и для тех, кто к нему близок. Ее обиходит Агния Кузьминична, чистоплотная, рассудительная тетка, нагулявшая богатые телеса на харчах, отпускаявшихся на прокорм Лыкова со товарищи. Она-то — милости просим — встретит как положено, чаем напоит, чистые простыни застелит. Но на той квартире одно плохо — телефон. Где Чистых? Бросятся звонить и вызвонят... Увольте. Завтра, после встречи с Семеновым, завтра, когда схлынет первая горячка, когда он уже будет знать свое новое место, — явится, последние обязанности честно исполнит, сдаст дела, а пока — увольте.

Здесь в городе живет его отец. Валерий Чистых немного помогал старику — посылал иногда кило масла, кусок свинины, баночку меду, жалко же, как-никак родная кровь — нахлебался лиха человек, одинок, нет здоровья, нет почета. Баночки с маслом и медом пересылались, но сын и отец встречались очень редко.

В другое бы время Чистых среди ночи ни за что не поступался бы к отцу. Но теперь обстоятельства особые, вряд ли старик успел узнать, что Лыкова уже нет в живых, а к этому у него наверняка свой интерес, ради него простит ночное сыновье вторжение.

Старик долго и подозрительно выпрашивал через закрытую дверь: кто да зачем? Притворялся, что не узнает голоса сына.

Наконец смилостивился, признал: «А, это ты», загремел запорами.

Свисающая с потолка пыльная лампочка освещала негостеприимного хозяина. Давно не стиранные белье, из распахнутого ворота выглядывали изогнутые, как дверные ручки, ключицы, рукава, лишь едва прикрывающие локти, выставляли напоказ тонкие руки в сплошных мослах, жестких сухожилиях и набухших венах, узкие кальсоны все же были слишком просторны для тощих ляжек. И над всем этим плохо укрытым костяным сочленением — глянцеви́тая лысина и глубоко врезанные, столь же жесткие, как и сухожилия на руках, морщины. Они изображали в данную минуту величавое презрение и подозрительную враждебность.

— Чем обязан?

— Новости знаешь?

Старик жил скучно и однообразно, как только может жить одинокий пенсионер, отпугивающий всех несносным характером. Не такому выпроваживать гостя с новостями.

— Слышал, что Лыков того?.. Еще вечером...

— Гм...— Нет, старик не слышал этого.

— Ну так вот, теперь пошло пузыриться, все, что назакашивал, поползет через край.

Новости должны быть приятны старику. Лыков мертв, а он, Николай Чистых, жив... Однако старик не смягчился, ничем не выразил удовольствия, по-прежнему глядел на сына с неприязнью и подозрительностью.

— Как это понимать — «поползет через край»? — холодно спросил он.

— Лыковские-то сынки отличились. Топорами, стервецы... отцовского шофера...

— Сыновья Лыкова?

— Родные сыновья. Вот дела-то какие.

— Сыновья теперь пошли не в отцов.

— Лыков — тяжелый мужик, всех гнул — хребты трещали, а теперь, видишь ли, распрямляться начнут, друг друга задевать. И еще как!

— Сыновья не в отцов — гнилое племя. Вот хотя бы ты, Валерко, ты — мой сын! Удивительно! Ты — и от меня родился!

Чистых-младший досадливо поморщился:

— Опять двадцать пять! И что ты со мной все делишь? Я ведь всегда к тебе по-доброму...

— Ты — прихвостень, ты — разложившийся прохвост!

— Ну и ну, злобы же в тебе...

— К таким, как ты, — да! К таким, как ты, — не простая злоба, а классовая ненависть! Разве я не вижу сейчас, чего ты от меня ждешь?!

— Чего мне от тебя ждать? Чем ты меня одарить можешь?  
— Ты ждешь, поганец, что я буду радоваться смерти Лыкова!

— Радоваться не радоваться, а уж слезы лить не станешь.  
— А ты слышал, чтоб я когда-либо плохо говорил о Лыкове?  
— Попробовал бы сказать.  
— Подлец! На свой аршин меряешь. Все считаешь, что твой отец трус, что он из страха...

— Стыдного в этом нет, многие, не нам с тобой чета, побавались — матер мужик.

— Я побаивался? Я — его? Что он мне мог сделать? Мне, который уже отсидел двадцать лет! Что еще можно сделать такому?

— Двадцать-то лет не без его помощи. Почешешься.

— А не приходит в твою подлую башку простая мысль, что я уважаю Евлампия Лыкова?

— Ты — Лыкова?

— Да, я — Лыкова!

Чистых-младший недоверчиво поежился под сверлящим взглядом старика.

— Все считаешь, что мы с Лыковым из-за куска пирога ца-рапались. А между нами шла борьба. Не ради шкурных интересов! Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось бы. Но победил-то Лыков... Теперь должен или не должен я задать себе вопрос: кто был прав? Кто?.. Честно, без выляний! Он или я? Так вот!.. Со всей революционной прямоотой теперь признаю — он прав! Он создал выдающийся колхоз, которым гордится не только район, а и вся область. Жизнь доказала! И мне после этого ненавидеть Лыкова?.. Ты понял, пресмыкающееся? Уважаю Лыкова!

— Уж не считаешь ли, что вы — два яблока с одной яблоньки? — спросил сын.

— Считаю. Одного корня мы.

— Но и с одного корня яблоки разные на вкус — какое-то спелое, другое в кислую зелень.

— Моя ли вина, что мне не дано было вызреть.

— А кто не дал? Не Лыков ли?..

— Виновника ищешь. А его нет. Что глаза таращишь?.. Нет, и все. Не каждая икринка взрослой шукой становится. Кто в этом виноват? Жизнь так устроена — нельзя без отходов.

— Выходит, тебя посадили законно и выпустили зря?

— Я перед народом чист как слеза!

Старик стоял перед сыном, горделиво откинув голову, на остром подбородке искрилась седая щетина, в выцветших глазах

гордый горячечный блеск, морщины залиты густыми тенями — усохшие живые мощи, прикрытые давно не стираемым исподним.

Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:

— Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!

— Ишь ты, презираю... — скривился Чистых-младший. — А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал — внутрь принимал.

— Вон-но что... Медок... А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал... А почему, разреши спросить, поч-ему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку... И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот... — Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, не разгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: — Вон! Слышишь — вон отсюда, лизоблюд!..

Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.

Вечером вернулась к себе, изруганная женой Лыкова, Алька Студенкина.

Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись с головой полушубком.

Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель — ночь подходит, положено спать.

Но спать, какое уж...

Стояло перед глазами лицо Ольги — злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга-то — смирней бабы не найдешь по селу. А Чистых... К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой... Шуганул: «Марш отсюда!»

Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги... Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли... Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене — первого, что попало в детстве в твою память, — и до... до крика Ольги.

Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.

Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало... Шла из города.

И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые наеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя — синие лужи, после дождя — медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют тучную силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.

На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть. Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала — рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует — свертывает сигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело, — рука-то одна, вторая в бинтах.

— Дай помогу.

Он вскинулся и оторопел.. от ее лица. И она сразу смутилась — рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.

— Дай помогу.

— Помоги, — согласился он.

Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую — попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.

Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да недраном...

А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись — попадешь в зубы.

Долго же держалась, теперь, считай... сорвалась.

Ольга Лыкова — смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!

Бежать?.. А куда?..

Кому ты нужна, растолстевшая сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.

Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивал-

ся к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их, — тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.

Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен — молодым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные — тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.

Далеко-далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним — плевки, ругань, грязь взхлеб. Для кого-то и настанет утро, для нас — ночь без края.

Минута за минутой идет время. Идет к концу бабьей век.

Она лежала с сухими глазами — не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего нет. Лежала, не спешила, спешить некуда — пока время есть, рассвет не скоро.

Лежала, отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки...

Она дождалась первых петухов и поднялась... Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны, дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.

Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх — не мечтай, а делай что решила.

Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик — сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.

Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то недоставало.

И вдруг Алька поняла — чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика.словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.

Леденя от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нащарила — звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.

Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок:

— Дед... Эй, дед!..

Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, ко-  
стляво стукнула в пол.

По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый  
унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще  
одну петушиную перекличку.

Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал  
в избу, означая щели на темных бревенчатых стенах, фотографии  
в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.

Матвей Студенкин лежал на лавке животом и грудью, пло-  
ский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные  
растоптанные валенки, упираясь чугунно-темной рукой в пол.

Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела,  
сжежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и ста-  
рика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной кры-  
шей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.

Бабы слезы целебны. Вместе со слезами растаяла реши-  
мость — не ждать утра. А утро исподволь, но упрямо наступало,  
рассольпо мутный свет сочился в избу. Алька глядела на обро-  
ненную руку старика и уже боялась смерти, жалела себя. И су-  
етливые мысли теснились в голове: «Может, Сережка Евлампия  
сменит. А Сережке она всегда добра желала. И Ксюшка его  
как-никак родня ей... Не дадут в обиду...» Сама не очень-то ве-  
рила в это, но размякла от слез.

По улочкам спящего села полз рассвет. Ночь, начавшаяся  
смертью Евлампия Лыкова, первая ночь без прославленного  
председателя, кончилась.

## ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Впереди несли подушечку из красного атласа с орденами.  
Впереди умершего шагали его заслуги.

День выдался хмурый, плотные облака висели над самыми  
крышами, в воздухе — пресные запахи талого снега, на голых  
деревьях кричало воронье, растревоженное небывалым многолю-  
дием.

Евлампий Лыков, мужик из села Пожары, родившийся в ни-  
щей избе, ужившийся в приходской школе всего три года, быв-  
ший подпасок, бродячий «растировщик» теса, плыл над землей  
в гробу, обтянутом красным сукном и черным шелком. И обла-  
стное начальство почтительно несло его на своих плечах.

За гробом — целая толпа с венками: в хмурый апрель — не-  
поддельная летняя зелень, и свежая хвоя, и красные и черные  
ленты с надписями притушенного золота... Венки, присланные  
из областного города, и венки, сделанные руками школьников.

Из города прислан и военный оркестр — рослые, подтянутые ребята с малиновыми околышами, малиновыми погонами, малиновыми физиономиями, мокро сверкающие медью и серебром своих труб, рядами начищенных пуговиц.

Поначалу местный народ поглядывал на них с тайной неприязнью — красавцы писанные, чужаки, службу исполняют, что им Евлампий Лыков. А какая уж музыка без сочувствия.

Но красавцы, видагь, службу свою знали кренко. Когда они впервые приложили трубы к губам и по взмаху старшего начали, то казалось, низкое небо изумленно попятилось вверх, мир стал раздвигаться. Стройно, строго, с саднящей до немоготы болью вспухали звуки. Горестно охала большая труба, навзрыд плакали трубы маленькие. Глухо отзывался большой барабан, одобрял: «Так! Так!» И медные тарелки кратко, с лязгом соглашались: «Вонистину!»

В толпе по простоте душевной заголосила было какая-то баба и спохватилась — не свата хоронят, — смолкла, устыдившись.

А тоскующая медь лилась и лилась на крыши пожарских изб, увешанных сосульками, на покосившийся штaketник, на увязнувшие в размягшем снегу прясла изгородей, на людей... В каждого вливалась нежная отрава.

И бабы начали сморкаться, одна за другой смахивали слезы, закрывали мужики, тоже трубно засморкались... По растянувшейся толпе, как болезнь, как поветрие, от одного к другому стал распространяться тихий слезный плач.

Барабан одобрял: «Так! Так!» «Воистину!» — соглашались тарелки.

Село Пожары, верно, стоит на земле не одно столетие, но оно еще ни разу не было так запружено народом. Впереди несли агласную подушечку с орденами, в самом хвосте лошадь волокла по ростепели сани. В них копно сидел Иван Иванович Слегов.

Поначалу неказистое сельское кладбище с редким соснячком, с покосившимися крестами было будничным, скучным.

На пути попалась могила, свежая, в рыжей глине, бросающаяся в глаза среди осевшего снега. Здесь вчера без шума, второпях скоронили Матвея Студенкина, первого пожарского председателя, того, кто выдвинул знаменитого Лыкова.

Кладбище казалось обидно скучным лишь до тех пор, пока в него не влился весь народ, не заполнил до отказа, не прикрыл собой ветхих крестов, полузабытые могилки дедов и прадедов. Народ заполнил соснячок, народ принес с собой торжественную скорбь, музыка раздвигала небо и вершины деревьев...

Над открытой могилой, над гробом, как и положено, были произнесены короткие речи: «Спи спокойно, дорогой товарищ!..»

Речи — дело привычное, они успокоили всех, высушили даже бабын слезы.

У края могилы в окружении гостей, но в то же время как-то наособицу стояла жена Лыкова, Ольга, пряча морщинистое лицо в грубошерстный платок. Сыновей с ней не было. Сыновья сидели в Вохрове в «предварилке». Их не пустили на отцовские похороны, — убийцы, Леха Шаблов умер в больнице.

Речи кончились, приготовились спускать гроб. И снова заиграл оркестр. На этот раз знакомое: «Вы жертвою пали...» — траурный марш революционеров, который не успели исполнить по пути от села к кладбищу.

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Прежде медные тарелки лишь скромно соглашались: «Воистину!» Теперь они властно звали: «Слушайте! Слушайте!»

И тут Ольга дико вскрикнула, упала на размешанный пополам с глиной снег и забилась в истерике. К ней бросились...

Ее выкрик — что искра в сухой хворост, — в разных концах толпы заголосили бабы:

— Корми-и-илец ты на-аш! И на кого-о ты нас, сирот бе-едных, покида-ешь!

Скорбная медь воинских труб и древние воили деревенских баб — воедино.

Сергей Лыков, стоявший в толпе, почувствовал, как против волн слезы подпирают к горлу.

Он припомнил, как дядя Евлампий — нет, еще не гордый председатель Лыков, просто член их большой семьи — с шуточками и прибауточками мастерил им, ребятишкам, «катушки» — широкие доски с сиденьями, на которых можно лихо съезжать с горок. Приносил он из города и обливные пряники: «На-ко, сморчки!» Мать ругалась: «Тратишься на пустое». Он посмеивался: «Эх, всех нищих не перефорсишь, свечой копеечной бога не замолишь».

И еще Сергей вспомнил, как вечером после страдного дня Евлампий Никитич шел домой... Только что тот прощался с кем-то из бригадиров бодрым голосом, а теперь шагал и не догадывался, что за ним следят из окна: лицо отпугивающе неподвижное, поникшие плечи, плетями висящие руки, волочащаяся походка — смергельно устал человек, несколько часов сна, и подымайся до первых петухов, до восхода солнца...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,  
В любви беззаветной...

Была и беззаветность, не откажешь...

На минуту закипели слезы, но... не пролились.

А Ксюша, прижавшаяся к его плечу, слез не сдержала. Она на шестом месяце беременности, но дома не осталась, приехала хоронить председателя. Сергей оберегал ее, следил, чтоб не затолкали в толпе.

А с другого боку от Ксюши стоял беспокойный мужичонка. Он то подымался на цыпочки, чтоб увидеть гроб, то начинал действовать плечами, лез вперед, но каждый раз его оттесняли обратно. Заиграли «Вы жертвою...», и он притих, завздыхал:

— Эх-ма! Мы, считай, с ним одногодки! Эх-ма!

Сухим, узловатым кулаком он начал давить слезы на морщинистых щеках, короткий вздернутый нос его вишнево залоснился, веки стали красными.

— Эх-ма! Евлампий Никитич! Любой!..

Это был Пашка Жоров, мужик смолоду скандальный, часто поругивавший Евлампия Лыкова. Но сам Евлампий при жизни этого, пожалуй, и не ведал — слишком мелок Пашка Жоров, чтоб в чем-то его замечать, даже в ругани.

Прежде Пашка поругивал, теперь вот давит мелкие слезинки костлявым кулаком. Да и то, над Пашкой Жоровым нынче не каплет, не худая крыша над головой. Евлампий Лыков к концу жизни все-таки сделал это. А много ли Пашке надо? И причитающим бабам тоже.

— Эхма!..

Медь труб, бабный крик и мужские слезы.

Народ потянулся к могиле, без напора, уважительно соблюдая порядок. Каждый ждал своей очереди, чтоб набрать горсть земли, бросить в промерзшую яму на крышку гроба.

Валерий Чистых, празднично выбритый, с горестно раскисшими круглыми глазами, с помятым, смиренным лицом, с красно-черной повязкой на рукаве, — один из организаторов похорон, — утомленно упрасивал:

— Разрешите, граждане... Дорогу, товарищи... Прошу вас... Очень, очень прошу...

На голос Чистых оглядывались, видели за ним бухгалтера на ксстылях, поспешно сторонились.

Иван Иванович, с трудом перекидывая непослушные ноги, приблизился к насыпи. Одной рукой он стянул шапку, обнажив ссдину, отливающую металлом, другой взял горсть земли, помедлил, бросил, прислушался... И еще постоял в задумчивости, только потом, под почтительными и сочувствующими взглядами, стал неуклюже разворачиваться...

Добрался до могилы Пашка Жоров, суетливо кинул одну горсть, показалось мало, кинул другую, вытянув тощую шею, за-

глянул в глубь ямы, придавил ещё одну слезу кулаком, отошел, громко и победно высморкался.

Почти позади всех в очереди ждала прощальной минуты Алька Студенкина, опухшая от слез, уставившаяся в землю.

Музыка смолкла — только глухой стук земли о крышку гроба, только напряженное шевеление толпы.

Бравые парни-музыканты деловито продували свои трубы, вытряхивали мундштуки.

Сергей стоял в стороне и смотрел.

Толпились люди над могилой, над ними висело низкое небо, темнели стволы отсыревших деревьев, и празднично кричало воронье.

Еще лежит снег, но земля уже по-весеннему потная. Обычная земля под твоими ногами, не чудо-чернозем, не из тех, что дарит диковинные ананасы, просто земля не хуже других. Земля есть и всегда будет, есть и силы, что же еще?..

Падают комья на крышку гроба. Комья земли на человека, который считал эту землю своей. И толпятся люди, хоронят тело старого Лыкова.

Ходят слухи, что перед самой смертью он успел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Ой ли, не клевети на себя, Евлампий Никитич. Умершие часто продолжают жить среди живых.

Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив. Жив в бабах, которые только что величали его «кормильцем», жив в Пашке Жорове, в бухгалтере Слегове теплится... Лыков стал привычкой. От своих привычек люди легко и быстро не отказываются — только с болью, только с боем.

Бой... Сергей начал его, когда председатель Лыков твердо ходил по земле. Тсперь комья земли падают на крышку гроба. И бой не кончен, с умершими тоже приходится спорить. Спор ради тех, кто причитал по «кормильцу», спор против тех, кто готов кормиться именем Лыкова.

Чистых с удрученным лицом хлопочет у могилы. Говорят, он собирается уйти из колхоза. Но далеко ли он уйдет?.. Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив.

Могила под низким небом. И потная от оттепели земля обступает кругом.

Земля, ждущая весны...

## ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ БЕГУЩЕГО ДНЯ

(О творчестве  
В. Тендрякова)

При чтении книг В. Тендрякова невольно вспоминаются слова А. Ахматовой: «Это так просто... Почему я этого не написал сам?» Истории, которые рассказывает писатель, часто настолько просты, что и в самом деле думаешь: «Ведь и мне приходилось слышать подобное...» Вот только (в этом-то, видимо, и заключается секрет мастерства) из обыденности В. Тендряков извлекает совсем не тривиальные уроки. Его творчество лишний раз доказывает: в искусстве важно не только *что*, но и *как* поведать. И тогда — в малом проглянет большое, в единичном — закономерное.

И тогда произведения, написанные «на злобу дня», обретают долгую жизнь, становятся не окаменевшим реликтом, а тем ориентиром, по которому вымеряют пройденное и прикидывают дорогу вперед.

\* \* \*

Владимир Федорович Тендряков родился в 1923 году в деревне Макаровская Вологодской области. Окончание школы, «ночь после выпуска» (так назовет писатель впоследствии одно из своих произведений) почти совпала у него с первым днем войны. Вопросы «Кем быть?» перед Тендряковым и его одноклассниками не вставало, — будущее определялось военными сводками. Сразу же после школы — фронт.

Радист стрелкового полка В. Тендряков участвовал в тяжелейших боях под Сталинградом и Харьковом. Грохот снарядов, «нежный» посвист пуль, нутужный вой танковых моторов заменили привычное дребезжание школьного звонка...

Ранение помешало дойти до Берлина. После госпиталя позавчерашний школьник, вчерашний солдат возвращается к мирной жизни. Снова сельская школа, где он теперь уже сидит не за партой, а за учительским столом. Затем В. Тендрякова выбирают секретарем райкома комсомола. В эти годы и в тылу многое напоминало о фронте. Те же бесконечные километры разбитых дорог, те же бессонные ночи, встречи со множеством людей... Не «наблюдая жизнь», а являясь одним из тех, кто ее организует, строил В. Тендряков начало своей биографии.

Тогда же и родилось желание рассказать о виденном, поделиться

своими радостями и тревогами. Молодой человек вначале хотел стать художником. Первый шаг к профессии был сделан — в 1946 году В. Тендряков поступил на художественный факультет ВГИКа, но, окончив первый курс, перешел в Литературный институт имени Горького — тяга к литературе пересилила.

В романе «За бегущим днем», произведении в известной мере автобиографическом, Тендряков так охарактеризовал свои юношеские устремления при первом знакомстве со столицей: «...мне представился спящий безбрежный город, спящие в нем, этаж над этажом, люди — тысячи, миллионы тех, кого я видел днем, и тех, кого я никогда не видел и никогда не увижу в моей жизни. Спят люди и не подозревают, что в их миллионной семье появился еще один человек. <...> Никому не известно, какое великое желание привез он с собой в душе. Мое единственное богатство — моя жизнь, те дни, годы, десятилетия, которые отмерены для меня. Я хочу отдать это вам, люди, незнакомые мне, вам, для вашей пользы, для вашего счастья».

Желание жить и работать для общего счастья приводит В. Тендрякова в ряды коммунистов в 1948 году.

Первый рассказ В. Тендрякова был опубликован в 1947 году. Затем в «Огоньке» появились его очерки, которые прошли незамеченными.

В. Тендряков вступил в литературу в то время, когда в искусстве ощущалось влияние «теории бесконфликтности». Согласно этой теории задача писателя заключалась в создании искусства, изображающего действительность только в ее светлых проявлениях. Эта тенденция давала себя знать и в тендряковских очерках: в них нет столкновения характеров, нет споров.

Но роль благодушного летописца уже не устраивала молодого писателя.

Вместе с художниками слова, которых потом назовут представителями «деревенской прозы» (В. Овечкин, Е. Дорош, Г. Троепольский, С. Залыгин), В. Тендряков выступил в начале 50-х годов как сторонник трезвого реализма. И вовсе не случайно, что преодоление «безмятежности» в искусстве стало уделом «деревенской прозы». В тесном деревенском мире, где все друг друга знают, где всё на виду, все противоречия были ощутимее.

Экономические проблемы неотделимы от нравственных. И когда об этом забывают, это приводит к тяжелым, в отдельных случаях необратимым последствиям. Об этом и напоминала повесть В. Тендрякова «Падение Ивана Чупрова» (1953), сделавшая имя писателя известным. Общее признание завоевала и повесть «Не ко двору» (1954), в которой семейный конфликт молодого тракториста Федора Соловейкова с ветхозаветным укладом семьи Ряшкиных заставлял задуматься над вопросом, заданным Горьким: «Если я только для себя, то зачем я?»

В. Тендряков обрел собственный голос почти сразу. Для его про-

изведений характерны «сгущение» времени действия, столкновение полярных начал, экстремальные ситуации, в которых обнажается сущность персонажей. Начинается все вроде бы с мелочей, а затем перерастает в проблему, от которой уже нельзя отмахнуться, которую нельзя решить мирно.

Таковы и гражданская позиция писателя, и его основной эстетический принцип. Художник в романе «Свидание с Нефертити», размышляя над извечным вопросом о смысле и сущности искусства, отвечает на него так: «Столкни поэзию с прозой, необычность с будничностью, счастье бытия и угнетенные лица — вот великое единство противоположностей, без которых не существует жизнь». Разумеется, не стоит отождествлять слова героя с высказываниями автора, однако эта фраза помогает нам найти ключ к творчеству В. Тендрякова, понять, какая сила движет его героями.

Органически не могут подчиниться темному, косному Федор Соловейков («Не ко двору»), Кистерев («Три мешка сорной пшеницы»), Бирюков («Свидание с Нефертити») и даже дети — Родька Гуляев из «Чудотворной» и Дюшка Тягунов из «Весенних перевертышей».

Героям В. Тендрякова свойственна бескомпромиссность, однако это вовсе не значит, что и писатель делит мир только на белое и черное, что он не замечает душевных нюансов. Сложный внутренний мир художника, интеллигента, подростка раскрывается в таких произведениях писателя, как «Свидание с Нефертити», «За бегущим днем», «Ночь после выпуска», «Короткое замыкание», «Расплата». Порой анализ психологической «несовместимости» человека с самим собой становится у него сюжетом самостоятельного произведения. Трофим, который всю жизнь был уверен в своей непогрешимости и находил в ней прибежище от неприязни окружающих, стоило ему проникнуться подлинной болью другого, оказывается не в силах свершить приговор, еще так недавно представлявшийся единственно правильным и необходимым («Находка»); задумывается над прожитым Иван Капитонович («Короткое замыкание»).

Критики не раз упрекали писателя в том, что он не создал образ яркого положительного героя. Действительно, у В. Тендрякова нет таких запоминающихся характеров, как Павел Корчагин или Семен Давыдов. Но ведь, как справедливо подчеркнула О. Берггольц, «настоящим писателем-гуманистом может быть и тот, которому отрицательные герои удаются лучше положительных». Не силы зла у Тендрякова определяют смысл бытия; они в толковании писателя те опухоли, которые необходимо вырезать, чтобы организм функционировал нормально. Книги Тендрякова зиждятся на вере и победу добра, на осознании ценности каждого человека, пусть даже он запутался в собственных противоречиях и в данный момент представляет угрозу для общества. И Настя Сыроежкина («Поденка — век короткий») и Лешка Малинкин («Тройка, семерка, туз...») не погибли для людей, нужно только вове-

мя протянуть им руку помощи. Не случайно «Поденка — век короткий» заканчивается авторским призывом: «Люди добрые, спасите Настю». Заметим, что сказано это без восклицательного знака, — подлинное чувство никогда не кричит.

Безусловно, читателю, особенно молодому, нужны литературные герои, с которых можно было бы брать пример. Но точно так же нужны и характеры-«предостережения», которые учили бы «беречь честь смолоду».

\* \* \*

«Тугой узел» (1955) связан из тех нитей, что были вплетены уже в художественную ткань «Падения Ивана Чунрова». В ранней повести автор ограничивался локальным пространством и малым количеством персонажей. Так было нужно для последовательного раскрытия одной идеи. Но идея оказалась столь емкой, что потребовала большего простора для выявления различных ее аспектов, не укладывающихся в малую форму.

Как это часто бывает у Тендрякова, «Тугой узел» начинается с эпизода, несущего символическую нагрузку. Автор описывает похороны секретаря райкома Комелева. Это был добросовестный человек, «работал... как вол, не знал покоя». Но он, по мнению Павла Мансурова, не поднимался над жизнью, а в лучшем случае шел вровень с нею. Мансуров с горечью размышляет: «...у Комелева во всех его командировках, заседаниях, беспокойствах была какая-то бессмысленность. Ломил, тянул воз через силу, сгорел на работе, а для чего? <...> Каждый человек должен оставить, кроме детей и кучки земли на кладбище, что-то полезное. <...> Дело какое-то! А что доброго сделал Комелев? Чем его вспомнить? Неужели у меня впереди такая же бессмысленная жизнь?»

Запомним эти слова и, забегаая вперед, обратимся к финалу. «Тугой узел» и заканчивается описанием «смерти» Мансурова. Нет, он остался жив и здоров, его гибель — фигуральна. Павел Мансуров кончился как личность, как гражданин. Чем бы он ни занимался в дальнейшем, какой бы пост ни занимал, он уже не будет думать ни о чем, кроме собственного благополучия.

После Комелева остался сын Саша, выросший честным и верным человеком. В этом немалая заслуга отца. А что останется от Мансурова? Только недобрая память... Даже и детей у него нет. Мансуров покидает район, в котором разворачивалась его карьера, но куда уйдешь от самого себя? Спор, затеянный Мансуровым с покойным Комелевым, решается не в пользу Мансурова.

Вначале герой предстает перед читателем явно с положительной стороны. Мансуров раньше и острее других видит, что кругом многое несовершенно и нуждается в коренных изменениях. Он чувствует в себе силы и желание работать, но в его рассуждения вкрадывается пасто-

раживающая нотка. Мансуров уверен: «Мой рост, мое движение не зависят от меня. Захотят — продвинул, не захотят — оставят кинуть на той же должности». Доучиваться в институте после армии он не захотел и принял назначение, предложенное райкомом, не прилагая усилия к тому, чтобы добиться чего-то другого. «В другом месте я бы, может, смог быть хозяином своей жизни. А здесь сыплют инструкции, со всех сторон указывают...» Итак, не человек красит место, а место определяет достоинства человека.

Но вот Мансуров дождался своего «звездного часа». Его записка о неблагополучии в экономике района пришла ко времени.

«Павел веровал, что только беспокойные люди двигают жизнью». Короткая, но емкая фраза. Она невольно ассоциируется со строчкой из популярной комсомольской песни о молодых людях, «беспокойных сердцах», которые «все доводят до конца». Однако первоначальная этическая установка, с которой начинает Мансуров свою руководящую деятельность, в значительной степени деформирует эту ассоциацию. Для Мансурова важно не улучшить жизнь, а *двигать* ее, разумеется, по собственному усмотрению. Так, исподволь, незаметно, формируется отношение читателя к герою.

Равнодушие Мансуров ненавидит как самый страшный порок. «Равнодушие — не зло, как принято считать. Сырость сама по себе не есть еще гниение, она лишь способствует размножению гнилостных бактерий. Потому-то, где сыро, там и гниет. Равнодушие размножает зло, оно его почва, его питательная среда. При равнодушии неизбежно растут бедствия, при равнодушии загнивает жизнь!» Справедливые слова. Только кому они принадлежат? Автору или герою? Скорее всего, первому. Но вот слово берет Мансуров. «Он, Павел Мансуров, не станет терпеть около себя равнодушных, он начнет с ними войну. Безжалостность к себе во имя счастья тех, кто сейчас ходит за окнами райкома под падающим сухим снежком, — это должно стать его лозунгом!» Великолепное намерение. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Свою жажду «двигать жизнь» Мансуров принял за желание быть полезным людям. В его мыслях не нашлось места соображению о том, что счастье для других прежде всего связано не с безжалостностью, а с самоотдачей. И как только перед Мансуровым встали не абстрактные истины, а вполне конкретные собственные интересы и интересы общества, он «с первых же дней своей новой работы почувствовал — прямым путем идти трудно».

Да, прямым путем идти трудно, но коль скоро ты собирался быть безжалостным к себе во имя счастья других, то разве могут остановить тебя трудности? Ведь очевидно, что чем больше у тебя возможностей, тем с большими препятствиями придется встречаться.

Мансуров «осекая» раз (случай с лесозаготовками), уступил — два (в намерении увеличить посевную площадь льна) и перестал замечать, что уступчивость становится определяющей чертой его поведения. Пока

все это мелочи, никак не отражающиеся на будущем, которое, верит Мансуров, обещает новые победы. «Есть порох в пороховнице, хватит сил. Только бы по мелочам их не растратить, сберечь на большие дела...»

Характер героя, в сущности, выявлен уже в первой главе второй части. Вся первая часть была не чем иным, как развернутой интродукцией. В ней Тендряков нарисовал подробную картину среды, где обитает Павел. Нетрудно заметить, что вокруг Мансурова есть люди, с помощью которых можно довести до конца «большое дело». Это и Саша Комелев, и Катя, и Игнат Гмызин, и Курганов, и, самое главное, те колхозники, хорошо понимающие, что в жизни служит добру, а что — злу. Сумеет Мансуров дойти до их ума и сердца — в союзе с такими людьми он будет непобедим.

И «большое дело» наконец приходит. Область дает колхозам племенной скот. Работа районных руководителей будет измеряться количеством голов, которые район сумеет вырастить. «Много возьмешь — хороший работник... — рассуждает расчетливый шумаковский секретарь райкома, — мало возьмешь — так на тебя и будут глядеть». Это прекрасно понимает и Павел, как понимает и то, что до сих пор в его активе было только обнаружение недостатков. Пора заявить о себе и делом. Но... он знает и другое. В районе не хватает кормов, скотные дворы в большинстве случаев не подготовлены к приему племенного стада. Слабоваты и животноводческие кадры. Минутный триумф может обернуться тяжким поражением, последствия которого долго будут определять все направления экономики района.

Здравый смысл подсказывает: не торопись, не зарывайся. Но так хочется поразить сегодня всех собравшихся на совещание, так хочется Мансурову создать о себе мнение как о масштабном руководителе. И он берет обязательство, непосильное для района...

С этого момента и начинается падение Павла Мансурова. Он сыграл роль «чином выше собственного», и неумолимая логика событий повлекла его к пропасти.

Может быть, Тендряков излишне драматизирует процесс духовного оскудения героя. Написанная сама по себе убедительно, сцена, в которой Федосий Мургин просит Мансурова поверить ему, не списывать со счетов, необязательно должна была заканчиваться самоубийством председателя колхоза. Этот эпизод и без его трагического исхода вполне характеризует Мансурова, видящего в Мургине не реального человека, вся биография которого неотделима от истории колхоза, а лишь «пример другим». Мансурова в этой ситуации интересует прежде всего «он, Павел Мансуров, заставивший говорить о себе, уважать себя...». Ведь из-за просчета Мургина он «рухнет в грязь вместе со своими высокими мечтами, с широкими замыслами».

«Маленький человек» и большое дело, к которому все еще, кажется Мансурову, он готовит себя... Разве можно колебаться в выборе?

В действительности же Павел помнит лишь о себе. Для себя он охотно находит оправдание, к остальным становится еще непримиримее. «Я хотел людям хорошего, — говорит он Кате, — я знал, что без дерзости, без решительных бросков его не добудешь. Я дерзнул, сделал бросок, а вокруг *меня* были равнодушные. Я начал с ними воевать, понял, что не обойтись без жестокости. Одному человеку я бросил несколько жестких слов (всего несколько слов!) — и вот... вместо человека в *моих* руках остается только его картуз... Я не железный, и *меня* порой охватывает отчаяние. Мне трудно, Катя». Заметим, как, может быть и непроизвольно, производит Мансуров подмену понятий, стремясь оправдать себя. Вместо *жестокости* возникает *жесткость*. Но весь строй этого монолога разоблачает Мансурова. Других людей он не замечает, априори зачисляя всех в «равнодушные». На самом-то деле равнодушен и к людям и к делу именно Мансуров. Он равнодушен и к Мургину, и к жене, и к Кате, у которой ищет не любви, а сочувствия в тяжелую для себя минуту. Пожалуй, самое наглядное доказательство этого равнодушия — поступок Мансурова, использовавшего слова Саши против Гмызина. Мансурову и в голову не приходит, какотреагирует на это молодой человек, только что вступающий в жизнь, какой нравственный урок извлечет он из действий секретаря райкома.

Анна, жена Павла, давно поняла, что он лишь «кажется отзывчивым, тонким, искренним. Да, он отзывчив, но лишь к своей беде, к своей боли. Он тонок, может быть, но в одном — во внимании к своей личности. Есть в нем и искренность... Искренность человека, верящего, что он сам создан для более значительного, чем живущие вокруг люди». Читателю понятно и иное. Человек, равнодушный к другим, не может болеть ни за какое дело, для такого всегда на первом плане будет «своя рубашка».

Спор в повести идет не по отдельным частностям, в основе его — отношение к жизни, ее смысл. Одним путем, неспешным, незаметным, идут Мургин, Гмызин, молодой Комелев, другой, с фанфарами, выбрал Мансуров. В одном ошибся Павел Мансуров: не понял, что в новых условиях «гром победы» не увенчает его кривых дорог.

Роман «За бегущим днем» можно рассматривать как своеобразный комментарий к «Тугому узлу». «Тугой узел» — книга о том, как человек потерял себя. Андрей Бирюков, поспешающий «за бегущим днем», стремится опередить его (но не для личной выгоды или славы) и на этом пути обретает себя. Это роман, в котором писатель ищет ответа на вопрос: какими нравственными чертами должен быть отмечен образ современника? Напряженная работа мысли, неудовлетворенность рутинной, которая мешает видеть далекую перспективу, желание не только стать «с веком наравне», но и опередить его, чтобы подготовить растущее поколение к встрече с будущим, — вот те нравственные ценности, что утверждает В. Тендряков в своем произведении.

Полярность Мансурова и Бирюкова очевидна. Один, погнавшись

за славой, потерпел крах, потому что не было и не могло быть у него друзей-соратников, без которых не поднимешь большое дело. Другой не побоялся поставить на карту свою «карьеру», ибо двигала им неуемная жажда поделиться с людьми своими открытиями. Это и отличает настоящий талант от подделки.

Большое дело по плечу лишь тому, кто одушевлен подлинной любовью к людям. Таков нравственный итог этих двух произведений В. Тендрякова.

Впрочем, не только их. Этим пафосом согрето все творчество писателя, видящего миссию художника в том, чтобы помочь обществу и отдельному человеку стать более совершенным.

Проза В. Тендрякова отмечена печатью конкретного времени, но за хлопотами настоящего он не забывает о «вечных» проблемах, которые, на первый взгляд, решаются с обостренной полемичностью, присущей скорее публицистике, а не художественной литературе. Но в том-то и дело, что лучшие русские прозаики (Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов) никогда не чурались публицистической остроты, всегда наблюдали жизнь не со стороны, жили страданиями и радостями века.

Лишь затворившиеся в башне слоновой кости не согласятся со словами В. Тендрякова: «Художник творит, исходя из требований только своего времени. Ничего не может быть глупее заведомого расчета на признание потомков. Для этого нужно предугадать тех, кто еще не родился, то есть предугадать будущее той жизни, которая и сама-то пока является во многом неопределенным будущим. Это уже сродни пророчеству, ничего не имеет общего с предвидением. И если художник не считается со своим временем, не улавливает и не отражает его интересов, то, скорее всего, он будет неинтересен и далеким потомкам, которые не смогут уже по его произведениям достоверно судить о минувшем времени».

В. Тендряков в своем творчестве постоянно напоминает: не хлебом единым жив человек. Пусть он всю жизнь растит этот хлеб, пусть руководит хлеботорговлей, сплавляет лес или занимается энергетикой — никуда не уйти от «драмы идей», не прожить жизнь без раздумий о своем предназначении. Человек делает дело, а дело делает человека. Нравственность человека-труженика, живущего бок о бок с другими соседями по планете Земля, исследует и прославляет писатель.

Наше постоянно совершенствующееся «сегодня» одушевлено неустанным вниманием партии к развитию всех начал, которые улучшали бы жизнь советского народа, повышали его материальную и духовную культуру. И в этом отношении «Тугой узел», предъявляющий к человеку, идущему вперед, самые высокие требования, и сегодня звучит актуально.

\* \* \*

Итак, Павел Мансуров проиграл. Ну а если бы он выиграл? В состоянии ли видимый успех компенсировать незримые нравственные по-

тери? Этот вопрос не дает покоя самому Тендрякову, в разной форме задают его себе и герои произведений писателя.

В «Кончине» перед нами предстает хроника колхозной деревни, на протяжении трех десятилетий живущей в изобилии под руководством «удельного князя» Евлампия Лыкова. Над всем селом возвышается его дом, вызывающе высокий и массивный. «Добротность дома не просто откровенная, она назойлива и даже чем-то бесстыдна».

История жизни и смерти Лыкова представлена в повести ретроспективными воспоминаниями разных людей, каждый из которых видел какую-то одну из сторон его деятельности.

В молодости, только что приняв бразды правления, Пийко Лыков «не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков...». Общими усилиями богатеет колхоз, и, черпая уверенность в его силе, постепенно перерождается Лыков. «Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают... Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах». Руководящая должность порой обязывает быть и жестким. Лыкову же хочется для всех выглядеть добрым — он передоверяет функции «злодея» зависящему от него бухгалтеру. Дальше — больше... Постепенно появляются прихлебатель (Валерий Чистых), телохранитель (Леха Шаблов) и даже сводня (Алька Студенкина). И вот уже Лыков — удельный князь, который полкилометра до райисполкома едет на машине, дабы не уронить себя.

Лыков делает колхоз «Власть труда» миллионером. «Его» хозяйство как обетованный остров возвышается над остальными деревнями, притягивает к себе взоры всей области. И в других уголках страны слышали о Лыкове. Вот только мало кто замечает, что в лыковском колхозе уже не власть *труда*, а власть *денег*...

Да, Пожары и в войну жили сытее других. Секрет прост: бредут в село привлеченные густым запахом хлеба, истаявшие от недоедания эвакуированные. А здесь их делают на агнцев и козлищ. «Тот, кто больше недоедал, кто сильнее других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью — не рассчитывай на Лыкова». Так относится Лыков не только к пришлым «чужакам». Совсем рядом, в Петраковке, ребяташки на рахитичных ножках «остановившимися светлыми глазами глядят на хлеб, на яйца на мятой газете, нет, не с жадностью, с изумлением».

Лыков — духовный брат Мансурова, только более удачливый. Не случайно в «Кончине» только один человек оправдывает Лыкова — Чистых-старший, мораль которого не изменилась за тридцать лет, хотя она и принесла ему немало страданий. Он заявляет: «Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось. Но победил-то Лыков... Теперь должен

или не должен я задать себе вопрос: кто был прав? Кто?.. Честно, без виляний! Он или я? Так вот!.. Теперь признаю — он прав!»

Сложность ситуации порождает парадокс: суждение Чистых-отца, оправдывающего Лыкова, лишь ярче высвечивает его вину.

Осудить Лыкова нетрудно. Труднее понять, откуда берутся Лыковы, на какой почве они произрастают и расцветают. Лыков, конечно, недюжинная натура, однако вся его сила тратится на себя, на «свое» хозяйство. У него нет единомышленников, есть только подневольные или бездумные исполнители его воли. Даже близким не дал «удельный князь» счастья: тает от безысходного молчаливого горя жена, спиваются сыновья, которые никогда не смели жить по своему разумению.

Любопытно, что борьба с «лыковщиной» в «Кончине» начинается «снизу». Против Евлампия Лыкова не побоялся выступить его племянник — агроном Сергей Лыков. По всем статьям Сергей — удачник, родившийся в рубашке, как говорит Иван Слегов, — не должен бы был отступать от той дороги, что заранее начертал ему всеильный дядя. Институт, аспирантура — все само идет Сергею в руки, только выполней указания знатного родственника. Тем ценнее решительный шаг Сергея, что предпринят он без оглядки на собственное благополучие.

Сергей, как и его дядя, тоже творит «чудо»: голодную, безучастную ко всему, изверившуюся в своих силах Петраковку он выводит на уровень передовых хозяйств. Некогда и Евлампий Лыков добился благоденствия Пожар. Но Сергей укрепляет не только экономику. Он делает гораздо больше: пробуждает в людях угасшее было под тяжелой эгидой Лыкова чувство хозяина своей земли и тем самым кладет начало гибели «лыковщины».

Голодная Петраковка, граничащая с сытыми Пожарами, — пробный камень, на котором испытываются души дяди и племянника. Сергея она потрясает, Евлампий холодно роняет: «Над каждым нищим не наплачешься». В том, что Евлампий и Сергей принадлежат к одному корню, есть глубокий смысл. Одно и то же дерево, как бы указывает В. Тендряков, может давать разные плоды, и требуется неусыпное внимание садовника-общества, чтобы «дичок» не заглушил ствола.

Чтобы не стать банкротом к концу жизни, мало ума и даже бескорыстия. Нужны еще горячее сердце и беспокойная совесть. В этом плане показателен пример Ивана Слегова. Вся его жизнь прошла «при Лыкове». Слегов многое видел лучше и понимал глубже, чем всемогущий председатель. Но навсегда затаивший в себе обиду на односельчан и культивирующий ее, Слегов (деревня не поддержала его «вождистских» устремлений) «ушел в подполье», оставил за собой роль распорядителя-невидимки. Слегов не извлекает из своего положения материальных выгод, им движет неугасимый огонь тщеславия. Вспомним,

что и Евлампий Лыков не грешит сребролюбием. Однако это не делает Лыкова и его «тень» привлекательнее.

Слегов вынужден констатировать, присутствуя при кончине Лыкова: все прожитые годы утешал себя тем, что «выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос... И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет». Слегов действительно умнее других, поэтому он, хотя и поздно, осознает: жизнь прожита напрасно.

Слегов сложнее и вредоноснее Лыкова. Лыковы видны издали, их просто боятся тронуть. Слеговых обнаружить труднее, «Кончина» и учит распознавать незаметную «слеговщину» и бороться с «лыковщиной», демонстрирует их взаимозависимость.

Конфликт в «Кончине» не доведен до конца. Автор избегает счастливой развязки, при которой порок наказан, а добродетель торжествует. Но весь ход повествования убеждает в том, что появление нового «удельного князя» в Пожарах уже невозможно.

Подытоживая наблюдения над «деревенской прозой» В. Тендрякова, хочется отметить, что ядро сюжета «Кончины» существовало еще в «Падении Ивана Чупрова». Конечно, это не «повторение пройденного», а возведение на более высокую ступень осмысления ведущих конфликтов современности. Сам писатель сказал об этом так: «Наиболее трудную задачу (в искусстве. — В. М.) выполняет не тот, кто первым открывает необходимое, досель никому не известное, а тот, кто малоизвестное делает широкоизвестным, не гениальный «прозорливец», а волшебник, наделенный даром слепым давать зрение, нечутким — чуткость». И если художник своей книгой заставил задуматься над окружающим, то он уже сделал многое. Ведь задуматься — значит понять, а это всегда первый шаг на пути развития. И, как писал Гете, истину надо повторять постоянно, ибо кругом также проповедуются и ошибки.

Время дало верную и недвусмысленную оценку уверенным в своей непогрешимости героям Тендрякова. Руководящие работники вроде Мансурова или Лыкова стали сегодня достоянием прошлого. И тем не менее та высота нравственных критериев, которыми поверяет характеры своих героев художник, сохраняет всю значимость его произведений и в наши дни, когда, как об этом говорилось на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, партия предъявляет особые требования к нравственным и деловым качествам руководителей, вожakov народа.

Социологическая заостренность и психологизм — наиболее заметные и выигрышные стороны прозы Тендрякова. Но может ли содержание быть отделенным от формы? Еще Белинский отмечал, что какими бы глубокими и прекрасными мыслями ни руководствовался автор, если он не обладает даром художника, его произведение не выйдет за рамки «дурно выполненного хорошего намерения». Если бы книги В. Тендрякова имели значение только социологических трак-

татов, они вряд ли заинтересовали бы широкую читательскую аудиторию».

Тендряков-художник не слишком «заметен». Писателю свойственна строгая экономность изобразительных средств, даже публицистические отступления у него всегда сдержанны. Писатель как бы боится деваляировать слово, и в лирических местах он постоянно контролирует себя. Только в «Кончиле» Тендряков ненадолго дает себе волю и создает проникновенный гимн неброской красоте родного поля.

«Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахrome зелени — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб вступает в пору юности».

Написать так мог только художник, глубоко и тонко чувствующий природу и ценящий великую преобразующую силу — человеческий труд.

Часть проблем, поднятых в творчестве В. Тендрякова, уже решена самой действительностью. Не будет преувеличением сказать, что в этом есть и заслуга писателя. Дни бегут, жизнь идет вперед, возникают в ней новые проблемы. И читатель ждет от В. Тендрякова новых книг, которые помогли бы распутывать «тугие узлы» изменчивого бытия. Книг, с прежней страстностью исследующих моральные категории, удельный вес которых в нашей жизни неуклонно повышается.

*В. Мещеряков*

## СОДЕРЖАНИЕ

ТУГОЙ УЗЕЛ. Роман . . . . .	3
КОНЧИНА. Повесть . . . . .	197
В. Мецераков. Долгая жизнь бегущего дня (О творчестве В. Тендрякова) . . . . .	388